

НОВЫЙ
МИР

10

НОВЫЙ МИР

1971

10



1971

Н(О)ВЫИ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVII

№ 10

Октябрь, 1971 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СТРАНИЦЫ МОЛОДОЙ ПОЭЗИИ: Вадим Ковда — Самолет; Станислав Золотуев — По красивым, по красным, по розовым рощам сосновым...; Геннадий Бубнов — В деревне; Марат Картмазов — Земля	3
АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ — Версты любви, роман. Продолжение	9
ЕВГЕНИЙ МАРКИН — Белый бакен, стихи	96
М. ГАНИНА — Театральная актриса, рассказ	99
МАРИНА ЦВЕТАЕВА — Егорушка, фрагменты из поэмы	119
ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ — Мои позывные — РАЕМ. Продолжение	132

В МИРЕ НАУКИ

Проф. В. ЭФРОЙМСОН — Родословная альтруизма	193
Акад. Б. АСТАУРОВ — Homo sapiens et humanus — Человек с большой буквы...	214

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Т. Вл. БАЛАШОВА — Действенность культуры...	225
СЕМЕН ЛИПКИН — Над строкой Хафиза	242

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	246
А. Коган. Маленький человек и большой мир.— Н. Дикушина. Товарищи отец и сын.— В. Непомнящий. Трагедия и игра.— А. Пумпянский. Смерть у эшафота.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	266
К. Григорьев, Б. Хандрос. Читая Сухомлинского.	
КОРОТКО О КНИГАХ — А. Кузнецов. — Вадим Шефнер. Сестра печали ♦ В. Кантор. — Николай Евдокимов. Сказание о Нюрке — городской жигельнице ♦ Л. Аннинский. — Е. С. Громов. Художественное творчество ♦ Е. Малыгина. — О. Россиянов. Антал Гидаш ♦ В. Шитова. — С. Львов. Питер Брейгель Старший ♦ Б. Любимов. — А. Гозенпуд. Достоевский и музыка ♦ Вал. Гольцев. — А. Гребнев. Газета ♦ Т. Григорьева. — Три поэта из Хиросимы ♦ В. Пуцко. — Г. В. Штыхов и П. Н. Захаренко. Древние сокровища Белоруссии	280
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

СТРАНИЦЫ МОЛОДОЙ ПОЭЗИИ

ВАДИМ КОВДА

★

Самолет

Я захожу в огромный самолет,
в его большое тело проникаю.
Гляжу вокруг и, утирая пот,
в его глубоком кресле отдыхаю.

И, заложив за щеку леденец,
клонюсь к иллюминатору и вижу:
вот взлетной полосы начало и конец
и облака все ближе, ближе, ближе.
Вот облака у самого лица.
А вот поляны солнечного света.
А вот желто-зелено из просвета
встают поля земные и леса...

И пелось мне. Душа была легка.
И светел был доставшийся мне жребий.
Но боль пришла. А может быть, тоска.
А может, слишком близко стало небо.
А может, вдруг расширился предел.
И лес велик. И полноводны реки.
И есть куда податься, коль посмел.
И все же хорошо в двадцатом веке.

Не знаю, как там раньше дело шло,
не ведаю, как дальше обернется.
Ну, а пока летается еще.
Ну, а пока бывает, что поется.

* * *

Небеса совсем белесы.
Я плетусь едва-едва.
Красноперые березы
ходят мимо, как плотва.
Все равно мне: снег ли, грязь ли.
Встречу все равно кого.
Я сегодня просто счастлив,
просто так, ни от чего.
Торопиться неохота.
Не даю себе труда..
Дальней церкви позолота.
Дальней фабрики труба...

ГЕННАДИЙ БУБНОВ

★

В деревне

Летело лето — аж в глазах рябило.

Брела зима — зевая, не спеша.

Жила деревня...

Думала,

любила,

грустила,

избы новые рубила,

варила самогон

и в гости шла.

И не стесняясь умников заезжих,

развешивала мокрое белье...

Шел летом жар от крыш ее железных,

синели палисадники ее.

Заглядывал в деревню агроном

на голубом колхозном мотоцикле:

у молодых крестьянок под окном

цветы, смутясь, голзушками никли.

Был слышен задыхающийся хрип

можар,

телег,

дряхлающих и жалких.

И злясь на хохоток доярок шалых,

на солнце грелся в валенках старик.

И в зыбках самодельных —

чуть дыша —

деревня сосунков своих качала.

А хмурая,

когда болит душа,

шла в школу на собранья и кричала —

и легче было ей от галдежа.

А иногда,

тепящаяся сном,

деревня над прозрачным озерцом,

как женщина над тазиком,

склонялась

и замечала на лице своем

у добрых глаз темневшую усталость.

Щедра деревня щедростью земли!

Высок и светел лик ее,

несущей

на полотенце вышитом зари

большое солнце,

будто хлеб насущный.

* * *

Люблю, чтоб сенокосная пора
вручала косу в руки мне с утра,
к полудню лишь команду подавая
передохнуть и рядом из ведра
попить воды,
травинки отдувая.

Как поцелуй, все ночи коротки.
 Под свист гуляют парни по округе:
 кто с удали веселой,
 кто с тоски.
 Любовь моя!

Насмешливо узки

глаза твои.

И некрасивы руки.

О! — знали б вы,

как бабы у колодца
 с уменьем здешним судят обо всем.

Но по жнивью шагал я босиком,
 шагал

и не боялся уколотся.

Еще есть в мире счастье видеть,

как
 антоновки в саду, срываясь с веток
 и золотясь густым тяжелым светом,
 прорезывают августовский мрак.
 А спать на сене...

Это ж — благодать.

А гладить лошадь нервную по холке..

А в чьей-нибудь медлительной походке
 хозяина что надо узнавать...

Такая жизнь!..

И я до одуренья
 люблю ее, не скомканную в стих.

Я с нею скручен жаждой жил своих,
 и это для меня —

как одаренье.

...Лишь чувство приобщенья и любви,
 заполонив навечно и высоко,
 вам мир оставит в замершей крови,
 вскрыленной неподвластностью восторга.

Стихи о великой гордости

Откуда мы, хорошие, взялись,
 и к девочкам подсели в электричке
 (по молодости или по привычке),
 и гордо москвичами назвались.

Я был с Арбата.

Потому как стыдно
 мне из деревни глухоманной быть.
 Той самой,

что заносчивому сыну
 совсем не грех однажды и забыть.

Но —

полоснув кроваво по губам —
 рванется крик раскаянья и боли.

Кого стыдился?

Может, русых баб,
 совавших грудь,

как булку,
 детям в поле?

Да!
 Все ошибки поправимы
 в твоей запутанной судьбе,
 пока ты чувство пуповины
 несешь возвышенно в себе.

д. Телятниково, Могилевская обл.

МАРАТ КАРТМАЗОВ

★

Земля

Хороша земля деталями,
 Каждой кочкой луговой,
 Непрерывными баталиями
 Между камнем и травой.

Хороша земля подробностями,
 Дробным гоготом гусей.
 Хороша земля неровностями,
 Всей шершавостью своей.

Слава богу, что не плоская
 И отнюдь не монолит.
 Океанов не расплескивая,
 Тихо в космосе летит.

Вся холмистая, неровная,
 И горчат солончаки,
 Как щека твоя зареванная
 Около моей щеки.

Мороз в Норильске

Он утром не был так свиреп,
 Но днем, одевшись белым дымом,
 Мороз физически окреп
 И стал совсем невыносимым.

Мороз был молод и горяч.
 Он ветром, груб и невожатан,
 Бил по лицу, тугой, как мяч,
 И лип к губам, как медный стержень.

Рядами высились во мгле
 Сугробы, твердые, как зубы.
 Чернела ТЭЦ. А по земле
 Змеились трубы, трубы, трубы...

Мороз был зол. Такой мороз
 Не снился даже старожилам,
 Но город жил, и гнал насос
 По трубам пар, как кровь по жилам.



АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ

★

ВЕРСТЫ ЛЮБВИ*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Закончив рассказывать, Евгений Иванович почти тут же поднялся с кресла, но прежде чем лечь в постель, хотя час уже был поздний, за полночь, еще некоторое время, заложив руки за спину и опустив голову, прохаживался по комнате — от окна к двери и обратно; я смотрел на его высокую, худощавую и чуть сутулую фигуру (нет, он не был сутул; впечатление такое создавалось, очевидно, от заложенных за спину рук), и, может быть, из-за этой самой видимой сутулости, может быть, оттого, что настольная лампа была уже выключена и свет, падавший только от люстры, накладывал резкие и старившие его лицо тени у глаз и губ, особенно, когда он выходил к центру и оказывался почти под самой люстрой, а, может, лишь от рассказа — какую прожил жизнь — он казался мне постаревшим, как будто действительно можно было постареть за эти часы, что мы просидели в креслах, да и сам я тоже представлялся себе другим, как если бы вместе с Евгением Ивановичем каждый год приезжал в Калининичи. Я еще не мог понять, хорошо ли было то, как поступал Евгений Иванович, в этом ли, в доброте ли, какую он проповедовал и какую, было ясно, носил в себе, заключались цель и смысл бытия. или это лишь часть, одна линия, личная, тогда как на самом деле в жизни доброта измеряется не только жалостью к ближнему. Потому и взволновала меня его история и потому, вероятно, я не мог долго заснуть, когда уже, пожелав друг другу спокойной ночи, мы лежали, укрытые. холодными, тонкими одеялами. Я лежал спокойно, не ворочался, чтобы, как внушал себе, не мешать сразу же притихшему и заснувшему Евгению Ивановичу, хотя на самом деле мне просто не хотелось выдавать себя, что я не сплю; очевидно, и с моим соседом происходило то же, и он также лишь не хотел выказывать, что не спит. Но может быть, я ошибаюсь, и он заснул сейчас же, едва только прикоснулся головой к подушке, потому что — ведь так же, как для незнакомого мне Василия Александровича его рассказ, а для Марии Семеновны ее, так и для Евгения Ивановича все то, о чем он говорил, было повседневно, привычно и, как воздух окружает нас, окружавшей его жизнью, и он, пересказав все, лишь облегчил, проветрил, как проветривают комнату, открывая форточку, душу, и был теперь удовлетворен и спокоен; передо мною же — смыкал ли глаза, лежал ли в темноте с открытыми — одна за одною, как сменяющиеся на экране кадры, то живые, движущиеся, то неподвижные, как бы застывшие на каком-то мгновении, возникали собы-

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 8 и 9 с. г.

тия своих минувших лет, но виделись они теперь по-иному, чем прежде (как и все люди, я ведь тоже часто любил и люблю предаваться воспоминаниям и в начале, кажется, уже говорил об этом), до встречи с Евгением Ивановичем. Я думал о нем, о Ксене, Рае, Зинанде Григорьевне, которая, впрочем, более всего представлялась мне интересной и в чем-то даже таинственной, хотя именно о ней как раз скупее всего рассказывал Евгений Иванович; я воображал и Москитовку, и Читу, и Калинковичи, какими они могли быть тогда, в те времена, когда еще Ксения была жива и Евгений Иванович, такой же, наверное, как и теперь, худощавый, не седой еще, с рюкзаком за спиной, шагал через весь город, разбрызгивая сапогами снежную кашу, спеша к заветной избе, что у въезда по Мозырскому шоссе, и еще разные врезавшиеся в память сцены: то в больничной палате у Ксении, то на похоронах Раи, то как будто я сам вот стою на дощатом перроне далекого таежного полустанка и ожидаю пассажирский поезд, но на все это накладывалась моя собственная, светившаяся другими красками и оттенками и, пожалуй (во всяком случае, тогда мне думалось так), не менее драматичная и сложная жизнь. Разумеется, я не хотел и не собирался спорить с Евгением Ивановичем, но вместе с тем все, что приходило теперь в голову, рождалось как бы наперекор тому, как жил и к чему стремился он. «Его бы заботы, да мне, да каждому, — мысленно рассуждал я. — Ну и что, что любовь? Любовь к женщине это, в конце концов, частное дело, личное, трагедия одного человека, одной семьи, тогда как есть еще интересы общества, народа, страны. Он осуждает Василия Александровича. — продолжал все так же мысленно я, — но за что? Значит, есть еще совесть у человека, раз пьет, значит, не все потеряно. Не эти люди страшны, нет, а другие, те, что совершают разные гнусные дела и не пьют, не терзаются по ночам, а спокойно спят и процветают, уверенные в своей непогрешимости, и вот их-то уж наверняка ни в какую больницу не уложишь. Так что — той ли мерою меряются добрые дела? Услугой ли ближнему? Или есть еще иная, когда — для людей, для всех! Эта доброта — в ненависти, в борьбе, в беспощадности к злу, и она, только она может и должна быть мерой всему», — уже в запальчивости продолжал я. Мне действительно тогда казалось, что жизнь Евгения Ивановича только и состояла в том, что он мучался от неразделенной любви к Ксене и ездил то в Читу, то в Калинковичи, но, забегаю вперед, скажу, что я далеко не во всем был прав, осуждая его, потому что знал, в сущности, только одну сторону его жизни, тогда как вторая, о чем он умолчал и что открылось мне позднее, после того, как я побывал в Гольцах, многое изменила в суждениях о нем. Но в эту ночь, повторяю, я был под впечатлением только что прослушанного рассказа и не то, чтобы совсем осуждал жизнь Евгения Ивановича, но не такими уже трагическими представлялись мне его страдания. «Да хлебнул ли он настоящей жизни?» — спрашивал я себя и, отвечая: «Нет!» — был вполне уверен, что прав. Да и кто не считает, пусть мысленно, про себя, скрытно, наслаждаясь лишь думами по ночам, что его жизнь более достойна примера, чем чья-либо другая? Все мы в той или иной степени тщеславны, хотя и не замечаем, не признаемся себе в этом. Может быть, и мною руководило то же не замечаемое тщеславие, однако не в этом, по моему, суть; своей историей Евгений Иванович как бы пробудил во мне то, что уже было, в сущности, предано забвению и зарастало травой, как зарастают старые могилы, он заставил оглянуться и увидеть себя, каким был и каким стал, и увидеть жизнь, как видел раньше и как теперь, и потому, споря с Евгением Ивановичем, в то же время я спорил и с собой, как бы снимая с себя мнимо мягкие, вызывавшие только благодушные наросты времени.

Еще вчера я ведь если и вспоминал, то лишь о том, что не рождало ни глубоких раздумий, ни огорчений; ну что — Долгушинские взгорья,

что — хранящийся до сих пор у меня дома грубый брезентовый плащ с капюшоном, в котором когда-то в любую погоду — в дождь, ветер, в мокрый снег — ходил по колхозным полям и который, кстати говоря, жена уже не раз намеревалась выкинуть на свалку как ненужный, загромождающий квартиру хлам, что — этот плащ и что — тоска по взгорьям, когда годы те отмечены совершенно иными, и не только для приятных воспоминаний событиями. Что-то же заставило меня покинуть Долгущинское отделение и уехать в город? Не для того же только, чтобы потом, спустя много лет, можно было с грустью в голосе произнести: и самому себе, и, при случае, какому-нибудь приветливому собеседнику: «Да-а, самые счастливые годы... молодость... задор... энергия... черная вспаханная земля, да-а...» — нет, разумеется, не потому я очутился в городе и вот теперь, как вечный командировочный, что ни месяц, то в ин-спекторской поездке, а была причина, которую я просто не ворошил в себе, оберегая покой, но прошлое вот сейчас, как устремляется река в проран, размывая перемычку, — кипящую сменой картин хлынуло прошлое из тайников сознания. «Водораздел человеческих душ, — про себя повторял я слова, принадлежавшие даже не Евгению Ивановичу (но мне было все равно, кому они принадлежали; произнес их он, и потому я отвечал теперь мысленно ему). — Нет такого водораздела для честных людей. Он существует лишь для карьеристов, дельцов, которым действительно в какие-то времена истории приходится выбирать, за что уцепиться, по какой линии пойти, государственной, добиваться ли чинов или намывать легкодоступное золотишко, пусть хрустящими рубликами на толкучках и рынках, и совершенно не важно, по какую сторону водораздела окажется такой человек, он одинаково вреден, он — зло, и страшнее еще, когда зло это в чинах. А Василий Александрович — что? Он мучается, переживает, у него еще есть совесть», — продолжал я. И все то, как и что думал я о доме, о Валюше, Ларочке, Наташе, о Петре Семеновиче, у которого сын и который так же, как и я, по второму разу идет по школьной программе, ломая голову над самыми простыми арифметическими задачами, — все это, еще вчера вызывавшее умиление: «Как хорошо, что есть семья, должность, что живу в самом лучшем, самом зеленом районе города и что — достиг же, в конце концов, чего-то в жизни, хотя бы этой вот квартиры и права дремать по вечерам в кресле с газетой в руках или перед телевизором!» — представлялось не чем иным, как мелким, жалким, замкнутым в самом себе существованием, тогда как и в семье и на работе (мы только закрываем на все глаза, потому что так легче) имеются огромные, действительно-таки затрагивающие коренные вопросы жизни проблемы. И они сейчас поднимаются как бы из глубины — в противовес рассказанному Евгением Ивановичем и как бы в противовес собственным, еще недавно казавшимся правильными взглядам.

С усмешкою, которую не нужно было скрывать на лице, я говорил себе: «Хорош же я был вчера со своим советом: воспоминания — лучшее средство от бессонницы. Это смотря какие воспоминания. Вот попробуй сейчас засни». Вчера, конечно, я не сказал этого Евгению Ивановичу, только с сожалением подумал, что надо дать такой совет, но мне представлялось, что сказал, и оттого-то я и насмехался теперь над собою.

Тяжелые до пола гардины как будто плотно прикрывали и окно и узкую балконную дверь, но все же свет от горевших на площади фонарей проникал в номер, ложась на стены и потолок блекнувшими, расплывающимися желтыми полосками, и оттого темнота не казалась густой, как в первое мгновенье, когда была выключена люстра; я давно уже хорошо различал не только кровать, но и лежавшего на ней Евгения Ивановича, его седую голову на подушке, повернутую лицом к стене; думаю все же, что он спал, так как до самого рассвета, пока не забрезжило за

окном синевою утро и пока сам я, утомленный, взволнованный, не забылся наконец коротким и беспокойным предзоровым сном, ни разу не пошевелился, а я рассказывал ему, разумеется, мысленно, о своей прожитой жизни.

Час первый

— Вы говорили о случайностях, — начал я, вспомнив самые первые слова, какие произнес Евгений Иванович, когда мы, вернувшись из ресторана, уселись друг против друга в мягких и глубоких гостиничных креслах. — Пожалуй, и так можно представить жизнь, как цепь случайностей, если взглянуть поверхностно. Почему, например, я, городской житель, поступил в сельскохозяйственный техникум? Случайность? Да, если, разумеется, считать случайностью войну, которая грянула в сорок первом, когда я учился еще только в пятом классе, братишка мой — во втором, а сестренка лишь с завистью смотрела на наши новенькие портфельчики, вздыхая по-взрослому, как это умеют только с нетерпением ожидающие своего счастливого часа дети, и если, разумеется, считать случайностью, что эта самая война позвала отца на фронт, а в доме потребовался скорый и надежный помощник для матери, и она однажды сказала: «Закончишь седьмой, подавай в техникум. Отца нет, и тебе надо становиться на ноги». Да, вся жизнь могла бы пойти по-другому; жизнь сотен тысяч людей могла бы пойти по-другому, если бы не война, которая, как звено к звену в долгой цепи, событие за событием властно, не считаясь ни с чьим личным желанием, выкладывала свое русло для каждого человека. Но можно и так сказать: почему в сельскохозяйственный? Были же и другие. Может быть, тут-то и кроется случайность? Нет. Ни тогда, ни теперь тем более, я не думаю так; уже само слово «сельскохозяйственный» напоминало деревню и как бы само собою приближало к земле, хлебу; именно к хлебу, потому что — какие еще мысли могли прийти в голову, когда ценнее всех ценностей были в доме продуктовые карточки и когда перспектива жизни (да была ли исключением!) виделась не в той широте и возможностях будущей работы, как теперь, а чтобы лишь — хоть как-то обеспечить своим трудом в доме достаток. И достатком этим виделся хлеб. Деревня и хлеб — так представлял я свое будущее; хлеб для себя, для братишки, сестры, матери, для всех, для общего блага, и не жалею, что именно с этим представлением о жизни когда-то начинал входить и познавать ее.

Мой отец тоже не вернулся с войны; был и в нашей семье черный день, когда почтальон вручил утром матери похоронную, и я тоже, наверное, повзрослел в тот день, но — зачем пересказывать сейчас подробности; они одинаковы у всех; скажу лишь, что было и для меня такое время, когда хзть плачь, а бросай учебу и иди в грузчики, но каким-то образом мать все же не допустила до этого и потому, наверное, особенно радовалась, когда я принес домой диплом агронома и направление на работу.

«Наконец-то», — сказала она.

«Я заберу вас с собой в деревню».

«Конечно, сынок, только сперва поезжай один, поработай, поживи, осмотришься».

«Но почему же?»

«Нет-нет, ты поживи, осмотришься, а тогда уж...»

«Я непременно приеду за вами. Сразу же, как только устроюсь. Или вы сами, я напишу и пришлю денег», — настаивал я.

Теплым августовским утром я выехал к месту назначения, в Красно-Доблинский район, с полным ощущением того, что уже — взрослый, кормилец семьи, заменивший отца, и самые счастливые планы, какие только

могут возникать в голове девятнадцатилетнего юноши, возбуждали воображение. Пока ехал в поезде, я то и дело подходил к окну и радовался всему, на что смотрел: на желтеющий ли разлив пшеницы, что открывался вдруг, сразу за обрывающейся березовой рощей, и хотя я еще никогда не видел тех мест, Долгушинских взгорий, где предстояло работать, но ни секунды не сомневался, что и там, в будущем моем пристанище, вот таким же разливом избегают и скатываются по пологим склонам от речушки к речушке, от леска к леску, от укывшейся за огородами и плетнями деревеньки к другой, звенящие колосом хлеба (звенящие тем колосом, что в техникуме, на стенде, в снопах; я знал — то была отборная пшеница, что на полях она не может расти вся такой, но я улетал мечтою вперед и потому представлял в воображении только лучшее); радовали и стада на лугу, и пастух, волочивший за собою по траве длинный веревочный кнут, и уже успевшие осесть и поблекнуть на солнце сметанные стога сена, и мгновенно как бы промелькнувший вдруг переезд с ожидающими у шлагбаума деревенскими телегами и колхозными полуторками, которые, впрочем, давно уже отпылили по дорогам свое и теперь разве только как железный хлам встретятся еще где-нибудь на отдаленной автобазе у нерадивого хозяина, да хранятся, наверное, как экспонаты для истории в заводских музеях, словом, и эти, теперь давно отжившие, полуторки, и красные кирпичные здания станций и полустанков, и даже торговые прилавки под навесами, куда сейчас же устремлялся весь вагонный народ, как только останавливался состав, — все радовало глаз. И когда ехал, именно на полуторке, от железнодорожной станции до Красной Дóлинки, то же настроение владело мною, и я так же, устроившись в кузове, смотрел по сторонам и вперед, подставляя лицо жаркому августовскому дорожному ветру, и с восторгом рано начинающего самостоятельную жизнь молодого человека оглядывал словно дремавшие в полуденном зное под соломенными крышами деревянные крестьянские избы, когда машина, подпрыгивая на ухабах, проезжала через очередное по дороге село; но на меня не веяло тогда запустением от тех посевавших за войну изб; это ведь теперь, когда знаю нынешнюю деревню и могу сравнивать, запоздалая грусть начинает тревожить сердце, и за каждым окном, за каждой бревенчатой стеною как бы чувствую притаившееся вдовье горе, а тогда — не было и намека на эту грусть; я хорошо помню, как выпрыгнул из кузова с легким чемоданчиком едва шофер затормозил машину, и потом, стоя посреди пыльной площади, с удовлетворением разглядывал деревянные и кирпичные строения районного центра: здание райкома, исполкома, районного земельного отдела, которое — я сразу догадался, что это оно, по привязанным у крыльца к столбу оседланным коням — особенно привлекло внимание. Одноэтажное, длинное, как барак, с обшарпанной дверью и каким-то плакатом по карнизу на полинялом полотнище (точно не помню: что-то связанное с уборкой и планом), с фундаментом, заметно изъеденным солонцом (но ведь это только теперь я так подробно вижу все и всему придаю значение!), здание не представлялось ни обветшалым, ни мрачным; оно было не лучше, но и не хуже других, соседних, что редкою и как бы неровною толпою обступали пыльную площадь (да ведь и восприятие тогда, в послевоенные годы, было у нас другим: бились за главное, здесь, в районах, за хлеб, а до чего-то не доходили руки, и это разумелось само собой), и что бы я ни говорил теперь, но тогда я ласкал взглядом этот дом, который должен был стать для меня судьбой, жизнью. Я знал, что здесь, у этого крыльца, начнется моя бо́льшая дорога, и, продолжая еще стоять на площади, торопил время, мысленно забегая вперед, к тем годам, когда и работа и жизнь — все войдет в одну привычную, спокойную, с уверенностью в завтрашний день колею. Я посмелся бы над любим, кто осмелился бы сказать мне в те минуты,

что я не знаю жизни, что планы мои возведены на песке и что ни следа не останется от них, как только прокатится по ним остужающая волна недоверия; я ответил бы, улыбнувшись, что эта мрачная шутка не для меня, но, к сожалению, теперь вынужден признать, что есть эта остужающая волна, что она окатила меня, хлестнула, да так, что и теперь иногда с боязнью оглядываюсь на прошлое. Но хлестнула не сразу; лишь спустя несколько месяцев я ощутил первое ее студеное дыхание. У вас в девятнадцать был поединок с немецкими самоходками, в то время как у меня тоже был, в сущности, поединок, схватка, но только иного рода, с иным врагом, да, я не боюсь этого слова, врагом, а точнее, злом, и если уж начистоту — он еще не закончен, этот поединок, по крайней мере, в моей душе; время лишь приглушило все и затянуло мнимой сетью спокойствия и смирения, но именно мнимой, потому что чувствую же я вот сейчас снова и ту прежнюю решимость, и злость, и свою правоту. Но, позвольте, как и вы мне, я тоже буду рассказывать все по порядку, как было, как ошибался я в людях, полагая, что, как и во мне самом, в каждом человеке живут лишь добро, справедливость, понимание и уважение к ближнему; тогда, на площади, мне нравилось все, на что ни переводил я взгляд, и даже само название села — Красная Дóлинка, — когда мысленно произносил его, рождало возвышенное, гордое чувство. «Красная», — повторял я, вкладывая свой смысл в это слово, хотя именовалась Дóлинка Красной давно, еще до революции, а иногда называли это село еще Ярмарочным за шумные зимние ярмарки с каруселями, балаганами и катаниями, какие устраивались здесь, как раз на этой площади, и со всей округи съезжались сюда купцы, лотошники, цыгане, съезжались мужики из деревень, и в кабачном ряду с утра и до самой поздней ночи бушевала пьяная, горланившая песни толпа, двory были забиты подводами, снег у завалинок устилался подсолнечной шелухой, а в заезжих избах так и не убирались со столов медные ведерные самовары. Так рассказывали потом, так оно, очевидно, и было, но во мне даже и после этих рассказов, помню, название Красная Дóлинка каждый раз вызывало все то же чувство, какое испытал я, ступив впервые в тот жаркий августовский день на эту пыльную площадь. Я медленно пересек ее, когда полуторка скрылась за поворотом, и потом еще с минуту стоял у крыльца, разглядывая и читая поблекшую зеленую вывеску с надписью «райзо»; из дверей, шумно разговаривая и, как мне показалось, не замечая меня, вышли трое мужчин, очевидно, председатели колхозов, и я, обернувшись, смотрел, как они отвязывали коней и садились в седла; и в этих председателях с обветренными и потными шеями, в их сытых конях с лоснящимися крупами, что уже взбивали копытами уличную пыль, еще более представлялась мне спокойная и радостная впереди трудовая жизнь, и с этой счастливой мыслью, не скрывая довольства на лице, я вошел в узкий и сумрачный коридор.

В нем никого не было.

И за дверьми, в кабинетах, тоже как будто было тихо; лишь в самой глубине коридора, у окна, было слышно, как тархтела в какой-то комнате пишущая машинка, и я направился на этот как будто единственно живой звук в здании.

«Скажите, — остановившись у порога и глядя на машинистку, спросил я, — как мне пройти к начальнику райзо?»

«Его нет».

«К главному агроному?»

«Тоже нет. В колхозах».

«А когда будут?»

«Не знаю, зайдите к Евсеичу — его помощнику. Дверь напротив», — добавила она, уже принимаясь за работу.

Я прошел к помощнику, и этот же самый разговор повторился.

«Ни начальника, ни главного агронома нет, а вы, собственно, по какому делу?»

«У меня направление...»

«А-а, кадры! Только к начальнику, эти вопросы решает только он. Оставьте чемодан здесь и пойдите погуляйте. К вечеру он должен быть».

Мне ничего не оставалось как последовать этому разумному совету, я поставил чемодан за шкаф, к стене и через минуту снова уже был на пыльной площадке; ни равнодушный тон машинистки — я даже, помоему, не разглядел, молодая она или пожилая, в чем одета и как причесана, отстукивает свои простыни-сводки, и пусть отстукивает, — ни такой же равнодушный, как я теперь, оглядываясь назад, на то прошлое, понимаю, тон Евсеича (он листал только что поступившие центральные газеты и на меня смотрел, наклонив голову, из-под очков) не нарушили счастливого состояния, я по-прежнему жил радостным ощущением, что — здесь, что — прибыл, что — вот она, Красная Дóлинка, а то, что мне застал на месте начальника райзо, это всего лишь деталь; рано ли, поздно ли, он будет, примет, назначит на должность, а судьба уже, в сущности, решена, и на всю жизнь. Обогнув старую, без колокольни и куполов церковь, я спустился по проулку на околицу села, к реке, вернее, небольшой, с черным илистым дном речушке Лизухе — название я узнал потом, — и передо мною как бы вдруг распахнулись огороды, луга, леса, поля, уходящие к горизонту под белесовато-выцветшим полуденным небом, и в то время как для местных жителей, для деревенского человека вообще, они, естественно, не представлялись необычными, — они настолько поразили тогда мое воображение и показались неповторимыми, что, сколько потом я ни встречал красивых и удивительных мест, особенно как начал разъезжать по командировкам, — ничто не могло, да и теперь, чувствую, не может сравниться с тем, что увидел я в тот день за околицей Красной Дóлинки, и ничто не западает так глубоко в душу и не вызывает волнений. Каждый раз, когда я потом, уже из Долгушина, приезжал сюда, в Красную Дóлинку, как ни бывал занят, непременно выкраивал время и спускался по проулку к реке, выходил к обрыву и, вслушиваясь в тихие всплески воды внизу, под кручей, смотрел: осенью — на багрово-желтый издали лес, черные клинья распаханной под зябь земли и между ними, как острова, яркие зеленыя озими, весной — на сиреневую дымку распускавшихся по лесу почек, на белые лысины еще не вездестаявшего снега, и опять — черная пахота и зеленыя, и дыхание земли, неба, жизни; я приходил сюда и зимой, когда все было опущено снегом и искрилось в лучах низкого морозного солнца, и — ни реки, ни клиньев озими и паров, а все припорошено, объединено в одно сплошное белое море, и кусты тальника, каждая веточка, обрамлены прозрачным и вместе с тем словно слегка подсиненным голубизною неба инеем, и снова и снова все представлялось неповторимым и прекрасным. Вот что значит иногда первое впечатление или даже не впечатление, а доброе чувство, с каким человек смотрит на все вокруг, с каким смотрел я на незнакомые, впервые видимые мною места; они как бы вливались в мое радостно-возбужденное сознание. Я направился вдоль берега, поглядывая на удивших рыбу мальчишек; мне хотелось заговорить, но я прошел молча мимо маленьких веснушчатых рыболовов, лишь чуть замедлив шаг; молча прошествовал и мимо полоскавшей белье молодой женщины, немного смутившись лишь и покраснев оттого, что она, разогнув спину, смотрела мне вслед, провожала глазами, и я чувствовал это; и прошел мимо старика с прутиком, замыкавшего цепочку спускавшихся к речке гусей; я радовался тихо, по-своему, в душе, потому что — такой, видимо, характер; а может, уже тогда жизнь научила этому — замыкать в себе все, и радость, и горе, как, знаете, теперь замком-«молнией» мгновенно стягивают дорожную сумку; внешне же, разумеется, казался спокойным, не

спеша переводил взгляд с одного на другое, и шагал неторопливо, и лишь на лице, но это только потому, что никого не было рядом, постоянно как бы светилась улыбка. Я знаю, что так это было; да иначе и не могло быть; с этой светившейся улыбкой я и вошел снова в сумрачный и прохладный коридор райзо.

«Рано еще, молодой человек. Еще погуляйте».

«Но...»

«На закате, только на закате».

«Но вы?..»

«Повторяю: на закате!»

Все те же развернутые центральные газеты лежали перед ним на столе, и смотрел он так же, наклонив голову из-под очков, но ни этот его взгляд, ни разговор, который оставил-таки на сей раз неприятное впечатление, все же не смогли нарушить общего хорошего настроения; только теперь, очутившись на площади, я не пошел ни к реке, ни по селу, а пришел на приступок с теневой стороны церкви, выбрав место так, чтобы видеть крыльцо (для того, конечно, чтобы не заходить больше к Евсенчу и не спрашивать, приехал или не приехал начальник: «Сам увижу!»), и до заката, как было определено мне время, то вскидывал взгляд на райзо, то на удлинявшуюся тень от церкви, то себе под ноги, на пыльные ботинки и подматую под ними траву, которую жалко мне было видеть надломленной и подмятой.

К зданию райзо никто не подъезжал.

Когда же, не выдержав долгих минут ожидания, я опять вошел к Евсенчу, тот только развел руками, дескать, рад бы помочь, да не могу, не в силах.

«Нет?» — все же для убедительности спросил я.

«Нет,— ответил он.— Но должен был сегодня обязательно вернуться. А может, махнул прямо домой, не заезжая сюда, а?» — как бы спрашивая меня, продолжил он и, тут же добавив: — «Все может быть»,— покрутил ручку телефона и снял трубку.

Пока он разговаривал, я все время смотрел на него. Я не слышал, что отвечали ему, но по тем словам, которые произносил он: «Что? Только что? Да, да, пожалуйста»,— по выражению лица, глаз, словно вдруг оживших и подобранных, особенно, когда раздался, наверное, в трубке голос самого Андрея Николаевича (так величали начальника райзо, и об этом легко можно было догадаться по учтивости, с какою, продолжая разговор, произносил затем это имя и отчество Евсенч), я понял, что начальник райзо дома, и заволновался, что сегодня он уже не придет сюда, не примет, и все будет перенесено на завтра.

«Что же делать?» — проговорил я, продолжая, однако, еще с надеждою смотреть на Евсенча, и он, словно уловив мое беспокойство, неожиданно, зажав ладонью трубку и наклонившись ко мне, спросил:

«Как фамилия?»

«Пономарев»,— быстро ответил я.

«Пономарев,— доложил он в трубку, приоткрыв ладонь, и затем, наклонясь, задал новый вопрос: — Какая специальность?»

«Агроном».

«Агроном,— опять доложил он и тут же снова обратился ко мне: — Что закончил: институт? Техникум?»

«Техникум».

«Техникум,— повторил он.— Что? В Дом колхозника? Андрей Николаевич, вы же знаете, закрыт на ремонт. Может, здесь, у вас, в кабинете, на диване? К вам? Ага, хорошо, хорошо,— заключил Евсенч и положил трубку. С лица его, как только он кончил говорить, словно соскользнуло, слетело, стаяло добродушие; уже знакомым мне холодным, равнодушным тоном он сказал: — Вам повезло, молодой человек».

У Андрея Николаевича, э-э, отличное настроение, он приглашает вас к себе в дом. Там и поговорите, и переночуете».

«Спасибо».

«Чего «спасибо»? Куда идти-то, знаешь? За площадью, вон, на южной стороне, на Малой, как мы ее называем, улице, дом восемнадцать, новые ворота, там спросишь. Хотя, что спрашивать,— перебил он себя,— новые ворота!»

«Спасибо».

«Эй, эй, чемодан с собой, тут некому его караулить».

Дом Андрея Николаевича я отыскал сразу, но если говорить о приметах, то сильнее запомнились мне не новые ворота. По заросшей травой Малой улице, по самому центру ее вилась наезженная телегами колея, а возле дома Андрея Николаевича полукружьем отходила от нее к новым воротам боковая, более узкая; она была явно проложена подъезжавшей сюда по утрам и вечерам пароконной земотделовской рессоркой (тогда ведь районное начальство не ездило, как сейчас, на вездесущих «газиках»; да и самих «газиков» еще не было); по этому узкому колесному следу, разглядывая его, я, собственно, и подошел к нужным воротам. От них действительно, как от свежих сосновых стружек, пахло еще смолой; и крыша дома, показалось мне, тоже была недавно перекрыта, тесины еще не успели потемнеть от дождей и солнца, но это не вызвало тогда никаких подозрительных мыслей; просто дом чем-то вроде выделялся среди других, стоявших вдоль улицы, и скорее даже не воротами и тесовой крышей, а застекленную верандою или выложенной красным кирпичом дорожкой к крыльцу, словом, чем-то да выделялся, я запомнил это, но важным для меня было в те минуты другое: веселое и доброжелательное настроение, с каким Андрей Николаевич, выйдя на крыльцо в брюках с подтяжками поверх белой нательной рубашки, крикнул:

«От Евсенча?»

«Да».

«Проходи!»

«Мне...»

«Проходи, когда приглашают. Собаки нет во дворе, не бойся, проходи!»

Я поднялся по ступенькам на крыльцо, и, как только очутился рядом с Андреем Николаевичем, хотел ли, не хотел этого — чаще всего происходит это помимо нашей воли, мы просто как бы попадаем под гипнотическое обаяние хозяина и уже покорно и с улыбкой выполняем все, что ни предложат нам: куда пройти, где сесть, что положить в тарелку и о чем говорить! — так вот и я, хотел ли, не хотел, а невольно оказался в таком положении, когда должен был только слушать, улыбаться и подчиняться гостеприимной и доброй как будто воле Андрея Николаевича; я понимал, что прежде всего нужно сейчас же объяснить будущему своему начальнику, кто я и зачем пришел, но ни на крыльце, ни на застекленной веранде, куда тут же почти втолкнул меня Андрей Николаевич, не смог произнести ни слова; да что там: не смог произнести! — не успел даже сообразить, что надо хотя бы извиниться за позднее беспокойство, как уже стоял в комнате, у порога, держа чемодан в одной руке, фуражку в другой, и растерянно обводил взглядом сидевших за празднично накрытым столом (они все тоже смотрели на меня, отчего я еще более терялся и чувствовал смущение) людей. Я, в сущности, оказался в том же положении, как и вы, Евгений Иванович, тогда, там, в освобожденных Калининских, когда ординарец комбата поднял вас с постели; вы думали, что сейчас получите очередное боевое задание, а попали на торжественный ужин, и все было неожиданно и, может быть, потому и поразило вас; я ведь тоже не рассчитывал ни на такое гостеприимство, ни на

застолье, а свои мысли и планы одолевали меня, и было свое представление о встрече и разговоре с начальником райзо, и потому долго еще, уже будучи приглашенным за стол, сидел с глупым выражением лица, улыбаясь и подставляя тарелку подо все, что предлагала отведать светловолосая и круглолицая жена хозяина дома Таисья Степановна. Впрочем, еще от порога я прежде всего обратил внимание на нее, потому что она, встав из-за стола раньше, чем Андрей Николаевич представил меня, подошла и, молча взяв из моих рук чемодан и фуражку, понесла их в соседнюю комнату. Я видел ее лицо перед собой, вот, рядом, и потом, может быть, неприлично долго смотрел на спину и коротко постриженные и аккуратно причесанные волосы, когда она удалялась; не знаю, был ли заметен для других этот мой взгляд, но сам я, помню, почувствовал неловкость. Она была довольно-таки еще молода, лет тридцати, в том возрасте, когда женщины особенно привлекательны и когда все в них соразмерно и сообразно: и полнота, и свежесть,—я не потому так о ней, что понравилась с первого взгляда (какой тут может быть разговор: мне — девятнадцать, ей — тридцать!), или что я потом, что ли, влюбился в нее, нет-нет, просто она произвела на меня приятное впечатление, и та цель, то счастье, какое грезилось днем (какое должно было раскрыть мне объятия здесь, в Красной Дóблинке), показалось как будто еще доступнее, ближе. И одета она была не ярко, не празднично, в том платье, в каком обычно ходила в доме, ведя хозяйство, да и все, на кого я потом смотрел, а гостей-то было всего: Федор Федорович Сапожников, местный, но государственного масштабу селекционер с женой Дарьей и тремя невестившимися дочерьми: Викторией, Клашей и Фросей (все они были, как мне помнится, на одно лицо, похожие на своего короткошеего и ушастого отца; и платьяца были на них одного покроя — со сборками на груди, и одного цвета — белые в мелкий синий горошек), — все были одеты не нарядно, а как-то по-домашнему, вернее, по-дорожному скромно, и я сразу же, пока еще стоял у порога, уловил эту непрямую атмосферу; непрямую в том смысле, что ни именины, ни, разумеется, Первое мая, ни еще какая-нибудь, пусть даже семейная, дата, а просто Федор Федорович со всеми своими чадами зашел или, может быть, заехал к доброму старому другу так, без всякого повода, лишь навестить, и все, что стояло на столе, было приготовлено наспех, но щедро, так как гостю, несомненно, были рады здесь, и Федор Федорович чувствовал себя как дома, и его жена, и дочери, и Таисья Степановна не сочла нужным принарядиться, да и сам Андрей Николаевич, вышедший чуть вперед меня, заложив большие пальцы за широкие подтяжки брюк, как всегда, наверное, делал, когда бывал доволен собой, похлопывал ладонями по белой, облегавшей живот рубашке.

«Ну, Федорыч, вот и пополнение к нам, агроном, прошу любить и жаловать,— сказал Андрей Николаевич, положив руку на мое плечо и подталкивая к столу (Таисья Степановна с чемоданом и фуражкой уже скрылась за дверьми соседней комнаты; потом, когда она вернулась, Андрей Николаевич представил меня и ей, назвав жену по имени и отчеству).— Дождались, а? — продолжил он, обращаясь все так же к Федору Федоровичу.— Поколение, не нюхавшее пороха...»

«Не всё, не всё»,— возразил Сапожников.

«Допустим, не всё, спорить не стану. Ну, Пономарев,— теперь уже хлопнув меня по плечу и опять подталкивая к пододвинутой к столу табуретке, сказал он.— Как тебя по?...»

«Алексей. Алексей Петрович».

«Долго сидел у Евсенча?»

«Я приехал днем...»

«А-а, с обеда? Тогда ты все уже знаешь: и о районе, и, надо полагать, все обо мне? Евсич, поди, уже проинформировал тебя?»

«Он ничего не говорил».

«Как?!»

«Ничего».

«Значит, старик просто не в духе. Но не горюй, все еще впереди, информация за ним не залежится, так я говорю, а, Федорыч? — при этих словах Андрей Николаевич и Федор Федорович понимающе переглянулись.— За ним не залежится... а впрочем, мы и сами сможем тебя проинформировать, садись».— И, когда я сел, он произнес, кивком головы указывая на Сапожникова, ту самую фразу: «Местный, но государственный масштаб селекционер»,— которую я особенно запомнил в тот вечер и которая до сих пор, когда начинаю думать и вспоминать Федора Федоровича, вызывает улыбку. Но тогда я все воспринимал всерьез и с восхищением смотрел то на Андрея Николаевича, то на представленного им селекционера, на Сапожникова, которому, между прочим, и сам он не скрывал этого, было приятно слышать похвальные слова о себе; приятно, очевидно, потому, что произносил их знавший дело и цену хлебу друг, и, главное, может быть, потому, что друг этот ни мало, ни много, а возглавлял земельный отдел района. Я отлично помню, как на лице и во взгляде Федора Федоровича каждый раз появлялось что-то отечески доброе, едва только речь заходила о селекции, и он казался мне настолько влюбленным в свою работу человеком, что для него нет и не могло быть иной цели, чем эта, однажды поставленная перед собою в жизни. Он заведовал тогда сортоиспытательным участком, который размещался на землях отдаленного, крупного и, пожалуй, самого крепкого в районе колхоза, и Андрей Николаевич, продолжая восхвалять, впрочем, не без глубоко скрытой иронии, Федора Федоровича, говорил: «На Чигиревских у него целое научное заведение, одних названий сортов — черт ноги переломает. И еще где у тебя? В Долгушино?»

Федор Федорович как бы в знак согласия степенно наклонил голову и только уточнил:

«На взгорьях».

«Так что у нас тут — свои университеты,— заключил Андрей Николаевич,— и не малые. Таңсья, подай рюмку, я налью гостю. Обедал?— спросил он у меня.— Нет? Ну, ничего, для аппетита. Она, брат, хлебная, давай, приобщайся. На здоровье!»

Как всегда бывает в таких случаях, все дружно поддержали: «До конца! До дна! Сразу!» — и я, оглушенный этими возгласами, поднес рюмку к губам и выпил.

«Отлично! — воскликнул Андрей Николаевич.— Молодцом! Бери огурчик».

«Хлебом занюхай. Хлебом!» — вставил Федор Федорович.

«Оставьте его, человек не обедал. Может, борща вам?» — спросила Таңсья Степановна.

«Да, пожалуйста»,— согласился я.

Я ни от чего, как уже говорил, не отказывался, что предлагала Таңсья Степановна, и отвечал ей, по-моему, одними и теми же словами «да, да» или «пожалуйста», в то время как с уст не сходила глупейшая, по крайней мере, если не сказать больше, улыбка; я был доволен всем и всеми и пребывал в том сладостном состоянии, как только может чувствовать себя впервые выпивший человек, и мне снова и снова казалось, что жизнь самой доброй стороною повернулась ко мне. Для вас там, в заснеженных Калининских, счастье составляла сидевшая рядом девушка Ксения, ее серебристые косы, освещенные горевшей керосиновой лампой, и оттого вечер промелькнул быстро, как будто только что вот произнесен первый тост, и уже надо вставать и расходиться; мне тоже показалось, что вечер у Андрея Николаевича был коротким, но отвлекали и волновали совсем иные, чем вас, мысли; я ел, смотрел на

всех, слышал отрывки фраз и даже как будто понимал, о чем говорили между собою, главным образом, Андрей Николаевич и Федор Федорович (не знаю, почему, но мне и теперь думается, что на время они словно специально оставили меня, передав в распоряжение Таисьи Степановны, и оттого-то — куда бы я ни поворачивал голову, постоянно видел перед собою ее круглое, обрамленное белыми волосами и казавшееся мне красивым лицом), но вместе с тем именно в первые минуты после опустошенной рюмки сознание как будто вдруг переключалось, я переставал слышать и видеть, что происходило вокруг, за столом, и передо мной как бы распахивались то разливы желтеющей пшеницы, как они виделись из окна вагона, то огороды, лес и поля до белесого горизонта, те самые, на которые смотрел сегодня, спустившись через площадь по проулку к Лизухе; я как будто опять шагал мимо веснушчатых рыболовов, мимо полоскавшей белье женщины, радуясь про себя, что не пройдет и месяца — «К зиме наверняка, в этом-то уж никакого сомнения!» — как мать, брат и сестренка, вызванные мною сюда, будут так же радоваться этой благодатной земле и этим, таким гостеприимным людям. «Они еще не догадываются, — думал я, — что уже начало крутиться колесо нашего счастья». А сказать точнее, не думал; просто сама эта мысль, как бы подтвержденная всем ходом сегодняшних событий, и составляла то счастье, какое волновало и будоражило мое юношеское воображение. Иногда мне кажется теперь, что, пожалуй, я был в тот вечер более опьянен именно ощущением близкого счастья — достатка, хлеба! — чем выпитой водкой, потому что, когда, в сущности, хмель прошел и я действительно начал понимать, о чем говорили между собою Андрей Николаевич и Федор Федорович, да и позднее, когда сам включился в их разговор, ни на одно мгновение не покидало меня это радостное ощущение. Я вспомнил, как когда-то в техникуме — мы уже были старшекурсниками — преподаватель почвоведения сказал нам: «Важно еще и то, в чьи руки вы попадете, с кем начнете свой трудовой путь!» «Я-то попал в хорошие, — теперь рассуждал я. — В этом отношении могу быть спокоен, мне нечего опасаться». И все сидевшие за столом, главное же, Андрей Николаевич и Федор Федорович, представлялись самыми замечательными людьми на свете. Да и как они могли представляться иначе, когда я еще ничего не знал о них, а видел только их весело улыбающиеся лица; и в доме все производило лишь впечатление доброты, щедрости, уверенности, уюта. Таисья Степановна по-прежнему то и дело пополняла мою тарелку закусками, а Андрей Николаевич, увлеченный беседой, все чаще, слегка подтолкнув рукой в бок, восклицал: «Вы слышите, Алексей? Нет, вы слышите, чего задумал старик, а? Какой размах!» — и в такие мгновения, не в силах сразу прервать свои размышления, я удивленно тарачил на него глаза (я говорю «тарачил», хотя на самом деле, конечно, не так уж и глупо держался, а если и было что, то по молодости, от простоты душевной, от искренности, от непосредственности восприятий и чувств, чего, к сожалению, лишены мы теперь, вернее, лишаем себя сами, набираясь с годами, как думаем, ума-разума, мудрости жизни), да, я смотрел с удивлением, и, как ни обуревали меня, повторяю, приятные мысли, как ни был я во власти картин, переносивших в недалекое и счастливое будущее, я не мог не прислушаться к тому, что так восторгало начальника районного земельного отдела. Речь же шла о выведении нового сорта пшеницы, сверхзасухоустойчивого, вечно го, как назвал его Федор Федорович. Я, откровенно, в тот вечер так и не смог до конца уяснить, почему сорт именовался «вечным», в чем заключалась его особенная такая живучесть. Раскрылось это передо мною позднее, и я даже сам помогал потом Федору Федоровичу в его, несомненно, ложном, так думаю теперь, но в те времена казавшимся смелым эксперименте. Путем скрещивания пырея и пшеницы он хотел сразу достичь многих

целей: и высокой стойкости к засухам, а значит, и ежегодных урожаев, и главное — такую пшеницу сеять надо будет только один раз, а потом убирай, пускай комбайны, и все; как травы на лугу; ни пахать, ни боронить, ни бороться с сорняками; пырей своими корнями переплетет всю землю и задавит любые сорняки. Такова была идея Федора Федоровича. Как люди, изобретавшие вечный двигатель, он изобретал вечный сорт пшеницы, и наверняка его должна была постичь неудача, да и постигла — ведь когда это было? Двадцать с лишним лет назад, а где сорт? Его нет. Но дело не в этом; тогда, в тот вечер, я с изумлением смотрел на Федора Федоровича и уже не замечал ни его короткой шеи, ни оттопыренных ушей, а проникался уважением к нему, как и к Андрею Николаевичу, и благодарил судьбу, что она столкнула меня с такими людьми.

«Ты понимаешь, Федорыч,— продолжал между тем Андрей Николаевич,— если у тебя действительно получится все так, как говоришь, то ты же прославишься на всю страну».

«В славе ли дело».

«Эг-гей, ну-ну».

«Дело в стабильности, о чем тысячелетиями мечтал наш русский мужик. Стабильности урожаев. Мы должны дать колхозам такой сорт пшеницы, я имею в виду не только себя, а вообще нас, селекционеров, чтобы при наименьших затратах труда и вне зависимости от климатических условий можно было получать наивысший, а главное, постоянный и устойчивый результат».

«Да ведь это революция в сельском хозяйстве!» — воскликнул Андрей Николаевич.

«В какой-то мере, да, бесспорно. Правда, нужны годы, труд, но идея сама по себе настолько верна, что у меня никаких сомнений нет, да и вообще, стал бы я говорить, если бы хоть на секунду сомневался? Вот молодой специалист рядом,— сказал Федор Федорович.— Зерновик? — спросил он у меня и, как только я ответил, что «да, агроном по зерновым культурам», уже обращаясь сразу и ко мне и к Андрею Николаевичу, продолжил: — Спроси молодого специалиста... Скажите, молодой человек, возможно такое скрещивание? Скрещивание вообще?» — добавил он, уже глядя в упор на меня.

«Да, вполне возможно».

«Вот видишь! — теперь уже воскликнул Федор Федорович.— Вы что закончили? — тут же, повернувшись ко мне, снова спросил он.— Технику? С отличием? Нет? Но все равно у вас правильное направление мыслей. Пойдете ко мне в помощники?»

«Но-но, кадры не сманивать, мне самому специалисты нужны».

«Для выколачивания планов из председателей?— Федор Федорович усмехнулся.— Что ты еще можешь предложить ему, Андрей, если говорить прямо, а у меня дело. Живое дело, земля!»

«У всех — дело живое, у всех — земля, так что эти свои старые разговоры оставь. У тебя же был помощник, Смирнов. Где он?»

«Ты что, забыл, год как на Озерную перевели».

«Зачем отпускал?»

«На повышение, что я могу».

«А я что могу?»

«Дай, Андрей, парня на Долгушино, ей-богу, это в наших, в государственных, если хочешь, интересах».

«А сам парень что скажет, а?» — спросил Андрей Николаевич, посмотрев на меня.

«Он согласен»,— ответил Федор Федорович и тоже посмотрел на меня.

Не знаю, что подтолкнуло меня сказать «да» и произнес ли я вообще это слово или только движением головы дал понять, что согласен, но так или иначе, а судьба была решена вот так просто, неожиданно, именно в эти минуты, и, может быть, потому, что я радовался в тот вечер всему, что видел, что происходило со мной и вокруг, предложение Федора Федоровича, и мягкость и доброжелательность, с какою Андрей Николаевич проговорил: «Ну что ж, возможно, и есть здесь здравый смысл», — лишь усилили то приятное возбуждение, в каком я находился; я смотрел на Федора Федоровича уже совершенно влюбленными глазами, особенно когда он начал рассказывать о Долгушинских взгорьях, где мне предстояло теперь работать, и временами казалось, что, кроме меня и Федора Федоровича, никого нет за столом: ни Таисьи Степановны (но она и на самом деле к тому времени ушла готовить постели, потому что — гостей-то сколько! Всех надо было уложить), ни жены и дочерей Федора Федоровича (они тоже, впрочем, хлопотали где-то в другой комнате вместе с хозяйкой дома), ни даже минутами Андрея Николаевича (он несколько раз отходил к телефону); мы выпили за мое назначение, потом за новый, в е ч н ы й сорт пшеницы, и Федор Федорович с удовлетворением (теперь-то все это выглядит смешным), как будто сорт был уже выведен им, выслушивал восторженные фразы и пожелания, и еще пили за что-то, что волновало Андрея Николаевича, и он также с удовлетворением выслушивал похвалы и пожелания своего друга, а когда поднялись из-за стола — и его и Федора Федоровича женщины отводили к кроватям под руки. Для меня постель была приготовлена на полу — матрас, подушка, одеяло, — рядом с кушеткой, на которой уже спал (он захрапел сразу же, не успели потушить свет) Федор Федорович; я разделся, лег, закрыл глаза, но в сознании долго еще продолжался вечер, и все то приятное, что было пережито за день, вновь подымалось во мне, я как бы возвращался к минутам, когда полуторка остановилась на пыльной площади, а я, выпрыгнувший из кузова, стоял и смотрел на здание райзо, совсем не предполагая, что все решится вот т а к, просто, что не разъездным агрономом в отдел, а буду принят на должность помощника заведующего сортоиспытательным участком, и что, может быть, уже завтра придется ехать в Долгушино и принимать дела; я повторял мысленно: «Долгушино», — прислушиваясь к звучанию этого слова, и яснее, чем в вагоне (тогда все было отвлеченно), воображал поля, деревню, взгорья, которые, впрочем, еще только предстояло мне увидеть, но о которых я уже многое, как мне казалось, знал по рассказу Федора Федоровича. Я не спал в тот вечер и не чувствовал себя пьяным; у каждого бывают свои первые бессонные ночи; но не спал не от горя, не от тяжелых раздумий, как теперь, когда за плечами десятки прожитых лет и событий; самые радужные перспективы грезилась мне в будущей моей работе, я чувствовал себя счастливым и если испытывал беспокойство, то лишь потому, что неохватным представлялось добро, какое сделали для меня еще вчера вовсе не знакомые мне Андрей Николаевич и Федор Федорович. «Поверили, спасибо. И что я, не смогу, что ли? — рассуждал я. — Еще как смогу, вот увидите, на что способен молодой специалист. Не пожалеете, нет-нет!» — почти восклицал я, в полусумраке чуть поворачивая голову и глядя вверх, на кушетку, на свисавшее с нее к полу одеяло и торчавшие в белых кальсонах ноги Федора Федоровича; они вклинивались в квадрат оконного лунного света, так что можно было различить и желтизну мозолей на пальцах, и черноту давно не обрезавшихся ногтей, и временами, чуть отрываясь от своих дум, я действительно различал все и тогда поспешно, может быть, даже инстинктивно, отводил взгляд, чтобы не запало в память хоть что-либо, что могло бы затем нарушить уже сложившееся впечатление о Федоре Федоровиче, но временами — ни ног, ни свисавшего одеяла, ни кушетки словно вообще не существовало, а было лишь то счастливое буду-

щее, в котором мне предстояло жить и трудиться, и рисовалось оно полями, засеянными однажды вечною пшеницей, которую только молотки по осени, свози хлеб, и всё, и все сыты, довольны и счастливы. Сейчас, конечно, наивным кажется то представление о жизни, сказочным, но тогда, в девятнадцать, просто невозможно было думать иначе, потому что человек не может без мечты и грез, я имею в виду, хорошей мечты, входить в жизнь; это было бы противоестественно, так же как если птенец, должный летать, родится без крыльев; я не смеюсь над теми своими юношески-восторженными размышлениями, а жалею, что от них почти ничего не осталось теперь; именно они тогда подняли меня с постели и заставили выйти на лунный двор, а потом повели за околицу села, к реке, к тому самому месту, с которого днем я любовался огородами, полями, лесом; не то, чтобы мне не хватало воздуха, а не хватало простора в комнате, простора мыслям, которые, теснясь, бились о стены, даже как будто сдавливали мне голову почти до боли в висках и которые надо было вынести во двор, на волю, где и горизонт не был бы для них ни пределом, ни границей.

Да, верно, мы редко видим красоту летних ночей или красоту зарождающихся рассветов, но происходит это, думаю, не потому, что с годами, старея, предпочитаем по вечерам оставаться в креслах и что никто и ничто не будит нас по ночам, и, тем более, что высокие стены домов вдоль улиц заслоняют собою ту самую черту горизонта, откуда подымается утро, — нет, не годы и не стены отгораживают нас от природы; вот я сейчас, к примеру, много ездю по командировкам, а в дороге всякое бывает: и рассвет застанет в поле, в машине, и случается шагать по селу лунной ночью после «прозаседавшегося» председательского кабинета, и ожидать пассажирский поезд на открытом перроне большой ли станции, полустанка ли, и над головою синее в мерцающих звездах небо (от света фонарей оно кажется чаще черным), но когда в машине, то дремлешь, закрыв глаза и откинувшись на спинку сидения, а когда идешь по селу, все еще как бы продолжаешь жить только что закончившимся совещанием, перебираешь в уме перипетии событий, и нет ни времени, ни желания посмотреть вокруг, а на перронах — только желтые глаза паровозов и опять же замкнутые в самом себе думы, но уже о доме, жене, детях, которых не видел давно и по которым соскучился; так что — нет, не в годах и стенах дело, а в настроении, с каким смотришь на мир, в открытости мыслей, которые словно уносят тебя вперед, в будущее, разжигают воображение и делают счастливым; тогда все видится и воспринимается по-другому, представляется прекрасным и неповторимым, даже очутись в пустыне, в песках, где все голо, однообразно и скудно, откроются удивительные, которые потом уже невозможно будет забыть, краски. Я и сейчас хорошо помню, как и что было со мною, что испытывал и о чем думал, как только очутился на крыльце и за темными теперь, в ночи, новыми воротами (луна освещала лишь тесовые плашки навеса) завиднелись очертания дальних и ближних изб; подбочась как хозяин (как стоял здесь, встречая меня, Андрей Николаевич в белой рубашке и подтяжках, и я невольно, не сознавая, конечно, этого, подражал сейчас ему) несколько секунд осматривался, будто желая убедиться, все ли на месте, и в какое-то мгновение (может же вот так работать фантазия у человека!) даже почувствовал, словно все это: и залитое лунным светом крыльцо, и сарай, и наполненный пилеными чурбаками навес, и ворота, и остекленная веранда, что за спиною, — все принадлежит мне, вернее, будет принадлежать, и не это, а другое, в другом месте, там, в Долгушине, но такое же добротное, дышащее достатком, как все здесь: и в доме и во дворе; как будто эгоистичным, но на самом деле нет, не эгоистичным было это мгновенное чувство; я не хотел, разумеется, достатка только для себя, но — для всех, а вместе со всеми — и для себя, и потому не могу

осуждать и не осуждаю то, может быть, по молодости и не совсем верное чувство; оно было необходимо мне и было, пожалуй, главным и единственным, из чего, собственно, и складывалось для меня понятие жизни и счастья. Я пересек двор и вышел на улицу; затем медленно, время от времени поглядывая по сторонам, двинулся к центру села. Все то, что днем пестрело разнообразием цвета — голубые наличники, зеленая трава, белые трубы и серые до черноты тесовые крыши, — все было сейчас будто затушевано одною, где гуще, где слабее, синею краской, и трава, бревенчатые стены изб, ограды различались лишь степенью синевы, и было странно, непривычно и удивительно видеть это. Пыльная площадь, которая открылась как бы вдруг, за поворотом, показалась просторнее, шире, чем днем, и мрачная громада кирпичной церкви без куполов и колокольни теперь словно нависала над нею, накрывая почти всю ее своею густою, темною тенью. С реки же, хотя ее еще не было видно, веяло сыростью, и я помню, как то и дело ежилась и подергивал плечами, потому что шел без пиджака, в рубашке; когда очутился у обрыва, обхватил грудь руками до самых лопаток; но это не мешало мне вглядываться в бледную синь полей, что лежали на том берегу, и представлять, как заколосится на них, наливаясь зерном, тот самый вечный сорт пшеницы, который будет выведен не только Федором Федоровичем, но теперь и мною — так, по крайней мере, хотелось думать, — и ветер как будто уже доносил оттуда напоенный запахами созревшего хлеба воздух... Луна между тем опускалась к лесу, хотя до рассвета было еще далеко; я шел обратно тою же дорогой, улыбаясь мыслям, лаская взглядом все, что попадалось на глаза, и видел дом Андрея Николаевича и ворота, которые (сначала я просто не придавал этому значения) почему-то были открыты; ничего не подозревая еще, я зашагал быстрее; потом, когда услышал голоса во дворе, уже охваченный тревогой, почти побежал, думая невесть что, и, только очутившись во дворе и увидев на крыльце — он вышел, как спал, в рубашке и кальсонах — Андрея Николаевича, остановился. Внизу, у крыльца, двое мужчин снимали с брички что-то тяжелое и вносили по ступенькам на остекленную веранду.

«Таисья-то как?» — спрашивал один из них, пожилой, с густой окладистой бородой.

«Ничего, здорова», — отвечал Андрей Николаевич.

«Ну-ть ладно, не буди, обороть заеду».

«К Захарьеву сейчас?»

«А то-ть куды?..»

«О-о, агроном! — воскликнул Андрей Николаевич, заметив меня. — Ты чего не спишь? Лишнего, что ли, хватил вчера?»

Я кивнул головой.

«Ну ничего, подышать воздухом всегда полезно».

Старик с окладистой бородой и тот, что помоложе (он так и не проронил ни слова), отнесли мешок на веранду и снова появились на крыльце. Не протягивая руки, а лишь бросив Андрею Николаевичу: «Ну, прощай пока», — старик сел в бричку и взял вожжи; тот же, что помоложе, косясь на меня, пошел к воротам, чтобы, когда подвода выедет со двора, запереть их.

«Тесть приезжал, — сказал Андрей Николаевич. — Муки привез. Ну, а ты что, еще дышать будешь?»

«Нет».

«Давай тогда, подымайся».

В комнату я вошел так же неслышно, как и выходил из нее. С тем же надрывом и переливами булькающих звуков храпел Федор Федорович. Я разделся, лег, с минуту смотрел на свисавшее, как и прежде, с кушетки к полу одеяло и торчавшие в белых кальсонах (на них уже не

падал оконный лунный свет) ноги Федора Федоровича, затем отвернулся к стене, но долго лежал с открытыми в темноте глазами, то и дело слыша как будто скрип выезжавшей со двора подводы.

Час второй

На другой день рано утром Федор Федорович со всем своим семейством уехал на вокзал. Он отправлял жену и дочерей в город, к родственникам, и не только для того, чтобы повидались и погостили, но, главным образом, чтобы купили кое-что из одежды и обуви, чего не было ни в Чигиревском сельпо, ни здесь, в районном центре. Кроме того, старшая дочь Виктория собиралась поступить в педагогический институт, и это создавало дополнительные хлопоты и заботы. С вокзала Федор Федорович обещал вернуться примерно около полудня, зайти в райзо и, прихватив, как он выразился, меня, двигаться уже в Чигирево. Еще с вечера я знал обо всем этом, и все же, как только, проснувшись и протерев глаза, увидел, что кушетка пуста и даже постель убрана с нее, что-то как будто тревожное прокатилось в сознании. Мне не хотелось терять так неожиданно привалившее счастье, и хотя я верил Федору Федоровичу, но в то же время чувствовал, как в глубине души постоянно словно гнездилась боязнь (так было и вчера, когда сидел за столом, и потом, когда бродил по ночной пыльной площади), а вдруг передумает, мало ли что можно наговорить подвыпив, вдруг откажется брать, и тогда вся уже построенная в мыслях жизнь пойдет по другому, тоже, разумеется, не плохому, но все же худшему руслу. Я мгновенно вспомнил весь прошедший день, вечер, ночную прогулку, мужиков и подводу во дворе. «Отчего ночью? Тесть? Не зашел, не остался?» — и беспокойство еще сильнее охватило меня, будто все, что происходило со мной, было чем-то незаконным, что ли. «Да что может быть незаконного?» — думал я, вставая и сворачивая постель. Я еще несколько раз задавал себе этот вопрос в то утро, а проходя по застекленной веранде к умывальнику и возвращаясь затем в комнату, невольно приостанавливался и смотрел на мешок с мукой, прислоненный к стене, но то ли оттого, что начинавшийся день был ясным, солнечным и все комнаты и веранда казались наполненными теплом, светом и радостью, или, может быть, потому, что Таисья Степановна, усадившая меня завтракать, опять, как и вчера, представлялась молодой и красивой, и я не без волнения поглядывал на нее, когда она выходила на кухню, чтобы принести еще что-нибудь, чем хотела угостить, и даже краснел и смущался, когда наклонялась надо мною и столом, подавая чай, или просто оттого, что сильнее всех этих возникавших теперь неясных дум было вчерашнее ощущение близкого счастья, — не могу сказать точно, но так или иначе, постепенно ко мне снова вернулось хорошее настроение, я опять смотрел на все восторженными глазами, и все в мире казалось прекрасным и доступным, люди — добрыми, как добры Андрей Николаевич, Федор Федорович и Таисья Степановна, будущее — безоблачным, как и этот набиравший силу летний день. Именно потому — когда, попрощавшись и взяв чемодан, выходил из дома, я уже не оглянулся на мешок с мукой, словно его не существовало вовсе. Игриво сбивая носками туфель траву, я шагал по середине улицы рядом с тележной колеей, той самой, что вчера привела меня к воротам дома Андрея Николаевича и теперь вела обратно к зданию райзо, и вдруг открывшаяся за поворотом знакомая пыльная площадь, как будто дремавшая сейчас под лучами восходившего к зениту августовского солнца, кирпичная церковь чуть поодаль, на возвышении, с черной крапивою у стен, здания райкома, райсовета и другие толпившиеся вокруг площади деревянные и саманные избы, — все было словно каким-то особенным, новым и в то же время

было естественным продолжением, или, сказать иначе, составной частью того мира, каким жил я весь прошлый день, вечер и ночь. Я шурился, вглядываясь в далекое над крышами небо, и улыбался своим мыслям. К Андрею Николаевичу заходить не хотелось; я направился на то место за церковью, где сидел вчера («Что толкаться в коридоре,— вместе с тем, как бы оправдываясь, говорил я себе.— Андрей Николаевич все равно занят, а Федора Федоровича и отсюда увижу!»), и, бросив чемодан на траву и опустившись на холодный каменный приступок, принялся следить за тем, кто подъезжал и кто отъезжал от райзо. Я смотрел на понуро стоявших у привязи коней, видел, как неторопливы были слезавшие с седел люди — агрономы ли, председатели или еще какой начальственный колхозный народ, решавший в этот день в земельном отделе свои дела, но не медлительностью, не тем как будто ленивым течением жизни, как воспринимается обычно деревня, когда впервые попадаешь в нее, и не размышлениями о доме и будущей работе запомнились мне часы, проведенные у церкви; мало ли было случаев и прежде и потом, когда приходилось вот так же томиться, ожидая кого-то или что-то, и думать, расслаивая или наслаивая события; просто — сначала мне захотелось лечь на траву, и я прилег, то и дело, однако, приподымаясь и посматривая на земотделовское крыльцо, как только доносился оттуда шум голосов или шорох колес проезжавшей машины, потом принялся разглядывать нависавший над головою красный, из выщербленных кирпичей карниз церкви и небо над ним и, в конце концов, не заметил, как задремал и заснул; проснулся же словно от толчка, будто кто-то вдруг выдернул из-под меня землю; мгновенно, еще не видя ни Андрея Николаевича, ни Федора Федоровича, стоявших тут же и смотревших на меня, схватился руками за траву и только после того, как ощутил под ладонями опору, облегченно вздохнул и огляделся по сторонам... Я часто теперь думаю, что в том пробуждении было что-то символическое, и вполне согласен с вами, что человек может предчувствовать, но только не научился еще разгадывать свои предчувствия: ведь, если хотите, позднее они действительно-таки вырвали из-под меня землю: и Федор Федорович отчасти, и главным образом Андрей Николаевич (коль забегать вперед, скажу, что не только они, а прежде всего бородатый тесть, что привозил ночью муку, со своим сыном — бригадиром Кузьмой), но лучше все же по порядку, как было; они стояли и улыбались, особенно Андрей Николаевич, а я, теряясь и краснея, поправлял смятую рубашку и пиджак и отряхивался перед ними.

«Тося звонит: «Вышел!» А его нет,— говорил Андрей Николаевич.— Час, второй, его все нет. Евсеича за ним, найти не может. А он, оказывается...»

«Ничего, с кем не бывает»,— вставил Федор Федорович.

«Ну-ну, а в общем, собирайтесь, машина ждет. Берите чемодан, пошли».

У крыльца земотдела стояла груженная еще на станции, в тупиках, ящиками с запасными частями для тракторов эмтээсовская полуторка, шофер был недоволен, что приходилось ждать, и еще до того, как мы подошли, только завидев нас, достал из-под сиденья ручку и принялся молча и сосредоточенно заводить мотор. Федор Федорович сел в кабину; мне же нужно было лезть в кузов, и я, перебросив через борт чемодан, долго затем выбирал место среди ящиков, чтобы устроиться поудобнее. То, о чем говорили между собою прощаясь Андрей Николаевич и Федор Федорович, я не слышал; я чувствовал себя неловко оттого, что заснул и заставил начальника райзо и заведующего сортоиспытательным участком искать себя, считал, что они теперь, разумеется, разочарованы и не могут с прежней доверчивостью и добротой относиться ко мне, и обрадовался, когда Андрей Николаевич, пройдя вдоль борта, вдруг, привстав

на колесо и приподнявшись, протянул мне руку. В глазах его не было насмешки; как и вчера, он смотрел спокойным и приветливым взглядом, и той как будто слегка иронической улыбки, что заметно светилась на лице там, у церкви, сейчас тоже не было; и в голосе, каким он произнес: «Ну, Пономарев, желаю удачи. Он (при этом посмотрел в сторону кабины) знает дело, но все же, если что, приезжай ко мне, чем можно будет, всегда помогу, во всяком случае, советом. Ну, счастливо!» — в голосе тоже, казалось, не прозвучало ни одной ложной нотки; он так искренне стиснул в своей широкой ладони мои пальцы, что и теперь, видите, помню это пожатие. Для меня оно тогда было добрым и нужным знаком, потому что много ли надо человеку (я имею в виду — в том юном возрасте), чтобы успокоиться и снова поверить в счастье? Я не знал, что ответить Андрею Николаевичу, и только смущенно кивал, благодаря его и за вчерашнее гостеприимство, и за эти сердечные слова, а потом помахал рукой, когда машина уже удалялась по площади. «Нет, нет,— думал я,— кто бы что ни говорил, а мне повезло: и с Андреем Николаевичем, и с Федором Федоровичем. Вечный сорт пшеницы... нет-нет, мне повезло, и крупно, и... никто еще не знает, как мне повезло!» — продолжал я, когда Красная Дюбинка была уже далеко позади и вдоль дороги, как бы теснясь к ней, стыли в лучах чуть перевалившего зенит солнца желтые с прозеленью, только набиравшие зрелость хлеба. До самого Чигирева тянулись эти поля пшеницы, поля — до горизонта, местами лишь иссеченные черными полосами чистых паров или такими же черными издали рощами, и, знаете, для меня и сейчас нет более привлекательной и волнующей картины, более естественной и в то же время созданной человеком, чем эта — хлеба! хлеба! — я не могу равнодушно смотреть на гигантский человеческий труд и снимаю фуражку и склоняю голову, как пшеница колос к земле, когда останавливаюсь у кромки поля; и мне кажется, что именно тогда, в тот день, сидя на ящиках в кузове эмтэсовской полуторки, я впервые, представляя себя стоящим возле шелестевших хлебных полей, мысленно снял фуражку и склонил голову перед ними. Мне понравилось и небольшое, как бы стекавшееся избами к пруду Чигирево, и все пять дней, пока жил у Федора Федоровича и пока он знакомил меня с участком и делами (в основном, учил, как вести записи в разлинованных карандашом на графы тетрадах, которые были заведены на каждый испытывавшийся для районирования сорт), все та же, будто какая-то неумная радость жизни охватывала меня. Но, разумеется, радость эта жила лишь в душе, я ничем не выказывал ее; она была для меня тем самым миром, какой, как вы говорили, Евгений Иванович, носит в себе каждый человек, и я берег этот мир, боясь, что если открою хоть кому, пусть Федору Федоровичу, то все исчезнет, рухнет, а жить без ожидания и надежды на счастье все равно что стоять нагим перед взвращающей на тебя толпой; да, именно это чувство, и я говорю с уверенностью, потому что испытал его, познал горечь — нет, не отвергнутую любви к женщине или неразделенной, что ли, а любви к земле, работе, людям. Конечно, я не мог тогда предвидеть, что произойдет со мной, поэтому радовался про себя, тихо, так что Федор Федорович даже как-то заметил:

«А вы, однако, неразговорчивы, молодой человек».

«Разве?»

«Молчаливы, сударь. Молчаливы, государь!»

Контора испытательного участка, складские помещения, где хранилось сортовое зерно, небольшая конюшня с тремя колхозными лошадьми, закрепленными за Федором Федоровичем, семенной амбар, где женщины-колхозницы с ранней осени и до самой глубокой весны беспрерывно крутили триер, навес, где зимою хранилось сено, а летом — перевернутые вверх полозьями сани, жилия изба, где обитало

семейство Сапожниковых (ни одной ночи я не ночевал в этой избе, а уходил под навес, где оставалось еще немного прошлогоднего сена и куда приходил по вечерам сторож Никита с незаряженной старой двустволкой и старой овчинной шубой, в которую заворачивался под утро), — все это размещалось в одном дворе и чем-то напоминало наше техникумовское учебное хозяйство, где мы обычно проходили производственную практику и где все казалось ненастоящим, уменьшенным, домашним, своим; может быть, это плохо, но, может, как раз и было хорошо, что я попал в словно знакомую мне обстановку и не надо было особенно приглядываться и подстраиваться; Федор Федорович (как и наш управляющий учхозом) собирал по утрам женщин посреди двора и, прохаживаясь между ними, распределял, кому куда идти и что делать, называя при этом всех не по именам, а только по отчеству: Кузьминишна, Борисовна, Андреевна, и, когда женщины расходились, приказывал Никитину внуку Мише запрягать уже почти беззубого серого мерина, мы садились в телегу и медленно, словно на волнах, через все Чигирево ехали к участку. Тетради для научных записей и складные, собственной конструкции, как в первый же день не без гордости объявил Федор Федорович, стол и стул лежали тут же, в телеге. Теперь мне кажется: двигалось солнце, двигались мы; и разговор между нами был такой же медлительный, степенный. «А ты знаешь, Алексей, — начинал каждый день почти с одной и той же фразы Федор Федорович и, как только я произносил: «Что?» — сейчас же продолжал: — В чем заключается главный смысл нашей агрономической науки? Нет? Главный смысл ее в том, чтобы запечатлеть на бумаге вековой опыт мужика. Возьмем хотя бы, к примеру, севообороты. Разве мужик не давал отдыхать земле? Давал. И я уверен, если копнуть, если взяться за изучение как следует, засучив рукава, да по всей России, то наверняка можно обнаружить примеры не только этой неоправдавшей себя, как теперь считают, трехполки. На моем веку — это тоже, я заметил, было его любимым выражением, — сколько я живу и вижу, не было еще такого научного открытия в сельском хозяйстве, разумеется, которое не имело бы своего корня в мужицкой практике земледелия или, по крайней мере, не жило в крестьянских умах как желанная, но несбыточная мечта». Он разговаривал, в сущности, один, не умолкал до той минуты, пока Миша громким «тпр-р-ру» не останавливал мерина перед делянками пшеницы, но и потом, когда уже сидели за столиком и вписывали в тетради результаты наблюдений, Федор Федорович вдруг отодвигал карандаш и снова начинал говорить, и, как бы ни казались мне теперь скучными его рассуждения, в те дни я слушал их с интересом; даже в этом замедленном темпе жизнь представлялась мне тогда быстрой, я не заметил, как промелькнула отведенная для знакомства пятидневка, и вот — веснушчатый внук сторожа Никиты уже запрягал беззубого мерина не для поездки на поле, а в дальнюю дорогу, в Долгушино, к месту моей работы, и утро это и день мне так же запомнились, как и часы, проведенные в Красной Дóблинке в доме Андрея Николаевича. Мне было и радостно, и в то же время грустно уезжать из Чигирева. Радостно в том смысле, что я получал наконец самостоятельную работу, в которой, я думал, и ритм будет другой, и размах, и безграничные возможности, только используй, а на это, я чувствовал, имелись у меня и силы, и желание, а грустно потому, что жаль было расставаться с Федором Федоровичем, который казался теперь еще более добрым, умным и порядочным человеком.

Мы ехали долго. Может быть, оттого и пошло название той небольшой деревеньки — Долгушино, что путь до нее кому-то вот так же когда-то показался долгим? Даже разговорчивый Федор Федоро-

вич временами смолкал, и тогда было слышно, как ступает копытами по не очень наезженной, с высокой травой по бокам колее старый мерин и скрипит всеми своими деревянными и железными суставами не менее древняя, чем мерин, телега. Теперь, конечно, трудно увидеть на селе такую картину; и дороги не те, да и по проселкам тоже все больше снуют машины, и нет, наверное, бригадира, который бы не имел мотоцикла, а тогда — вот так будто тихо, не спеша, на лошадке, двигалась жизнь, но, я еще раз хочу подчеркнуть, не было ощущения медлительности и покоя, и происходило это, вероятно, потому, что темп жизни никогда не определяется внешним движением, а заключен в людях, в тех чувствах и мыслях, какие обуревают нас, в целеустремленности и желании творить доброе, вечное; я почти с благоговением смотрел на Федора Федоровича, потому что именно он представлялся мне тем самым творившим доброе, вечное человеком (растить хлеб, разве это не доброе и вечное?), каким я хотел видеть себя и что считал наивысшей мерой и смыслом жизни. Да и в самом деле, как я мог не волноваться и не устремляться мыслью на годы вперед, когда как бы сама собою раскрывалась передо мной перспектива будущих дел — здесь, на этой земле, на этих взгорьях, уже теперь сплошь покрытых желтеющей на солнце пшеницей. «Хм, вечный сорт, — про себя говорил я, — но ведь и это не предел. Можно придумать еще что-то, что приподымется и над этим вечным сортом!» — и от одной только думы, что все возможно и нет ничему предела, радостью охватывалось сознание, и я чувствовал, как словно все во мне наливалось силой. Я спрыгивал с телеги, шел по обочине; затем снова садился рядом с Федором Федоровичем. «Да скоро ли деревня?» — спрашивал я себя в нетерпении и вглядывался в даль, не появятся ли за увалами и остистой кромкой хлебов привычные уже глазу контуры соломенных крыш (как в Чигирево, отчасти и в Красной Дюбинке), но впереди ничего не было видно. Открылась же взгляду деревня неожиданно. Она лежала в низине, подковкой, притулившись к заросшей тальником речке, и еще более, чем Красная Дюбинка и Чигирево, показалась мне живописной и уютной. Я думаю, умели же наши предки выбирать места для жилья! Дорога, словно пригибаясь под тяжестью подступавшего к ней пшеничного поля, спускалась наискосок по склону к одинаковым теперь издали избам, и мне хотелось сказать нашему кучеру Мише: «Стоить!» — выйти на обочину и хотя бы с минуту полюбоваться всей открывшейся панорамой засеянных хлебами взгорий, но я сдерживал в себе это желание, подавлял, как и все эти дни подавлял представляющуюся неуместной и мальчишеской радостью, боясь, что у Федора Федоровича вдруг возникнет мнение, будто я несерьезный, невыдержанный человек; я даже, по-моему, переигрывал в этом своем старании скрыть возникавшие чувства, глядел на все сощурившись, и только, может быть, потому, что для Федора Федоровича уже привычным было мое молчание (но, думаю, скорее всего, свесив с телеги ноги, и наверное, свои, радостные ли, нерадостные мысли одолевали его), он не заметил моего «мрачного» вида; когда телега, протарахтев по бревенчатым ребрам деревянного моста, начала втягиваться в широкую долгушинскую улицу, как ни в чем не бывало (словно и не ехали мы последние полчаса молча), посмотрел на меня и сказал:

«Ну вот и прибыли, Алексей».

Да я и сам видел и понимал, что прибыли, и оттого, что деревня понравилась мне еще издали, но она не могла не понравиться, потому что в том возбужденном состоянии, в каком я находился, куда бы ни приехал (дело тут не в Долгушине), одинаково радовался бы кра-

соте того места, где предстояло жить и работать; и еще более от сознания, что все эти пизкие с завалинками избы, жердевые ограды с росшею вдоль крапивой, палисадники с кустами давно отцветшей сирени станут мне такими же близкими, как и та городская улица, двор и дом, где я родился, рос и где теперь еще ничего не ведавшие о моем счастье жили своей обычной, будничной жизнью братишка, сестренка и мать («Может быть, сегодня они уже получили письмо», — мечтательно думал я, представляя, как огрубевшие материны руки, чуть подрагивая, разрывают конверт), словом, от всех этих навалившихся впечатлений я снова и снова волновался и, чтобы не выказывать этого волнения Федору Федоровичу, продолжал хмуриться и то и дело, словно загораживаясь от яркого солнца, прикрывал ладонью глаза. Я многое уже знал о Долгушине, так как Федор Федорович каждый день исподволь подготавливал меня к жизни и работе в этой деревеньке, рассказывал и о здешних землях, и о людях, и даже о том, что за десять с лишним лет, как он сам знает Долгушино, кого бы ни назначали бригадиром, мужчину или женщину, неизменно верховодил всем в деревне старый и молчаливый мужичок, себе на уме, Степан Филимонович Моштаков. «Сейчас-то бригадиром его сын, Кузьма, так что полегче, спору нет, все заодно, а бывало, э-э, как бывало: пустит волну по избам, и — стучись, не стучись, ничем никого в поле не выгонишь, а с него какой спрос? Ухватить не за что, а фундамент бетонный: инвалид гражданской войны, до самого Байкала Колчака гнал. Но... это ведь я так, к слову. А в общем, он здравый старик, знаете, как это раньше говорили, на правде стоит, и тут хоть что, не уступит. С кем-кем, а с ним не ссорятся. И председатель с ним считается, да и Андрею Николаевичу он же — тесть!» Может быть, если бы не это заключительное «тесть», что сразу напомнило мне ночной двор, телегу и бородатого старика, вносившего мешок с мукой на застекленную веранду, я бы не обратил особого внимания на слова Федора Федоровича и не насторожился; но я не стал говорить ему, что уже видел этого «мужичка себе на уме», бородатого тестя начальника райзо, потому что — да, собственно, почему я должен был подозревать в чем-то Андрея Николаевича или того же, пока еще вовсе не знакомого мне Степана Филимоновича Моштакова? «Бред, чепуха, глупость», — говорил я себе и теперь, когда ехали по широкой долгушинской улице, может быть, и не вспомнил бы ни о чем, если бы Федор Федорович вдруг, чуть подтолкнув локтем, не показал бы на избу Степана Филимоновича и не проговорил бы при этом: «Видишь, как прочно, вся корнями в земле». Низкая, как, впрочем, и другие, соседние избы, она действительно казалась вросшей в землю; впечатление это усиливалось еще тем, что прямо от избы, занимая собою почти половину двора, тянулся тоже старый, под соломой, с потрескавшимися бревенчатыми стенами сарай (это была, как я потом выяснил, конюшня, где отстаивались пригоняемые на лечение к Степану Филимоновичу кони, в основном председательские, из разных, даже отдаленных деревень, и в основном со сбитыми от седел спинами); в остальном же — жердевые ворота, изгородь, ставни, келая с поржавевшей проволокой, отбивавшей палисадник от дороги — все было как у всех, ничем не выделялось, не выпирало ни заметным достатком, ни скудостью. «Врос корнями, ну и что ж, это и хорошо, что врос», — про себя проговорил я. Веснушчатый внук сторожа Никиты между тем подворачивал уже телегу к дому Пелагеи Карповны, овдовевшей в войну солдатки, о которой, так как она, по выражению Федора Федоровича, была здесь, на Долгушинском испытательном участке, всему голова, я тоже уже много знал: и что она исполнительна, может вести на худой конец даже записи в тетрадах, и что живет с дочерью, три-

надцатилетней Наташей, и что по договору сдает комнату сортоучастку под контору и лабораторию, конурку, как, уточняя, заметил Федор Федорович, и что в конурке этой, собственно, обитали все мои предшественники (последний, Смирнов, вместе с женой и ребенком), и что теперь придется в ней жить мне.

«Пока не оженят»,— добавил он в шутку.

«Да что вы, Федор Федорович».

«А что? Не зарекайтесь, ваше дело молодое, а я бы и рад, опять же, корни».

«Об одних с осуждением: корни в земле,— подумал я, посмотрев на Федора Федоровича, приготовившегося уже слезать с телеги,— а другим: встань корнями!» Даже тогда, видите, я заметил эту противоречивость, хотя и не вполне понимал, какой смысл был заложен в его словах; теперь-то знаю — Федор Федорович правильно чувствовал жизнь и людей, но тем неожиданней и необъяснимей представляется, как он повел себя, когда пришлось лицом к лицу столкнуться сначала мне, затем во многом и ему со Степаном Моштаковым; он как бы вдруг сделался неузнаваемым, словно ничего не слышал и не видел, жил за глухой стеной, но об этом позже; через двор и сенцы мы вошли в избу; Пелагеи Карповны в комнатах не было.

«Может быть, на огороде»,— высказал предположение я.

«Это вы... что двери открыты?»

«Да».

«Здесь вообще дверей не запирают. Брать нечего,— с усмешкою добавил он.— А если серьезно, то кто же в это летнее время в деревнях дома сидит? Дочь, может, и на огороде, но хозяйка, конечно же, в поле. А заехали мы сюда по пути, все равно мимо едем, да и комнату вашу заодно посмотрим».

Федор Федорович открыл боковую дверь, и мы, переступив через высокий порог, очутились в маленькой с одним квадратным оконцем комнате. Думаю, что сейчас комната показалась бы мне убогой, неуютной и я бы, наверное, возмутился: «Куда вы меня привели!» — но тогда, сами понимаете, мне нравилось решительно все, я не думал об удобствах; я подошел к сколоченной из досок кровати и потрогал ладонью жесткий, набитый соломой матрас («Наше имущество,— заметил Федор Федорович,— можете пользоваться»), оглядел столик и табуретку, что стояли у окна, и полки вдоль стены, на которых валялись покрытые пылью старые тетради и снопики колосков разных сортов прошлогодней пшеницы, и, так как вид у меня был мрачный (я преждемуд, чтобы не выказывать мальчишеской радости, хмурился), Федор Федорович, желая подбодрить меня, проговорил:

«Ничего, на окно Карповна занавесочку повесит, все здесь приберет, она женщина аккуратная, все будет хорошо».

«Конечно»,— подтвердил я.

«Хоть такая, а комната, тепло, и крыша над головой. А поди-ка сейчас там, где прокатилась война, на Смоленщине, Брянщине...»

«Да, конечно, Федор Федорович».

Когда мы вышли из избы, во дворе, почти перед самым крыльцом, стояла худенькая девочка, которую Федор Федорович тут же назвал Наташей. Она окучивала в огороде картошку и, увидев, что к воротам подъехала подвода и что кто-то поднялся в избу, пришла посмотреть кто и теперь, узнав Федора Федоровича, улыбалась ему из-под завязанного матрешкой платка. На плече она держала тяпку с длинным и неровным черенком.

«Где мама, Наташа?» — спросил Федор Федорович.

«В поле. Васильки по пшенице полезли, так она...»

«На каком поле? За балкой? Или тут, за током?»

«Говорила, за током».

«Ага, ну понятно, поехали, Алексей».

Сказав это, Федор Федорович зашагал к телеге; я же еще, может быть, несколько мгновений, не двигаясь, смотрел на Наташу. Я не знал, разумеется, тогда, что передо мной стояла будущая моя невеста и жена, а смотрел только потому, что улыбающееся личико ее, густо усыпанное веснушками, показалось каким-то будто особенным, не похожим на все другие, что я видел прежде; мне так и сейчас кажется, что было в Наташе, в той ее улыбке, в слегка удивленном выражении детских глаз, во всем облике, как она стояла, босая, в стареньком, перешитом с материнского плеча ситцевом платье, что-то особенное, хотя что именно, сказать не могу. Но, может, ничего особенного и не было, а все я придумал позднее, спустя много лет, когда однажды вдруг встретил ее, уже студентку педагогического института, у себя в городе и, пораженный встречей и тем, как выглядела Наташа (веснушек на лице ее уже не было), целый вечер затем думал о ней и вспоминал Долгушино, и вот тогда-то впервые пришло мне в голову: «Так ведь еще там... конечно же, было в ней что-то особенное!» Но что? Может быть, мир доверчивости и простоты, какой живет в детях и какой был в Наташе особенно заметен, щедро светился в глазах, улыбке, даже в веснушках и в том, как подвязан платок? Мир этот, светясь, делал и ее и все вокруг одухотворенным и прекрасным, во всяком случае, так мне казалось, и это, наверное, естественно, потому что — ведь вам тоже все представлялось одухотворенным и прекрасным, там, в только что освобожденных Калининских, когда вы сидели рядом с Ксенией и чувствовали ее доброту; может, в этом и есть разгадка, что я тоже, как и вы, прикоснулся к счастливому и доверчивому Наташину миру, и потому-то на мгновение задержался возле нее? На лбу ее, на щеках, у губ проступали маленькие капельки пота. Я ничего не сказал ей, прошел мимо и лишь у ворот задержался и оглянулся: Наташа все еще стояла посреди двора, держа на плече тляку, и смотрела на нас; веснушчатое лицо ее, затененное козырьком платка, казалось коричневым.

«Славная девочка», — проговорил Федор Федорович, словно улавливая мои мысли.

Я лишь согласно кивнул головой, потому что мне действительно все казалось прекрасным: и Федор Федорович, и широкая долгушинская улица, и серый мерин, тащивший телегу, и оставшаяся за жердевыми воротами, во дворе, худенькая Наташа, и я снова благодарил судьбу, радуясь в душе такому неожиданно счастливому началу. «Ночь, две, десять, месяц не буду спать, но покажу, на что я способен», — думал я. От волнения ли, или оттого, что мне и в самом деле надоело сидеть в телеге, я спрыгнул и пошел по обочине, приотставая и оглядываясь; когда поднялись на взгорье, на виду у работавших на току людей (ток еще только готовили к приему зерна) я стоял и смотрел на опять казавшиеся издали одинаковыми избы Долгушина, охватывая взглядом сразу всю подковкой жавшуюся к излучине реки деревеньку, и, повернувшись, смотрел на едва различимые сверху деланки сортовой пшеницы, к которым уже подъезжала телега с Федором Федоровичем, и я не помню в своей жизни другой такой минуты, чтобы еще когда так сильно испытывал чувство хозяина и чтобы казалось, что весь мир, отзывчивый и добрый, лежал вот так у моих ног.

Я люблю Долгушино; день за днем эта небольшая, всего в тридцать дворов деревенька открывала для меня то часто незаметное со стороны, глубинное течение крестьянской жизни, где труд, веселье, заботы и радости не замыкаются отдельно в каждой избе и не отгоро-

жены межами от соседних сел и деревень, а лежат в русле общей жизни народа, как его неотъемлемая часть; несмотря на отдаленность, оторванность и казавшуюся глушь, несмотря на обозримую как будто узость цели — определить для районирования (и того меньше: лишь для этих взгорий) сорт пшеницы, — я не только не чувствовал эту, если так можно сказать, узость, но, напротив, и в себе, и в окружающих, в долгушинских колхозниках, видел лишь широту и щедрость, и жил сам их думами — «Для общего блага!» — и вставал до зари, и ложился за полночь, и ни секунды не колебался, что делаю то, что должен делать на земле каждый человек. Вместе с чашкою парного молока, еще отдающего живым теплом и пахнущего травами низинных приречных лугов, той самой чашкою, что ставила передо мной Пелагея Карповна, вместе с ломтем серого, печенного на поду хлеба, который тоже, казалось, дышал запахами полей, ветра, солнца, входила, вливалась в мою комнату, превращаясь в радостное чувство, жизнь, и все представлялось удивительным, необыкновенным и в то же время простым, как счастье; я не могу забыть тех дней и, наверно, умру с ощущением того, что они уже неповторимы и безвозвратны, как безвозвратно ушедшее время. Мне нравилось смотреть, как втягивалось по вечерам в деревенскую улицу стадо, неся над собою легкое облачко пыли, и, вместе с тем, как, растекаясь по дворам, таяло стадо, оседало и таяло пыльное облачко, а в быстро опускавшихся сумерках зажигались огоньками летние печки, и белый кизячный дым, как предвечерний туман, стелясь над капустными грядками и картофельной ботвой, спускался по огородам к реке, к темному силуэту старой, с замшелыми дощатыми стенами мельнице; по мосту в село, плюясь синими кольцами и оглушая окрестность гулом и лязгом, вползал трактор с прицепной тележкой, а следом, уставшие за день, понуро тянули арбу волю, и словно в противоположность этому замедленному темпу (как нащупанный на руке пульс), неожиданно, как он всегда любил, на рысях въезжал в деревню на резвом рыжем жеребчике бригадир Кузьма; за околицей, в поле, он ездил обычно тихо, не запаривая коня, но едва только равнялся с первыми избами, вскидывал в воздух плеть и, чуть привстав на стременах, пускал коня рысью, иногда в намет, и не для того, что так было нужно, а чтобы, как я теперь думаю, выказать лихость и подчеркнуть свою пусть маленькую, всего лишь бригадирскую, но власть над людьми. Как раз напротив своей избы он на ходу соскакивал с мягкого, лоснившегося кожаными подушками казачьего седла и, стоя посреди улицы и расставив ноги, смотрел, как рыжий жеребец, позвякивая пустыми стременами, все той же рысью или наметом мчался дальше, на противоположный конец Долгушина, к бригадирской конюшне, где конюх, одноногий Ефим Понураин, уже открывал для него лишь недавно залатанные лозою плетеные ворота двора. Я наблюдал это каждый день, чувствуя и медлительность, и пульс, и вместе с подростками и засидевшимися в девках невестами, как будто уже и меня привычно тянуло на звук гармонии, по лунной стезе шагал к запруде и старой мельнице, где луг и дощатая стена были и кинотеатром, и клубом, а проще — тем местом, где до полуночи пелись частушки и лузгались семечки; когда приезжала кинопередвижка, то белый экран натягивали прямо на дощатую стену, и тогда к мельнице сходилась почти вся деревня; электрических фонарей не было; не было и телеграфных столбов; это ведь теперь не найдешь села, где бы не горели яркие лампочки, а тогда, после войны, в тысячах деревень, в том числе и в Долгушине, только мечтали об этом, и единственным ночным фонарем на лужайке была луна, круглая, большая, как она мне запомнилась, она обычно как бы катилась по гребню старой, полусгнившей мельничной крыши. Но для

веселья, как, впрочем, и для жизни, важно не освещение, а душевный настрой, тот самый мир — я опять вернусь к вашему термину, — какой переполняет тебя в данную минуту и как бы изменяет вокруг формы и краски; то грубое и невзрачное, что при ярком свете бросалось бы в глаза, ступшеывалось, терялось, сливалось в одну ласкающую взгляд и отнюдь не холодную, но приятную, теплую лунную синь, и в этой сини лица девушек и ребят казались какими-то будто другими, чем днем, красивыми, даже голоса как будто звучали незнаваемо, и я каждый раз возвращался в дом Пелагеи Карповны возбужденным и довольным тем, как складывается жизнь. «Ну и что ж, — рассуждал я мысленно, — что мать вместе с братом и сестренкой отказались приехать? Может быть, они и правы, жить им все равно сейчас негде, а деньги я высылаю и буду высылать, пока... пока не женюсь», — с ухмылкой добавлял я, вспоминая при этом слова Федора Федоровича. В какие-то дни (в ту же первую осень и зиму) я серьезно подумывал о женитьбе и даже приглядывался то к тихой, всегда державшейся скромно дочери Ефима Понурина Людмиле, провожал ее, а зимой, когда конюх заколол бычка и я был приглашен на пельмени, сидя рядом с Людмилой и посматривая (как и вы на Ксеню) на ее серые, но почему-то не серебрившиеся волосы (хотя над столом также висела керосиновая лампа), готов был сделать предложение, но не сделал ни в тот вечер, ни потом, и не от нерешительности, а оттого, полагаю теперь, что хотя она и была хороша собой, но выглядела уж слишком застенчивой среди других долгушинских девчат. То как бы манила своим веселым нравом бригадная учетчица Нюра, светловолосая, с круглым, как у Тайсы Степановны, лицом (она была родственницей Моштаковым, потому и похожа на Тайсю), не раз я провожал и ее, но и это увлечение закончилось, в сущности, ничем, и опять же не от нерешительности, а просто однажды я застал ее на току, за ворохом мякины, обнимающуюся с каким-то приезжим городским шофером, который по наряду возил колхозное зерно на элеватор. Подумывал и о дочерях Федора Федоровича (породниться с таким человеком было желательно и лестно; да и сам Федор Федорович, как теперь, вспоминая подробности, разумею, не только был не прочь отдать за меня любую из своих трех дочерей, но хотел этого, особенно в первую осень и зиму, потому-то и приглашал часто к себе, а когда приезжал в Долгушино, непременно привозил с собой либо Викторию, либо среднюю, Клашу, либо самую меньшую, которой, впрочем, шел уже восемнадцатый год, Фросю), но в то время, как издали можно было еще смотреть на них, вблизи, рядом, короткошени и ушастые, как отец, они казались некрасивыми, и я невольно отворачивался или опускал глаза. Были и еще девушки, что так или иначе привлекали внимание, и только Наташа, худенькая и остроглазая дочь Пелагеи Карповны, даже отдаленно не вызвала никаких подобных мыслей, я смотрел на нее как на маленькую девочку, и нравилась она мне только за живость того по-детски наивного ума, какой всегда бывает привлекателен для взрослых своей простотой и ясностью; мне было приятно, когда она входила в мою небольшую комнату, садилась за стол у окна и помогала пересчитывать колоски и зерна и вязать снопики. Я говорил ей, показывая колосок и глядя на улыбающееся юное личико, на узкую полоску белых зубов под розовой губою:

«Это — Эритросперум, II».

«Я знаю».

«А это — Мелянопус, 28».

«Я знаю, дядя Петя говорил».

Дядя Петя был тот самый мой предшественник, которого перевели работать заведующим на Озерный сортоиспытательный участок.

«А вот — Остистая, 103».

«Знаю, из твердых сортов, макароны делают».

«Да ты все знаешь! Прямо-таки агроном! Хочешь быть агрономом?»

«Нет».

«Почему?»

«Не знаю».

«А кем ты хочешь быть?»

«Не знаю,— снова отвечала она.— У вас два зернышка упали!» — восклицала она и тут же лезла под стол искать эти упавшие зерна.

Иногда она вдруг прерывала разговор словами: «А мама сегодня вареники с картошкой и луком обещала»,— и в голосе ее при этом было столько откровенной детской радости, столько счастья, что оно, казалось, переливалось через край, и бывал ли я голоден, или сыт, но этот ее маленький детский мир счастья как бы проникал и в меня, и я тоже незаметно для самого себя начинал жить предвкушением чудесного ужина, когда Пелагея Карповна, поставив на стол дымящиеся вареники, скажет свое обычное: «С подсолнечным? Или со сметаной?..» Я ведь и теперь, может быть, в память тех долгушинских пиршеств, временами прошу жену сделать на обед вареники с картошкой и непременно с луком, чтобы — по-деревенски, но никакой радости, разумеется, не вспыхивает на лице Наташи (я не знаю, в каком свете ей вспоминаются те детские дни), а напротив, даже будто недовольно она говорит: «Ты серьезно? Ну хорошо, сделаю». Когда же все бывает готово, стоит на столе и мы всем семейством сидим вокруг,— сквозь тот самый пар, исходящий от вареников, как сквозь дымку, я вижу то ее счастливое выражение и, знаете... Но — я опять забежал вперед? Я люблю Долгушино; но не только за эту видимую радость, какую испытывал, день за днем как бы втягиваясь в ритм приглушенной деревенской жизни, и не только за те изумительные закаты, которыми можно восхищаться, лишь будучи в поле, когда вся даль до горизонта перед тобою словно вот, на ладони, и по сжатому клину, по колкой, торчащей, как ежик, стерне, как от зеркальца к зеркальцу, от золотистого стебелька к стебельку бегут к ногам, слабея и растворяясь, багрово-красные, выплеснутые где-то на самом гребне взгорья краски приближающейся ночи, или рассветы, прохладные осенние утра, когда над током еще будто стоит сухой хлебный дух минувшего знойного полдня, но уже холодными сырыми струями течет с низин над оголенной черной землей предвещающий ранние заморозки воздух, и все: брезенты на бунтах зерна, отвейный ворох мякины, черенки лопат, ведра, капоты и стекла ночевавших машин и та самая золотившаяся с вечера стерня,— все как бы отпотекает, покрывается капельками росы, и тогда лучше не сворачивай с тропинки, потому что ноги сейчас же будут мокрыми и придется снимать ботинки под насмешливыми взглядами принявшихся уже перелопачивать зерно женщин и затем сушить носки (как это было со мной),— нет, не только за это, что можно вот так разом обзреть, но, главное, за тот постоянный душевный настрой, за мысли и чувства, наконец, за то беспокойство, не за себя, а за общее дело, какое постоянно рождалось и жило во мне, поднимало чуть свет с постели и уводило в поле. Сперва это были, как я бы назвал их теперь, должностные заботы. Я ездил в МТС и затем договаривался с бригадиром Кузьмой, чтобы вовремя, пока еще не начал осыпаться хлеб, прислали на делянки комбайн, и объяснял, хотя все и без меня давно знали («Ваши делянки вот где у нас, на шее»,— говорили мне в МТС; те же слова повторял и Кузьма Степанович), как важно не потерять ни одного зернышка, потому что только тогда можно определить, какой сорт лучше растет и дает

большие урожан на здешних землях; потом надо было следить, чтобы каждая делянка убиралась отдельно, отдельно взвешивалось зерно и складывалась солома, и это отнимало уйму времени, так что в самый разгар страды я даже ночью не уезжал с тока, а когда все было сжато, провеяно и свезено, явились новые хлопоты — вспашка под зябь, разбивка делянок и сев озимых, и опять надо было, уже по дождю, по слякоти, мчаться в МТС, а затем к бригадиру, Кузьме Степановичу, кланяться ему в ноги и просить трактор с плугом и прицепную сеялку. И в довершение ко всему — однажды в полдень (первой увидела его Пелагея Карповна; она сказала, разогнув спину: «Вона, комиссия жалует!») на телеге, которую привычно тащил все тот же неизменный серый мерин, приехал Федор Федорович; но на этот раз он не стал проверять глубину заделки семян; когда я подошел к нему, чтобы поздороваться и доложить, что сделано и что еще предстоит сделать, он, весело кивнув в сторону телеги, сказал: «Ну, принимай!» — и сам первым взялся за углы наполненного под завязку зерном мешка. Это был тот самый вечный сорт пшеницы, над выведением которого работал Федор Федорович. Признаться, к тому времени, занятый своими хлопотами, я как-то забыл об этом некогда поразившем меня, смело задуманном эксперименте, да и Федор Федорович все эти месяцы молчал, и вот, вдруг — я стою возле развязанного мешка и перебираю зачерпнутые в ладонь тощие, словно пересушенные красновато-коричневые зерна.

«Н-ну?»

«Это же здорово!»

«Посмотрим, посмотрим...»

«Просто не хватает слов сказать, как это здорово!»

Такой ли, или, может быть, другой, лишь похожий на этот, состоялся тогда у меня с Федором Федоровичем разговор, я поздравлял и восторгался, видя, что это нравилось ему, хотя восторгаться, собственно, было еще преждевременно и нечему; чтоб вы уж знали — только всходы и появились хорошими, и делянка с вечным сортом пшеницы ушла под снег, в зиму, радуя своею буйною зеленью, но весной словно кто заколдовал ее: так и не пошла пшеница в стрелку, и я разочарованно смотрел на заросшую будто травой полосу, и Федор Федорович тоже был разочарован и расстроен, хотя и говорил: «Ничего, не все сразу, начнем сначала. Начнем и завершим!» И он действительно, по-моему, начал потом все заново, но только точно сказать не могу, потому что к тому времени я уже уехал из Долгушина; а с осени, что ж, повторяю, все было торжественно, и Федор Федорович сам встал за сеялку, когда трактор первым заходом пошел по жирной, черной, отбитой межою от других делянке, а потом пригласил Андрея Николаевича посмотреть на свое детище, когда закустились зеленя, и мы около часа втроем ходили вокруг, присаживаясь на корточки и разглядывая узкие и острые, словно собранные в пучки листочки, и снова похвалы, теперь уже от начальника райзо, сыпались на Федора Федоровича. А вечером в доме заведующего сортоиспытательным участком шумело застолье, на которое были приглашены и председатель Чигиревского колхоза Илья Юшин, и парторг Подъяченков, и даже долгушинский бригадир Кузьма Степанович, и я чувствовал себя, помню, именинником, как и Федор Федорович, так как на моем же участке, на Долгушинских взгорьях испытывался этот суливший всем, даже колхозу, славу сорт пшеницы. Вы улыбаетесь? Я тоже. Но вместе с тем думаю, что ничего осудительного в том стремлении и в тех чувствах не было; они и сейчас мне кажутся неотъемлемыми и необходимыми, как воздух; я не только восхищался Федором Федоровичем, но искал, что бы мог сделать сам — не в будущем, нет, а те-

перь! — и этим «что бы» явилась карта севооборота Долгушинских взгорий, которая показалась, когда стал смотреть ее, устаревшей, да и неверной, и я решил составить новую.

Когда я сказал об этом Федору Федоровичу, он, однако, лишь заметил:

«Ухлопотное дело».

«Но...»

«Попробуй, а чего же, может, и выйдет. Оно ведь и в Чигиреве надо бы давно пересмотреть карту севооборота».

«Потом и в Чигиреве».

«Дай бог, но чтобы... основное наше дело не пострадало при этом, понял?»

«Понял, Федор Федорович».

Я разговаривал затем и с Андреем Николаевичем, и с председателем колхоза Ильей Юциным, и с парторгом Подъяченковым. Начальник райзо, как это было — теперь-то могу судить! — привычно и свойственно ему — преувеличивать все, восторженно воскликнул: «Великое дело начинаешь, Алексей, нужное для района!» — и по-отцовски ласково, как он умел (или просто это так казалось тогда?), положил широкую и мягкую ладонь на мое плечо. Юцин же, помню, долго расхаживал по своему председательскому кабинету, прищипывая языком и обдумывая, что принесет это колхозу, какую выгоду и сколько излишних забот («Шутка сказать, — как бы сам с собою то и дело рассуждал он, — нарежай заново все поля!»), и, может быть, не дал бы согласия, если бы не парторг Подъяченков, которому, вероятно, было просто жалко меня и который сказал: «Так ведь все сперва будет на бумаге! Приглянется, увидим пользу, примем, не увидим — не примем. Пусть начинает, чего перечить», — и велел выдать старые карты колхозных земельных угодий (пока, разумеется, только Долгушинских взгорий). В тот же день я съездил в Красную Долинку, купил кирзовые сапоги и брезентовый плащ с капюшоном, тот самый, что теперь так памятен мне, и, вернувшись в Долгушино, наутро — это было воскресенье, — едва занялась заря, отправился в поле. Вместе со мной пошел тогда и бригадир Кузьма Степанович. Вообще, первые полторы-две недели он помогал охотно, даже давал своего коня, когда нужно было побывать на самом отдаленном участке, но затем отношение его и ко мне и к делу вдруг изменилось, он насмешливо щурил глаза и говорил: «Сапоги не казенны, попусту грязь месить, все одно ничего не выйдет», — и конь оказывался теперь то неподкованным, то мокрец выступал, и оттого опять же нельзя было седлать коня, и я уже не обращался с просьбой, а ходил по взгорьям пешком и возвращался домой усталым, продрогшим, но довольным. Изменившемуся отношению Кузьмы Степановича я не придавал тогда еще значения, хотя и было неприятно это. «Да что он понимает? — про себя размышлял я, не желая думать о нем ничего дурного. — По старинке, привычно, как деды завещали? А если все-таки выйдет, тогда что?» Я даже оправдывал его, считая, что и сам на его месте поступил бы, может быть, не лучше, но не так наивен и прост был Кузьма Степанович, как я рисовал его в своем воображении, а главное, не так прост был его отец, Степан Моштаков, этот бородатый и еще не сгорбленный старец, что, по словам Федора Федоровича, верховодил всем в деревне. Он наставлял сына: «Чево это ты позволяешь мальцу по твоим пашням рыскать, гляди, натычет палок в колеса, тогда-ть поздно будет. Подсекай, бросай под ноги ямы, ан их перейти-ть надо, полазит-полазит, да и притихнет. Гляди, Кузьма, кабы поздно не было!» — и наговоры эти настораживали бригадира; это была, в сущности, первая струйка той холодной, остужающей волны, которая затем хлестнет из-под

моштаковской подворотни, было первое столкновение, заочное, что ли, и даже не столкновение, потому что я хотя и видел старика, и сразу признал в нем тестя Андрея Николаевича (разумеется, вспомнил при этом о мешке с мукой на остекленной веранде), но только поздоровался и ни о чем не разговаривал, и потому, конечно же, не столкновение, а просто односторонняя, будто беспричинно, так, на всякий случай возникавшая у старого Моштакова неприязнь ко мне, и он уже давал ход этой своей неприязни. Но я не знал ничего, равнодушные бригадира Кузьмы оборачивалось во мне лишь еще большим желанием делать, добиваться; и до самой поздней осени, уже по утрам дорога схватывалась синими ледяными корками, а на взгорьях царствовал ветер, захлестывая стынущие поля дождем и мокрым снегом, я все еще целыми днями бродил по взгорьям, изучая долгушинские земли и прикидывая в мыслях будущие клинья севооборота.

Иногда я спрашиваю себя, что поднимает солдат в атаку, какая сила заставляет бойцов преодолевать то расстояние между своими и вражескими окопами, где на каждом метре подстерегает их смерть? Я не был на фронте, как вы, и потому не могу сказать, что это за сила, но уверен, что она есть и что ее нельзя вместить в какое-либо одно, пусть даже самое возвышенное и емкое понятие — долга ли, чести ли; сила эта живет постоянно и властвует над людьми, проявляясь в иные времена (как, например, в военные годы) более отчетливо, в иные (как теперь, в мирных буднях) менее отчетливо, но она, знаю, есть, единая, замечательная и неодолимая, заложена в каждом из нас, как часть общего движения людей к добру и счастью, иначе чем бы я мог объяснить теперь ту свою долгушинскую, так назовем ее, устремленность, то старание, с каким составлял лично мне, собственно, ненужную карту севооборота? Работа эта не входила в мои обязанности, я не получал за нее ничего, кроме, разве, недовольных взглядов и даже как будто упреков со стороны Федора Федоровича, который при встречах непременно говорил: «Дались же вам севообороты!» Но я лишь улыбался на эти его слова, потому что мне приятно было их слышать. «Да, дались», — про себя повторял я, мысленно представляя, какую пользу принесет колхозу новая разбивка полей, и заранее радуясь своему будущему успеху. По утрам, когда выходил из дому, от стола ли, от печи ли, Пелагея Карповна со скрещенными на груди руками или с полотенцем или ухватом в руке (часто рядом с нею стояла Наташа, обнимая мать или выглядывая из-за нее, и тогда они вместе смотрели на мою слегка сгорбленную в брезентовом плаще спину), вдруг произносила: «Чего это вы так мучаете себя, хоть бы денек дома посидели», — и я на секунду останавливался у порога, чтобы дослушать, и опять улыбался, потому что я-то знал, что не мучаюсь, выходя по дождю и ветру в поле, а, напротив, горжусь тем, что у меня есть такая возможность делать это, делать ради них же, Пелагеи Карповны и Наташи, хотя кто они мне? — просто хорошие знакомые, у которых живу, делать ради всех, потому что все — люди, и хотят так же, как и я, достатка и счастья. Может быть, именно за эти теплые чувства больше всего я и люблю Долгушино? Я ведь не просто сейчас рассказываю, а как будто снова иду по узкой, с примятой дождем блеклой травой меже, подымаюсь на взгорья, а внизу, заветренное, с потоками капель по стенам и крышам, с опустевшими черными огородами и мокрыми все от того же дождя жердевыми огородами, с черной наезженной колеєю посередине улицы — вся открытая взгляду деревня; я смотрю на нее издали, и за сеткой дождя избы не кажутся мне сиротливыми и грустными; и вообще — ни в ту осень, ни весной, когда снова, едва стаял снег, я вышел в поля, на взгорья, ни разу не возникало в душе тяжелого чувства жалости ни к дейст-

вительно сиротливо стоявшим избам, ни к земле, которая тоже теперь представляется мне сиротливой в совершенно не хозяйственных руках бригадира Кузьмы, ни к людям, что просыпались там, за бревенчатыми стенами, отдергивали занавески и хлопотали по дому, внося из-под навесов охапки сухого березового хвороста и скрипя прогибавшимися половицами (как под ногой Пелагеи Карповны, я наблюдал, когда она входила с полными ведрами или вносила все тот же заготовленный с лета хворост); меня радовал синий, курившийся над трубами дымок, я замечал лишь то, что говорило о жизни, и потому мне было все равно, ветер ли, набрасываясь ледяными порывами, откидывал и трепал полы плаща, барабанил ли дождь по капюшону, или летели, кружась, оседая и тая на мокрой и еще не остывшей с лета земле, белые крупные снежинки, я не отворачивался, не пригибался и не ежил-ся, а, согреваемый одному мне понятным и ведомым, так, по крайней мере, казалось, чувством (мне хотелось весь мир одарить добротой, так же как мир этот одарил добротой меня), шагал, останавливался, вонзал лопату в мягкую пашню, брал пробу и опять шагал, забываясь лишь об одном, чтобы не ошибиться. Мне важно было знать и стоки вод, и то, как устилает поля снежный покров, где он тоньше, и потому весной раньше оголяется земля, и где толще; и надо было установить глубину пахотного слоя по склонам; когда же вечером, уже затемно, я наконец возвращался домой, еще роднее и дороже казалась деревня, избы с тусклыми огоньками в окнах, и еще большую радость и гордость вызывала во мне Пелагея Карповна, обычно встречавшая словами: «Господи, боже мой, ниточки сухой не сыщешь! Надо же так, да и просохнет ли за ночь все?» Она стояла посреди комнаты, и во взгляде (бывали случаи, когда только смотрела и молчала) каждый раз я ловил все то же выражение: «И чего это вы так мучаете себя?» — и улыбался, как и утром, потому что приятно было сознавать, какими и ради чего были эти мои, если так можно сказать, мучения. Из-за ее спины, из-под руки выглядывала Наташа, и в детских глазах ее было то же серьезное выражение, как у матери.

«Хор-рошо», — говорил я, снимая и слегка стряхивая у порога брезентовый плащ.

«Да уж куда лучше, — отвечала Пелагея Карповна, делая шаг вперед ко мне, и беря из рук плащ. — Господи! Хоть бы свою мать пожалел, ничегошеньки-то она не знает... Ноги, поди, тоже мокрые? Снимай сапоги и давай портянки: сушить, так уж сушить все, а то завтра и надеть нечего будет. Опять же пойдешь, не вытерпишь».

«Конечно, а как иначе?»

«Го-осподи!..»

Встав на скамейку, Пелагея Карповна принималась развешивать над печью брезентовый плащ и портянки, а я уходил к себе; когда же, переодевшись, снова появлялся в большой общей комнате, на столе уже дымилась миска с борщом и хозяйка, прижимая буханку хлеба к груди, широким и потемневшим от времени ножом отрезала ломоть за ломтем и складывала их рядом с миской. Я смотрел на нее, и мне казалось, что от того самого хлеба, который она нарезала, от борща, от всей той деревенской избы, в которой я теперь находился, веяло старой и мудрой крестьянской трудовой жизнью, и жизнь та была понятна, близка и дорога мне; дорога, разумеется, не стариною, а чувством удовлетворения, какое охватывает каждого (да и не только в деревне) при виде результатов своего труда; для крестьянина же результатом этим был хлеб. Я садился за стол, брал ломоть и, подмигнув удивленно глазевшей на меня Наташе (или ей некуда было уйти, или уж так велось в деревне — откуда-нибудь из угла комнаты

она непременно наблюдала за тем, как я сажусь и пододвигаю миску), начинал есть.

Я ложился в постель со спокойными и счастливыми мыслями, сознавая лишь одно, что жизнь — это труд, а труд — это радость, и засыпал сразу, не успев даже увернуть фитиль в керосиновой лампе (лампу часто тушила, заглядывая в комнату, Пелагея Карповна), а с наступлением утра — нет, не повторялся прожитый день и чувства не повторялись, а все как бы возникало вновь, все ощущения и думы, и я радовался, как будто и взгорья и деревню внизу видел впервые, и волновался, представляя, что еще сделаю для долгушинских колхозников. Но вместе с тем жизнь деревни, хотел я или не хотел, открывалась для меня не только этой своей романтической, что ли, стороной; я замечал, что что-то будто сковывало людей, будто какой-то тяжелый дух смирения витал над крышами, и незримые нити от избы тянулись к одному, но не к бригадирскому, а к Моштакова-старика подворью. Может быть, если бы не предостережение Федора Федоровича, что всем в деревне верховодит старый Моштаков, главное же, если бы не та моя ночная встреча с бородачом во дворе Андрея Николаевича и не мешок с мукой, который старик вместе с Кузьмой внес и поставил у стены на застекленной веранде (странно, бывают вещи, которые запоминаются надолго; я постоянно помнил о мешке), что само по себе уже как бы вызывало подозрение, может быть, я бы и воспринимал все по-иному, и видел бы во всем, по крайней мере, в ту осень, лишь почтение людей к пожилому и уважаемому на селе человеку; но я видел не почтение, а боязнь, да и сам, когда случилось проходить мимо моштаковской избы, испытывал тоже какое-то неприятное беспокойство, которое возникало вовсе не потому, что бригадир не давал коня; просто в застенной тишине за вечно задернутыми ситцевыми в горошек шторками, казалось, таилось что-то нехорошее, недоброе, чего нельзя было не чувствовать и не бояться.

Час третий

Но что было этим недобрым?

Что позволяло старому Моштакову, возвысаясь, стоять над людьми и держать их пусть в негласном, но повиновении?

Теперь-то я знаю что, и мне не нужно искать ни доводов, ни подтверждений, время научило понимать людей; но тогда, в девятнадцать, когда мир казался преисполненным добра, счастья и радости, далеко не все представлялось так, как оно было на самом деле. Ведь это мы только говорим, что жизнь в деревне открыта, что каждый у всех на виду; человек, которому нечего скрывать, везде одинаков, в городе или в деревне, но тот, у кого есть хоть малая от людей тайна, никогда не позволит так просто заглянуть себе в душу. Для долгушинцев Степан Филимонович Моштаков был именно тем человеком, который знал не что большее о делах долгушинской бригады, и это не что о, как поплавок, как раз и держало его на поверхности и делало жизнь значительной в глазах сельчан и безбедной. Он не слушал, что о нем говорили; ему как будто было безразлично, осуждали или восхищались его изворотливостью и умением жить, и никто в деревне не помнил, чтобы Степан Филимонович упрекнул кого-нибудь за злое о себе слово; казалось, он не был ни мстительным, ни злопамятным, но как раз это и настораживало людей. «Может, копит обиды, таится, складывает», — думали они, а таящийся человек всегда страшнее любого открытого недруга, потому что не предугадаешь, когда и что он сделает; а то, что Моштаков мог сделать, знали в Долгушине все. К нему не только пригоняли на лечение коней (когда, с какого време-

ни стал он конским лекарем, никто толком в деревне объяснить не мог; говорили, что чуть ли не с первого дня, как только образовался колхоз, но, может, на втором, третьем или четвертом году, когда в этом появилась особенная необходимость; и никто не знал, с чего все началось: перенял ли у кого это ветеринарное искусство, пока гонял с красной конницей Колчака по Сибири, или сам до всего дошел, заставила нужда, потому что, когда вернулся домой после всех сражений и надо было начинать хозяйство, привел откуда-то опаршивевшую и издыхавшую лошаденку и через год выправил ее так, что все удивлялись, и затем лошаденка эта еще работала в колхозе; в общем, с чего-то да началось все!), но привозили и сено и овес, и нередко приезжали сами председатели сговариваться то ли о цене, то ли еще о чем-то (конечно, приезжал и чигиревский), пили водку, гуляли до утра, но никто ни разу не слышал ни от самого Степана Филимоновича, ни от Кузьмы и ни от меньшей тогда Таисьи, ни от жены, Ильиничны, ни слова о том, что было говорено на вечере, и это тоже казалось сельчанам неестественным, дурным знаком. «Чего бы ему казаться, ан нет, молчит», — рассуждали долгушинцы, и я теперь, после встречи с Моштаковым, тоже боюсь скрытных людей. Но, так или иначе, до войны, особенно когда в Долгушине существовал еще, правда, маленький, маломощный, но все же свой колхоз, Степан Моштаков не был так приметен, о нем забывали за суетою дел, и лишь по вечерам, когда в правленческой избе собирались мужики, чтобы покурить от души и обговорить завтрашний день, все видели, как Степан Филимонович усаживался где-нибудь поближе к двери и до полуночи, пока все не расходились, молча сидел и слушал, как спорили между собою, каждый доказывая свою правоту, бригадиры. Он не вмешивался ни во что и возвращался домой один; высматривал, ждал ли своего часа, или просто такой молчаливый характер (и отец его и дед, как вспоминали потом, тоже считались в деревне молчунами), он жил как будто и общемо со всеми деревенскими людьми жизнью, и вместе с тем своею, обособленною, в которую невозможно было никому проникнуть, тем более познать ее; то ли он действительно любил свое дело, потому что часами мог обихаживать коня, по волоску перебирая и смазывая парши или натертые седлами болячки, часами, не покидая стойла, чистил и гладил начинавшийся уже лосниться конский круп, или больше привлекала его оплата, но только когда выводил со двора игравшую, словно пружинившую на ногах вылеченную им лошадь, лицо его было равнодушно, взгляд спокоен, и, передавая поводья председателю или присланному конюху, коротко говорил:

«Хоть под седло, хоть под хомут».

«Ну, колдун! Ну, шельмец, что с конем сделал!»

«Бога благодари да свою голову, что ко мне привела».

Во время войны, когда в Долгушине, как и в других деревнях, остались только старики, женщины и дети, Степан Филимонович слово почувствовал, что наконец-то наступил его час, и начал мало-помалу активизироваться; но деятельность его опять-таки заключалась не в том, что он принял на себя бригадирство, что ли, или, отказавшись лечить коней, вместе со всеми пошел в поле, это, наверное, было выше его понимания; он выбрал для себя иную роль — благодетеля долгушенских овдовевших и еще не овдовевших солдаток, и хотя роль эта была чревата для него довольно нехорошими последствиями, но старый Моштаков всем своим молчаливым, тяжелым спокойствием старался внушить, что если и пострадает, то не за себя, а за народ, за всех тех долгушинских ребятишек и женщин, которые в снежные зимние вечера приходили к нему с мешочками за зерном и мукой и

которые теперь все еще, уже по привычке, при встрече кланялись ему, а весной и осенью помогали садить или выкапывать и сортировать на огороде картофель. Ходила помогать и Пелагея Карповна вместе с Наташей, хотя свой огород был еще не убран, и сено не привезено на зиму корове, да и хворост, правда, заготовленный и связанный, тоже еще лежал в пойме, даже не вытянутый к дороге.

«Но у него-то откуда был хлеб?» — спросил как-то я у Пелагеи Карповны.

«Да вот был».

«Откуда?»

Она посмотрела на меня, заметно сомневаясь, говорить или не говорить правду, но потом, так как я уже считался как бы своим в семье человеком (за покладистый ли характер, или еще за что, не знаю, но только так уж, по-матерински относилась ко мне Пелагея Карповна), присела напротив меня на табуретке и сказала:

«Хлеб колхозный, откуда еще».

«Так надо было его на трудодни».

«Неучтенный. А кабы числился в колхозном амбаре, разве Степан Филимонович мог бы им распоряжаться? Ведь тогда как было: все для фронта...»

«А он?...»

«А он — прямо с тока подводы три, четыре, а может, и пять пегонял к себе. Ночью, тихо, да незаметно, и с согласия, конечно, председателя, так думаю, потому что и с Чигирева приезжали к Степану Филимоновичу с запиской, а он отпускал — зерно ли, муку ли. А председателем-то был тогда этот, что в Красной Долинке сейчас, в райзо, Андрей Николаич. Худющий, чахотка его съедала, что ли, в армию оттого и не брали, а Таисья-то Моштак ова там, в Чигиреве, при клубе и при библиотеке работала. Вот и поженились, а зять тестю ужель не разрешит? А Кузьма-то их, сын-то, тот воевал. С первого дня, да и до последнего. У него и наград полна грудь».

«Так это же незаконно, Пелагея Карповна!»

«Что он-то делал?»

«Они».

«Дело прошлое. Да и что Степан Филимонович давал? Крохи, так, для поддержки, чтобы уж не одна картошка с капустой, а колхоз все равно два плана выполнял, так что работали, попрекать нечем. А Степану Филимоновичу, кого ни спроси, все скажут спасибо. Да и кто бы взял на себя такое?»

«А кто учитывал его? Может, он и налево... торговал?»

«Может, и торговал, кто знает, но в этом ли дело? Он, может, и сейчас возит и торгует, а кто скажет? Никто».

«Боятся?»

«Не то, чтобы бояться, а народ на добро памятен, вот что я скажу тебе, Алексей».

Разговор этот происходил вечером, за окном разыгрывалась ранняя декабрьская вьюга, ударяя в стекло пригоршнями снега и выстуживая избу; по дверному косяку от порога вверх шнурком ложилась голубоватая и пушистая изморозь. Прибежавшая со двора Наташа, сбросив валенки, забралась на печь; Пелагея Карповна, накинув на плечи старый, очевидно, еще мужний овчинный полушубок, пошла посмотреть корову, может быть, подложить ей в ясли сена, так как ночь, по всему, обещала быть еще морозней и скотине, чтобы согреться в нетеплом и наверняка уже теперь с заиндевевшими стенами коровнике, нужен корм; я же отправился в свою каморку (правда, тогда я не

называл ее так, а напротив, вы знаете, был доволен этой казавшейся уютной и не очень-то уж холодной комнатой) и, несколько раз пройдясь взад и вперед между топчаном и столом, что так и стоял (как при моих предшественниках) у окна, и затем почистив фитиль керосиновой лампы, чтобы горела светлее, принялся было за свое привычное дело — составление карты севооборота. Почти каждый вечер с тех пор, как перестал выезжать в поля, я занимался обработкой и суммированием уже собранных материалов. Дело, однако, продвигалось медленно, да я и не спешил, так как хотелось все выверить поточнее, подсчитать, потому что понимал, что жизнь — это не учеба в техникуме, и за ошибку здесь придется расплачиваться не просто огорчительной плохой оценкой в зачетной книжке; нет, я не мог и не должен был ошибиться; я сел за стол и в этот вечер с тем же чувством и желанием как следует поработать, но только что состоявшийся разговор с Пелагеей Карповной, особенно ее слова: «Народ на добро памятен», — как будто теперь висели надо мною, мне было неприятно оттого, что я не ответил ей на эти ее слова, тогда как всегонавсего надо было сказать: «Да какое же это добро? Это зло. Самое настоящее зло», — и я мысленно и с сожалением, и в то же время так, будто все еще Пелагея Карповна сидела передо мной на табуретке, произнес эту представляющуюся убедительной фразу. «Однако еще там, у Андрея Николаевича, тогда, я почувствовал это», — подумал я, и уже как доказательство, словно сама собою, всплыла в памяти картина (но она и не могла не вспомниться в такую минуту), как я спешил в ночи к распахнутым новым воротам начальника райзо; на мгновение я как бы перенесся в то недавнее прошлое и с тем же недоумением, как тогда, там, в залитом лунным светом дворе, вдруг остановился посреди раскрытых настежь ворот, а впереди, возле застекленной веранды, двое мужиков (теперь-то я ясно различал Степана Филимоновича и его сына, бригадира Кузьму) стаскивали с телеги мешок с мукой и вносили по ступенькам на крыльцо, где в кальсонах, белый, как привидение, стоял Андрей Николаевич. «Тьфу, черт!» — мысленно воскликнул я, желая отбросить это воспоминание. Откровенно говоря, мне не хотелось даже теперь, после рассказа Пелагеи Карповны, думать о начальнике райзо плохо. «Степан Моштаков... этот, да, наверняка, конечно! Но Андрей Николаевич-то... как же он мог? Он-то как?» Ни там, тогда, ночью, ни теперь, разумеется, я ведь не ставил перед собой цель разоблачить кого-то или что-то; да и разговор с хозяйкой возник лишь потому, что я видел отношение сельчан к старому Моштакову и видел отношение к нему Пелагеи Карповны; а если хотите, даже с первых дней жизни в Долгушине, правда, я еще не мог тогда объяснить себе, почему, но чувствовал, что Моштаков — это зло деревни, а Пелагея Карповна своим рассказом в этот вечер как бы приоткрыла неожиданно край занавески, за которой таился со своим недобрым делом Степан Филимонович, и оттого — разве я мог не волноваться? Я встал и снова принялся ходить по комнате от топчана к окну (очевидно, тысячи людей делают это же, когда волнуются, и я, конечно, не исключение); я даже не думал уже о Моштакове, так как жизнь его, в общем-то, представлялась ясной, а в какие-то минуты все сосредоточилось на Андрее Николаевиче. Я видел его доброе лицо, слышал его голос, как он говорил: «Ничего, обращайся, она, брат, хлебная», — и это никак не вязалось с тем, что он, приветливый и гостеприимнейший человек («Так гостеприимно мог вести себя только тот, у кого на душе светло, чисто, ни пятнышка», — думал я), позволял когда-то тестю увозить с тока неоприходованное колхозное зерно — для каких бы ни было целей! «Да и какой же он туберкулезник?» — тут же восклицал я, опять представляя его розо-

вое, дышащее здоровьем лицо, и мне казалось, хотя, повторяю, было противно думать об Андрее Николаевиче плохо, что и здесь, может быть, не все чисто. Достаток в его доме, на который нельзя было не обратить внимания тогда и который вызывал во мне радостное чувство, сытое круглое лицо Таисьи Степановны, праздничный стол, как он был накрыт и уставлен яствами,— все это тоже как бы виделось сейчас по-иному. «А в городе — хлебные карточки»,— говорил я себе, и все то, как я жил до приезда сюда, в Красную Долинку и в Долгушино, простаивая по утрам в очередях у хлебного магазина, как жили еще до сих пор мать, сестренка и братишка, возникало перед глазами; и жизнь Пелагеи Карповны и Наташи, протекавшая у меня на виду, жизнь многих долгушинских колхозников.. Я знаю, все не могут одинаково жить, хотя мы и стремимся к этому, не могут уже потому, что неравноценен пока вкладываемый каждым труд, и я бы не стал сейчас делать каких-либо поспешных выводов; может быть, вообще не обратил бы на это особого внимания; но тогда — вот, были такие мысли, и различие жизни казалось, по крайней мере, несправедливостью, а главное, я видел, вернее, чувствовал, что различие это основывалось лишь на нехороших, недобрых, грязных делах. «Есть же мешочники, есть же, в конце концов, спекулянты, которые поставляют на черный рынок муку, торгуют ею из-под полы,— продолжал я, совершенно отходя уже от Моштакова и Андрея Николаевича и как бы охватывая мыслью целое явление, о котором не то чтобы знал понаслышке, но которое, в сущности, разворачивалось на моих глазах и с которым в силу определенных обстоятельств, сами понимаете — война! — я не мог не столкнуться; годы те и теперь памятливы мне, а тогда все было особенно свежо в сознании и виделось ясно и живо. «Всю войну поставляли: на обмен, за вещи, за деньги! И поставляли, конечно же, не Пелагею Карповну». Я ложился на топчан, затем вставал, ходил и снова ложился; во мне поднималось то тихое, спокойное, что ли, возмущение, когда кажется, что ничего недостойного будто и не произошло с тобой, не оскорблено самолюбие, не нанесена обида, и ничто будто не изменится в твоей завтрашней жизни, и вместе с тем есть и обида, и оскорблено самолюбие, и ты недоволен какими-то общими делами, тем, что не все понимают добро, хотя это так просто и всем было бы хорошо и счастливо жить, если бы понимали и следовали этому великому началу, наконец, тем, что есть зло и есть носители зла, и что — есть ли вообще что-либо человеческое у этих носителей зла? Рано ли, поздно ли, но человек не может не мыслить общими категориями; вероятно, это и есть час возмужания, когда ты вдруг осознаешь себя частицей общего, большого организма и движение и развитие общества затрагивает тебя так же, как собственный интерес? За дверью Пелагея Карповна заводит хлеба, и я слышал, как она ходила по комнате, как просеивала над столом муку, хлопая ладонями (справа налево, справа налево) о круглые бока сита; белая занавеска на окне, казалось, шевелилась под порывами ветра, налетавшего на стекла, на всю бревенчатую стену избы, и я на мгновение приостанавливался, глядя на занавеску, на слегка начинавший мигать желтый язычок лампы и чувствуя, как понизу, будто сквозь щели половиц, просачивается и гуляет по-над полом холодный воздух, потом вдруг все это внешнее словно исчезало, переставало существовать, и не то, чтобы в мыслях, а будто наяву, как это было в сорок втором, в сорок третьем, да и позднее.— маленький, в расклеванной от пояса бекешке и с шапкою в руках, я стою там, в городе, дома, перед столом, на котором лежит завязанный в белую простыню отцовский костюм, смотрю на этот белый узел и жду, что вот-вот, с минуты на минуту постучит в дверь Владислав Викенть-

евич, старый, с синими, трясущимися губами сосед, и мы пойдем с ним на сенной базар, на толчок, или, как теперь бы назвали его, вещевой рынок, на котором, впрочем, не только продавали и покупали вещи, но было место, и Владислав Викентьевич хорошо знал его, где можно обменять пальто или костюм на муку, крупу, хлеб. Я стою одетый, готовый к выходу, и все, что только что происходило в комнате, еще живет перед глазами: как мать доставала этот костюм из сундука и, отвернувшись, чтобы я не видел, кончиком платка вытирала навернувшиеся слезы, как стряхивала нафталин и расстилала на столе белую простыню, а когда узел был готов, глядя на меня грустными, все еще влажными и слегка покрасневшими глазами, гладила по голове и говорила: «Только на муку, смотри, Владислав Викентьевич поможет. Слушай его. В крайнем случае, на крупу, понял!» И я кивал ей и отвечал: «Да ты не волнуйся, мама, я все сделаю, как надо, ведь я уже взрослый»,— а с дивана, притихнув, на время оставив свои полинялые и облезлые кубики, молча тарачили на нас глазенки сестра и брат; мать ушла на работу, ее уже не было в комнате, и они смотрели теперь на меня. Я стоял здесь, перед столом, в долгушинской избе, но мне казалось, что я был там, дома, и сейчас, через секунду-две, послышится стук в дверь, я повернусь и пойду открывать Владиславу Викентьевичу; и я действительно как будто слышу и шум шагов под дверью, и затем стук, особенный, негромкий, как умел только Владислав Викентьевич, и так же, как тогда, за настывшими планками двери раздается его привычный голос:

«Ку-ку, Алеша! Это я».

Он тоже с белым узлом под мышкой.

Я говорил брату и сестренке, чтобы никого не впускали, брал со стола завернутый отцовский пиджак и вместе с Владиславом Викентьевичем выходил на улицу.

На ветру, на морозе, губы и нос Владислава Викентьевича делались еще более синими; тонким вытершимся шарфиком он укутывал худую и высокую стариковскую шею, поднимал воротник своего измененного клетчатого пальто, завязывал под подбородком маловатую ему кроличью самодельную ушанку, но это не спасало от холода; казалось, его ничто не могло согреть (теперь-то я знаю, греет не шуба, не пальто, а сытный завтрак, хлеб; но этого как раз и не хватало ему; и не хватало мне); он всю дорогу, пока шли и ехали туда и обратно, беспрерывно дрожал мелкой, ознобной дрожью. Но в первые минуты, пока еще сохранялось под рубашкою комнатное тепло, он бывал разговорчивым, даже пробовал шутить.

«Ну, слышал?» — спрашивает он, поворачивая ко мне морщинистое лицо и даже чуть приостанавливаясь.

«Что?»

«Сводку Совинформбюро».

«А что, немцы опять наступают?»

«Нет, Алеша, в том-то и дело, что нет. Не так-то легко Волгу перепрыгнуть, а что я тебе говорил? То-то».

«И наши стоят?»

«Готовятся, Алексей, силы накапливают. Ты Елизавету Сергеевну знаешь?»

«Дворничиху?»

«Да. Приходит ко мне вчера вечером и просит почитать письмо от мужа».

«От дяди Миши?»

«Да. И знаешь, что пишет Михаил Яковлевич? «Потерпи,— пишет,— недолг срок, по весне вдарим, а может, и раньше». Так прямо

и пишет: «Вдарим!» — понял?» — И Владислав Викентьевич весело и удивленно вскидывал брови.

Затем он еще повторял это слово «вдарим», как будто что-то магическое было заключено в нем, хотя все, конечно, объяснялось проще, и я только не понимал, что для него, бывшего школьного учителя, всю жизнь преподававшего русский язык и литературу, оно звучало необычно, неграмотно; но слово это все же выражало силу, и потому в то утро, когда радио принесло радостную весть, что наши войска, прорвав линию обороны противника севернее и южнее Сталинграда, успешно развивают наступление, замыкая кольцо над мощной группировкой фельдмаршала Паулюса, Владислав Викентьевич, вбежав в комнату, возбужденно выкрикивал: «Вдарили, Алексей! Вдарили! А что я тебе говорил?» Я помню те дни, когда у всех как бы посветлели лица, когда соседи, встречаясь, празднично поздравляли друг друга, но жизнь тем временем шла своим чередом, и после весны и жаркого сухого лета, едва лег на землю первый белый и пушистый снег, мы снова отправились с Владиславом Викентьевичем знакомым маршрутом через сенной базар, неся под мышками белые свертки; мы не раз еще ходили и в лютые январские морозы, и по весне, когда черный осевший снег кашицей расплзался под ногами, и как только трамвай довозил нас до сенного базара, едва спускались с подножки, тут же попадали в людской поток, который, как река, втягиваясь в проулок и делая несколько поворотов, вливался затем в шумное людское озеро, которое как раз и называлось толкучкой. Особенно много народу бывало в воскресные дни. По бокам проулка и на площади стояли и прохаживались женщины и мужчины, обвешанные старыми, поношенными, иногда пахнущими нафталином вещами, и мне всегда казалось, что продававших было больше, чем покупающих; они выкрикивали, потрясая в воздухе пиджаками и платьями, нахваливали свой товар, и у ног (не у всех, но были, хорошо помню, потому что Владислав Викентьевич говорил о таких: «Завсегдагаи, барышники!»), на самодельных железных жаровнях тлели древесные угли; барышники время от времени наклонялись, грели лица, руки, ноги и снова продолжали выкрикивать и трясти шарфами и платьями. Я не спрашивал Владислава Викентьевича, почему все эти люди не работают, но в детском сознании моем постоянно возникала такая мысль, и мне странно было и жутко смотреть на эту толпу; я прижимался к Владиславу Викентьевичу, держась за карман его клетчатого пальто или за руку, и прятался за спину, когда кто-нибудь из встречаемых, тыча пальцами в белый узел, вдруг спрашивал у Владислава Викентьевича: «Что у вас?» Мы проходили в самый конец толкучки, к фанерным ларькам, и потом долго стояли, пока Владислав Викентьевич высматривал, к кому следовало подойти и с кем говорить. Я до сих пор удивляюсь, как он узнавал нужных нам обменщиков (впрочем, нужда прижмет, так узнаешь, наверное); неожиданно он хватал меня за руку и, сжимая пальцами локоть, говорил: «Вон, видишь, во-он, мучное брюшко? Идем». Мы выступали вперед, как бы перегораживая путь медленно шагавшему какому-нибудь мужчине (чаще всего это бывали на вид старенькие, с бороденками, но почему-то одетые в защитного цвета ватные, похожие на армейские телогрейки), Владислав Викентьевич молча протягивал узел, и жест этот его был понятен встречному старичку.

«Что?» — будто недовольно хмурясь, спрашивал встречный.

«Костюм,— шевеля замерзшими синими губами, торопливо произносил Владислав Викентьевич.— И вот еще»,— добавлял он, выдвигая, подталкивая меня.

«А у него?»

«Тоже костюм».
 «Шерстяной?»
 «Разумеется».
 «Чего хотите?»
 «Нам бы муки...»
 «Аржаная».
 «Ну что, Алексей, а р ж а н у ю возьмем, а?»
 Я согласно кивал головой.

«Берем»,— говорил Владислав Викентьевич старичку, и через минуту за фанерными ларьками мы уже переходили улицу и затем по плохо очищенному от снега тротуару шагали вдоль деревянных окраинных изб до первого поворота.

На углу мужичок останавливался и, оглядывая нас и улицу, непременно осведомлялся:

«Хвоста за собой не тянете?»

«Нет, что вы»,— опять же поспешно отвечал Владислав Викентьевич.

«Ну-от, смотрите!»

Я знал, что означало «тянуть хвоста»; он спрашивал, не ведем ли мы за собой милиционера. Нет, конечно, никакого милиционера мы за собой не вели; подчиняясь жестам старичка в ватнике, мы входили через какие-то скрипучие ворота во двор, затем в холодные, с земляным полом и настывшими дощатыми стенами сенцы, и тут, при открытых дверях, чтобы светлее было, и непременно вместе с вышедшей из теплой избы хозяйкой, закутанной в пуховую шаль, начинался, как говорил тот же старичок, осмотр товара. Старичок разворачивал пиджак, брюки и, казалось, разглядывал каждую строчку, тяжело сопя и произнося то и дело (обращаясь больше к Владиславу Викентьевичу, чем к жене):

«Не лицованный?»

«Да вы что? Кармашек-то боковой — на левой...»

«Подклад, опять же, не черный».

«В тон костюму».

«В тон-то оно, известное дело, в тон, да черный бы, он не маркий»,— говорил старик и начинал заново разглядывать и растягивать пальцами швы.

«Вшей ищите, что ли?» — не выдержав наконец, восклицал Владислав Викентьевич.

«Вшей не вшей, а поглядеть надо».

«Глядите, но только побыстрее, потому что тут, в ваших сенцах, окоченеть можно».

«А сколько просишь?»

«Пуд дашь?»

«Эк куда загнул. За оба?»

«За один».

«Полпуда».

«Пуд».

«Полпуда!»

«Так ведь а р ж а н а я же?»

«Все одно хлеб».

«Ну, отвешивай, бог с тобой».

Все время, пока Владислав Викентьевич торговался, я стоял молча; от холода ли, или оттого, может быть, что мне всегда неприятно было видеть, как бесцеремонно переходили из рук в руки (от старика к Владиславу Викентьевичу, и снова к старику) отцовские пиджак и брюки, я тоже весь ежился и вздрагивал; когда же старик, притащив из комнаты серый мешок с мукой, начинал насыпать ее в мерку, я

уже не только не радовался, что выполнил поручение матери и что теперь, по крайней мере, месяца на полтора, а то и на все два хватит варить затируху (к тому же, мать непременно хоть раз да испечет лепешки или пирожки с картошкой на плите!), но думал лишь об одном: как поскорее уйти из этих промозглых сенцев; и все же каждый раз я приносил домой неповторимый, мельничный запах муки и хлеба.

«Отчего их милиция не забирает?» — спрашивал я у Владислава Викентьевича, когда мы уже возвращались домой.

«Забирает, как же, почему не забирает».

«А этот?»

«Еще не попался. Да и слава богу, что не попался, иначе — к кому бы мы сегодня с тобой пошли?»

«А если сейчас заявить?»

«Нельзя. Мы, Алексей, по-честному: мы ему, он нам. Такие люди, как он, всегда были, есть и будут, без них нельзя. Они тоже делают своего рода доброе дело: вот, видишь, мы теперь и с затирухой, а попадется ли он, или не попадется, это уж его дело, лишь бы мы по-честному».

Спорить с Владиславом Викентьевичем было, разумеется, бессмысленно, он по-своему смотрел на мир, потому и суждения обо всем были у него свои (думаю, и теперь есть люди, которые рассуждают так же или близко к этому); мне же то, что мы делали, не только не представлялось честным, но после каждого нашего обмена я несколько дней ходил молчаливым и мрачным: мне казалось, что мы совершали беззаконие — откуда мука? чья она? — и беззаконие это не могло совместиться с теми пусть детскими, мальчишескими (но они чисты!) понятиями справедливости устройства мира, доброты, товарищества, правды; как каждый, вступающий в жизнь, я полагал, что законы существуют для всех и что все непременно выполняют их, по крайней мере, должны выполнять, а как же иначе, но что, кроме законов, есть еще высшая мера жизни, это честь и совесть, которая у каждого в душе и которую невозможно и не должно переступать, что так же, как я сам всегда бывал приветлив, добр и счастлив этой своей доброю, так же, мне казалось, должны были жить и все люди. А зло — это исключение. И вот в это ясное детское восприятие врывались война, сенной базар, толкучка, старикашки в защитного цвета ватных телогрейках (а ведь определение Владислава Викентьевича было верным — мучное брюшко! — ведь как мужичок ни отряхивался, а руки мучные и на телогрейке след!), врывались промерзлые земляные сенцы, серый мешок с мукой и хозяйка в шали, уносящая в избу ставшие уже чужими отцовские пиджак и брюки, и это была совершенно иная, грязная, чуждая мальчишескому миру жизнь, познавать которую было трудно и больно. «Почему существуют на земле люди, как этот продававший муку старичок? Почему у каждого — свое понимание добра?» Разумеется, тогда, в детстве, я не ставил так прямо и с такой определенностью эти вопросы; и даже, может быть, не совсем отчетливо понимал все, но что именно такое чувство протеста рождалось во мне, я хорошо помню. Я всегда издали наблюдал, как мать стряпала пирожки из принесенной мною муки; и что бы ни творилось у меня на душе, все же это бывал самый большой в нашей семье праздник. Мы начинали готовиться к нему загодя, за неделю вперед, и в утро, когда наступал долгожданный день, просыпались раньше обычного и прямо с постели, едва протерев глаза, смотрели, как мать снимала с теплой печки кастрюлю с выползавшим через края темным и приятно и кисло пахнущим тестом; первый испеченный пирожок с коричневой сухой корочкой мать разламывала надвое и отдавала

меньшим — сестренке и брату, — и они, перекладывая горячие половинки из ладони в ладонь, не смеялись, не шутили, не веселились, а ели молча, сосредоточенно, как взрослые, знающие цену жизни и хлеба, и я, если хотите, пожалуй, впервые в зимний вечер в избе Пелагеи Карповны, когда за окном бушевала ранняя декабрьская вьюга, прохаживаясь от топчана к окну и вспоминая, вдруг как бы понял весь смысл детских сосредоточенных лиц. «Да и сам-то я как смотрел?» — подумал я, еще отчетливее представляя себя, чем сестренку и братишку. Сквозь неплотно прикрытую дверь из кухни, где Пелагея Карповна заводила хлеба, просачивался в мою комнату тот самый запомнившийся с детских лет приятный и кислый запах теста, и запах этот лишь усиливал впечатление от набегавших воспоминаний; я не спал долго, пока лампа не начала гаснуть, и то мальчишеское чувство протеста (хотя мне только теперь кажется, что в Долгушине я был уже взрослым, а на самом деле — тоже ведь, в сущности, мальчишка: девятнадцать, двадцатый, чего тут) вновь подымалось и будоражило сознание. «Вот где начало, вот откуда этот мучной ручеек — туда, на толкучку, в промерзлые земляные сенцы! И, конечно же, не пелагеи карповны поставляли, и не сыновья их или мужья носят теперь костюмы с плеча моего отца; эти деревенские женщины — как Владислав Викентьевич, потому и Моштаков для них — своего рода добро, а не зло», — рассуждал я.

Было около полуночи, когда я, в конце концов раздевшись, лег на топчан и уснул. Но засыпая, еще слышал завывание метели за окном, и мне казалось, что этот гнавший поземку декабрьский ветер, как тогда, в детстве, когда мы с Владиславом Викентьевичем шагали к сенному базару, на толкучку, ознобно, пронизывающе холодил ноги.

Утром же все было тихо и лишь огромные сугробы снега от изб и плетней ребристо рассекали улицу. И на душе у меня тоже как будто было спокойно и тихо, но если говорить образно, то и там лежали теперь на равнинном пути свои ребристые сугробы. Вечер не прошел, да и не мог пройти бесследно. Внешне, конечно для постороннего взгляда, вроде бы ничего и не случилось; и вчера, и позавчера, и третьего дня я тоже долго сидел за столом, работая над картой севооборота, а когда затекали ноги, вставал и прохаживался, так что для Пелагеи Карповны не было ничего удивительного в том, что я не спал; но сам я чувствовал, что во мне многое изменилось после того вечера — может быть даже в характере (я стал еще задумчивее и настороженнее), во всяком случае, в понимании людей и жизни. Пелагея Карповна, что ж, рассказала о Степане Моштакове да и забыла, потому что это было частицей ее судьбы, хорошей или нехорошей — другое дело, было привычной, повседневной ее жизнью, и потому ни утром, ни на следующий день она уже не вспоминала об этом; она положила на стол передо мною свежий, еще дышащий печью калач, принесла, как всегда, крынку молока и, покачав головой, лишь произнесла: «Хоть бы вставали попозднее, никто из приезжих, что были до вас, так не измучивали себя». Меня же Моштаков и все, что Пелагея Карповна как бы между прочим поведала о нем, и на следующий день, и через месяц продолжало волновать и вызывать определенные мысли. Я хорошо помню, как спустя несколько дней проходил мимо моштаковского двора; самого Степана Филимоновича не было видно, но его изба вместе с пристроенной низкой и длинной бревенчатой конюшней, на крыше которой скирдой возвышалось еще не тронутое с осени сено, эта словно вросшая, как определил Федор Федорович, в землю (теперь же, казалось, в снег) изба и двор чем-то напомнили те, окраинные, городские, куда относили мы с Владиславом Викенть-

евичем свои узлы и откуда выходили, таясь и оглядываясь, с а р ж а н о й мукою в белых наволочках, и на какое-то мгновение я даже приостановился, разглядывая, будто впервые, моштаковское подворье; как тогда, в детстве, с той же ненавистью и с тем же протестующим чувством смотрел я на задернутые ситцевыми в горошек шторками окна, и еще большее, чем тогда, желание пойти и заявить — вот он! — охватывало меня; но я сознавал, что, собственно, заявлять-то не о чем (привезенная ночью мука Андрею Николаевичу, и только; все же остальное — в прошлом, которое ни раскрыть, ни доказать нельзя), и потому, согнувшись и стараясь уже не глядеть на избу и подворье, торопливо прошагал под окнами. Может быть, мне показалось, что кто-то неприятным, пронизывающим взглядом следил за мною. Я и потом не раз испытывал это чувство и, знаете, не могу не согласиться с вами, что есть между людьми, как вы говорили, взаимопонимание, бессловесный язык; и не только, когда думают одинаково, одинаково смотрят на мир и понимают явления и вещи, и я бы добавил — даже не обязательно, чтобы эти люди встречались и сидели рядом, что ли; если я и видел Степана Филимоновича, то редко и издали, а бывали месяцы, когда не видел вообще, и жил он за своими бревенчатыми стенами, а я за своими, в доме Пелагеи Карповны, но вот был же понятен мне его мир, я знал, как он живет и о чем думает, и оттого постоянно испытывал к нему настороженность и отчуждение, а иногда он прямо-таки был ненавистен мне, хотя ведь и не сделал ничего видимого дурного; но самое главное — он тоже чувствовал мой мир мыслей, потому и наставлял сына-бригадира: «Чую, подсекет нас, так что смотри в оба, коня без нужды особой не давай, где можно, и трактор, и комбайн задержи, все прибежит с поклоном, а там уж — тебе вожжи», — потому и ни разу не пригласил к себе в гости, хотя и бычка колол, и выносила Ильинична на мороз пельмени. Он предчувствовал, опасался, а значит, понимал, как и я понимал его, и мы жили в Долгушине — два противоположных мира, видимых себе и невидимых другим, и рано или поздно эти два мира должны были столкнуться; но произошло это лишь на вторую зиму, и совершенно неожиданно, когда по первой пороше я собрался было поехать на саях в Чигирево к Федору Федоровичу.

Я помню все, что и как было: и разговор накануне по телефону с Федором Федоровичем, в котором он просил поскорее привезти в Чигирево собранные с делянок и связанные в снопики образцы пшеницы, но только для чего — то ли хотел выставить на обозрение в колхозе, в правлении, а точнее, в председательском кабинете, то ли отправить в Красную Дóлинку (такие же снопики я видел и в кабинете Андрея Николаевича, так что, возможно, собирался переправить ему для обновления). Помню, как утром, весь настроенный на поездку в Чигирево, вышел на крыльцо и, радуясь первому снегу, первому морозцу и голубым от инея плетням и избам, зашагал через всю деревню к бригадирскому подворью, чтобы попросить лошадь и сани (день был воскресный, кони отдыхали, никуда не занаряженные, и поэтому я ни минуты не сомневался, что получу подводу), но вместо Кузьмы Степановича, когда я постучался в окно, из избы вышла его жена, мрачная и всегда недовольная чем-то Клавдия Васильевна (как и все в роду Моштаковых, она, конечно, недолюбливала меня, так, по крайней мере, теперь я объясняю ее настороженное ко мне отношение) и сказала, что Кузьмы нет, что ушел к отцу, а на вопрос, скоро ли вернется, коротко бросила: «В Красную Дóлинку собирались, так что идите быстрее, если хотите застать», — и я, почти совсем не обратив внимание на привычную уже для меня сухость ее ответа, зашагал к

дому старого Моштакова. Я мог бы подробно пересказать, как открывал опушенную колким ииеем калитку и входил во двор к Степану Филимоновичу, как стоял, глядя на занавешенные окна избы, на крыльцо и расчищенные от снега ступени, и смотрел на приоткрытые неширокие ворота конюшни, раздумывая, куда войти — в избу ли, или в конюшню, откуда, как мне казалось, доносились мужские голоса; и то, как вошел все же в конюшню и, приглядевшись к сумраку, увидел лишь лошадей за перегородками (мягкими теплыми губами они захватывали из яслей только что принесенное с мороза и еще холодное, наверное, сено, аппетитно похрустывая им, вскидывая мордами и кося глаза на меня, вошедшего к ним незнакомого человека), и как с досадою проговорил про себя: «Тьфу, черт, ослышался, что ли!» — и затем, чтобы уж окончательно убедиться, что ни Кузьмы Степановича, ни Степана Филимоновича на конюшне нет, громко спросил: «Здесь есть кто-нибудь?» — все эти подробности каждый раз, как только начинаю вспоминать тот только что воскресный день, как живые, встают перед глазами; я вижу все, что видел тогда, и конские спины, покрытые болячками (утренний солнечный свет, проникавший через двери в конюшню, падал на противоположную стену и уже от той стены, отраженный, как бы скользил по гривам и по мохнатым и тощим, даже будто слегка заиндевелым крупам лошадей), вот они передо мною те конские спины, и пряный запах морозного сена, и хруст, и топот переступаемых по деревянному настилу копыт; я поворачиваюсь, чтобы направиться к выходу, но именно в это мгновение как будто что-то подтолкнуло меня остановиться. Я знал, что конюшня бревенчатая, но здесь, внутри, в глубине, конюшня заканчивалась какою-то дощатою перегородкой, и это невольно насторожило внимание; я еще раз окинул взглядом эту перегородку и, заметив низкую и чуть приоткрытую дверь, шагнул к ней. Может быть, мне показалось, что там, за дверью, как раз и находились сейчас бригадир с отцом, Степаном Филимоновичем? Может быть, так оно и было, потому что мне лишь хотелось найти бригадира, и ни о чем другом я не думал, переступая порог этой неожиданной здесь, при конюшне, кладовой, но теперь всегда кажется, что я уловил знакомый амбарный запах хлеба, запах хранящегося зерна, и потому оказался в совершенно как будто темном даже после сумрачной конюшни тайнике. Я не оговорился, именно: тайнике. Только одно узкое, как прорезь, как, может быть, бойница, что ли, оконце под потолком пропускало свет в кладовую, и он, струясь, как свет автомобильных фар в ночи, падал на тяжелые крышки расположенных вдоль стены хлебных ларей. Но я не воскликнул: «А-га, вот оно!» — и не ощутил ни скрытой злой радости, что все мои предположения о старом Моштакове, о его недобрых делах вдруг, вот, подтверждены, ни иного какого-нибудь торжествующего, вроде: «Что, попался!» — чувства, а смотрел растерянно на эти лари, бледнея и приглушая дыхание; как тать (я смеюсь теперь над собой, потому что зачем нужны были мне эти осторожные, словно воровские движения, чего и кого было бояться?), оглядываясь на неприкрытую дверь и прислушиваясь, я подошел к ближнему от меня ларю и приподнял крышку; ларь был наполнен желтоватой в полусумраке пшеницей. Я снял рукавицы, зачерпнул ладонью зерно и прошел к свету. Зерно было крупное, я несколько раз пересыпал его из ладони в ладонь, потом отнес снова в ларь, и на руках остался белесоватый (это просто-напросто была пыль), будто мучной налет. Не знаю теперь уже почему, но я, как будто стяхивая что-то с полусубка, вытер о него ладони, и хотя, разумеется, никакой пыли на полах нельзя было разглядеть (даже бы и на свету), но я почувствовал, что на них остался след, как оставался он на телогрейках у тех мужичков-старичков, что в настывших земляных сенцах

нагребали из мешков в мерку муку — «мучное брюшко!» — и вся та ненавистная картина обмена, все пережитое и передуманное уже здесь, в Долгушине, разом как бы всплыло перед глазами. «Один, два... пять, шесть», — вместе с тем мысленно, перекидывая взгляд с одного ларя на другой, считал я. В Долгушине, я это хорошо знал, не было колхозного амбара; все зерно — и семенное и из общественного фонда — хранилось на центральной усадьбе, в Чигиреве. «А это что? На трудодень? Да он вроде и в колхозе не работал? У Пелагеи Карповны — мешок всего, хватит ли до весны, а тут?..» Одну за одной я открывал крышки ларей, и во всех была пшеница.

Все еще растерянный оттого, что увидел (главное же, оттого, что не знал, что надо было делать теперь), я так же будто воровски, крадучись, вышел из амбара в конюшню. На гвозде, возле косяка, заметил висевший железный замок со вставленным в него ключом. Им, наверное, как раз и запиралась кладовая. Но тогда я не подумал об этом; мне лишь хотелось как можно скорее и незаметнее выскользнуть из конюшни. А происходило здесь до меня, полагаю, вот что: Степан Филимонович со своим сыном, ведь они собирались в Красную Дóблинку, так сказала Клавдия Васильевна, и поехали бы не с пустыми руками, зашли нагрести зерна и, уходя, не заперли дверь; прошли же они прямо из конюшни в избу через сенцы, минуя двор, и, конечно же, их голоса я и слышал. А почему не заперли дверь? Вероятно, намеревались тут же вернуться. Само собой, я не могу поручиться за точность этой нарисованной картины, как все было на самом деле; да и так ли уж это важно; главное, я открыл тайник, увидел лари, наполненные пшеницей, и весь тот день и следующий они стояли перед глазами. «Ну вот, — говорил я себе, выходя из конюшни на солнечный морозный двор и продолжая оглядываться, — вот оно, моштакoвскoе добро людям!» Я не постучался и не вошел в избу; косясь на занавешенные шторками окна (не следит ли кто за мной?), я медленно, шаг за шагом отступал к калитке и, как только очутился на улице, чуть пригнувшись, торопливо зашагал к себе домой. Я не раз потом спрашивал себя, для чего нужно было пригибаться и торопиться? Но, видимо, так уж устроен человек, что поступки часто опережают сознание, и оттого мы совершаем массу странных и глупых вещей; но в то же время, если пораскинуть как следует умом, то, пожалуй, боязнь была в какой-то мере обоснованной; если бы, допустим, старый Моштаков с Кузьмой вдруг застали меня, скажем, в кладовой или, пусть, в конюшне и поняли бы, что тайник раскрыт, — их двое, а я один, — еще неизвестно, как бы все обошлось и чем закончилось. Может быть, подсознательно, но именно этого — встречи с ними — я и боялся тогда, и лишь войдя во двор Пелагеи Карповны, оглянувшись на моштаковскую избу. «Теперь что? — вгорячах думал я. — Куда пойти и кому сказать? Пелагее Карповне? Или людей кликнуть? Или, может быть, сперва в Чигирево, к Федору Федоровичу?» О том, чтобы просить лошадь и сани у бригадира, я уже, конечно, немышлял.

Когда я вошел в комнату, лицо мое было, думаю, испуганным и бледным, потому что я заметил, как Пелагея Карповна, делавшая что-то у печи, на секунду даже будто бы замерла от удивления, глядя на меня.

«Скажите, — между тем, сбрасывая с плеч полушубок, видя непривычный взгляд хозяйки, понимая его и не в силах побороть своего волнения, спросил я, — сколько вы получили на трудодень хлеба?»

«Шесть пудов, центнер, а что? Чего это — лица на вас нет?»

«А где в Долгушине хлебный амбар?»

«Колхозный, что ли? Был, так его еще до войны, как объединялись, разобрали и свезли в Чигирево».

«Это точно?»

«А что случилось, Алексей?»

«Ничего, Пелагея Карповна, ничего не случилось, но — пока ничего. Ничего», — повторял я, уже войдя в свою комнату и закрывая за собою дверь.

За все время, сколько жил у Пелагеи Карповны, я впервые в то утро заметил, что на моей двери есть накидной крючок; опять-таки, не совсем соображая, для чего нужно, от кого здесь-то прятаться, запер дверь на крючок и принялся, как делал это уже не раз, но только теперь еще торопливее, ходить от окна к топчану и обратно. Я понимал, что надо успокоиться, что ничего сверхъестественного, собственно, не произошло. «Ну и что; что раскрыл тайник? Рано или поздно, а это должно было случиться, и не я бы, так другой, все равно!..» Но вместе с тем, как я говорил себе это, не только не успокаивался, но, напротив, с еще большей горячностью и ненавистью думал о Моштакове. И у меня были на то основания. «Торгаш несчастный, выжимала, вот у кого отцовские пальто и костюмы! — мысленно выкрикивал я, хотя, конечно, не у него они были, я знал, но непременно у такого же, как он, тихого, властного и бородатого мужичка (в деревне ли, в городе ли, везде они одинаковы; а может, жизнь их делает такими, это ведь тоже может быть? По крайней мере, так я думаю теперь, оглядываясь на все, а тогда много не рассуждал, просто видел в них зло, и зло это казалось мне неестественным и несовместным с общепринятыми понятиями о жизни). — Сколько вас по городам и деревням, своего рода благодетелей народных? Шесть ларей. В каждом по четыре, пять центнеров, не меньше. Пятью шесть — тридцать. Тридцать центнеров, и зерно-то колхозное, общее, государственное, наконец», — продолжал я, поражаясь тому, как же раньше не мог открыть это, а ведь знал, чувствовал и только выжидал чего-то, а чего? У меня было такое ощущение, что я снова, как в детстве, когда отвозил вместе с Владиславом Викентьевичем белые узлы на сенной базар, открытой, обнаженной душой прикоснулся к этому грязному моштаковскому миру, и все время, пока метался по комнате, брезгливое выражение не сходило с лица. Иногда я останавливался у окна и, перегнувшись через стол и отвернув занавеску, смотрел на улицу, стараясь отыскать глазами — а для чего это надо было? — избу и подворье Моштакова, но ничего не увидев, опять возвращался к топчану и шагал к столу.

Я перебирал мысленно, к кому лучше пойти:

«В сельсовет?»

«К председателю колхоза?»

«К участковому?»

«К Федору Федоровичу?»

Но все они находились в Чигиреве, и прежде надо было еще добраться туда. «По снегу, по ненакатанной еще дороге, одному, пешком!» Однако ничего другого, кроме как только идти пешком в Чигирево, придумать не мог, и потому на глазах у изумленной и обеспокоенной Пелагеи Карповны, ничего не говоря и не объясняя ей, торопливо оделся и вышел из дому. Вслед за мною, когда я был уже за жердевыми воротами, появились на крыльце Пелагея Карповна в накинутом на голову и плечи темном платке и Наташа; дочь, как всегда, выгладывала из-за спины и из-под руки матери, и было тоже что-то взволнованное и испуганное в ее смотревших по-взрослому глазах; я помню это выражение, потому что, обернувшись, посмотрел именно прежде на нее, а потом на мать.

До Чигирева я добрался под вечер.

Во дворе сортоиспытательного участка было заснеженно и пустынно; тусклыми желтоватыми пятнами светились в раннем и синем зимнем сумраке окна жилой, начальниковой, как здесь называли ее, избы.

В полурасстегнутом полушубке, разгоряченный от ходьбы и заиндевелый с мороза, едва постучавшись, можно сказать, я не вошел, а прямо-таки ввалился в комнату к Федору Федоровичу; на валенках, наскоро и плохо обметенных на крыльце, был снег.

«Что, выжить в поле?» — спросил Федор Федорович, окидывая меня взглядом.

«Нет», — ответил я и даже, по-моему, не словом, не голосом, а покачиванием головы.

«Привез?» — снова спросил Федор Федорович.

«Нет».

«О-о, да ты взволнован! Что такое приключилось?»

«Сейчас расскажу», — сказал я, снимая полушубок и направляясь к вешалке.

В доме Федора Федоровича, может быть, потому, что и сам хозяин, и жена его, Дарья, действительно-таки были людьми добрыми и гостеприимными, а может, просто потому, что все еще надеялись выдать одну из дочерей за меня и оттого радовались каждому моему приезду, непременно усаживали за стол, и Федор Федорович по случаю, как он любил говорить, доставал графинчик с водочкой и рюмки, я не чувствовал себя стесненно; когда дочерей не бывало дома и мы с Федором Федоровичем оставались одни (Дарья обычно не вмешивалась в разговор, а занималась своим бесконечным вязанием, сидя здесь же, на стуле, и только время от времени вскидывая на нас голову), я даже, казалось, отдыхал, слушая, может быть для кого-нибудь и скучные, но мне представлявшиеся удивительными и интересными рассказы старого агронома, и оттого теперь, едва вошел в комнату, как меня сразу же словно обдало всей этой атмосферой тепла и уюта. Видя доброе лицо Федора Федоровича — он стоял так, что керосиновая лампа, горевшая на столе, была за его спиной, но на затененном лице все же легко можно было различить то отечески-покровительственное выражение: и в сдвинутых к переносице густых старческих бровях, и во взгляде, который всегда действовал на меня особенно располагающе и который сейчас словно говорил: «Я тоже обеспокоен твоим волнением, но поверь моему опыту, все будет хорошо, я рассею любые сгустившиеся над тобой тучи», — видя именно это выражение на лице Федора Федоровича и видя добрые и по-своему удивленные и обеспокоенные глаза Дарьи, которая, встав со стула, но продолжая, уже машинально, поблескивать спицами в свете лампы, вдруг даже будто с растерянностью (разумеется, для нее важно было свое!) сказала: «Как же, Алеша, Федя, а девочки наши в кино ушли», — как ни был я взволнован и как ни хотелось поскорее рассказать Федору Федоровичу обо всем, что кипело во мне, но при виде этих знакомых добрых лиц, знакомой обстановки комнаты со столом посередине, накрытым расшитой светлой скатертью, с комодом в простенке между окнами и зеркалом и семейной фотографией в рамке над ним и, главное, со старым, с продавленными металлическими пружинами диваном, на который как раз обычно и усаживали меня приветливые хозяева, я как бы начал оттаивать душой, чувствуя, как всегда, расположение к ним, и думал: «Хорошо, что пришел именно сюда, они поймут. Это надо же — шесть ларей!» Федор Федорович между тем терпеливо ждал, пока я повешу полушубок; и Дарья, продолжая вязать, стояла тут же и смотрела на меня.

«Н-ну?» — проговорил Федор Федорович, когда я вышел на середину комнаты, к свету.

«Дай отдышаться человеку,— перебила его Дарья.— Садитесь, Алексей. Проходите, садитесь,— пригласила она, указывая занятыми вязкой руками на диван.— Чаю хотите?»

«Да»,— сказал я, чуть выждав.

Мне действительно хотелось есть, так как ушел я из Долгушина не пообедав, но еще больше хотелось побыть сейчас наедине с Федором Федоровичем.

«Н-ну,— вопросительно повторил он, как только Дарья, оставив вязанье на стуле, пошла собирать на стол,— так что же такое произошло, что ты прямо-таки с лица сменился, а?»

«Шесть ларей, понимаете, каждый центнера по четыре, по пять...»

«Погоди-погоди, какие лари, где?»

«У старого Моштакова в тайной кладовой. Случайно обнаружил, сам, сегодня».

«У Степана Филимоныча?»

«Ну, у него».

«Погоди-погоди, давай по порядку, а то я что-то ничего не понимаю».

«Пошел я утром сегодня к бригадиру за подводой»,— чувствуя, что и в самом деле надо рассказать все по порядку, начал я, продолжая смотреть на Федора Федоровича и не замечая еще пока, что вместо отечески-покровительственного взгляда, вместо того как бы налетного, неглубокого беспокойства, какое было только что на его лице, теперь появилось новое и тревожное выражение; но мы ведь не только в молодости, а зачастую и сейчас, когда, казалось бы, жизнь многому научила нас, споря, доказывая или второпях объясняя что-либо собеседнику, не следим за его лицом; в то время как я пересказывал Федору Федоровичу, что и как было, как я попал в тайную моштаковскую кладовую и увидел хлебные лари, я снова переживал все то, что уже пережил днем, и чувства эти представлялись (мне самому, разумеется) настолько чистыми, ясными и правильными, что я не мог даже предположить, чтобы Федор Федорович думал иначе, чем я; но он, теперь-то знаю, думал иначе и потому, когда я закончил рассказывать, заговорил не сразу, а с минуту сидел молча, то вскидывая глаза на меня, то глядя вниз, на цветной, домашней вязки половик под ногами.

«Угораздило же пойти на конюшню»,— наконец произнес он недовольным и ворчливым, какого я никогда прежде не слышал от него, тоном.

«Но я же не специально, Федор Федорович».

«А может, ты ошибся, и в ларях вовсе не пшеница, а овес, ячмень или еще что там для лошадей?»

«Да вы что, как я мог ошибиться?»

«Все, Алексей, может быть».

«Вы шутите, Федор Федорович: неужели овес от пшеницы я не могу отличить? Да какой же я тогда агроном-зерновик?»

«И это верно».

«Да и на трудодни по тридцать центнеров никому не давали».

«Так ты что думаешь, ворованное?»

«Да».

«А может, все же колхозное?»

«Было, Федор Федорович, колхозное. Вы же знаете, в Долгушине у нас нет хлебного амбара и кладовщика нет, все колхозное зерно всегда хранилось и хранится здесь, в Чигиреве».

«Погоди, Алексей, не раскаляйся, дров наломать легче легкого. Степан Филимонович не тот человек, которого можно вот так просто обвинить в чем-то. А-а,— заметно сморщившись, добавил он,— говорил же я тебе, не ввязывайся... А что, если хлеб все-таки колхозный, а ты вот так, а? Все может быть, и давай обмозгуем как следует, что к чему».

«Что мозговать, сходить к председателю, и все».

«Без спешки, только без спешки».

В это время вошла Дарья и сказала:

«Самовар на столе, Федя, приглашай гостя».

«Прошу»,— проговорил Федор Федорович вставая, и через минуту мы уже сидели за кухонным столом, и Дарья разливала в стаканы чай. Она не слышала, о чем мы только что разговаривали, и ничего не знала, но женским чутьем своим сразу уловила, что не только я, но и муж ее тоже чем-то обеспокоен, и потому, помалкивая пока, настороженно по-матривала на него.

Но молчание для нее (да и для всех нас) было тягостным, и она не выдержала и спросила:

«Что случилось, Федя?»

«Ничего, собственно».

«Вы что-то скрываете от меня?»

«Да вот полюбуйся на этого молодого человека, на нашу смену и надежду,— неохотно, с заметной досадою искривляя уголки губ, проговорил Федор Федорович.— Сколько предупреждал, сколько советовал, так нет, связался таки с Моштаковым».

«Со старшим? — переспросила Дарья, и хотя из того, что сказал Федор Федорович, совершенно нельзя было понять, что же все-таки произошло между мной и старым Моштаковым, но для нее уже достаточно было того, что с в я з а л с я, и она тут же, спеша высказать свое мнение, искренне и назидательно произнесла, глядя на меня: — Да разве можно с ними связываться, Алексей, они раздавят вас, они здесь все заодно, мы-то уж знаем, насмотрелись».

«Кто «они», о чем ты говоришь, Дарья, что мы знаем, помилуй бог»,— возразил Федор Федорович с раздражением.

«Ну как же... и председатель... и все...»

«Что ты мелешь своим дурацким помелом? Что мы знаем? Чего насмотрелись?»

«Федя, я...»

«Что «Федя»? Что «я»? Я тысячу раз просил тебя!..»

«Фе...»

«Замолчи!»

Федор Федорович, грохоча табуреткой, встал и, весь багровея до ушей, зло и даже, как мне показалось, ненавистно смотрел на жену; таким раздраженным, каким он был теперь, я никогда не видел его раньше; в то время как мы молчали, он снова и еще резче, чем только что, крикнул: «Замолчи!» — и вышел из кухни в комнату. Я проводил его взглядом, удивленный и ошеломленный этой неожиданной ссорой; семейная жизнь Сапожниковых всегда представлялась мне милой и дружной, дом — средоточием уюта и покоя, где все было как будто медлительно: и движения, и разговоры, и вообще весь ход жизни, и вместе с тем подчинено одному, научному, как я определял, глядя на Федора Федоровича, ритму; я считал его скромным, тихим, не рвущимся на пьедесталы сельским ученым, который творит свое дело в глубинке, настойчиво, устремленно, выводит с о й вечный сорт пшеницы, и придет час, сам собою придет, когда все неожиданно узнают, как велик его труд и как сам он, деревенский агроном, велик и щедр душой, и жизнь его, и цель, и работа казались совершенными, достойными примера и подражания; часто втайне я завидовал его счастливой судьбе, и потому все, что произошло теперь, было для меня именно ошеломительным и не совмещалось с тем, как я представлял и что думал о Федоре Федоровиче. Очевидно, как и сотни других тюдей (как, впрочем, тот же, скажем, Моштаков), Федор Федорович жил раздвоенной жизнью: одна, внешняя — для окружающих, для общественного мнения, в какой-то мере и для меня (ведь и у меня складывалось мнение), и в этой, внешней, все

разумно, спокойно, устремленно, а главное, похвально и привлекательно: и семьянин и ученый, другая же — для себя, в душе, за семью замками, которую зачастую приходится скрывать и от детей и от жены, но она-то, эта другая жизнь, и является ведущей и определяет дела и мысли. Какой была она у Федора Федоровича? Но что была, уверен. В конце концов ведь и у меня была своя, какую я, может быть бессознательно тогда, но прятал от людей; обмененные отцовские костюмы на муку постоянной болью отдавались во мне, оттого и ненавидел я старого Моштакова, но до времени, до этого вечера у Федора Федоровича никому ничего не рассказывал и ничем не проявлял свою ненависть! Так и Федор Федорович, хотя все же и теперь склонен думать о нем, что он был человеком честным, но трусливым; я уже говорил, что он, по-моему, все видел и понимал правильно и только боялся высказывать свои соображения, отгораживался от всего, сформулировав для внутреннего пользования удобное и все оправдывающее выражение: «Не наше дело». Даже спустя много лет, когда я неожиданно снова встретился с ним, он не стал говорить о Моштакове, хотя тогда уже все это было в прошлом, и в старческих глазах его, я заметил, как будто каким-то отдаленным светом отразился испуг. Но до той новой встречи было еще далеко, а в минуту, когда он вышел из кухни, оставив за столом нас вдвоем с Дарьей, я, разумеется, не думал ни о двойственной его жизни, ни о чем-либо даже отдаленно напоминавшем это: да и окрик его: «Замолчи!» — был неожиданным. «Что-то же, конечно, он видел, знает, что связано с моштаковскими хлебными ларями, но что и почему нельзя об этом говорить? Может быть, и он?.. Заодно?..» Я машинально принял из рук Дарьи поднесенный мне стакан с чаем и посмотрел на нее так, словно хотел прочитать на лице ее подтверждение тому, о чем подумал (что «да», и Федор Федорович заодно с Моштакovým!); но я увидел лишь смущение в ее глазах, ей было неловко от всего, что произошло, она чувствовала себя виноватой и готова была чем угодно загладить вину, но не знала чем и как и только несколько раз негромко повторила: «Боже мой, что же это!» Федор Федорович же, было слышно, торопливо и нервно прохаживался из угла в угол в соседней комнате. Я не стал пить чай; мне было неприятно смотреть на смущенную Дарью, как она, пожилая женщина, мать трех взрослых дочерей, униженная криком мужа, должна была теперь что-то говорить мне, оправдываясь, исправляя впечатление, и неприятно было слышать, как вышагивал за дверью Федор Федорович; еще резче, чем минуту назад, когда рассказывал Федору Федоровичу о тайной кладовой и ларях, я увидел перед собою те моштаковские лари с зерном и увидел мужиков, которых Владислав Викентьевич называл «мучное брюшко» и которые в прмерзших, заиндевелых сенцах отвечивали мне муку за отцовские костюмы, и вся ненавистная, нечестная жизнь этих людей, представшая вдруг простой и ясной схемой — «Да он же вот, насквозь виден, Моштакoв!» — поднимала в душе то чувство, когда я не мог и не хотел разбираться, заодно ли с Моштакoвым Федор Федорович, или не заодно. Я встал, отодвинул табуретку и вышел из-за стола.

«Спасибо за чай,— сказал я Дарье,— я сыт, до свиданья».

Федор Федорович как будто не обратил внимания на меня, когда я появился в комнате; лишь когда, сняв с вешалки полушубок, начал было одеваться, он остановился и, оглядев меня, совсем иным, чем только что, не раздраженным, не сердитым, а привычным покровительственно-доброжелательным, как он любил обращаться ко мне, тоном проговорил:

«Куда же вы на ночь глядя, Алексей?»

Я ничего не ответил и продолжал одеваться.

«Нет, милостив-с-сударь, я никуда вас не отпущу,— продолжил он, проходя вперед и преграждая мне дорогу к выходу.— Мало ли что наговорят жены, их послушать, так и жизнь не жизнь. Вы еще не женаты, но

узнаете, у вас все впереди. Все-все,— добавил он, принимаясь расстегивать полушубок на мне.— А с Моштакovým надо обдумать как следует, боюсь, как бы вы не влипли по молодости в историю».

«Зерно краденое»,— сказал я, отстраняя руку Федора Федоровича.

«У вас есть доказательство?»

«Лари».

«Хм, это еще ни о чем не говорит,— произнес он, и усмешка заметно засветилась на его сухих старческих губах.— Я думаю о вас, только о вас. В конце концов мы работаем в научном учреждении, у нас свои цели и обязанности, а вы беретесь, один бог ведает, за какое дело. Вы должны даже во сне бредить научным открытием, этого я ждал от вас, но вы... да и зерно, я уверен, колхозное, так оно и окажется, и все ваше рвение — сплошная глупость. В итоге вы же останетесь в дураках».

«Зерно краденое».

«А вам не только работать, но и жить с людьми. Деревня, она, вы приглядитесь, если уж осудит, места не будет вам».

«Краденое!» — снова повторил я, с нескрываемой неприязнью глядя на Федора Федоровича.

Я горячился, знаю, но не по молодости; я представлял себе душевный мир старого Моштакова настолько ясно, что ни минуты не сомневался в своей правоте, и потому рассуждения Федора Федоровича казались неверными и подозрительными; я уже не испытывал к нему того уважения, какое всегда жило во мне; очевидно, когда чувство непрочно, оно исчезает сразу; именно здесь, у двери, одетый в полушубок, я словно бы притронулся к чему-то прежде невидимому, закрытому в Федоре Федоровиче, к обнаженной душе его, что ли, и весь он со своими всегда у меня в мыслях, со своей научной устремленностью, с глубоко скрытым желанием производить только хорошее впечатление на людей и старанием, с каким он делал это, раньше как будто незамечаемым мною, казался теперь совершенно иным, разгаданным, ложным, и ложь эта была очевидна не только в словах, но в интонации, во всем лице, повернутом на меня, в сутулости, как он стоял, втянув и без того короткую шею в плечи. Я до сих пор не могу уяснить себе, что заставляло его так волноваться. Никаких порочащих дел ни с Моштакovým, ни с Андреем Николаевичем он действительно-таки не имел, о моштаковских ларях, как выяснилось потом, знал весьма отдаленно, а точнее, только догадывался, что они есть, но старался не думать о них, и ничем ему не угрожало моштаковское разоблачение, но вот — волновался же, боялся чего-то, как будто краденое зерно хранилось не у старого Моштакова, а у самого Федора Федоровича. Может быть, боялся, что в разоблачении заподозрят его и он будет ходить затем по деревне как меченый под недобрыми взглядами председательской и моштаковской родни («Люди злы, обид не прощают, рано ли, поздно ли, а подставят и тебе ногу», — как-то говорил он мне, но только теперь, запоздало, вдруг, я понял весь ужасающий смысл этих слов; есть же люди, постоянно терзающие себя ожиданием, когда и кто подставит им ножку!); но, может быть, лишь из привязанности к Андрею Николаевичу, из опасения потерять однажды приобретенного в кои-то годы друга, из опасения, что с потерей друга, а в сущности, потерей поддержки, нарушится общий привычный ритм жизни, или, может быть, исходя только из той философии, как Владислав Викентьевич, как Пелагея Карповна, что они, моштакovy, тоже делают своего рода доброе дело, и потому их не следует трогать, из такого понимания и толкования добра людям, но так или иначе, а Федору Федоровичу не хотелось, как он выразился, шума, и он, держа меня за полы полушубка и по-прежнему преграждая дорогу к выходу, снова и снова старался внушить, что делаю я непростительный, неверный и глупый по молодости шаг. Он говорил: «Надо же сначала узнать все как следует,

удостовериться, уточнить, поговорить с самим Степаном Филимоновичем, на худой конец, с Кузьмой, с бригадиром, и, я уверен, все можно выяснить и уладить. В конце концов куда же оно денется, это зерно, к чему такая поспешность?—И в голосе, и в глазах, как он смотрел, было искреннее желание остановить меня.—Снимайте полушубок. Снимайте же и не противьтесь. Куда вы в такую морозную ночь? Нет-нет, милостив-сударь, я считаю своим долгом...» Я как будто слушал Федора Федоровича, смотрел на него, но, по-моему, воспринимал далеко не все, что он, чем дольше мы стояли друг против друга, тем с большей убедительностью старался внушить мне; мгновенно, как это часто бывает, теперь-то могу судить, и не только в молодости, я вспомнил все предыдущие встречи и разговоры с Федором Федоровичем, начиная с первой, что произошла в доме Андрея Николаевича, и — так уж устроено человеческое сознание! — с удивлением, на секунду как бы перекинувшись на то красно-дóблинское застолье и представив себя с тем глупо-восторженным выражением, как я смотрел на Федора Федоровича и Андрея Николаевича, поднимая вместе с ними наполненную водкой рюмку, с удивлением и насмешкою над собой думал, что все это, что открылось в Федоре Федоровиче, можно было увидеть еще тогда: и в том, как он выслушивал похвалы Андрея Николаевича (глядя сейчас на его обеспокоенное лицо и замечая это беспокойство, я вместе с тем видел и то, раскрасневшееся и расплывшееся в довольстве, и невольно морщился, так как все это было неприятно мне), и в том, как сам он хвалил начальника райзо и поднимал за него тосты, и пьяный храп в комнате, где мне постелили тогда постель, и торчащая нога в белых кальсонах, и, главное, подвода и мешок с мукой, внесенный на остекленную веранду, к которому, конечно же, Федор Федорович не имел никакого отношения, но мне казалось в эту минуту, что имел и что ничем иным, а только этим и объясняется все его теперешнее поведение. «Все вы заодно,— мысленно восклицал я,— все!» Я вспомнил и то, как мы ехали на подводе в Долгушино, и разговор о долге агронома, о науке и мужицкой практике земледелия, и рассуждения те казались мне теперь лишь отвлекающею глаз накидкой, под которой скрывалось совершенно иное, чуть ли не моштаковское, по крайней мере так казалось мне теперь, нутро. «Как он стелил: доброта, мягкость! — говорил я себе.— Вот оно все!» И те приветливые возгласы: «Ба! Алексей! Добро пожаловать! Милости просим!» — какими каждый раз встречал Федор Федорович, когда я приезжал в Чигирево, и стопочки, какие появлялись непременно к ужину на столе, и похвалы, какими он, особенно при дочерях, одаривал меня, — все казалось ложным, искусственным, и оттого, что я понимал это, еще больше морщился. «Я видел то, что хотел видеть,— упрекал я себя,— а не то, что было на самом деле. Но теперь хватит, довольно!»

«Разрешите»,— сказал я, настойчиво отстраняя Федора Федоровича и направляясь к двери.

«Ну что ж, дело хозяйское,— в ответ проговорил он.— Я предупредил, а теперь как знаешь. Сам заваришь, сам и расхлебывать будешь, а я — я ничего не слышал и ничего не знаю».

Я уже взялся за ручку и готов был открыть дверь, но, услышав эти слова, обернулся и еще раз взглянул на Федора Федоровича. За его спиной, за кухонным порогом стояла виновато-смущенная, жалкая Дарья.

«Да, да,— подтвердил Федор Федорович,— хлебай сам, милостив-сударь».

Уйти, не ответив на это, чувствовал, было нельзя; я хотел сказать: «Да, сам и расхлебаю»,— но вслух произнес совсем другое.

«Краденое,— неожиданно для себя повторил я уже не раз говоренное сегодня.— Краденое!» — И рывком открыв дверь, через холодные и темные сенцы вышел во двор.

В ту минуту, когда стоял на крыльце и вглядывался в очертания навеса и конюшни и в темные на снегу незапряженные сани, на которые падал оконный свет, я еще не испытывал раскаяния, что так резко и непримиримо разговаривал с Федором Федоровичем, и сомнения еще не терзали меня — все это придет часом позже; я был так возбужден, что и мороз казался не морозом, и пронизывающий ветер и начинавшаяся поземка, как бы пригоршнями холодных и колючих игл хлестнувшая по лицу, не только не заставили поднять воротник и отвернуться, но, напротив, как был расстегнут полушубок — не застегивая, лишь запахнув полы, я двинулся навстречу ветру и поземке к воротам. На улице ветер дул еще сильнее; как по желобу, гнал он вдоль засугробленных изб и плетней завихривающие струи снега, монотонно и жутко посвистывая в бревенчатых сплетениях и застрехах под соломенными крышами, люди сидели по избам в этот предночной метельный час, и, может быть оттого, что вокруг было пустынно, лишь желтыми квадратами кое-где светились не закрытые ставнями окна, и, конечно же, от холода, который, не пройдя и двадцати шагов, я начал ощущать и ежиться, на какое-то мгновение я показался себе одиноким, бессильным, жалким (чувство это, впрочем, было уже знакомо мне: я всегда испытывал бессилие, когда вносил в дом обмененную на отцовские костюмы муку; бессилие перед какой-то огромной и неубывающей армией «мучное брюшко»), жалким со своей ненавистью к Моштакovu, со своим пониманием добра и зла, таким ясным, простым для меня, но почему-то, в силу каких-то непонятных причин неясным и сложным для понимания других. «Не хотят, своя мерка дороже, вот что», — говорил я себе. Я поднял воротник и стоял, повернувшись спиной к ветру, раздумывая, куда пойти теперь. О председателе не могло быть и речи, потому что каким-то будто звоном отдавались еще в ушах слова Дарьи: «Они здесь все заодно... и председатель... и все...» Нужно было к участковому уполномоченному милиции Старцеву (он был один на несколько деревень, в том числе и на Долгушино), я знал, что он живет в Чигиреве, но где, в каком доме? Невольно, будто действительно таким образом можно было что-то узнать, я начал приглядываться к сгорбленным на снегу вдоль улицы избам и вдруг увидел вдали, сквозь вихри поземки, приближавшиеся серым клубком запряженные парю лошадей сани. Не могу сказать, сразу ли я узнал, что это были выездные, с мягкими подушками сани начальника райзо Андрея Николаевича, или уже потом, когда заснеженная упряжка поравнялась со мной (я хорошо помнил сытых и резвых земотделовских коней), но не в этом суть; важно, что узнал, и когда сани свернули во двор сортоиспытательного участка, мне показалось, что ветер донес знакомый и, как в те минуты я воспринимал, ложноприветливый возглас Федора Федоровича: «Ба! Кто к нам!»

«Заодно. — полуобернувшись и глядя в темноту, в сторону скрывшихся за воротами саней, вслух, не боясь, что кто-либо услышит (не боясь именно потому, что вокруг никого не было), проговорил я. — Все заодно! — И при этих словах как будто новый прилив решимости охватил меня. — Хорошо, — продолжил я, словно они, Федор Федорович и теперь приехавший к нему Андрей Николаевич, к кому я обращался, могли слышать меня. — сам заварил, сам и расхлебаю. Тоже мне, своего рода добрь... Посмотрим», — закончил я вызывающе, будто и впрямь не у Моштакова, а у них, Федора Федоровича и Андрея Николаевича, хранилось краденое зерно.

Час четвертый

К Старцеву, его звали Игнатом Исанчем, я попал не сразу; прежде еще пришлось постучаться в несколько изб и пройти затем через все Чигирево на другой конец деревни, наклоняясь навстречу ветру и колкой

поземке; когда же наконец остановился у порога старцевской избы, ожидая, пока жена Игната Исаича, громыхая в темных сенцах деревянным засовом, откроет дверь, чувствовал себя настолько продрогшим, что на вопрос хозяйки, кто я и зачем пожаловал, долго не мог сказать ничего внятного, губы не слушались, да и голос казался будто не своим, чужим, неуправляемым.

«Из Долгушина! Пешком! — воскликнула она. — Проходите».

В комнате, на свету, у двери она обмела веником снег с моего полушубка; когда же, раздевшись, я прошел к теплой еще, как видно недавно топленной печи, она подала табуретку и сочувственно и жалостливо, как Пелагея Карповна, поглядев на меня, сказала:

«Отогревайтесь. Игнат Исаич (мне иногда кажется удивительным, отчего многие деревенские женщины называют своих мужей по имени и отчеству, а не просто Игнатом, или Андреем, или хозяином; от уважения ли к главе семьи, или, может быть, от той значимости на селе, какую, как им должно представляться, пользуются их мужья, и значимость та вызывает опять-таки гордость и уважение, а может, всего-навсего старая и забываемая теперь традиция? Но как бы там ни было, а величание всегда производит на меня доброе впечатление, словно что-то большое и важное кроется за словами этих деревенских женщин, за тоном голоса, как они говорят — Игнат Исаич! — сознание, может быть не просто жизни, а места человека в ней! С первых же минут, как только она заговорила, почувствовал, что отогреваются не только руки, лицо, грудь, но какое-то будто иное, чем от печи, тепло проникает в душу, в сознание, выравнивая и укладывая течение мыслей в спокойное и привычное русло), — Игнат Исаич, — между тем продолжала она, словно специально для меня подчеркивая достоинство и почтенность мужа, — скоро придет. Он недалеко, здесь, через две избы, у Сыромятниковых».

Я сидел молча. Лампа горела на столе, за спиною, и тень от моей головы и плеч ложилась на белую стену печи, изламываясь у заставленного чугунами шестка и заслонки. Хозяйка не беспокоила вопросами, я не оборачивался и не видел ни ее лица, ни того, что она делала, а временами вообще как будто забывал о ней, и тогда, может быть именно оттого, что отогрелся у теплой печи, а может, просто от наступившего вдруг после всех переживаний покоя (не знаю, как бы могли мы жить, не будь в человеке этого защитного средства, что ли, — покоя!), и мысли, и воображение по каким-то неизвестным, во всяком случае, неведомым мне законам бытия поминутно словно вырывали меня из этой обстановки, от Моштакова, Федора Федоровича, Андрея Николаевича, о ком я как раз и должен бы думать, и переносили в иную, в то недалекое довоенное прошлое, когда еще был жив отец, и о войне если, может быть, и говорили взрослые, то негромко, скрытно, про себя (по крайней мере, я никогда не слышал в доме ни от отца, ни от матери слова: «война»); в общем, все то, как я, прожив свои двадцать лет, видел и понимал мир, вставало теперь перед глазами, объединенное одним понятием жизни, и вместе с тем четко и ясно разделенное надвое бороздою, по одну сторону которой — все, что было хорошего (разумеется, в людях!), мир добра и справедливости, а по другую — что я ненавидел и что представлялось оскорблением жизни (разумеется, что тоже было в людях!), мир зла и несправедливости, и я лишь с изумлением и недоумением спрашивал себя: «Почему? В чем причина? Где корень всему?» Я как будто уходил от того вопроса — раскрытые мною моштаковские лари с зерном! — который должен был волновать меня, и старался найти ответ на другой: почему существует зло, если оно так очевидно и вполне истребимо каждым человеком в себе, и это так просто? — и как будто не было никакой связи между тем, о чем я должен бы думать и о чем думал, и на душе действительно-таки чувствовалось облегчение (но на самом деле это только

казалось, что не было связи); в конце концов, когда появился в избе Игнат Исаич, я снова уже и с негодованием размышлял о Моштакове, а вместе с ним и о Федоре Федоровиче и об Андрее Николаевиче, который там, у Федора Федоровича в избе, за самоваром, тайно сговаривался сейчас со своим старым другом, как о с т а н о в и т ь меня и спасти моштаковские, а в сущности, свои лари, наполненные краденым колхозным хлебом, — словом, думал о них, потому что они-то как раз и составляли главное зло в моем тогдашнем понимании. Но до появления Игната Исаича было еще далеко, вопреки обещанию хозяйки, он запоздал, так что около часа я просидел неподвижно возле теплой печи, мысленно рассуждая сам с собою; Игнат Исаевич был для меня властью, законом, вернее, блюстителем закона, и потому я ни секунды не сомневался, что он-то (это не Федор Федорович!) сразу поймет что к чему и немедленно примет меры. Мне представлялся мир, разделенный надвое, на добро и зло, и все казалось настолько несложным и ясным и так четко отличимым друг от друга, как две, черная и белая, полосы, проведенные рядом, что именно изумление, а никакое иное чувство, охватывало меня перед всей этой очевидной ясностью и простотою. Но странно — в то время, как все представлялось ясным, ответа на вопрос, почему же все-таки существует зло, не было; и не было потому, что я искал его на поверхности; это только нам кажется, что добро и зло — категории ясные, а на самом деле, даже тогда, как только я начинал разбирать то или иное явление, перед глазами возникал клубок связанных между собою звеньев, и связь эта выглядела настолько многообразной и взаимовлияющей, что чем пристальнее я всматривался в нее, чем глубже, казалось, проникал в суть явления, тем отдаленнее и туманнее представлялась истина. «Удивительно, — говорил я себе, — какая-то чертовщина», — и только что волновавшие воображение картины повторялись, я опять видел казавшееся мне далеким-далеким детство — и это в двадцать-то лет! — когда не просто сознание жизни, или, как это должно быть, радость бытия, нет, а сложность и, не побоюсь сказать, трудность (прожить беззаботно, убежден, не хитрое дело), с о л ь жизни проникали в мое детское сознание.

Снова все начиналось с той длинной дороги в деревню, которая была особенно памятна мне — на телеге с деревянными осями, с берестяным ведерком, болтавшимся между задними колесами (в нем был черный и тягучий деготь для смазки), мы ехали с отцом в Старохолмово покупать дом. Как участнику гражданской войны и ударнику производства отцу выделили земельный участок на окраине города (тогда, знаете, многим давали участки, индивидуальное строительство поощрялось: ведь надо же было поднимать страну из разлухи), дали ссуду, теперь-то знаю, обещали помочь и строительными материалами, но дешевле и проще было в то время купить в деревне дом на снос и перевезти в город; так делали многие; так решили и мои отец и мать. Я не просился в дорогу; отец сам взял меня, и это было событием в моей жизни, я и сейчас считаю, ступенью, откуда начинается сознание, память и где, если хотите, берет начало эта самая различительная черта между добром и злом, которая и теперь остается для меня неизменной и помогает определять отношение к людям и событиям. Так вот, я словно опять ехал в деревню и то смотрел на круп лошади, как тогда, в тот ясный летний день, на шлею, которая казалась мне лишней и мешала ровному шагу рыжей и тощей лошаденки, то на колесо и колею, серую в обрамлении тронутой желтизною, но еще зеленой и местами сочной травы, то на солнце, которое как бы висело над лесом, куда мы ехали, и от созревающих хлебных полей возникало чувство радости, добра, жизни; я смотрел вокруг, и все мне казалось необыкновенным и не просто наполненным добром, но щедрым и единым в этой своей доброте; и двор старой мельницы, куда мы заехали отдохнуть и пообедать, тесный от подвод и звуков: хруста жующих сено лошадей и

говора мужиков в рубахах, краснощеких, с кнутами в руках и заткнутыми за пояса, кнуты эти тоже казались частицею того единого доброго мира, как все представлялось тогда, и пожилая мельничиха в захватанном фартуке, принесшая нам молоко, и тысячи мух, которые как бы роились над всем двором и над столиком из досок, за которым мы сидели,—все-все и теперь, когда вспоминал, укладывалось в одно приятное чувство, а тепло от печи, перед которой сидел, и запах борща и печеного хлеба, чем пахнут все русские печи в деревнях, лишь усиливали то вдруг вернувшееся впечатление детства. Я так и уснул тогда в дороге, не дождав-шись Старохолмова, и отец укрыл меня, съездившегося на колких объедках сена, которыми была заполнена телега, своим теплым с плеч пиджаком; уснул с тем ребячьим пониманием мира как всеобщего добра и счастья, не ведая, что уже наутро жизнь прорежет первую и видимую даже для детского взгляда трещину, словно промнет свежую тропу наискосок по несжатому пшеничному полю. Наутро мы торговали два дома, вернее, отец торговал, а я лишь смотрел то на отца, то на хозяев, с которыми он разговаривал. Первый дом, который все называли пятистенником и к которому прежде всего направился отец, стоял почти в самом центре Старохолмова, даже не стоял, не то слово, а возвышался, привлекая внимание и резным крыльцом и еще как будто новой тесовой крышей, и когда отец (а вместе с ним и я, не отставая ни на шаг), обходя вокруг дома, обстукивал бревна, желая убедиться, нет ли гнили или какой другой порчи в сердцевинах, толстые, не совсем еще потемневшие от времени венцы, казалось, звенели сухим приятным звоном, и хозяин в жилетке и с выпущенной из-под жилетки рубахою, сухощавый, с ровным пробором чуть начавших редеть русых волос, с усмешкою поглядывая на отца, то и дело произносил: «Для себя рублен, не на продажу». Именно эта его усмешка больше всего запомнилась мне; я заметил ее в первую же минуту, как только мы подошли к дому, и на ступеньках, встречая нас, вырос хозяин (я не расслышал ни имени его, ни отчества; да и важно ли это?); прежде чем сказать первое слово, он молча и как бы свысока осматривал нас, думая про себя, наверное, что, мол, за покупатели такие явились и хватит ли у них денег на его хоромы, и эти мысли его (а теперь я добавил бы: и презрение, которое, конечно же, он не мог не испытывать к нам) были отражены на его сморщенном усмешкою лице.

Он спросил:

«Мошна большая?»

«Денег сколь, что ли?»

«Да».

«Хватит».

«Ну-ну, поглядим...»

Не то чтобы я понимал все, что и как было (это ведь сейчас только я так ясно все представляю и оцениваю), шел мне всего лишь седьмой год; но как ни малó бывает наше детское разумение, каким-то, даже затрудняясь сказать, седьмым ли, десятым ли, а, может, как раз первым и самым обостренным детским чутьем уловил я то недоброе, что жило в этом человеке, и мне было жалко отца, когда он, стараясь не замечать хозяйского презрения, разговаривал с ним (хотелось же купить дом лучше!), и с ненавистью, впервые, может быть, возникшей во мне, смотрел на этого незнакомого сухощавого человека в жилетке, выдвигаясь вперед, чтобы он непременно понял мой взгляд, и, в конце концов, тоже в упор посмотрев на меня, он не выдержал и как бы цедя слова сквозь зубы, проговорил:

«Эк волчонок какой растет, чисто волчонок».

Он запросил за дом сумму, какую отец не мог ему заплатить.

«Вы серьезно? — с удивлением произнес отец. — Кто же вам даст такие деньги!»

«Найдутся, дадут».

«А дешевле?»

«Нет».

«Но, может...»

«Дешевле — поищи рядом».

«Ну какой это разговор!»

«Поищи, поищи», — повторил он, снова и с той же презрительной усмешкою оглядев отца и меня с ног до головы. Одеты мы были в старое, поношенное — что же еще можно было надеть в дорогу! — и это, думаю, как раз и вызывало в нем недоверие к нам; но, может, не только это. Я помню, как мы выходили со двора, провожаемые с крыльца прищуренным хозяйским взглядом, как отец, уже очутившись на улице, еще несколько раз останавливался и, полуобернувшись, смотрел на пятистенник; дом нравился отцу, я понимал это и, мне кажется, переживал вместе с ним, и тем сильнее испытывал неприязнь к хозяину, оставшемуся на ступеньках, неосознанно, а лишь детской интуицией видя в нем неожиданно открывшееся на всеобщем фоне добра и счастья зло. Конечно, может быть, не так уж и ясно я представлял себе все это, о чем говорю сейчас, но вот сохранилось же чувство, а значит, оно было, и я не мог выдумать его; оно повторялось во мне теперь, то чувство, когда я сидел возле печи в старцевской избе, глядя на шесток и не видя его, и не сознавая, что за спиною, у стола, так же уютившись на табуретке, вся освещенная ярко горящей керосиновой лампой, сидит хозяйка и с жалостью ли, осуждением или иным каким чувством смотрит на мои сгорбленные плечи; да, оно повторялось; вместе с тем как я видел себя идущим рядом с отцом и моя маленькая рука, казалось, грелась в его теплой и жесткой ладони, вместе с тем как я будто оборачивался, подражая отцу, и оглядывал добротный и, как я уже говорил, словно возвышавшийся над всеми другими избами пятистенник — я испытывал нарастающее с каждой минутою чувство и страха, и ненависти к этому вдруг открывшемуся злу. «Вот откуда все! С него... все начинается с него», — мысленно повторял я пришедшие на ум, несомненно, только теперь слова, но мне казалось, что я произносил их тогда, во всяком случае, что-то очень схожее по смыслу, хотя, конечно, тогда, в Старохолмове, я не мог ни думать так, ни тем более произносить что-либо близкое к этому; я лишь смотрел на все, может быть, действительно-таки волчком, и когда мы второй раз пришли к хозяину пятистенника, помню, что-то заставило меня спрятаться за спину отца, и уже оттуда, как бы из-за укрытия высунув голову, наблюдать за сухощавым и казавшимся мне злым (как будто еще отчетливее на лице его виднелась презрительная усмешка) человеком.

«Ну так что же, хозяин, спускайся с крыльца, потолкуем», — сказал отец.

«А чего толковать?»

«Порядимся, может и сойдемся в цене».

«Давай-ка иди подальше, дом пока еще мой, сколь хочу, столь и возьму. Есть деньги, клади, нет — ступай, ищи по карману. Все».

«Да что же так-то?»

«Все!»

Мы купили другой дом, похуже, у пожилой одинокой женщины, которая уезжала куда-то на стройку, в какой-то «барак али еще что», куда приглашал ее сын; отец долго ходил вокруг избы, так же как и пятистенник, обстукивая ее, разглядывая никогда не знавшие краски и, казалось, посиневшие от времени оконные рамы и ставни, и потом, вечером, за лампою, подсчитывал, что придется заменять и обновлять и во что это обойдется, а я с полатаей, куда уложили меня, смотрел на его склоненную над столом и клочком бумаги голову. В сознании моем возникал теперь и этот вечер, и всё последующее, как перевозили и устанавливали дом, и, осо-

бенно, то, каким виноватым чувствовал себя отец перед матерью, когда наконец обрисовались контуры купленной им, как определила мать, халупы, и я испытывал теперь запоздалую боль за отца и снова и снова как бы видел перед собою оставшегося там, на ступеньках крыльца, сухощавого и злого хозяина пятистенника. «Все с него.. конечно же, какой тут может быть разговор!» — уже с ненавистью восклицал я, и как бы сама собою прочерчивалась линия от того хозяина к Моштакову через сенной базар и вещевого рынок, через всех памятных мне мужичков — «мучное брюшко», с которыми сталкивала жизнь, и еще с десятками разных людей: и в техникуме, и среди знакомых нашей семьи, среди соседей, в которых так или иначе я видел хитрость и ненавистное мне зло; все они как будто выстроились, и в самом конце, венчая строй, возвышался над всеми, как тот пятистенник, Моштаков со своими хлебными ларями; рядом же с ним были и Федор Федорович и Андрей Николаевич. Я понимаю, что смешно и нелепо так представлять все, но в том состоянии, в каком находился я, в той горячности, какая охватывала меня, все казалось верным. Да иначе и не могло быть. «Вот они, — говорил я себе самые обыкновенные и самые, наверное, заезженные, но для меня, несомненно, звучавшие как откровение слова, — паразиты на теле человечества».

За спиной все так же было тихо и так же ярко горела керосиновая лампа; но, может, мне только казалось, что было тихо? Во всяком случае, до появления Игната Исаича, до той минуты, когда он, шумно войдя в комнату, воскликнул: «Это кого еще к нам на ночь глядя!» — ничто не прерывало моих размышлений; я не только думал о Моштакове и не только видел перед собою зло; оно было лишь по одну сторону борозды, тогда как по другую тоже лежал мир. Он, этот мир доброты и человечности, как бы заслонял все и начинался для меня также в Старохолмове; память опять вводила к тем местам и тем дням, когда мы перевозили из деревни в город купленный дом. Отец подрядил трех чувашей-единоличников, и я напросился ездить с ними сопровождающим — от Старохолмова до города и обратно. Я мог бы, кажется, часами рассказывать о том, что и как они делали, как размечали венцы, оставляя топором зарубки на каждом бревне, как наваливали эти бревна на разобранные и раздвинутые телеги и увязывали веревками и цепями, как медлительно будто и вместе с тем споро подвигалась работа, но все это было лишь внешней и привлекательной стороной, тогда как главное, что поразило меня и что оставило неизгладимый след на душе, была ненссякаяемая и, казалось, жившая даже в складках их простоватой холщовой одежды доброта. Не то чтобы они были ласковы ко мне, что ли, нет, для них было равно все: и я, и свои лошади, которых они считали кормилицами, и бревна, которые поднимали, и трава, и дорога, и небо, и лес, на опушке которого обычно останавливались, чтобы покормить лошадей, — все было для них как бы одухотворенным, живым, требовавшим уважения, и они отдавали уважение с той естественностью и простотою, что нельзя было не удивляться, глядя на них. И я удивлялся, не так, конечно, как сейчас, не рассуждая столь вьедчиво, вернее, вовсе не рассуждая, а лишь чувствуя всей детской душою доброту этих людей, и сам оттого, мне кажется, становясь добрее и ласковее. А ведь ничего особенного как будто и не было; просто перед тем, как отправляться в дорогу, когда бревна бывали уже увязаны на телегах, мужики присаживались на обочине, закуривали, передавая кисет из рук в руки, и начинали почти каждый раз один и тот же разговор: какую из лошадей пускают передом?

«Ну? — спрашивал обычно самый старший из мужиков, шевеля густыми и светлыми, словно покрытыми дорожной пылью усами. И лошаденка у него была чалая, будто под цвет усов. Она казалась крупнее двух других, выглядела более справной, и хозяин-чуваш не без заметной гордости поглядывал на нее. Но он не хотел обижать напарников и потому,

обращаясь то к одному, то к другому, продолжал: — Как разумеем-будем?»

«Оно можно бы и мою, Митрив-то вывозили, так передо шла», — вставлял первый.

«Можно-ть и мою, — вмешивался в разговор второй, — но только твоя, Тимофей (так звали чуваша со светлыми усами), на овсе нынче, и шаг должен быть покрепше, а путь — эвона!»

«Овес-то, да-а...»

«Надо пускать чалую».

«А ты как?»

«Чалую».

«Ну так что, порешили?»

«Да».

«Тогда с богом», — завершал разговор Тимофей и, поднявшись, неспеша направлялся к своей лошади, брал ее под уздцы и выводил в голову небольшого, три подводы, обоза.

И в самом деле, как будто ничего особенного не происходило — поговорили, встали и пошли, — но надо было сидеть рядом с ними, надо было видеть их лица, слышать негромкие и неторопливые, исполненные достоинства голоса; я тоже подымался и шел вместе с Тимофеем, боясь прозевать ту минуту, когда он, запустив ладонь под гриву, примется хлопнуть чалую по шее, и лошадь, словно отзываясь на ласку, тут же повернет морду и, шевеля розовыми губами, потянется к его руке; а Тимофей, достав из кармана корку хлеба, с ладони скормит ее чалой. Не знаю, хорошо ли, плохо ли, но эта маленькая сценка всегда производила на меня особенное впечатление; за обедом и ужином я набивал карманы хлебными корками, а потом, стараясь делать так, чтобы никто не видел, подходил сначала к чалой и, подражая хозяину-чувашу, а если откровеннее, воображая себя хозяином, тянулся рукой к потной лошадиной шее, чтобы похлопать ладонью, погладить, обласкать, что ли, а затем скармливал, как и Тимофей, хлебную корку, протягивая ее в пригоровенные вместе ладонях. Мне было приятно чувствовать, как мягкие, влажные лошадиные губы прикасались к моей руке. Я видел, что чалая и от меня так же принимала ласку и хлеб, как от хозяина, и это вызывало во мне тихий и скрытый восторг. Я иногда думаю, что, может быть, эта однажды испытанная детская радость тоже повлияла на выбор профессии, почему я стал агрономом, а не кем-нибудь еще; мог бы пойти учиться, скажем, в железнодорожный (был у нас и такой техникум в городе), а не в сельскохозяйственный, но — это так, к слову; я подходил не только к чалой, а и к другим двум, так как мне хотелось всех одарить своею хозяйскою щедростью, и потом, довольный и счастливый, сидел на возу, на бревнах, и смотрел, как покачивались дуги над конскими шеями, как натягивались гужи, отдаваясь звонким ремненным скрипом, и как шагали мужики-чуваша, каждый против своей лошади, бросив вожжи на круп, молчаливые, задумчивые; за всю дорогу они, казалось, не произносили ни слова, но для меня были не слова, а поступки, как мужики помогали лошаденкам вытаскивать возы в гору, а на уклонах завязывали одно из колес для торможения, как при малейшей остановке ослабляли супони и чересседельники и подбрасывали к ногам сухое или тут же, на обочине, накошенное сено; и их язык, язык доброты и человечности, признание равным и достойным уважения все живое и неживое, бережливость движений — все было для меня откровением, и хотя прошло с тех пор столько лет, а я помню самые разные подробности. Именно они, эти подробности, вставали передо мною в минуты, когда в тихой старцевской избе я отогревался возле печи, и так же как зло выстраивалось в воображении в одну сплошную линию, так и добро представлялось как бы линией. начинавшейся от тех возниц-чувашей и вбиравшей в себя отца,

мать, братишку и сестренку, Владислава Викентьевича и еще десяток разных попадавшихся на моем недолгом жизненном пути людей, друзей по техникуму, товарищей, с которыми я и теперь, хотя, правда, изредка, но все же переписываюсь; к этой же черте примыкала и Пелагея Карповна с дочерью Наташей (к тому времени, откровенно говоря, я ведь и о них знал лишь то, что было на виду), и даже сидевшая за спиною хозяйка этого дома.

«И все — люди!..»

«Вы что-то сказали?» — услышал я тут же голос хозяйки.

«Ничего, так, сам с собою».

«А-а. А то, может, сходить за Игнатом Исаичем? Чтонибудь срочное?»

«Нет, спасибо, не надо. Я подожду».

«Из Долгушина, говоришь? — начал Игнат Исаевич, хотя я еще ничего не говорил ему, а только смотрел, как он, войдя с мороза, сбросил с плеч полушубок и теперь, взяв табуретку, присаживался напротив меня.— Агроном? Пономарев? Алексей Петрович?»

«Да»,— удивляясь осведомленности Игната Исаевича и оттого глядя прямо на его раскрасневшиеся в тепле после метельной улицы щеки, ответил я.

«Выкладывай, с чем пожаловал?»

Я понимал, что нельзя торопиться, что надо объяснить все обстоятельно и спокойно, но, видимо, чувства наши чаще всего бывают выше разума, и потому только первую фразу: «Дело тут сложное, так что извините, я начну издалека»,— и смог произнести как будто без волнения и спешки; но потом уже не следил за своей речью, говорил разгоряченно и торопливо, и когда закончил, то вдруг обнаружил, что не сижу, а стою перед участковым уполномоченным и кому-то (кому же еще? Конечно, Моштакову) продолжаю угрожающе помахать пальцем. Я рассказал обо всем, упомянул даже про мешок с мукой, что старый Моштак в месте с сыном (хотя и произошло это почти два года назад, но ведь с этого, собственно, все и началось!) привозил Андрею Николаевичу, и лишь о Федоре Федоровиче, у которого был только что, перед приходом сюда, не сказал ни слова; жалко ли стало пожилого семейного человека, или еще не верилось (хотя, чему же тут было не верить?), что он со всеми заодно, или уж явное его желание не впутываться ни во что подействовало на меня, не знаю; помню лишь, что ощутил себя неловко, потому что мне показалось, что Игнат Исаевич догадался, что я что-то утаил от него.

«Я сказал все»,— поспешно добавил я, тем самым еще более выдавая себя и краснея.

«Да уж куда больше,— подтвердил Игнат Исаевич, у которого было свое на уме.— А впрочем, я ведь давненько уже поджидаю вас».

«Меня?!»

«Не лично, конечно, а сведения, которые вы принесли,— уточнил он и, поднявшись с табуретки и повернувшись к жене, просто, как это, видимо, было уже привычно и ему и ей (не раз, я понял, рассуждали они между собой о Моштакове), проговорил: — Ты слышала, Марусь, что агроном рассказал? Ну, так кто был прав, а?»

«Разве я спорила?»

«Но сомневалась?»

«Мало ли что, куда ему деньги копить?»

«Э-э, куда? Еще древние мудрецы, вот пусть агроном подтвердит, говорили, что жадности человеческой нет предела! Меня не проведешь. Но как же все-таки этот старый хитрец опростоволосился и оставил кладовую открытой?»

«Не знаю», — опять же торопливо, как будто вопрос относился ко мне, ответил я.

«Может, оттого, что меня не было? — усмехнувшись, проговорил Игнат Исаевич. — Ведь оно как, — обратился он ко мне, — я еще только собираюсь в Долгушино, а он — уже все на засовы. За сотни верст чует! Ну да ладно, все это шутки, а главное, хорошо, Пономарев, что пришел ко мне. У председателя был?»

«Нет».

«В сельсовете?»

«Нет».

«У этого, у своего начальника, у Сапожникова?»

«Нет», — машинально ответил я, и когда слово вылетело, уже запоздало почувствовал опять неловкость и, желая скрыть смущение, снова прямо и открыто посмотрел на Игната Исаевича.

«Ну ладно, — повторил он, как потом я заметил, свое излюбленное присловие, — на улице метет, идти тебе никуда не надо, ночуй здесь, у нас, а утром подумаем, что предпринять. С обыском, видишь ли, нужен ордер, а это — в Дóблінку, к прокурору, это — время, да еще и обоснование, так что утром обмозгуем. А в общем, ты очень правильно поступил, что пришел ко мне, Моштаков давно уже у меня... да ладно, что говорить, утро вечера мудренее».

Мне постелили в передней на двух составленных друг с другом скамьях, и я долго вертелся на этой жесткой постели, не в силах не только заснуть, но даже закрыть глаза. Разговором с Игнатом Исаевичем я был как будто вполне удовлетворен, но вот не спалось, и я то прислушивался к завываниям ветра за окном, то к тому, как скреблась где-то словно в бревенчатой стене мышь, и непонятно отчего грустные мысли приходили в голову; я думал о матери, о сестренке и братишке, о том, как мы жили все эти годы — холодные и голодные годы войны, — и было как-то невероятно жалко и мать, и себя, и брата с сестренкой за эту нашу трудную без отца жизнь, и жалко было Пелагею Карповну с Наташей, потому что и в них я видел то же, что и в себе, да и в избе Игната Исаевича чувствовалась все та же нелегкая и еще не вошедшая в прежние, довоенные, что ли, берега жизнь, и опять, как продолжение недавних и прерванных лишь появлением Игната Исаевича размышлений, вытягивались две параллельно бегущие, как ленты шоссе, полосы — добро, зло, — и не было видно ни начала, ни конца этим линиям, и никакого намека, чтобы они сомкнулись в одну светлую и радостную для людей полосу общего понимания и счастья (бывают же мгновения, когда ни во что не веришь!); я гнал от себя эту мысль, что нет и не будет конца злу, и говорил про себя: «Моштаковы не вечны!» — но то, что пытался внушить себе, никак не совмещалось с тем, что возникало перед глазами и волнением и грустью оседало на душу. Но не спал не только я; Игнат Исаевич с женою хотя как будто и лежали тихо в соседней комнате и свет хотя давно был погашен, но в какие-то минуты вдруг отчетливо начинал доноситься до меня их шепот:

«Ему-то зачем? Этого вот понять не могу».

«Андрюшке, моштаковскому зятю, что ль?»

«Да. И должность, и депутат райсовета, и уж, что говорить, весь на виду, а отсечь старика от себя не может».

«Хочет ли?»

«Э-э, хочет... Не может!»

«Конечно, как же, Таисья-то — кровь родная».

«Кровь, не кровь, а мы вот с тобой впутываемся в историю, это я тебе скажу, да-а».

«Боишься?»

«Нет».

«А если и в самом деле они...»

«Так ведь и я не дурак».

«Но он-то — депутат, кто разрешит...»

«Ладно, ладно, давай помолчим. Спи!»

Разговор затихал, и снова—лишь порывы ветра, смешанного с крупной и сухой поземкой, ударяли в окно, и в стене продолжала скрестись мышь, для которой ничего более не существовало в мире, кроме того, что она делала, пробиваясь своим путем к хлебу; я прислушивался к ней и думал об Игнате Исаевиче; разговор его с женой чем-то напоминал спор Федора Федоровича с Дарьей: и неожиданностью, и тем же как будто нежеланием вмешиваться, какое руководило начальником сортоиспытательного участка, а теперь чувствовалось в словах Игната Исаевича (как по формуле: не задевай других, не тронут и тебя, и жизнь будет идти день за днем привычной, спокойной чередой); но там, в избе Федора Федоровича, я был возмущен и негодовал, тогда как теперь, хотя и понимал все, но это все было как бы отдалено от меня; все воспринималось будто в полусне, и лишь яснее проглядывала бесконечность тех линий, что тянулись перед глазами, вызывая тревожное чувство одиночества и беспомощности.

В соседней комнате, однако, еще не спали, и после недолгого молчания снова донеслось оттуда:

«А Кузьма-то Степаныч, говорят, в Белебее дом ставит».

«Бабские сплетни. Чего ему в город, когда он отродясь мужик мужиком».

«Чего бы ни нужно, а ставит».

«Болтают люди».

«А ты поинтересуйся, проверь. Да и не на свое, а на чужое имя ставит».

«Откуда у него в городе родня объявилась?»

«Нашел».

«Брехня все».

«Тебе все брехня».

«Ты вот что, милая, я тебя не пойму: то ты защищаешь его, то нападаешь. Все еще забыть не мо...»

«Дурак!»

«Ну ладно, ладно, спи, а то агронома побудим».

Они еще перешептывались, громко, так что отчетливо было слышно, о чем говорили, но я не вникал в подробности; да и что мне было за дело, сватался ли Кузьма Моштаков к Марии до того, как женился на ней Игнат Старцев, а было это еще до войны, лет уже, как видно, десять назад, или не сватался, и почему не состоялась тогда свадьба, что помешало, что послужило причиной, я лишь с неприятным чувством улавливал, что и в этом доме, как и в семье Федора Федоровича, нет, как видно, ни согласия, ни ладу, хотя никто из соседей, наверное, и не подозревает, а, напротив, все восторгаются и завидуют их семейному счастью; но, может, я преувеличивал, воображая все так (как, впрочем, все люди в минуты волнений и переживаний), потому что утром, когда мы встали и умывались, и потом, когда уже сидели за столом и завтракали, как ни приглядывался я к Игнату Исаевичу и как ни старался заметить хоть что-либо, что напомнило бы их ночной разговор, ничего увидеть не мог, они были веселы, говорили оживленно, и Игнат Исаевич, как и вчера, несколько раз даже подчеркнуто похвалил меня за то, что я пришел именно к нему, обнаружив моштаковские хлебные лари. «Ты молодец,—говорил он,—вокруг Моштакова давно уже целое гнездо свито, мы это знаем (я не стал уточнять, кто это «мы»); очевидно, председатель сельсовета или сотрудники районного отдела милиции; для меня важно было, что з н а л и и что все мои предчувствия в отношении старого Мошта-

кова были верными). Мы все знаем,— продолжал он,— но только, не схватив за руку, не скажешь, что вор. А рука у него скользкая, хитрая, но теперь-то, что ж, теперь, главное — не спугнуть прежде времени, вот что». Он говорил еще в этом роде, и решительность его разоблачить Моштакова казалась столь искренней и очевидной, что я стал уже думать, да был ли вообще ночной разговор между ним и женой или все лишь приснилось мне?

Сразу же после завтрака Игнат Исаевич отправился к председателю сельсовета и за лошадьми, чтобы ехать в Долгушино, и я должен был сидеть и поджидать его, не выходя никуда из дому. «Я быстро»,— сказал он, закрывая за собой дверь; но вернулся только к обеду и пришел не один, а с парторгом колхоза Дементием Подъяченковым. Я увидел их из окна, подходивших по расчищенной в снежном сугробе тропе к дому.

Может быть, оттого, что ожидание было для меня томительным, схватив шапку, я выбежал в сенцы и прямо с крыльца, едва приоткрыл дверь, крикнул:

«Собираться? Едем?»

«Погоди»,— остановил Игнат Исаевич.

Все втроем мы вошли в избу; Игнат Исаевич и парторг присели не раздеваясь, лишь расстегнув полушубки.

«Ну, так что у тебя там в Долгушине?» — спросил Подъяченков недовольным, как мне показалось, тоном.

«Я уже рассказывал Игнату Исаичу»,— сказала я.

«Расскажи теперь мне».

«Тайная кладовая у Моштакова и хлебные лари, набитые зерном».

«Сам видел или кто сказал?»

«Сам видел».

«А если все это окажется враньем?»

«Но как же так, вот в этих ладонях держал зерно»,— подтвердил я снова.

«Да-а, штука,— протянул Дементий Подъяченков.— А ну поподробней, что за кладовая и что за лари»,— спросил он, и я вынужден был вновь рассказывать все, как и что было, как я попал на конюшню к Степану Филимоновичу Моштакору и увидел приоткрытую в кладовую дверь.

«У меня сомнений нет,— в конце концов заключил Подъяченков и посмотрел на Игната Исаевича.— Хлеб в Долгушине мы не держим».

«Я тоже думаю, надо ехать, но ведь это будет самовольный обыск. А если он не пустит?»

«Не решится».

«Кто знает».

«Но в Красную Дóблинку нельзя. Это и время, и, сами понимаете, нельзя».

«А что делать?»

«Боисься ответственности?»

«Во всяком случае, на себя взять не могу».

«Да вы что,— вмешался я,— думаете, что там ларей нет? Я же сам видел, голову под топор, видел!»

Дементий Подъяченков и Игнат Исаевич молча переглянулись и посмотрели на меня. Затем они опять оставили меня одного в избе, а сами ушли, не сказав даже, к кому и зачем; лишь Игнат Исаевич уже на ходу, полуобернувшись, коротко бросил: «Мы сейчас, жди»,— и я еще с минуту в растерянности и недоумении стоял возле захлопнувшейся передо мной дверью. «Не верят. Да они что?!» Я был в доме один, хозяйка еще с утра, накормив нас, ушла на ферму, и я не знал, когда она должна была появиться; не то чтобы мне было одиноко, но я действительно-таки чувствовал. особенно после того, как ушли Подъяченков и Старцев,

словно отрезанным от всего мира: один, стоящий по эту сторону воображаемого барьера, против всех, толпившихся по ту; все были заняты делом, каждый выполнял какую-то свою, нужную людям и себе работу, и лишь я бессмысленно прохаживался из комнаты в комнату в чужой для меня старцевской избе, отодвигая занавески и вглядываясь сквозь окно в засугробленную зимнюю улицу Чигирева, и раздражение на них — парторга и участкового уполномоченного — переходило на самого себя, в какие-то мгновения я даже произносил с отчаянием: «Кой черт, связался же на свою голову!» — но это были действительно лишь мгновения; как только я начинал думать о Моштакове и как только вставало перед глазами все то, как я обменивал отцовские костюмы на хлеб, я снова весь как бы наполнялся ненавистью к Моштакову, называл его не иначе, как «мучное брюшко», и с еще большим нетерпением прислонялся к окну, всматриваясь, не идут ли Игнат Исаевич и Подъяченков. Я мысленно ругал их за нерасторопность, медлительность, полагая, что они только и делают, что рассуждают, ехать им или не ехать в Долгушино, верить или не верить мне, в то время как они, конечно же, не только рассуждали о том, что предпринять; Игнат Исаевич по совету парторга пытался связаться с районным центром и на всякий случай поговорить со своим начальством, но связаться было почти невозможно — то ли провода оборвало где-то на линии в метельную прошлую ночь и порыв все еще не был исправлен, то ли по какой другой причине (да что говорить, ведь это только подумать, какой была связь тогда на селе, сразу после войны!), в общем, он сидел у аппарата, крутил ручку и ждал, а Подъяченков искал по деревне председателя сельсовета Трофима Федотовича Глушкова, который то находился будто только что у себя, в сельсоветской избе, то — возле клуба, то за каким-то чертом, как выразился Подъяченков, потащило его на ферму, а оттуда по каким-то, бог ведает, избам, куда как-будто и не приглашали его, но ему надо было посмотреть, поговорить, узнать что-то или посоветоваться; в общем, Подъяченков нашел его лишь под вечер, а когда рассказал все, на дворе уже совсем смерклось и выезжать в Дóблинку на ночь глядя, да еще по занесенной, не проторенной полозьями дороге было бессмысленно и небезопасно; но я-то не знал ничего этого, а если бы и знал, все равно — ожидание никогда еще ни на кого не действовало успокаивающе; не то, чтобы я жаждал поскорее разоблачить Моштакова, а просто тяготила неопределенность своего положения, когда дело начато, затеяно, а чем завершится и, главное, когда, еще неизвестно. На удивленный вопрос хозяйки, когда она вернулась с фермы: «Вы еще не уехали?» — я ответил недружелюбно, что «да, как видите», хотя на нее-то для чего было переносить свое раздражение? Она молча оглядела меня и больше уже за весь вечер не спрашивала ни о чем; лишь когда пришел муж, пригласила к накрытому для ужина столу.

«Но завтра-то хоть поедем? — спросил я у Игната Исаевича, как только он вошел в избу. — Кроме всего прочего, у меня — работа, дело!»

«Поедем-поедем, все решено, и лошади занаряжены».

«Это точно?»

«Какой разговор, прямо с утра».

«И Подъяченков с нами?»

«И Подъяченков, и Трофим Федотыч, председатель сельсовета».

«А председатель колхоза?»

«Нет. Его вообще в Чигиреве нет, он, однако, третий день как в Дóблинке. Может, сегодня и подъедет».

Больше мы уже не возвращались к этому разговору.

Я снова спал на сдвоенных скамьях, вернее, не спал, а ворочался к боку на бок, предчувствуя, что должно было случиться со мною завтра что-то нехорошее. «Но почему? — вместе с тем спрашивал я себя. —

Зерно краденое, Моштаков существует, Моштаков — зло. Почему же?»— И хотя в самом этом вопросе был заложен как будто ясный и точный ответ и мне действительно не о чем было беспокоиться, но в памяти словно специально для того, чтобы вызывать беспокойство, возникали и объединялись отрывочные и в разное время слышанные слова и фразы: то звучал как будто голос Владислава Викентьевича: «Мы, Алексей, по-честному: мы ему, он нам. Такие люди, как он, были, есть и будут, без них нельзя. Они тоже делают своего рода доброе дело»,— то голос Пелагеи Карповны: «Народ на добро памятен»,— и я с усмешкой мысленно добавлял: «На добро!»,— то вдруг перед глазами как бы появлялся Федор Федорович со своими предостережениями, и хотя я опять возражал ему, сознавая себя во всем правым, и все же что-то было, наверное, недосказанное (что я чувствовал) и в их словах, и потому я ворочался и, как и вчера, долго не мог заснуть. Но если рассудить просто, то отчего бы и не спать? Ведь не я же совершил преступление, а Моштаков, но вот, видите...

Многое запоминается в жизни.

Но то зимнее утро было особенным.

Мы выехали из Чигирева в девятом часу — парторг Дементий Подъяченко, Игнат Исаевич и я — на колхозных розвальнях, которые тащила резвая правленческая лошадевка, а председатель сельсовета Трофим Федотович Глушков — в своих сельсоветских плетеных выездных санях; он не хотел, как выразился, ни от кого зависеть, ехал позади, один, и под дугой, казалось, над самую гривой серого, в беге разметывавшего ноги коренника (я называю так потому, что конь действительно производил впечатление коренника, хотя и не было пристяжных), болтались, словно колокольчики, заиндивелые теперь, на свежем утреннем морозе, кисти из белой сыромятной кожи. Я сидел на розвальнях так, что мне были хорошо видны то вдруг нагонявшие нас, то опять начинавшие отставать сани председателя сельсовета. Постепенно — не только кисти под дугой, но и сама дуга, и вся упряжь, оглобли, серый сельсоветский коренник, да и шапка и овчинный тулуп на Трофиме Федотовиче — все покрылось мохнатым инеем и поблескивало в лучах утреннего декабрьского солнца, и поблескивал снег, холмистой белизною удаляясь к горизонту, и видеть это, несмотря на все мое тревожное состояние, было приятно, дорога навевала покой и то ощущение силы и бесконечности жизни, какого всегда не хватает нам и, наверное, не будет хватать городским людям для полноты чувств. Наша правленческая лошадевка тоже вскоре покрылась инеем; и тулуп Игната Исаевича (он правил, заиндевевшими рукавицами подергивая начинавшие тоже индеветь вожжи), и полушубок на Подъяченко и мой — все как бы сливалось, подсиненное инеем, и только лица краснели на морозе, и это тоже производило впечатление бодрости, красоты, силы. Когда стали подъезжать к Долгушину, я повернулся, и, приподнявшись, стоя на коленях, из-за плеча Игната Исаевича смотрел на открывавшуюся взгляду зимнюю у замерзшей реки деревушку. Не знаю, о чем думали и как, влюбленными ли, или равнодушными взглядами окидывали все вокруг Игнат Исаевич и Подъяченко (откровенно говоря, мы неверно судим, называя деревенских людей равнодушными; они лишь не мельтешат, не проявляют внешнего восторга, как мы, но смотрят на все, несомненно, с восхищением и любовью, и эта любовь как раз и держит их у земли, в деревне), я же не мог, да и до сих пор не могу без волнения смотреть на зимние ли, заснеженные, или летние, словно затерянные в желтеющих хлебах, наши русские деревеньки. Чувство это, пожалуй, трудно объяснить. Я вовсе не за старину; та жизнь, что пришла и еще приходит в села совсем, разумеется, иная, лучше, светлее и чище. и все же жаль мне уходящие дере-

веньки с их неровною, не прямолинейною, но душевно широкою, раздольною планировкой, с избами под соломой, обнесенными плетнями и огородами, с той очевидною на взгляд связью с прожитыми веками, с историей, героической и тяжелой, которая, кажется, так и смотрит на тебя низкими окнами с бревенчатых почерневших стен, и жаль, наверное, потому, что вместе с этой, несомненно отжившей свое стариною уходит, рушится связь времен, поколений. Может быть, я не прав; может быть, то детское впечатление, когда я с возницами-чувашинами перевозил дом из Старохолмова в город, еще говорило и говорит во мне, вызывая эту как бы прощальную, что ли, грусть? Но так или иначе, а я испытываю это чувство, да и следует ли искать объяснение ему. Я смотрел на заснеженное Долгушино и, разумеется, среди других изб различал прежде всего избу Пелагеи Карповны, которая была уже для меня к тому времени вторым родным домом (сама Пелагея Карповна в эту минуту стояла на крыльце и смотрела в нашу сторону; во многих дворах мужики, было видно, прекратив расчищать снег, смотрели на спускавшиеся к деревне сани, потому что неспроста же сюда жаловал председатель сельсовета и еще какое-то колхозное начальство на правленческих розвальнях!), и различал подворье старого Моштакова с длиною, как барак, примыкавшею к избе бревенчатой конюшней; не скажу, чтобы я особенно волновался, предвидя, как удивится и испугается Моштаков, когда в освещенной фонарем кладовой Игнат Исаевич начнет открывать крышки ларей, и как удивятся собравшиеся люди и, разводя руками, будут говорить: «Надо же, а?» — а какое-то совершенно иное и необъяснимое тогда беспокойство, чем ближе мы подъезжали к моштаковским воротам, тем сильнее охватывало меня. Оно возникало, наверное, потому, что и Дементий Подъяченков и Игнат Исаевич, хотя ничего и не говорили, но все чаще поглядывали на меня, и во взглядах их я улавливал один и тот же вопрос: «А не соврал ли ты, парень, не влипнем ли мы с тобой в неприглядную историю, потому что, как-никак, а ведь это — тяжелейшее обвинение на человека?» — и сомнения их в какое-то мере, может быть, проникало и в меня и было как раз причиной беспокойства. «Куда же они могут деться, пять ларей,— про себя отвечал я, стараясь держаться спокойнее и лишь изредка и мельком, будто мне действительно было все равно, к кому и для чего едем, взглядывал на опущенные инеем жерди моштаковских ворот.— Да что может быть с ними, что за глупость лезет в голову!»

Игнат Исаевич остановил лошадь почти под самыми окнами моштаковской избы; привязав вожжи за стойку ограды, вернулся к розвальням, и так как мы, парторг Подъяченков и я, еще разминали ноги и только поглядывали на моштаковский двор и конюшню, спросил:

«Пойдем? Или Федотыча подождем?»

«Подождем»,— предложил Подъяченков.

«Не Федотыч у нас, а прямо-таки министр».

«Ну-ну!..».

«А плохих в министры не берут,— тут же уточнил он и, повернувшись ко мне, добавил: — Ну, а ты как, агроном, уверен?»

«Уверен»,— ответил я, и теперь уже участковый уполномоченный, может быть, подражая парторгу Подъяченкову, с той же как будто многозначительностью, как произносит эти слова, я заметил, большинство людей, проговорил:

«Ну-ну...»

Как только подъехал председатель сельсовета Трофим Федотович, мы все вчетвером тут же направились в расчищенный от снега моштаковский двор. Сам же Степан Филимонович уже стоял на крыльце и поджидал нас. Он смотрел на нас спокойным и как будто равнодушным взглядом, поздоровался степенно, с достоинством, как умеют делать это

знающие себе цену деревенские люди, и на вопрос Подъяченкова: «Чего в избу-то не зовешь?» — негромко и с заметной неохотой ответил: «Милости просим». Но в избу мы не пошли. И не потому, что обиделись, что ли; для меня главным были лари; об этих же хлебных ларях, наверное, думали и парторг Подъяченков, и Игнат Исаевич с Трофимом Федотовичем, и, конечно же, всем нам хотелось поскорее (уж мне-то, во всяком случае) попасть в кладовую, пока старик не догадался, зачем мы приехали, и не воспротивился, и оттого, когда Игнат Исаевич, выражая общее наше желание, попросил Степана Филимоновича открыть конюшню, и Подъяченков, и председатель сельсовета дружно поддержали его.

«Глядеть-то чего хотите?» — спросил Моштаков.

«Как «чего»? Лошадей».

«А чего их глядеть?»

«Ну, раз хотим, значит надо. Лошади... что еще там у тебя?»

«Лошади и есть».

«Вот и поглядим».

Моштаков сошел с крыльца и стоял теперь перед нами. Он не торопился открывать конюшню. Прищурившись, он смотрел на нас, и во взгляде его все еще как будто было прежнее спокойствие; но вместе с тем, может быть, я скорее почувствовал, а не то чтобы заметил, какая-то будто жесткая, холодная тень легла на его старческое лицо; да, несомненно, потому что десятки раз потом, вспоминая, я видел перед собой это лицо, все морщинки на котором выражали не ту обычную доброту и умудренность жизнью, что свойственна старым людям, а неприязнь, ненависть, или, как бы вы сказали, весь тяжелый, мстительный и скрываемый от людей мир этого человека; я и теперь вижу его лицо с розовыми еще с тепла и напушенными на глаза веками (за прищуром всегда легче скрывать свои мысли!), с бородкою, живо покрывавшейся инеем на морозе, словно седеющей на глазах, и так же, как тогда, — у меня ко всему, что связано с воспоминаниями о мужичках — «мучное брюшко», подымается ответная ненависть. Я назвал свое столкновение с Моштаковым поединком; да оно и было все именно так, и потому — как запомнился вам бой с немецкими самоходками здесь, на подступах к Калининичам, у деревни Гольцы, так и в мою душу засел тот солнечный зимний день, проведенный в заснеженном Долгушине на моштаковском подворье. Я не вступал в разговор и только смотрел на Моштакова, ни на секунду не сводя с него глаз, и мне казалось, по крайней мере тогда, что он тоже больше смотрел на меня, чем на разговаривавших с ним Игната Исаевича, Подъяченкова и Трофима Федотовича. Я думаю, что так же, как вы боем, я был оглушен этой минутой своего поединка, а точнее, чувствами и мыслями, какие переполняли меня, и потому не вслушивался и не воспринимал почти ничего, о чем говорил. «Ну же!.. Ну!..» — торопил я старого Моштакова, чтобы он поскорее открывал конюшню, и на ироническую усмешку, которая то и дело возникала на бородатом и морщинистом лице Степана Филимоновича, тоже про себя, тихо, но вместе с тем как будто громко, не стесняясь никого, отвечал: «Ничего-ничего, посмотрим, как ты сейчас будешь усмехаться!» Потом-то мне стал ясен смысл его иронической — когда человек знает нечто большее, чем вы! — усмешки, но в ту минуту я думал и чувствовал так, как рассказываю теперь; я стоял чуть позади парторга Подъяченкова, и когда все двинулись к конюшне, тоже шагал следом за парторгом, заложив, как и он, словно на прогулке, за спину руки (может быть, так легче было выразить спокойствие?); но в варежках, в тепле, невидимые никому пальцы мои до белизны вминались в мягкую и влажную ладонь.

Не торопясь, поглядывая по сторонам, мы прошагали вдоль стоявших за перегордками коней, и кони те, гремя недоуздками о ясли, по-

ворачивали морды в нашу сторону и прядали ушами; когда мы остановились у дощатой перегородки с такой же дощатой и запертой теперь дверью («Да вот она! И замок гот же,— думал я,— только тогда он висел вместе с ключом на гвозде, рядом с дверью!»), Игнат Исаевич, наклонившись к Моштакёву, коротко и сухо попросил:

«Отопри».

«Это что, обыск?»

«Отопри, говорю».

«А ежели не отопру, тогда что?»

«Тогда просто: дверь сейчас опломбирую и в Дóблинку. А уж коли вернусь с ордером...»

«Коней запаришь. Неча коней гонять,— угрюмо хмурясь, будто и в самом деле было ему жалко колхозных лошадей, проговорил Моштакков; затем с явным нежеланием, прежде обшарив почти все карманы, достал ключ, отпер замок и, не открывая двери, а лишь отступив на полшага от нее и как бы приглашая этим Игната Исаевича, парторга, всех войти в кладовую, сказал: — Ну глядите, ежели охота есть».

Игнат Исаевич открыл дверь, и все с удивлением увидели, что в кладовую войти нельзя, что вся она доверху наполнена сухим сеном. Участковый уполномоченный, не скрывая своего изумления и недоумения, посмотрел сначала на Подъяченкова, как бы спрашивая его глазами: «Что это?» — потом на Трофима Федотовича и на меня, и тогда я, чувствуя, что надо что-то предпринимать, что не могли же за одни сутки куда-то исчезнуть все пять хлебных ларей, резко шагнул вперед и почти крикнул:

«Вилы!»

«Да, да, ну-ка, Степан Филимонович, принеси вилы»,— поддержал Игнат Исаевич.

Вилы стояли у входа в конюшню, возле приоткрытых для света ворот, прислоненные к косяку, и пока старый Моштакков, горбясь, как мне казалось, и с неохотой ходил за ними, мы молча смотрели друг на друга.

«Кому?» — спросил Моштакков, подойдя и держа перед собою вилы.

«Сюда»,— сказал я и протянул руку.

Старик не подал, нет, а прямо-таки тычком сунул мне в ладонь гладкий черенок вил; и не просто от недовольства или со зла; он точно знал, что именно я привел к нему парторга, председателя сельсовета и участкового уполномоченного, и этим своим злым движением давал понять, конечно же, э то, что он знает все; но я лишь слегка откатнулся, как, представляете, бывает, когда неожиданно столкнешься с вдруг выросшей перед тобою стеной, восприняв все по-своему, как вызов, будто старый Моштакков негодующе бросил мне: «На, держи, сукин сын!» — и я не мог не принять этот вызов и не ответить тем же; уже отпущенные Моштакковым вилы я резко рванул на себя, стрельнув глазами в старика, дескать: «Давай, поглядим сейчас!» — и прямо в полушубке, лишь чуть засучив рукава, принялся навильник за навильником набирать и выносить из кладовой сено. Но затем полушубок пришлось снять, и я уже работал лишь в свитере, без шапки, весь обсыпанный колкими сухими былинками; парторг же Подъяченков и председатель сельсовета Трофим Федотович вместе со стариком Моштакковым молча поглядывали на меня, и только Игнат Исаевич время от времени высокими черными пимами своими подгребал и притаптывал выносимое мною душистое, кошенное, как я тогда же, сразу, отметил про себя, на заливном приречном лугу сено. Я, разумеется, не видел, да и не мог видеть выражения их лиц, к а к они смотрели на меня; мне было не до этого; очистив то место, где, по моему предположению, должен был находиться ближний к двери ларь, и не обнаружив его, я с еще большей поспешностью продолжал расчищать дальше, твердя себе: «Докопаюсь! Все равно докопаюсь! Они

здесь, потому что — куда же они могут деться, тридцать центнеров, три тонны!» Тем более, я не видел и не мог видеть, что делалось в эти минуты на моштаковском дворе. Там, возле саней, уже собирались долгушинские мужики и женщины, возбужденные неожиданно нагрянувшей к старому Моштакову комиссией. Кто первым произнес это слово: «Комиссия», — и кто затем прибавил: «Чегой-то доискиваются», — установить, разумеется, было нельзя; но именно это известие, а главное, вид правленческой и сельсоветской упряжек, взбудоражило долгушинцев, и они все подтягивались и подтягивались к моштаковским воротам. Здесь же были уже и Пелагея Карповна с Наташей, и еще разная долгушинская детвора, которая шныряла между конюшней и воротами, и то и дело чей-то звонкий на морозе мальчишеский голос оповещал всех:

«Еще выносят!»

«Чегой-то выносят?»

«Сено, дедусь!»

Мальчишка снова нырял в конюшню, чтобы через минуту повторить то, что только что говорил, а мужики между тем продолжали:

«Чегой-то ищут у Моштака?»

«Чего же искать у него — хлеб!»

«Найдуть?»

«Может, и найдуть».

«Эвона, дожился».

«Еще бабка надвое гадала...»

«А кто же его подсупонил эдак, ужель агроном?»

«Кто же еще, ишь, заноза, сам-то и за вилы взялся!»

Я не видел долгушинских мужиков, толпившихся возле саней и на моштаковском дворе, и, понятно, не слышал ни одного произносившегося ими слова; я лишь думаю, что они говорили так, или, по крайней мере, об этом, потому что для них, для всего Долгушина то, что происходило сейчас, было событием, и они не могли не прийти и не обсуждать его; им было любопытно, чем все закончится, и они постепенно начали проникать в конюшню, пристраиваясь за спинами стоявших полукругом парторга, председателя сельсовета и Моштакова, а я, весь вспотевший, продолжал вышвыривать сено. Один за одним высвобождались простенки, но ларей не было видно. Я не верил глазам. Выбросив последний навильник, я встал посреди дверей, красный от работы и смущения; мне хотелось увидеть Моштакова, который как бы спрятался, затерялся в общей, оттеснившей коней к яслям людской толпе, и пока я в конюшенном полусумраке пробегал взглядом по лицам, отыскивая нужное мне старческое, морщинистое, с бородкой, думал только о том, что должен сказать Моштакову. Мне и теперь всегда кажется, что как только заметил его, сразу же крикнул: «Где лари?» — хотя на самом деле, наверное, не крикнул, потому что не могу припомнить, чтобы хоть что-то ответил мне Моштаков. Помню другое: вся толпа во главе с Подъяченковым и Трофимом Федотовичем двинулась на меня, отстраняя с дороги, и вместе с этой толпой я опять очутился в кладовой. Я слышал лишь, как Подъяченков, протянув: «Э-эх-ха», — спросил затем у Трофима Федотовича и Игната Исаевича: «Ну, что скажете?» — и так как они ничего не могли сказать, и они, и Подъяченков, все втроем, пристально посмотрели на меня. Я тоже не знал, что ответить; от растерянности ли, а скорее от того, что не только Подъяченков и Трофим Федотович, но все как будто смотрели на меня, чувствовал, что щеки опять наливаются краской, но минуто ли, две ли спустя я все же произнес что-то вроде: «Вот здесь они стояли», — и даже принялся было руками очерчивать в воздухе квадраты, переходя от одного простенка к другому, но это выглядело уже как оправдание, и Трофим Федотович, Игнат Исаевич и Подъяченков, я заметил, лишь с хмылкой покачивали головами, слушая меня.

Я же снова и снова оглядывался вокруг, потому что для меня поразительным было не только то, что исчезли лари, но и другое, что никаких следов не осталось от них на земляном полу; то и дело я приседал на корточки вместе с Игнатом Исаевичем, расшвыривал стебельки и мусор, но все вокруг казалось одинаково серым, взрыхленным и усыпанным остатками сена из кладовой.

Переговаривались мужики; говорили между собою Подъяченков, Игнат Исаевич и Трофим Федотович, но из всех голосов, из всех произнесенных насмешливо ли, ехидно, с разочарованием ли фраз запомнил и ношу в памяти лишь те, что в первые минуты будто и не показались ни пророческими, ни страшными: Игнат Исаевич спрашивал, старый Моштак так отвечал, и все это происходило степенно, без излишней, как вообще любят вести беседы деревенские люди, раздражительности и шума.

«Лари где?»

«Какие лари?»

«Которые здесь стояли?»

«А это ты себя спроси, ежели видел».

«Кого ты, Степан Филимоныч, обмануть захотел, а?»

«Кого ни кого, а советская власть, она ведь и за наговоры судит.

Или уже не судит?»

«Судит».

«Вот то-то и оно».

«А тебе-то что? Если считаешь, что оговорили, можешь подать, тут никому запрета нет, дело хозяйское».

«Неча подавать,— ответил Моштак и, явно адресуясь, ко мне, громко (во всяком случае, так мне помнится), чтобы слышали все, добавил: — Мир осудит».

Он еще некоторое время после того, как произнес это, смотрел на меня, словно примеривал что-то своими сощуренными глазами, и затем неторопливо, победителем, принимая как должное, что все расступаются перед ним, направился к выходу. Следом, тоже упрекающе, как мне показалось, взглянув на меня, двинулся Игнат Исаевич; потом пошли: Подъяченков, Трофим Федотович и один за одним, конечно же, все знакомые деревенские мужики, и каждый, будто тоже подражая долгушинскому конскому лекарю, ронял на меня недоброжелательный взгляд, но ни словам Моштакова, ни всем этим взглядам я не придавал тогда значения; и не до размышлений и не до оценок было; я лишь твердил себе: «Лари находились здесь!» — и едва только остался один, снова осмотрелся вокруг. Мне нужно было восстановить в памяти, как все было, когда я обнаружил лари. Сверху, как и в тот день, сквозь узкое, похожее на бойницу окно струею падал свет; он не освещал крышки ларей, как тогда, а лежал на стене, как бы стекая по ней к серому земляному полу, но для меня уже одного этого — струившегося из бойницы света — было достаточно, чтобы вспомнить все; я мысленно проделал то, что делал тогда, ощутив даже будто крупные и холодные зерна в ладони и вновь почувствовав правоту и силу в себе, взял полшубок и зашагал к выходу. Я твердо намеревался сказать Игнату Исаевичу, парторгу Подъяченкову и председателю сельсовета, что лари были, что их надо искать и что не может же Моштак остаться безнаказанным, но, выйдя во двор, не только не сказал этих слов, а даже не решился подойти ни к Подъяченкову, ни к Трофиму Федотовичу. Вы спросите, почему? Не из опасения, что не поверят или, более того, начнут упрекать, нет, никаких упреков я не боялся; случилось совершенно другое и непредвиденное — когда очутился на дворе, первым, кого увидел, был Андрей Николаевич. Он стоял на крыльце, как только что стоял на нем встречавший нас старый Моштак, и так же, как тесть, со своего высокого прищуренно оглядывал толпившихся будто возле трибуны людей. Да,

именно это впечатление осталось у меня; и вообще, когда я вспоминаю об Андрее Николаевиче, он обычно представляется мне то возле своей остекленной веранды, каким был тогда, в ночи, в нижней белой рубашке и кальсонах, принимающий привезенную тестем муку, то вот этим, в добротной бобровой шапке, в дубленом с белой меховой оторочкой полушубке, возвышающимся с крыльца над колхозниками, как я видел его теперь. Разумеется, я сразу сообразил, что произошло, почему Андрей Николаевич здесь и почему исчезли лари; да, собственно, никакой особой фантазии и не требовалось, чтобы сообразить это, настолько все было очевидно, и я, пораженный (пораженный более этим, что понял, глядя на Андрея Николаевича, чем исчезнувшими ларями) и растерянный, как остановился, так будто и замер посреди распахнутых ворот конюшни. Я видел, как Игнат Исаевич ходил по двору, заглядывая за амбары и на огород, надеясь, может быть, заметить хоть какие-нибудь следы (мне и теперь кажется, что он откровеннее всех поверил мне, хотя именно в нем-то — вот и опять вам: понимание людей! — я как раз больше всего и сомневался), но все кругом было бело от снега, заметено нетронутыми сугробами, и только узкая, расчищенная лишь утром дорожка тянулась к небольшой заснеженной бревенчатой баньке, что темнела оконцем на краю огорода. Может быть, баньку собирались истопить для Андрея Николаевича и потому расчистили к ней дорожку? Пожалуй, так оно и было, и Игнат Исаевич не пошел к ней. Я хорошо помню, как он, проходя мимо меня, отрицательно кивнул головой, и я понял, что он хотел сказать этим.

«Ничего нет».

«Искать бессмысленно».

«Да и поздно».

Будто и в самом деле Игнат Исаевич произнес эти фразы, я повторил их про себя, по-прежнему глядя на крыльцо и Андрея Николаевича. Начальник райзо, перегнувшись через перила, о чем-то разговаривал с Подъяченковым и Трофимом Федотовичем, но о чем, мне не было слышно; может быть, приглашал в избу или зло, как он умел это, подшучивал над неудавшимся обыском (и то и другое: и доброжелательная улыбка, когда говорил, наверное: «Входите», и усмешка, когда упрекал: «К кому пришли с обыском, ай-ай, да хоть бы позвонили, я бы сказал, и не срамились бы, а то, ишь, народу наволокли!» — сменяясь, возникали на его лице, и я не то чтобы теперь вот придумываю это, нет, а хорошо видел все, чувствовал, понимал, стоя посреди распахнутых ворот конюшни); меня же Андрей Николаевич как будто не замечал, хотя не заметить было нельзя, я стоял на виду у всех; в варежках, в тепле, я снова вминал пальцы в ладони, и, может быть, так же, как в детстве, когда мы с отцом торговали в Старохолмове пятистенник, волчонком, как на того хозяина в жилетке, смотрел теперь на Андрея Николаевича, не сводя с него глаз, и мне хотелось, чтобы он увидел этот мой взгляд и понял, что я думаю о нем; и он, конечно, увидел и понял, хотя внешне ничем не выказал этого; он даже повернулся ко мне спиной, встречая поднимавшихся по ступенькам Подъяченкова и Трофима Федотовича и открывая им дверь в сенцы. А что было делать мне? В избу к Моштаковым, разумеется, я не мог идти, и не только потому, что никто не пригласил (обо мне действительно будто забыли все, кроме разве толпившихся еще во дворе и возле саней долгушинских мужиков и женщин, которые теперь, когда опустело крыльцо, глазели лишь на меня); стоять на виду тоже было неловко, да и бессмысленно; я вернулся в конюшню, на что-то еще надеясь, но, обойдя пустые углы кладовой и оглядев освещенные голые простенки, снова вышел во двор; мужики и женщины еще топтались у ворот, они расступились, когда я подошел к ним, и по образовавшемуся коридору, ежась

под перекрестными взглядами, зашагал домой. Я видел, что Пелагея Карповна вместе с Наташей стояла у ворот, среди женщин; она, это точно помню, заметил, отступила на шаг и спряталась за чью-то спину, когда я поравнялся с ней, и хотя я как будто не придавал тогда этому значения, но все же что-то будто толкнуло меня: «Она-то что?»

Три четверти часа

Ни в тот день и вечер, ни на следующий я не верил, что все для Моштакова закончится на этом. «Шила в мешке не утаишь,— говорил я себе.— Куда они могли уплыть? Никуда, и я еще найду их и докажу, что прав, и кого должен осудить мир!» Хотя ни Подъяченкова, ни Игната Исаевича, ни председателя сельсовета не было рядом, но я все время чувствовал перед ними вину, будто и в самом деле обманул их, и, пожалуй, досаднее и больнее всего было сознавать, что они там, у Моштакова, что в эти самые минуты, пока я, подавленный, мрачный, стою перед заваленным снопами пшеницы столом в своей комнате, они, наверное, поднимают стаканы («Да может ли Андрей Николаевич без выпивки! — восклицал я, перебивая свои же мысли.— А старый Моштак? Да и Кузьма!») и говорят обо мне; мне казалось, что я знал и то, что обо мне говорили, и багровел от бессилия, что не могу остановить этот их разговор или хотя бы ответить им что-либо. Может быть, я услышал, а может, просто совпало так, но только когда, подойдя к окну, приоткрыл шторку, от моштаковских ворот отъезжали на рысях правленческие розвальни и сельсоветские с мягкими сиденьями сани. Я проследил за ними, пока они не скрылись за снежными сугробами дороги.

То, что парторг Подъяченков, председатель сельсовета и Игнат Исаевич уехали, ничего не сказав мне, в общем-то, не было ни удивительным, ни неожиданным. «Им что? Ларей нет, а значит, и не было»,— думал я. Может быть, для своего же успокоения я оправдывал их; да и к Моштакovu почему-то не было той прежней особенной злости, хотя старческое, с неприятною усмешкой лицо его, каким оно было там, в конюшне, и запомнилось мне, а теперь то и дело возникало перед глазами, и возникало, конечно же, неспроста, а для того, чтобы я сильнее, наверное, почувствовал свое поражение, и все же — нет, не Моштак, которого можно было понять и который, в конце концов, как раз и должен был делать то, что делал, а Федор Федорович и Андрей Николаевич, которых еще совсем недавно я считал средоточием добра и порядочности, да, именно они вызывали горечь и негодование. «Если бы не они,— рассуждал я,— Моштак был бы теперь, как субчик, гол и виден»,— и та картина, как долгушинские мужики, те самые, что, выходя из кладовой, бросали на меня недоброжелательные взгляды, выносили бы мешок за мешком во двор краденое зерно и удивлялись бы и поражались открытию, эта волнованная и не состоявшаяся наяву картина вновь и вновь оживала в сознании. Я не стал ужинать; только выпил принесенное Наташею (хотя прежде всегда приносила сама Пелагея Карповна, говоря при этом: «Тепленькое, парное, только процедила!») молоко и, еще не зная толком зачем и что буду делать, вышел на улицу. Я как сейчас помню, что в тот поздний ночной час было почему-то светло — от снега ли, от звезд и ясного неба? Или, думаю, оттого, что вышел я из сумрачной своей комнаты, в которой стоял, и ходил, и сидел не зажигая света, а тут — сразу открылся белый заснеженный простор? Я прошел мимо моштаковской избы, лишь искоса взглянув на темные, закрытые ставнями окна, и, дойдя почти до края деревни, снова вернулся к той же моштаковской избе. Мне казалось, что лари спрятаны где-то здесь, неподалеку, и что в ночи, в мороз, когда на улице никого нет, я смогу повнимательнее осмот-

реть все вокруг. «Должны же,— думал я,— остаться какие-нибудь следы». Особенно тянуло заглянуть в баньку, которая и теперь черным пятном на снегу выделялась в конце огорода. Оглядываясь и весь как бы втягиваясь в полушубок, будто действительно шел на нехорошее, гадкое, подлое, наконец, дело, я обогнул несколько изб, спустился по протоптанной дорожке к замерзшей реке, и уже по льду, местами оголенному, скользкому, местами засугробленному так, что ноги проваливались по самые колени, начал пробираться к баньке. Все это, конечно, было унижительным, я понимаю, и мне отвратительно вспоминать теперь и видеть себя там, на снегу, то пригнувшимся и напряженно прислушивающимся к звукам ночной деревни, то перебежками, крадучись, пробирающимся среди заиндевевших кустов тальника, но, разумеется, тогда я не чувствовал унижения; лишь время от времени теплыми из варежек ладонями потирал лицо, боясь (а впрочем, не то слово «боясь»; просто инстинктивно, как все люди на холоду) отморозить нос или щеки, и все мысли были только об одном, чтобы никто не увидел, не помешал. Я знал, что в этот час долгушинцы обычно уже сидят по избам, укладываются спать, что вокруг никого нет (по крайней мере, не должно было быть), но одно дело — сознание, и совсем другое — чувство, которое, как вы правильно заметили, не всегда подчиняется разуму, и, может быть, именно потому, чем ближе я подбирался к баньке, тем явственнее начинало казаться, что кто-то будто подсматривает за мной, идет по следу так же, как я, пригибаясь, перебегая от куста к кусту по прибрежному оголенному и заснеженному льду, и тем чаще, припав к снегу, прислушивался и присматривался я к синему ночному сумраку, и, странно, пока вглядывался, никого вроде не было видно, и ни раздавалось ни звука, но едва только поднимался и двигался вперед, как сейчас же словно чья-то тень начинала шевелиться и перемещаться в кустах; в какую-то минуту, когда мне особенно представилось подозрительным темное, похожее на съездившего человека пятно, не выдержал и вернулся, чтобы посмотреть, действительно ли это человек и кто, но пятном оказался лишь примятый мною же самим, когда лежал и прислушивался, снег. Однако и после этого опасение, что кто-то идет за мной, все равно не оставило меня. Я злоливо прижимался к настывшей бревенчатой стене баньки, когда двигался вдоль нее к двери. Теперь думаю, что бы я стал делать, если бы дверь оказалась на замке? Конечно, взламывать бы не решился, а ушел бы, может быть еще более уверенный, что лари перенесены сюда, но, к счастью ли, к удивлению ли, дверь оказалась не запертой; лишь была наложена на петлю железная накидка и заткнута обычным деревянным колышком. Почти не чувствуя, что пальцы прилипают к настывшей металлической накидке, я снял ее с петли и открыл тоже всю настывшую и проскрипевшую громко, как мне показалось, дверь.

В баньке было темно и морозно, как на улице. Я сначала приглядывался к темноте, а потом торопливо, боясь, разумеется, что меня застанут здесь, обошел на ощупь все углы, обшарил полог и под пологом, но ни ларей, ни наполненных зерном мешков (почему-то мне думалось, что зерно должно было находиться теперь в мешках) нигде не было.

«Значит, не здесь. Но где?»

Так же таясь и оглядываясь, как входил, я вышел из баньки, закрыл дверь, деревянным колышком закрепил накидку и, осмотрев и проверив, все ли сделал так, как было, зашагал вниз, к реке, оставляя глубокие следы на снегу. Но я даже не подумал, что оставляю следы и что наутро вся деревня будет знать, что я ходил к Моштаковым, и будет говорить, что, дескать, агроному-то больше, чем комиссии, надо; напротив, чем ближе спускался к замерзшей реке, и, в особенности, когда ощутил под ногами лед, чувствовал уже себя так, будто все опасения позади, и шел,

не пригибаясь, не оглядываясь, и именно в эту минуту, когда было на душе будто спокойно, неожиданно услышал, как за спиною что-то тяжелое глухо ударилось об лед; едва я успел обернуться, как сучковатое круглое полено прсскользнуло возле моих ног. Конечно, полено не могло само собою откуда-то упасть, его бросили и бросили в меня, но я не кинулся тут же бежать, хотя и одиноко и боязно показалось на заснеженной и замерзшей ночной речке; несколько мгновений еще смотрел на синий и сливавшийся в темную ленту прибрежный тальник, стараясь увидеть, кто же все-таки швырнул полено, и может быть, как раз потому, что никого нельзя было различить, беспокойство сильнее охватило меня; медленно, пятясь, я отходил к берегу; и как только повернулся спиной к тальнику, снова и теперь рядом с плечом пронеслось другое полено и, грохнувшись, покатилося по льду, и почти одновременно раздался где-то совсем рядом лихой, насмешливый свист. Не помню теперь, как получилось, то ли я действительно, опять оглянувшись, рассмотрел наконец в кустах стоявших во весь рост людей (двоих или даже четверых?), или это только почудилось так, а на самом деле я не успел оглянуться, просто побегал, напуганный свистом и летящими поленьями, которые, казалось, продолжали ударяться об лед, когда я уже находился у берега, возле мостков и тропинки, ясно очерченной на снегу, но, так или иначе, а только очутившись под окнами своей избы, вернее, избы Пелагеи Карповны, я остановился. Никто не гнался за мной. Но впечатление, что на меня напали, было настолько сильным и так ошеломило, что когда я вошел в избу, продолжал еще оглядываться и вздрагивать как будто от звуков падавших и скользивших у ног по льду поленьев.

Можете представить, как я провел остаток ночи. То мне было жарко в постели и я откидывал одеяло, то, напротив, чувствовал, что замерзаю, и тогда снова укутывался с головой и, сжавшись, подтянув колени к подбородку, долго еще, согреваясь, дрожал какою-то как будто душевною, что ли, дрожью. Как ни считал я себя правым, как ни казалось мне, что человек не может быть у нас беззащитным, что есть же законы, в конце концов, переступить которые не посмеют, во всяком случае не должны, ни старый Моштаков, ни его сын Кузьма («Не он ли швырял поленья?» — думал я), ни кто бы то ни было другой, потому что — ведь времена кулацких разгулов прошли, да и кулаков давно нет, а есть только колхозная деревня, в которой все равны и объединены одною государственною целью! — но все это были лишь утешительные слова, тогда как скользившие по льду поленья были жизнью, вернее, той стороной жизни, которая до этой ночи была как бы спрятана от меня и теперь, открывшись, пугала своею неожиданно жестокою. «Мстят, — думал я. — Мало ли что могут сделать?!» Временами казалось, что кто-то подходил со стороны огорода к моему зашторенному до половины низкому окну, и я даже ясно будто различал, как похрустывает снег под тяжелыми мужицкими валенками (под валенками Кузьмы, так представлялось, а ноги у него были большие, кряжистые); и хотя через минуту, две все будто затихало, но то же чувство (когда летели в меня поленья) продолжало еще как бы нарастающей тревогой сковывать сознание.

Я так и не уснул в ту ночь, а едва начало светать, оделся и вышел из дому.

Пелагея Карповна еще спала; да и все Долгушино, казалось, спало, укрытое снегом и инеем, и над трубами еще не поднимались столбы дыма, не открывались еще хлевы и коровники, и не ворошили в стожках, что возвышались во дворах, над амбарами, придавленное жердями сено, и тот запах утра — парной, молочный запах деревни, — что и зимою бывает не менее ощутим, чем весной или летом, еще словно хранился за дверьми в хлевах и избах. Я прошел через двор и заглянул за бревенча-

тую стену, но никаких следов под моим окном не было; ровной полудугою, наметенный три дня назад, тянулся от подоконника к дороге весь еще пропитанный ночными сумерками снежный сугроб. Постояв немного, я вышел на улицу и направился к реке. Я шагал неторопливо по той же проторенной к мосткам и проруби тропинке, по которой пробирался вчера, и как только открылась взгляду замерзшая река, различил на льду черневшие точками поленья. Их было всего три, хотя ночью мне казалось, что бросали много и долго. Когда я поднял первое сучковатое березовое полено, все, что случилось со мною здесь ночью, моментально ожило в памяти, и я, не выпуская из рук корявый березовый обрубок, метнулся к кустам тальника, надеясь увидеть следы тех или того, кто швырял поленья (откуда-то он пришел, и следы теперь должны были указать, о т к у д а?); я сразу же наткнулся на утопанную в снегу площадку и разглядел свои следы и вмятины, где ночью лежал, прислушиваясь и всматриваясь, и разглядел еще чьи-то, тоже глубокие и округлые (тот, кто шел за мной, был, как и я, в валенках), но все эти вмятины, отпечатки ног, утопанная площадка образовывали словно пунктиром прерывающуюся от проруби и мостков по реке и дальше через тальник и сугробы к моштаковской баньке дорожку. «Прямо с улицы, по тропинке,— подумал я, вспомнив то свое ощущение, что кто-то будто следил за мной; ощущение это возникло прежде, чем я вышел тогда на реку, сразу же, как очутившись на морозной улице, зашагал к моштаковской избе.— Все предусмотрели». Я снова, как и ночью, начал оглядываться, хотя опасаться было нечего, давно уже рассвело, и синяя заиндевелая деревушка, стояло чуть внимательнее присмотреться, просыпалась, встречая закурившимися трубами и хлопающими дверьми студеное зимнее утро.

Когда я вернулся домой, Пелагея Карповна уже доила свою белолобую Марьянку, и было слышно, как за чуть приоткрытой дверью коровника струи молока бились об оцинкованное ведро.

Я стоял у крыльца, держа принесенное с реки березовое полено, поворачивал и рассматривал его, и в ту минуту был твердо убежден, что умолчать о ночном нападении нельзя, что это уже уголовное дело и что доказательство всему — вот оно, полено. Я положил его тут же, у крыльца, к стенке, намереваясь, может быть сегодня, отправиться в Чигирево к Игнату Исаевичу или Подъяченкову, но обстоятельства сложились так, что ни в этот день, ни на следующий, ни спустя неделю так и не смог попасть в Чигирево; Пелагея Карповна убрала полено в сарай, и я потом не захотел выносить его оттуда. Я вообще так никому и не рассказал, что случилось со мной ночью; Пелагее Карповне потому, что она стала избегать разговоров (разумеется, я не знал почему, терялся в догадках), а однажды даже заявила: «Искал бы другую квартиру, а лучше — съезжал бы совсем, что ли, от греха, о господи!» — а Подъяченкову и Игнату Исаевичу потому, что боялся опять оказаться лжецом в их глазах.

«Бросали...»

«Кто?»

«Этого сказать не могу».

«Так чего же от нас хочешь?»

«Чтобы...»

«Новые «лари» подсовываешь? Довольно, не выйдет!»

Таким или приблизительно таким представлялся мне разговор с ними, и потому сначала я откладывал, а потом и вовсе решил не заводить его.

Почти всю неделю я просидел дома, никуда не выходя и, разумеется, ничего не зная о том, что и как говорили обо мне в деревне; да просто и в голову не приходило, чтобы обо мне могли что-то говорить, а словам Моштакова — м и р о с у д и т — я не придавал тогда особого значения;

я по-прежнему думал, куда же, в конце концов, делись эти проклятые лари, и намечал планы, к кому пойти, что посмотреть, что и у кого спросить («Не сходить ли на конюшню к одноному Ефиму Понуруну? Может быть, он давал куда лошадей?» — рассуждал я), но планы оставались планами, и я только смотрел сквозь окно на заснеженную улицу и, так как нельзя же было без конца думать лишь об одном, садился за стол и принимался расшифровывать летние еще записи в журналах, а потом взялся за неоконченную карту севооборота для долгушинских взгорий. Я, в сущности, заставлял себя уходить от навязчивых и тяжелых дум о хлебных ларях и всей той истории, которая приключилась со мной и в которой хотя я и чувствовал себя правым, но в то же время какая-то будто тяжесть лежала на душе, может быть оттого, что мне не поверили, или просто потому, что оказался вот в таком униженном, когда ты не в силах ничего изменить, положении, — словом, старался как бы отсечь от себя эти беспокойные и бесконечные думы, забыть работой, но проходил час, другой, и я вдруг обнаруживал, что лишь смотрю на расстеленную перед глазами будущую карту севооборота, тогда как вижу то освещенные крышки хлебных ларей, то пустую кладовую и ехидно ухмыляющегося Моштакова, «мучное брюшко», — «Вон, вон, и руки, и телогрейка на животе, все в белом мучном налете!» — то будто снова бегу по ночной замерзшей реке, и летящие поленья ударяются и скользят по голому льду. «Да что я, — вставая и встряхивая головой, упрекал себя. — Может быть, действительно, как говорил Федор Федорович, черт с ними, с этими ларями!» Но ведь за ними, за теми хлебными ларями, наполненными краденой колхозной пшеницей, стояла, для меня во всяком случае, целая армия мужичков-«мучное брюшко», в ледяные сенцы к которым входили мы когда-то с Владиславом Викентьевичем, держа под мышками белые узлы, и мужички те не могли не вспоминаться теперь и не разжигать воображение, стояло ненавистное мне, как я понимал его, людское зло, и потому я не мог, пусть хотя бы в душе, про себя, примириться с тем, что Моштаков оказался неразоблаченным, и в один из ясных морозных дней, а погода тогда, помню, почти весь декабрь держалась удивительно по-зимнему прекрасная, солнечная, я все же не вытерпел и отправился к Ефиму Понуруну. Как-никак, а не раз бывал у него в гостях, на пельменях, да и знал нестарый еще конюх, что я когда-то приглядывался к его дочери (и он питал, наверное, как и Федор Федорович, кое-какие надежды), в общем, я рассчитывал если не на радушный, то хотя бы на вежливый, что ли, прием, и, знаете, каково же было мое удивление, когда этот самый Ефим, обычно при встречах всегда протягивавший (может быть, по забывчивости, ведь я каждый раз напоминал ему, что не курю, а, может, от простоты душевной и доброты?) кисет и сложенную для самокруток газетку, так вот, этот самый Ефим Понурун, выйдя на стук к воротам, не только не открыл их и не пригласил в избу, но как остановился в нескольких шагах за синими, заиндевевшими перекладными ворот, так и стоял, нахлобучив шапку, и недоброжелательно, оценивающе смотрел на меня.

«Ну чего? — неохотно проговорил наконец он. — У меня-то, поди, ларей нет. Али и у меня шарить будешь?»

«Да вы что? Я только хотел...»

«Чего хотел?»

«Хотел узнать, не брал ли кто лошадей в тот день, ну, накануне, когда, помните, к Моштакову...»

«Эк, чего захотел. Лошадей каждый день берут и каждый день ставят, и на то бригадир есть, у него и спрашивай. Ну, еще чего?»

«Так брал кто лошадей или не брал?»

«Нет».

«Ефим Семеныч, дело серьезное».

«Никто не брал, чего еще?»

«Это точно?»

«Чего еще, говорю?»

«Больше ничего, извини,— сказал я, даже вроде как бы слегка отстраняясь от него.— Больше ничего, все».

Какие-то доли секунды мы еще смотрели друг на друга: я с недоумением, потому что мне непонятно было это изменившееся ко мне отношение одноногого конюха, он же по-прежнему настороженно, с явным недружелюбием, которое было и в глазах, и во всем, может быть от яркого белого снега сощуренном лице; ни я, ни он не произнесли того, что обычно говорили друг другу при расставании: «Ну, здравствуй-бывай», а молча: он зашагал к своей избе через двор, вминая деревянным костылем и без того утоптаный на дорожке снег, а я — к себе через всю зимнюю и потому как будто малолюдную деревню. Лишь возле школы и у входа в маленькую бревенчатую лавку сельпо было заметно оживление; возле школы дети с горы катались на санках, а здесь, возле лавки, беседовали между собою собравшиеся долгушинские мужики; но и этого малого было вполне достаточно, чтобы, как говорится, ощутить на себе действие сказанных, помните, в конюшне, Моштаковым слов — мир осудит. Когда я поравнялся со школой, дети вдруг, словно по команде, выстроились в ряд, держа кто на веревочках, кто прямо перед собою в руках санки, и все смотрели на меня,— какими же были те семейные разговоры, если детишки даже перестали кататься, завидев меня; когда подошел к лавке сельпо, вернее, к собравшимся полукружьем мужикам, как это делал всегда, чуть наклонил голову и приподнял шапку, здороваясь, но никто не ответил на приветствие; лишь молодой парень, Петр Рожков, стоявший рядом с отцом, кивнул было мне, но отец, и это на виду, не скрывая, дернул его за полу телогрейки так, словно прикрикнул: «Кому кланяешься!» — и парень мгновенно отвернулся и принялся уже смотреть куда-то вдоль улицы.

«Что случилось, мужики? — спросил я, называя по имени и отчеству всех, разумеется, хорошо знакомых мне долгушинских колхозников.— Почему не здороваются?»

«У нас хлебных ларей нет,— за всех ответил Рожков.— Да и банки на задах не у каждого».

«Вы это к чему?»

«А к тому. Пойдем, Петр»,— добавил он и, явно не желая больше разговаривать, зашагал прочь от сельповской лавки.

Следом за ним так же молча, отворачиваясь и будто виновато глядя себе под ноги, двинулись и другие, и я, пораженный этим неожиданным приемом, смотрел на их широкие удалявшиеся спины. Я и в самом деле не понимал, что произошло, потому что не для себя же старался, разоблачая Моштакова. Но доброе дело мое, как видно, не было для них добрым. В моем старании они улавливали что-то такое, что, может быть, касалось их самих, но разве я мог тогда хоть на секунду представить это? Я лишь чувствовал себя униженным, и от сельповской лавки шагал уже один пустынной улицей. Когда вошел в избу, помню, Пелагея Карповна сейчас же убежала к соседке; она вообще в последнее время все чаще уходила из дому, как только я появлялся, и хотя у нее были на это свои и довольно веские причины (я узнал о них позже, спустя уже много, много лет), но тогда я объяснял себе все просто: «Моштаков науськивает, а вы, эх, люди, не можете различить, где добро, где зло!» Постепенно я начал озлобляться не только на Моштакова, но на всех: «Раз так, раз не хотите понимать, пусть грабит вас Моштаков, скорее протрете глаза и осмотритесь!» В работе же я постоянно теперь как бы наталкивался на стену. Фе-

двор Федорович требовал доставить снопики пшеницы в Чигирево, но бригадир Кузьма не давал лошадей, каждый день находил новый и новый предлог, с попутной тоже не удавалось отправить, так как ни конюх, одноногий Ефим Понурин, ни тот же Кузьма Моштаков не говорили, кто и когда едет в Чигирево, и в конце концов Федор Федорович прислал за снопиками свои сани, а вместе с ними и рассерженную записку. В ней было всего несколько слов: «Вы получаете зарплату, извольте выполнять свои обязанности!» Я прочитал записку с тем чувством обиды, какое не может не возникнуть, когда вы видите, что совершается над вами несправедливость; я ни минуту не сомневался, что Федор Федорович знал, почему не отправлены вовремя снопики, что не сидел же я сложа руки, а бегал, хлопотал, и за что же тогда этот упрек?

«Вот видите»,— показывая записку, сказал я подъехавшему на коне Кузьме Степановичу, когда Пелагея Карповна, я и помогавшая нам Наташа грузили снопики пшеницы на сани.

«Че это?»

«Почитайте».

«А че читать? Кому прислали? Тебе? Вот и читай».

«Должен вам напомнить,— хмурясь продолжал я,— что вы обязаны обеспечить сортоучасток и тяглом и людьми своевременно. Согласно договора, ясно?»

«Ни че я те не обязан. Есть — даю, нет — взять негде, а в договоре не сказано, чтобы с колхозных работ снимать и перегонять к вам, так что ты не учи меня».

«А сортоиспытательный участок существует разве не для колхоза?»

«Э-э, все для колхоза, а на деле выходит, ан, с колхоза все».

«Так что, к председателю мне идти, что ли?»

«Вона, дорога проторенная»,— усмехнувшись, проговорил он и, чуть привстав в седле и обернувшись, указал сложенной в руке плеткою на тянущуюся от замерзшей реки по некрутому склону наезженную и чуть темневшую на белом снегу санную колею.

С этого дня он почти не разговаривал со мной, и особенно трудно пришлось мне, когда началась подготовка семян к посеву. Если бригадир выделял людей, то бывал занят триер, и женщины до обеда лускали семечки в настывшем плетеном сарае и затем расходились, а когда наконец я все же добывался триер, надо было бегать и собирать людей. Я снова просыпался чуть свет и, неумытый, в полушубке с поднятым от мороза воротником, торопливо шагал от избы к избе (разумеется, стучась к тем, кого бригадир занарядил с вечера), но колхозницы не спешили: то приходила одна, то другая, ждали напарниц и, не дождавшись, уходили, а вместо них являлись как раз те самые напарницы и тоже сидели, ждали и затем уходили, а на дворе между тем начинало смеркаться, короткий зимний день истекал, и я, рассерженный вконец, злой, опять отправлялся к бригадиру и просил оставить людей и триер на завтра. Но на следующее утро повторялось все то же, и еще на следующее — опять все повторялось, а потом приезжал Кузьма Степанович на своем резвом рыжем жеребчике, сердито спрашивал: «Че, стоит машина?» — и триер тут же увозили на бригадный двор. Я чуть не плакал от обиды и оттого, что бессилён что-либо изменить; главное, жаловаться, я чувствовал, было не на кого, потому что внешне все как будто соблюдалось, триер давали, людей выделяли, а то, что женщины никак не могли собраться, чтобы начать работу, так это, во-первых, всех не обвинишь, а во-вторых, на такое обвинение наверняка сказали бы (да так оно затем и вышло): «Не умеете работать с людьми!» Произнес эту фразу Федор Федорович, когда я, доведенный почти до отчаяния, — шутка ли, ведь могла сорваться посевная, я же понимал это! — решил все же пойти в Чигирево к нему.

Было это в первых числах марта.

Еще как будто стояла зима, и все вокруг, казалось, дремало, замесное долгими февральскими вьюгами, но вместе с тем снег уже не слепил глаза своей яркой белизною, как зимой, а поосел, подтаял в лучах набиравшего силу солнца, и все во дворах, на огородах, на речке и дальше за речкою, на взгорьях, все покрылось еле заметною, будто прижался к земле развеянный ветром дым, пеленою. Серым казался снег и на крышах, и сбросившие синий морозный иней жердевые ограды теперь ясными черными полосами спускались к прибрежным и тоже заметно почерневшим кустам тальника. Поосели, подрезались стожки во дворах, возле коровников, и это тоже было признаком приближавшей весны. Да и ветер теперь все чаще дул с юга, принося тепло и отдаленное дыхание где-то лопающихся почек, и чувствовать это наступление весны, несмотря на заботы и неурядицы жизни, всегда бывает приятно; обновляется природа, и сам ты тоже будто обновляешься — и мыслью, и душой, и, что самое важное, как оживают семена в земле, оживают в тебе надежды на лучшее и радостное будущее. Не совсем, может быть, в таком настроении, но все же именно с надеждою на лучшее будущее отправился я в то мартовское утро в Чигирево. Я говорю «отправился», да, пошел пешком, потому что Кузьма Степанович все равно не дал бы подводу, а просить, унижаться мне, откровенно, не хотелось; я даже задами обошел моштаковское подворье, чтобы не встретиться вдруг с Кузьмой Степановичем; да и видеть старого Моштакова не было никакого желания. Он обычно стоял в открытых воротах своей огромной, примыкавшей к избе бревенчатой конюшни, когда я теперь проходил по улице, и в это утро мне особенно не хотелось ощущать на себе его прищуренный, как будто старчески равнодушный, спокойный, но на самом деле полный холодной ненависти взгляд; я по-прежнему чувствовал мир его мыслей, злой и понятный до самых незначительных мелочей, мне казалось, что даже вокруг двора его все было как бы пропитано моштакoвским миром, как я называл теперь все, что связывалось у меня с мужичками-«мучное брюшко», и в это мартовское утро, повторяю, как никогда прежде, не хотелось даже вот так, взглядом, что ли, прикасаться к нему; опять лари, опять вся оскорбительная история, воспоминания о которой могли оставить лишь пустоту и боль на душе, тогда как мне было, в общем-то, не до ларей и не до воспоминаний: близилась посевная, а семена еще не очищены, не протравлены и не проверены на всхожесть. «Может быть, не к Федору Федоровичу, а прямо к председателю колхоза», — сам себе говорил я, подымаясь по взгорью к дороге и стараясь не думать о Моштакове. Я не хотел оборачиваться, но, оказавшись на вершине, все же остановился и посмотрел на деревню; и не хотел выделять среди других изб моштаковскую, но и длинная конюшня, и тесовая крыша избы, и все подворье с огородом и банькой, что стояла, приткнувшись в задах, почти у самой еще скованной льдом реки, — все это я как будто увидел прежде, чем остальные избы Долгушина. Моштаковское подворье как бы всколыхнуло в памяти все пережитое здесь за долгие месяцы со дня приезда, и, может быть, как раз тогда, в те минуты, когда, стоя на укатанной полозьями и местами подтаявшей с вечера и заледеневшей теперь, поутру, санной колее, смотрел на дорожные избы Долгушина, впервые с тревогою почувствовал, что между мною и той радостью труда и жизни, какую я познал, объезжая и обходя в дождливые осенние дни черные вспаханные долгушинские взгорья, будто ложилась глубокая и неодолимая пропасть; в то время как я находился по эту сторону пропасти, те осенние дни, что наполняли жизнь радостью и счастьем, как бы отрезались от меня даже не пропастью, а мрачным моштаковским миром, и, главное, что я будто ничего не мог сделать, чтобы убрать с дороги этот не-

навиственный и злой моштаковский мир. Знаете, как беспокоит иногда нехорошее предчувствие человека и он становится угрюмым, настороженным, неразговорчивым, хотя и причин-то пока для этого никаких, вот такое предчувствие чего-то нехорошего, что должно было будто изменить мою жизнь, тревожило и угнетало меня всю дорогу, пока я шел в Чигирево. Я полагал тогда, что настроение это оттого, что мне не хотелось, в сущности-то, встречаться с Федором Федоровичем. После памятного декабрьского вечера, когда в метельную морозную ночь я ушел от него и затем, греясь, сидел возле печи в незнакомой избе, я так и не видел Федора Федоровича (он не приезжал в Долгушино, только присылал письменные распоряжения, я же не появлялся в Чигиреве); я не мог простить ему того, что он рассказал о ларях Андрею Николаевичу, и по-прежнему был убежден, что он был заодно со всеми («Не с Моштаковым, так с Андреем Николаевичем непременно», — рассуждал я) и что, конечно же, ни о каком, так сказать, примирении не могло быть и речи, и я бы ни за что, если бы не надвигавшаяся посевная, не позволил бы себе переступить порог дома Федора Федоровича.

Когда я вошел во двор сортоиспытательного участка, веснушчатый внук сторожа Никиты — Михаил, заметно подросший за эти почти два года с тех пор, как я впервые увидел его, запрягал серого беззубого мерина в сани; он заводил старую, изработавшуюся и уже с безразличием и покорностью ступавшую в оглобли лошадь и, увидев меня, только взмахнул рукой, как это делали чигиревские мужики, знавшие цену времени и соблюдавшие достоинство, и продолжал свое дело; упираясь полусогнутой ногою в обшитое кожей деревянное плечо хомута, он затягивал сунь, когда я, совсем уже почти приблизившись к нему, спросил:

«Далеко собрались, Михаил?»

«В поле», — неторопливо, как будто даже неохотно ответил он.

«Чего это вы? Кто вас гонит?»

«А я что...»

«Там же снега по брюхо вашему мерину!»

«А я что... Я... вон, велят», — докончил он, уже расправляя вожжи и кивком головы указывая на того, кто как раз и велел запрягать и теперь будто стоял за санями.

Я посмотрел, куда он указывал, и увидел спустившегося с крыльца Федора Федоровича. Он был в полушубке, шапке и валенках, во всем том, в чем я привык видеть его зимою, и стоял так же, чуть раздвинув для прочности ноги (а знаете, есть еще в этой позе нечто такое: мое, мол, я хозяин здесь, и не сдвинешь!), как встречал прежде, и, казалось, вот-вот зазвучит его наполненный отцовской теплотой голос: «Эк кток нам! Дарья! Дарья, ставь самовар!» — затем возьмет меня под руку и поведет в избу, а Никитиному внуку скажет, что поездка отменяется и чтобы он распрягал мерина и шел домой, но ничего этого не случилось, Федор Федорович не торопился ни отменять свою поездку, ни произносить приветливые слова; он оглядывал меня молча и так, будто видел впервые, и даже будто был удивлен, зачем, дескать, явился к нему этот неприятный молодой человек? Я хорошо помню это выражение в его холодном старческом взгляде. Он не здоровался, мне тоже не хотелось первым произносить «Здравствуйте», — и я лишь чувствовал, что с каждой секундой, пока мы смотрим друг на друга, все сильнее и сильнее поднимается во мне неприязнь к этому коренастому, с короткою шеей человеку, и неприязнь свою — я чувствовал и это — не в силах был ни подавить, ни скрыть от Федора Федоровича.

«Н-ну, явились?» — спросил наконец Федор Федорович, продолжая, однако, с прежним как будто равнодушием смотреть на меня.

«Да, как видите».

«Посевную сорвали?»

«Пока нет».

«Чего там «пока», сорвали, милостив-с-сударь».

«Я пришел к вам, Федор Федорович...»

«Поздно пришли. Вы, милостив-с-сударь, уже, по существу, уволены».

«Как?!»

«Не «как», а вернее было бы: «За что?» За то, что сорвали подготовку семян к посеву. Бумагу на вас я еще на той неделе отправил в управление, так что на днях выйдет приказ»,— добавил он все с тою же непривычною, во всяком случае для меня, как я знал его, холодностью в голосе.

В первое мгновение я, разумеется, не поверил тому, что сказал Федор Федорович; мне показалось, что я не понял; я ожидал чего угодно, только не увольнения, и потому — теперь уже с испугом и недоумением — продолжал смотреть на Федора Федоровича.

«С бригадиром вы не умеете ладить, с народом тоже,— снова начал Федор Федорович,— а я, милостив-с-сударь, ни работать, ни тем более отвечать за вашу разболтанность не намерен».

«Но я как раз...»

«Хотите возразить? То есть, обжаловать, конечно, можно, этого никто вам не запретит, но, скажите лучше, очищены семена?»

«Нет».

«Протравлены?»

«Нет».

«Так чего же вы хотите? Март на дворе, милостив-с-сударь. На вашем месте я бы сделал только одно — подал заявление. Приказ я постараюсь изменить, и это все, что могу обещать вам. Да, все!» — уже раздраженно закончил он.

Усевшись в сани и обронив Михаилу: «Трогай»,— он для чего-то, хотя было безветренно и неморозно, поднял меховой воротник полушубка, и пока серый мерин вытягивал сани на дорогу, ни разу не обернулся и ничего больше не сказал мне. Я же остался один посреди опустевшего заснеженного двора, не зная, что делать, куда пойти, кому и что сказать о случившемся. «Неужели правда? — думал я.— Неужели действительно Федор Федорович уволил меня вот так, сразу, не приехав, ничего не узнав, не поговорив? Да и там, в управлении?...» Теперь-то я знаю, что вот так просто нельзя уволить человека и что никаких, конечно же, документов Федор Федорович не составлял и не отправлял в управление (удивляюсь, как я не мог сообразить тогда, что на это у него даже просто не хватило бы решимости!), а говорил лишь по наущению Андрея Николаевича («Он даже угрожал Федору»,— утверждала потом Дарья, таясь от мужа), и говорил для того, чтобы я испугался и подал заявление, и я, разумеется, подал его, все так и вышло, как замыслил, желая избавиться от меня, начальник Красно-долинского районного земельного отдела, но что толку, что теперь-то я все знаю, и что из того, что с сожалением думаю, что мог бы не подавать заявления, и не была бы тогда надломлена жизнь, и не мучили бы меня те мрачные мысли о справедливости и несправедливости, которые и сейчас нет-нет да и тревожат сознание, и я начинаю с опаской поглядывать на людей; в самом деле, что толку в запоздалых открытиях, когда ничего уже нельзя ни изменить, ни исправить, жизнь уже определена и прошлое остается лишь уделом дум и воспоминаний? Я стоял посередине двора, лицом к воротам, и не мог, естественно, видеть того, что за спиною из окна, отдернув шторку и прильнув к стеклу, наблюдали за мной все три дочери Федора Федоровича вместе с женой, Дарьей; некрасивые лица их, сплюснутые у стекла, показались

мне еще более неприглядными, почти уродливыми, когда я, может быть оттого, что почувствовал, что на меня смотрят, на миг оглянулся и увидел их; я тоже, как и Федор Федорович, хотя никакой нужды в этом как будто не было, зло поднял воротник полушубка и зашагал, не оборачиваясь на окно ненавистного мне теперь дома. В ту минуту я еще не думал, что напишу заявление; мне еще казалось несправедливым решение Федора Федоровича, и я пытался найти оправдание себе. «Не я сорвал подготовку семян, нет!» Я то и дело возвращался к только что состоявшемуся разговору с Федором Федоровичем, и так как на все вопросы, какие задавал он: «Очищены? Протравлены? Проверены на всхожесть?» — по-прежнему ответ был только один: «Нет!» — постепенно начал сознавать, что возражение бессмысленно, что оправдания, в сущности, нет и, главное, что все может повториться, как с моштаковскими хлебными ларями, которые были же в кладовой, я сам открывал крышки и черпал ладонью зерно, но кто, кроме меня, может теперь подтвердить, что они были? Никто. Ларей не нашли, а значит — для Подъяченкова, Игната Исаевича, для всех — их просто не существовало. Я думал так, шагая по улице Чигирева, и не заметил, как очутился возле избы Игната Исаевича. Ясно понимая, что мне вовсе не нужно заходить к участковому уполномоченному, я между тем прошел во двор и постучал в окно. И почти тут же в дверях появилась жена Игната Исаевича, Мария.

«Добрый день,— сказал я.— Игнат Исаевич дома?»

«Его нет».

«Ага. А когда будет?».

«Не знаю. Он в Дóблинку уехал».

«Ага. Ну извините».

Прямо от него я отправился к Подъяченкову, но и парторга дома не было; русоволосая дочь его, отвечавшая на мои вопросы, сказала, что отец ушел в правление колхоза, и я, опять-таки не представляя толком, для чего нужен мне Подъяченков, зашагал в центр Чигирева к правленческой избе. Но Подъяченкова не оказалось и там; лишь главный бухгалтер колхоза, как всегда, сидел за своим заваленным сводками, нарядами и ведомостями столом, и когда я, открыв дверь, спросил у него, где Подъяченков, не знает ли он, и где председатель, он как будто недоуменно уставился на меня своим округлым стеклянным с фронта глазом (кстати, сколько я ни встречался с ним прежде, всегда складывалось впечатление, что бухгалтер смотрел именно этим выпученным стеклянным глазом, а не вторым, нормальным, вернее, целым, который обычно бывал полузакрит, прищурен) и только после долгой, причину которой я понял не сразу, паузы ответил:

«Они все в Дóблинку уехали, на совещание».

«А когда вернутся?»

«Этого сказать не могу».

Он продолжал смотреть на меня, и хотя я не мог уловить выражения его прищуренного глаза, но по округлому, стеклянному, а скорее по черточкам и морщинам, как они располагались на лице, понял, что все не из простого любопытства, ну, скажем, давно не видал, ведь бывает и так, смотрел на меня главный бухгалтер колхоза. Он, конечно, знал всю мою долгушинскую историю, но знал, разумеется, лишь то и так, как говорили об этом мужики и женщины в Долгушине и Чигиреве, и в его понимании, как, наверное, в понимании многих, я выглядел клеветником, наветчиком, и именно это, его недоброе любопытство, сразу же неприятной болью отозвалось на душе; я тоже неприязненно взглянул на него, будто он и в самом деле был виноват в том, что знал только ту правду, что была известна всем, и не знал другую, которая не позволила бы ему теперь так осуждающе-насмешливо оглядывать меня. «И ты —

все заодно», — беззвучно проговорил я, закрывая дверь и направляясь к выходу.

На улице я еще встретил людей, которые, приостановившись, окидывали меня тем же будто, как только что главный бухгалтер колхоза, взглядом, и я, скрываясь, как за стеною, за поднятым воротником своего полушубка, старался поскорее уйти от них. Мне казалось, что все осуждают и ненавидят меня, хотя — за что, этого я понять не мог; ни к кому более я не заходил; в ночь, потому что уже начинало смеркаться, злой и ненавидящий тоже всех и вся, шагал я из Чигирева в Долгушино, и как только очутился у себя дома (не сразу, конечно, а когда было уже далеко за полночь), не раздеваясь, присел к столу и написал то самое заявление, которое еще более, чем заботившийся о своем спокойствии Федор Федорович, ждал от меня начальник райзо; на глазах у сонных и недоумевавших Пелагеи Карловны и Наташи я запечатал заявление в конверт и затем, выйдя из дома, теперь же, ночью, отнес его на бригадный двор и опустил в висевший там единственный на все Долгушино почтовый ящик.

Еще четверть часа

30 марта, как сейчас помню, в холодный и ветреный весенний день покидал я Долгушино. Я уходил с тяжелым чувством пустоты и обиды, и так же, как в низких и темных, обволакивавших небо тучах не было просвета, так мрачно и неприглядно представлялось мне будущее, и временами даже хотелось крикнуть: «Что вы со мной сделали?!» Самым невыносимым казалось то, что теперь, вернувшись домой, в город, я должен был объяснить матери, что произошло, почему приехал; я думал об этом все дни, пока получал расчет, и, особенно, утром, когда упакованные чемодан и рюкзак стояли уже у порога, а я, будто еще ожидая чего-то, не спешил выходить и невидящим взглядом смотрел на весеннюю с черной дорожной колею посередине и осевшим ноздреватым снегом вдоль плетней и жердевых оград неровную долгушинскую улицу. Я вспоминал день, когда отъезжал из дому с дипломом агронома (аккуратно завернутый в газету, он лежал на дне этого же, стоявшего теперь у порога чемодана); сколько было надежд, радостей: и у меня, и у матери (да и братишка с сестренкой — как они счастливо смотрели на меня!); и письма отсюда, какие я посылал, особенно, в первый год работы в Долгушине, и вот — все было теперь разрушено, сломлено, и не потому, что я сам сделал что-то нехорошее или непристойное, что ли; я чувствовал себя правым, моштаковский мир, как и прежде, был ненавистен мне, и я знал, что если бы вдруг вся моя долгушинская жизнь повторилась, ни минуты не колеблясь снова бы вступил в бой с Моштаковым, но только действовал бы иначе, осмотрительнее, и уж наверняка не допустил бы тех ошибок, вспомнить о которых было неприятно и стыдно теперь. «Зачем я пошел к Федору Федоровичу? Да и что другое можно было от него ожидать? Нет, я бы уже не пошел к нему, и мы бы тогда еще посмотрели, кому пришлось уходить из Долгушина», — думал я. Но вернуть прошлое было нельзя, я, разумеется, понимал это, и оттого должны были служить утешением картины, как бы все могло быть, возникавшие в воображении, вовсе не утешали, а только обостряли то ощущение свершившейся несправедливости, ту боль и обиду которые и без того поминутно угнетали меня. Нет, я не видел весеннюю талую улицу Долгушина, когда, уперевшись ладонями в стол, смотрел сквозь окно на нее в те прощальные минуты; и дом с некрашеными и потемневшими от времени ставнями, что возвышался на противоположной стороне, был вовсе не тем знакомым, какой я привык видеть ежедневно, как только, просыпаясь, отодвигал цветную ситцевую занавеску, а словно стояла передо мною

дорогая мне и памятная родительская изба, та самая, которую когда-то, еще до войны, мы с отцом купили в Старохолмове, и затем вместе с возницами-чуваши я перевозил ее в город, познавая мир и доброту и радуясь выроставшему на окраинной городской улице с в о е м у, собственному дому, как радовались отец и мать; изба была деревенской, такой же, как и все здесь, в Долгушине, и почерневшие и потрескавшиеся бревенчатые венцы ее были будто и теперь видны мне так же, как прежде, когда я каждый день, выходя из дому, шагал вдоль стены и окон к калитке: то с сумкой, набитой тетрадами и учебниками, торопясь, боясь опоздать в техникум к началу занятий, то просто налегке, чтобы встретиться с товарищами и погонять где-нибудь на поляне мяч, то сжатými в кулаке хлебными карточками, когда началась война и мать просила помочь по хозяйству, то с соседом Владиславом Викентьевичем, как уже рассказывал, когда нужно было в очередной раз отправляться за сеной базар на толкучку; я видел перед собою всю ту свою жизнь, от которой уезжал когда-то, надеясь на лучшее, и к которой должен был теперь вернуться, не оправдав, главное, надежд матери. Я представлял себе, как, приехав, войду с чемоданом и рюкзаком в дом и как обрадуется в первую минуту мать, пока не поймет, что я приехал совсем и что опоры семье, как она ожидала, из меня не получилось; и тогда счастливых слез уже не будет на ее глазах; вся та усталость от работы и жизни, какую она, как мне казалось, испытывала постоянно с того дня, когда отец ушел на фронт, опять горестной тенью ляжет на ее лицо, она привычно подберет под косынку свои начавшие уже редеть седые волосы и, вздохнув, спросит:

«А теперь что? Куда?»

«Учиться».

«В институт?»

«Да».

«И Виталий в институт, и Фрося вот тоже...»

«Я на вечерний, мама».

«О боже, да чего уж на вечерний, разве я против?»

Вот так, про себя, беззвучно, я разговаривал с матерью, вернее, воображал этот разговор, стоя перед низким окном в своей долгушинской комнате. Что еще более веское я мог придумать, кроме того, что пойду учиться в институт? Мне казалось, что вообще весь свой приезд я мог объяснить учебой, что, дескать, не хватает знаний и что без высшего образования сейчас невозможно стать хорошим специалистом; но вместе с тем — как ни убедительными даже самому себе представлялись эти доводы — я понимал, что ничем не смогу снять тот горький осадок, какой останется у нее на душе от моего возвращения.

В соседней комнате, за дверью, я знал, Пелагея Карповна и Наташа сидели и ждали, когда я выйду, чтобы проститься со мной. Пелагея Карповна с рассветом ушла было на бригадный двор, так как не хотела, наоборот, видеть меня в это утро, но потом почему-то передумала, вернулась, и я слышал, как она, хлопая дверьми, шумно входила в избу. Я уже привык, что после истории с моштаковскими ларями она относилась ко мне холодно, отчужденно, как, впрочем, относились и другие долгушинские мужики и женщины, но если для других я был лишь агрономом, лишь требовал работу, то Пелагея Карповна, я справедливо полагал, знала обо мне все, и уж кто-кто, а она-то могла понять меня и не осуждать, как другие; да, именно так я думал, и, может быть, поэтому у меня тоже вырабатывалась своя, если можно сказать, неприязнь к Пелагее Карповне, и мне тоже теперь, напоследок, не хотелось видиться с ней. Наверное, я только потому и стоял у окна в комнате, что надеялся, что Пелагея Карповна снова уйдет на бригадный двор.

Занятый этими думами, я не заметил, как приоткрылась дверь и в комнату заглянула Пелагея Карповна.

«Вы едете сегодня или не едете?» — спросила она так, будто в том, еду я или не еду, заключалось для нее что-то важное, что ли.

«Ухожу,— ответил я.— А что?»

«Гришка подъехал. Он в Чигирево, так что...»

«Какой Гришка?» — сердито переспросил я.

«Господи, да приемный сын нашей соседки, Лобихи. Я уж к нему бегала, а то куды, думаю, с чемоданом-то и узлом в слякоть такую!»

«Я не просил вас».

«Да уж подъехал. Иди. Чего уж».

Чуть помедлив, я все же вскинул на плечо рюкзак, взял чемодан и молча, не прощаясь ни с Пелагеей Карповной, ни с Наташей, вышел во двор.

У ворот и в самом деле стояла подвода.

Я только спросил:

«В Чигирево?»

«Да».

Бросив чемодан и рюкзак на колкие объедки сена, которыми была наполнена телега, и уютившись рядом с вещами, я негромко и недовольно проговорил: «Поехали»,— приемный сын Лобихи, лет четырнадцати парнишка, щелкнул вожжой по сытому крупу бригадной лошаденки, и телега, разрезая колесами мягкий водянистый снег, двинулась вниз по улице к ребристому и уже просохшему от снега бревенчатому мосту.

Я смотрел вниз, под колеса, на землю, на свои болтавшиеся над дорогой ноги, и только после того, как телега, протарахтев по бревенчатому настилу моста, начала медленно, раскачиваясь и почти по самые ступицы утопая в размякшей и разъезженной колее, подниматься по взгорью и все избы Долгушина остались позади, разогнул спину и взглянул на удаляющуюся деревню. Десятки раз я видел ее с этой же вот рассекавшей пашню дороги, отправляясь в поля то пешком, то на коне, рыжем бригадирском жеребчике, которого нет-нет да и уступал мне в те дни Кузьма Моштаков, и весной ли, когда все вокруг бывало покрыто зеленью: и тальник у речки, и покосный луг за тальником, и дальше,— квадраты тронувшихся в стрелку озимых и яровых, словно подновленные и сиявшие свежими на солнце красками, летом ли, когда по желтому хлебному раздолью, как нестихающий прибой, одна за одною, прижимая тяжелые колосья к земле, накатывались волны почти под самые завалинки долгушинских изб, осенью ли, когда все как бы уменьшалось, сливаясь и выцветая за синюю и непрерывно морозящую сеткой дождя (я часто и теперь слышу глуховатые звуки ударявшихся о брезентовый плащ и капюшон тех дождевых капель, и, знаете, какая-то никем, разумеется, не записанная еще, непостижимая мелодия оголенных полей начинает слышаться в этих звуках, и беспричинная, тяжелая грусть ложится на душу), да, десятки раз именно с этой вот уходившей в гору дороги смотрел на мило прижавшуюся к речке небольшую, всего лишь колхозная бригада, деревеньку, и мне всегда казалось, что ничего нового я уже не смогу открыть в ней и что то чувство любви, которое оживало во мне каждый раз при виде этих приземленных и почерневших бревенчатых изб, неповторимо, неизменно, и что нет и не может быть ничего выше этого чувства. Но мы просто не знаем, на чем кончается наша любовь, и кончается ли она вообще, и где граница радостям и горю. Я как будто ненавидел Долгушино и уезжал, как уже говорил, злой и опустошенный, даже вот, видели, не простился ни с Пелагеей Карповной, ни с Наташей, но злость моя, и с годами я все больше

начинаю понимать это, была лишь той некрасивой скатертью, какую иногда закрывают полированную поверхность стола; мне жаль было расставаться с работой, землей, людьми; я не думал, как прежде бывало, когда еще не знал о моштаковских хлебных ларях, как много готов был сделать полезного и доброго людям — да мало ли что! — я чувствовал в себе столько силы, что не оглоблю, а бревно, бросившись, мог бы легко перешибить плечом! — нет, я не думал ни о карте севооборота, которая была уже почти закончена и которую я для чего-то увозил с собой, ни еще о чем-либо, что удивило бы и обрадовало сельчан и сделало их (не только долгушинцев, но и чигиревцев, и дальше — всех на земле!) счастливыми, но желание это, желание совершить большое и доброе, какое разбудили когда-то в душе эти же вот долгушинские взгорья, как бы само собою продолжало жить во мне, и потому я с тоской смотрел на проступавшую из-под снега на склонах черную оттаявшую землю. Я не помню, чтобы мальчишка-кучер что-нибудь спрашивал или вообще пытался заговорить со мной; может быть, и оборачивался и смотрел на мою сникшую спину, а может, просто понимал то состояние, в каком находился я, и потому сидел молча, даже не покрикивал на лошаденку, чтобы не нарушать то течение чувств и мыслей, какое с первой же минуты, когда еще телега только тронулась от ворот, захватило меня (а впрочем, мы эгоистичны; я говорю о себе, тогда как он мог думать о своем; ведь у него была своя жизнь, свои заботы!); но так ли, иначе ли, я был так возбужден и сосредоточен, что ни вязкой дороги, ни чьего-то приемного сына, ни самой телеги, на которой ехал, как будто не существовало вовсе, а была только и позади и по бокам покрытая осевшим, подтаявшим снегом земля, которую я видел и цветущей, и оголенной, сырой, размякшей, когда она, как роженица, подарив жизнь, укладывалась на отдых под белое снежное одеяло, и на осиротевших без листьев стебельках, как застывшие слезы мучений и счастья, поблескивали льдинками запоздалые осенние росы. Вы можете не согласиться со мной, да, пожалуй, и не согласитесь и будете правы, потому что каждый человек, конечно же, живет своим воображенным ли, или еще как-нибудь можно назвать его, миром, но я не преувеличиваю, и уж вовсе не от желания сказать красиво хочу сравнить ваши чувства к Ксене со своими, какие испытывал я к долгушинским взгорьям; они казались мне такими же прекрасными и неповторимыми, как вам Ксена; в Чите, в Антипихе, в Москитовке, наконец здесь, в Калининках, в этой вот самой гостинице — в любую минуту вы могли представить лицо Ксены, ее серые и серебрившиеся в свете висевшей над столом керосиновой лампы косы, ее улыбку, любое движение ее лица, которое не нужно вам объяснять, всю ее понятную и близкую вам доброту, так и для меня долгушинские взгорья (и не только в тот пасмурный и холодный весенний день, когда я, в сущности, глядя на них, навсегда будто прощался с ними) имели свое лицо, имели понятную мне и близкую свою добрую душу, я знал, казалось, каждую проведенную на них борозду, каждый заросший травой огрех, каждую неоплотую межу, и все это сливалось в одно целое, что дарило мне счастье и от чего я уезжал теперь, как отвергнутый, не понятый и не оцененный этой же вот землей, над которой будто все ниже и ниже нависали косматые и черные дождевые тучи, людьми, что сидели (конечно, они не сидели, а каждый занимался своим делом, и с бригадного двора давно уже выехали занаряженные арбы на ферму, но мне так казалось, что сидели) по своим удалявшимся сейчас от меня избам, и больше всего было сознавать именно это, что не понят и отвергнут. Я видел и моштаковское подворье, и дом Пелагеи Карповны, и старую заброшенную мельницу, где в летние корот-

кие вечера оживал натягивавшийся белый экран, и видел уменьшавшуюся свинцово-серую полоску реки с тальником и мостками, и хотя река была уже не замерзшей — еще неделю назад лед сорвало и теперь шла редкая, неопасная и бесшумная шуга, минутами вдруг все преобразилось для меня, я снова пробирался по оголенному и местами заснеженному льду, оглядываясь и чувствуя, что кто-то следит за мной, и вот уже одно за одним с глухим шумом падают за спиной поленья и зловеще скользят по толстому и шершавому льду. То нападение, знаете, до сих пор не изгладилось из моей памяти, и бывает иногда страшно оттого, что люди, именно люди, разумные существа, с неизмеримой, я бы сказал, подлой жестокостью набрасываются на себе подобных. Хотя никто больше не швырял в меня поленьями и даже как будто признаков, чтобы угрожали, не было, но в ту зиму я так и не выходил по вечерам из дому: я хорошо помнил обо всем этом, и когда смотрел на избу Пелагеи Карповны, невольно задерживал взгляд на дровяном сарае, где в целости и сохранности еще стояло унесенное туда и прислоненное к стенке сучковатое березовое полено. «Кто же все-таки бросал? — опять спрашивал я себя, не замечая, как раскачивается на вязкой дороге телега. — Не сам же старик Моштак-ков? Я же чувствовал, — продолжал рассуждать я, припоминая залитый лунным светом ночной двор, подводу, мешок с мукой, который проносили на остекленную веранду мимо стоявшего в кальсонах и на тельной рубашке начальника райзо, припоминая лишь те подозрения, какие возникли тогда, сразу же, и не думая больше ни о чем, будто ничего другого не было в тот вечер и я не восторгался ни жизнью, ни умом, ни, наконец, достатком Андрея Николаевича. — Да, чувствовал, — продолжал я, — но разве мы когда-либо полагаемся на себя? Мы не верим себе, глупцы, и потом дорого платим за это». Я говорил еще в этом роде, с горечью разбирал свои ошибки, ни на мгновенье, однако, не отрывая взгляда от унылых, лишь с черными пролысынами на подтаявшем белом снегу взгорий, которые обладали еще большей как будто притягательной силой. Снова и снова они вызывали во мне затаенные добрые чувства, и эти чувства так же, как обида и горечь, одинаково тревожили. Я увозил с собою два мира — любви и ненависти, — которые существовали независимо от меня, я казался себе зажатым между этими противоборствующими силами, и как ни старался плечами, разумеется мысленно, в воображении, раздвинуть эти невидимые давившие стены, чтобы хоть развернуться лицом к злу и освободить руки, ничего не получалось, и я лишь, молчаливо сидя в телеге, сутулился под тяжестью пережитых событий. Когда скрылось из виду Долгушино, я не заметил; мне кажется, что до самого Чигирева, до той минуты, пока парнишка, остановив лошадь возле правления колхоза, не сказал громко и неожиданно: «Приехали!» — серые соломенные крыши долгушинских изб все еще будто, как не свезенные с осени осевшие прошлогодние стожки, вырисовывались на удалявшемся снежном горизонте.

В Чигиреве я тоже ни к кому не заходил и ни с кем не прощался; я даже обрадовался, когда почти тут же, едва успел снять чемодан и рюкзак с телеги, подвернулась попутная машина до Красной Дóлинки; в районный центр же приехал, когда уже вечерело и слякотная дорога покрывалась тонким и хрупким синим весениним ледком.

Мне говорили потом, когда я однажды, спустя много лет, решил пересказать эту свою долгушинскую историю, что главная ошибка заключалась не в том, что я доверился Федору Федоровичу и Андрею Николаевичу, а в другом, что не зашел вовремя в районный комитет партии. «В людях еще не раз и очаруешься и разочаруешься», — выслушав меня, сказал Петр Семенович, тот самый, с которым мы и сей-

час трудимся вместе в управлении, и даже кабинеты наши расположены рядом, стена, как говорится, к стене. Ну что ж, может быть, Петр Семенович прав, да, пожалуй, наверняка прав, и случись со мною все теперь, я так бы и поступил, но тогда я, разумеется, не мог сделать этого; и не только потому, что был еще беспартийным, или потому, что не сообразил ничего по молодости, что ли; во-первых, мне казалось, что у меня не было оснований,—ведь семена не очищены, посевная действительно-таки срывалась! — чтобы пожаловаться на несправедливое решение Федора Федоровича, и не было, в сущности, никаких улик, кроме разве словесных утверждений, ни против Моштакова, ни против Андрея Николаевича, и, во-вторых, не всегда же мы делаем именно то, что нужно; одни и неправду, стучась во все двери, оборачивают для себя правдой, другие же часто даже стесняются своей правоты, так что я все равно не могу полностью согласиться с запоздалыми суждениями Петра Семеновича. Я помню, с какой хмурой отчужденностью смотрел на здание райзо, когда, сойдя с машины в Красной Дóблинке, стоял на памятной мне с первого приезда площади (тогда она была пыльной; теперь же — слякотной, черной, исполосованной колесами легких председательских пролеток, на которых приезжали они к районному начальству, и оспинно-изрытой копытами тех же председательских лошадей), и я уже не любовался, как прежде, этим низким, барачного типа помещением с крыльцом посередине и как будто знакомым мне ветхим и полинялым плакатом по карнизу (слова, правда, призывали теперь к посевной); напротив, вся незамечавшаяся раньше убогость: давно не беленные, потемневшие стены, скосившиеся деревянные ступени крыльца, да и фундамент, подъедаемый солонцем,— все было словно специально обнажено передо мною, и я невольно говорил себе: «А у самого-то — и ворота новые, да и дом, и веранда — вся под стеклом!» — и хотя с того места, где стоял, не было видно ни новых ворот Андрея Николаевича, которые, впрочем, давно уже были выкрашены в густо-зеленый цвет, ни даже крыши его дома, но я мысленно воспроизводил всю его ухоженную усадьбу рядом со зданием райзо, и на душе от этого становилось лишь тяжелее и горше. Я видел и здания райкома, райсовета; и видел полуразрушенную церковь на возвышении в конце площади, где когда-то, в тени красной кирпичной стены приснилось мне, что из-под меня вдруг вырвали землю; я, конечно, не вспоминал об этом сне, но все то ощущение, будто действительно вырвали землю, ни на секунду, казалось, не отпускало меня в тот день и вечер. Я не спустился к реке и не попрощался с пеем; не прошло и часа, как с попутной машиной я мчался уже на железнодорожную станцию, а на рассвете следующего дня скорый поезд увозил меня от этих и дорогих и ненавистных мне мест.

Я тоже думал, что никогда больше не вернусь сюда; но так же, как и вам может быть, даже в те самые минуты, когда я лежал на раскачивавшейся полке вагона, погруженный в свои грустные размышления, жизнь уже готовила мне обратную дорогу и в Красную Дóблинку, и в Чигирево, и в Долгушино, ко всем тем не оттаявшим еще взгорьям, с которыми я навсегда как будто расставался теперь.

(Окончание следует)



ЕВГЕНИЙ МАРКИН

★

БЕЛЫЙ БАКЕН

По ночам,
 когда все резче,
все контрастней свет и мгла,
бродит женщина у речки
за околицей села.
Где-то гавкают собаки,
замер катер на бегу.
Да мерцает белый бакен
там, на дальнем берегу.

Там, в избе на курьих ножках,
над пустыней зыбких вод,
нелюдимо, в одиночку
тихий бакенщик живет.
У него здоровье слабо —
что поделаешь, бобыль!
У него дурная слава —
то ли сплетня, то ли быль.

Говорят, что он бездельник.
Говорят, что он — того...
Говорят, что куча денег
есть в загашне у него.
В будний день, не тронув чарки,
заиграет песню вдруг...
И клюют седые чайки
у него, у черта, с рук!

Что ж глядишь туда, беглянка?
Видно, знаешь только ты,
как нелепа эта лямка,
как глаза его чисты,
каково по зыбким водам,
у признанья не в чести,
ставить вешки пароходам
об опасностях в пути!

Ведь не зря ему, свисая
с проходящего борта,
машет вслед: — Салют, Исаич! —
незнакомая братва.
И не зря,
 боясь огласки,

ты от родичей тайком
так щедра была на ласки
с неприкаянным дружкой.

Это только злые сводни
да угрозы старых свах
виноваты, что сегодня
вы на разных берегах.
Никуда ты не схоронишь
все раскаянье свое,
что польстилась на хоромы
да на сытое житье.

Ты теперь как в райской пуще.
Что ж постыл тебе он вдруг —
твой законный,
твой непьющий,
обходительный супруг?
Видно, просто сер и пресен
белый свет с его людьми
без былых раздольных песен,
без грустиночки в любви!

Сколько раз в такие ночи
ты кричала без стыда:
— Перевозчик, перевозчик,
отвези меня туда!
Перевозчик не услышит,
не причалит, не свезет...
Просто месяц, чуть колышась,
легкой лодочкой плывет.

Все бы реки, все бы глубины
ты бы вплавь переплыла!
Лишь тому бы
эти губы
ты навеки отдала!
Что ж так горько их кусаешь,
коль давно не держит стыд?
Все простит тебе Исаич,
лишь измены не простит!

Никуда тебе не деться!
Левый берег — он не твой!
Лучше б в девках засидеться!
Лучше б в омут головой!
Не страшна тебе расплата,
да удерживает то,
что в тебе
стучится свято
безвиновное дитё.

Ни надежд уже, ни права...
Ты домой идешь с реки.
Он на левом,
ты на правом —

две беды и две тоски!
 Как тут быть — сама не знаешь.
 Вот и пой, как в старину:
 — Не ходите, девки, замуж
 на чужую сторону!

1970

НЕВЕСОМОСТЬ

Я знаю, что такое невесомость!
 Тот радостный восторг и потрясенность,
 когда, пацан, отчаянный бесенок,
 я в речке кувыркался колесом.
 И вот когда неведомые силы
 в осколках мрака, золота и сини
 меня со дна под солнце выносили,
 я был тогда, конечно, невесом.

А то еще познал я невесомость,
 когда,
 судьбой в глубинку занесенный,
 над рукописью мучишься бессонно, —
 и ни строки!

 Несчастный рифмоплет...

И вдруг в окно увидишь:
 с юга — гуси!
 И образ — есты!
 И ни тоски, ни грусти!
 Звенят, звенят малиновые гусли...
 О вдохновенья благостный полет!

Но знаю я иную невесомость:
 стоишь —
 а человек невеселый,
 развязывая петельки тесемок,
 из папки вынимает документ.
 А там — донос!

 Там клевета на друга.

Ты что суешь на подпись мне, подлюга?
 Мы победим, хоть другу будет туго!
 Как жаль, что я покуда невесом!
 Но нам еще по светлым рекам — плавать!
 А нету вдохновенья — так не плакать!
 Нам воплощать величье наших планов,
 людей бесчестных челюсти дробя.
 Земля, земля!
 К тебе лишь тяготeya,
 вбираю я могучий дух Антея.
 И до того прирос уже к тебе я,
 что страшно оторваться от тебя!

Рязань.



М. ГАНИНА

★

ТЕАТРАЛЬНАЯ АКТРИСА

Рассказ

1. Двор был плоский, заросший коротенькой изжелтевшей травой, вокруг стен стояло небо. На той линии, которая отделяла от двора третью часть, сидела, вытянув прямо ноги, старуха. Голова у нее была квадратно замотана белым большим платком, в подоле длинной юбки лежали хлеб и огурцы; очистив с огурца желтую кожуру, она отрезала кружки и с лезвия клала в рот.

Все вокруг было соразмерно: каменный сметанно-белый четырехугольник стен, рыжий плоский двор, белый храм в центре, как бы уравновешенный фигурой старухи, которая сидела, удобно вытянув ноги. Дереву не вредно, не холодно держать в земле корни, старуха сидела на земле обычно, как уже не сидят более молодые, выращенные на асфальте. Мать Агриппины тоже умела так сидеть на земле.

Покой и молчание линий присутствовали тут. Агриппина отошла ближе к стене, сняла с шеи косынку, повязалась, некрасиво закрыв щеки, и легла на траву. В стене в щербинах старинной, замешанной когда-то на яйцах и на молоке штукатурки темнел тоже старинный розовый кирпич.

До самой небесной выси стоял естественно-прекрасный золотой свет, Агриппина чувствовала тепло этого света, любила сухой предосенний запах земли, любила себя на земле.

Сейчас она была недосыгаема не только для прямых прикосновений посторонних взглядов, но даже для тех прикосновений, когда о тебе кто-то вспоминает просто так и, зная, где ты находишься, как бы драгивается до тебя, и тебе беспокойно от этого. Нервное напряжение, стоявшее в ней последнее долгое время, падало.

Линии вокруг были законченны и молчали, она слышала это молчание и наслаждалась им. Внутри медленно заполнялось что-то, она радостно слышала это накопление, восстановление неуязвимости существования своего во вселенной, прежнее счастливое предчувствие гениальности.

2. Агриппина задремала, сначала помня сквозь дрему, где она, потом заснула глубоко и во сне увидела, что будто фотографирует кого-то идущего по улице, торопится, чтобы успеть побольше нащелкать кадров, пока человек не скрылся в толпе, человек уходит, она хочет спрятать аппарат в футляр и видит, что снимала с закрытым объективом. Во сне ей кажется это непоправимым: она помнит, как прекрасно двигался тот неизвестный человек, как были наклонены его плечи, как покачивались в коленях длинные ноги и напряжены были локти, она

предвкушала краденое свое счастье, когда кадр за кадром будет разглядывать снимки, читая каждый, точно иероглиф, слушая, как звучит это несогласие, негармония линий, единых, однако, в сути своей.

Она смотрит на закрытый черной крышкой кружок объектива и вдруг начинает рыдать зло и неостановимо, как в детстве. Ее придавливает необратимая трагичность свершившегося и своя неудачность. И тут кто-то сильный прижимает к груди ее мокрое лицо, гладит по волосам тяжелой рукой — ее пронзает счастливое чувство защищенности, благодарного сладкого желания отдаться утешителю.

С этим сладким, никогда так полно не посещающим ее наяву желанием она проснулась и, не поднимаясь, не меняя позы, стала думать об утешителе, о его всепрощающей, всеоправдывающей мужской доброте и о том, что наяву ничего такого никогда уже не станется с ней.

Потом она вспомнила о завтрашнем спектакле. Спектакль в Москве прошел только тридцать раз, обкатался, но не был приигран, не потерял передачу, ей хорошо думалось о нем. Сорок вторая сыгранная ею роль и одиннадцатая главная. Как ей почти всегда казалось, самая удачная и самая принявшая ее в себя. На этот раз она играла деловую женщину, руководительницу предприятия, лирики в тексте роли не было почти совсем, но она знала эту женщину через себя. Поглощенную работой, умную, сильную, неприятно резкую, тщетно ждущую часа, когда наконец можно будет стать незащищенной и нежной, потому что рядом кто-то есть.

Тема эта не произносилась, однако была в рисунке движений. Рисунок всегда искался ею по наитию, но удачное она запоминала сразу и повторяла после ремесленно-точно, потому что всегда контрольно следила за собой.

Когда-то, много-много лет назад, будучи даже и не актрисой еще почти, она увидела однажды, как движения тела, произвольно подчиненные внутреннему состоянию, стали вдруг звуком, фразой, обожженной сильнее, чем обожгла бы сложенная из слов. Подруга ее матери, про которую все знали уже, что любовник, с которым она прожила лет восемь, недавно связался с молодой, брела по улице; Агриппина до сих пор видит неестественно и униженно выпрямленные плечи, и закид головы, и частое, неравномерное подергивание рук, и поразившие ее пальцы одной руки, напряженно и нелепо выпрямленные, будто женщина опиралась на что-то или отталкивалась от чего-то. Агриппина берегла этот жест в памяти, боясь потратить зря, и только сравнительно недавно в одной из ролей, в похожей ситуации, повторила его. Жест сработал: его заметили почти все критики, писавшие об этом спектакле, а главное, она слышала — его каждый раз принимал зал.

С той далекой поры, сформулировав для себя, что вроде бы нелепое, но точное движение в кульминационном моменте спектакля действует пронзительно, она начала собирать необычные жесты. Начала следить, как при таких или иных эмоциях люди изменяют вдруг походку, как кто наклоняет голову или вздергивает подбородок, расставляет локти, двигает плечами. И подобно, как горожанин, с детства говорящий на жаргоне, имеющем для всех случаев жизни пятьсот слов, вдруг открывает себе, что родной язык бесконечно богаче, и принимается с жаром неопита осваивать эти богатства, — так и Агриппина увидела, что в обычном актерском обиходе используется скудное количество общечеловеческого разнообразия движений, начала коллекционировать и классифицировать эти движения, зарисовывала по памяти, потом догадалась фотографировать на улицах, и это сделалось ее страстью. Она расшифровывала, разгадывала, следствием какого мимолетного переживания может быть тот или иной запечатленный жест, поза, — отбирала.

Как-то ей попалась книга с фотографиями индусской религиозной скульптуры; разглядывая эти снимки, она вдруг поняла: то, что она считала своим тайным открытием, которому никто, в общем, и не поверит, потому что доказать и объяснить это невозможно, знали жившие три тысячелетия назад люди. Глядя на многочисленные варианты поз многорукого Шивы, она прочитывала их, как свои кадры-иероглифы, и знала, что скульптор, запечатлевший веселого бога, слышал приблизительно то же, что и она. Через звучание линий действовал он на воспринимающего, и тот, кто владел грамотой движения-звука, слышал эти изображения, как музыкант слышит нотный лист.

Агриппина стала разыскивать и собирать немногочисленные издания с фотографиями и зарисовками индуистских религиозных скульптур, удивлялась, что даже в кажущейся неподвижности Будды есть явно сознательно приданная ему асимметрия, движение, звучание линий.

Однажды она пошла в Пушкинский музей посмотреть на копии античных скульптур, огорченно обнаружила неподвижность и молчание линий даже в тех из них, где вроде бы изображалось самое стремительное движение. Потом она поняла, что эти скульптуры — гармония плоти и духа, успокоенность постигшей внешнюю суть вещей мысли, поэтому в них — уравновешенность и молчание. У индусских скульптур тоже была плоть, часто более щедрая и всегда более бесстыдная, чем у греков, но гармонии в скульптурах не было и не могло быть, как не могло ее быть в обычной, а не удобно придуманной для собственного обихода жизни. Скульптор-хинду искал смысл бытия, понимал, что постигнуть, ухватить его невозможно, однако искал. Когда Агриппина больше узнала индийское изобразительное искусство, то увидела, что и у индийцев был какой-то период, когда чувствовалось влияние греков, но продолжался он недолго, немного сохранилось и скульптур, отразивших это влияние. Все остальное существовало самобытно, единственно, начало его не прослеживалось нигде и ни в чем.

Агриппина полюбила ходить на концерты индийских танцовщиц, когда те приезжали, особенно на сольные концерты. Классические религиозные танцы катхакали и бхаратнатум для себя она читала по-своему. Напряженно, точно за мелким текстом следила она, как искони ритуальный и, возможно, уже не понимаемый исполнительницей знак слагается с другим: согнутый большой палец ноги, и пятка, упершаяся в пол, и руки, неграциозно, грубо сложенные в локтях над головой, и голова, то запрокинутая назад, то резко опущенная вниз, то почаеючи скользнувшая по линии плеч слева направо, справа налево, и вдруг тяжелые прыжки на присогнутых в коленях, бесстыдно раскоряченных ногах, и опять — ногу в сторону, на пятку, и бедро выпячено грубо и прекрасно, а пальцы дрожат, и горсти — один локоть над головой, другой внизу — приближаются друг к другу — это знак лотоса и бабочки, порхающей над ним, так объясняют. На самом же деле это точка в предложении, конец аккорда, мысль начатая и законченная. Резкий звон ножных браслетов с бубенцами и гудение табла тоже можно записать линиями, а не нотными знаками, здесь все едино.

Соседи по креслам взглядывали на Агриппину, как на умалишенную: забыв обо всем, она напряженно подавалась вперед, судорожно вздыхала, усмехалась довольно, иногда коротко сглатывала: «Ах!..» Ей было все равно, что думают рядом сидящие: она приходила за наслаждением и получала его.

Однажды она пошла в такой концерт с Жоркой, предварительно попытавшись растолковать ему свою теорию звучащего движения. Жорка был актером милостию божьей. Часто он по наитию делал в спектаклях такие вещи, до которых другой умелый профессиональный актер не допрет, сдохни он от усилий после бесконечных репетиций с

изощреннейшим режиссером. Сам он двигался прекрасно, особенно хороши и выразительны были у него руки. К тому же он вообще был неглуп. Но либо ее доморощенная теория на самом деле была бессмыслицей и самообманом, либо все-таки у Жорки отсутствовали какие-то пазухи душевные, которыми постигают то, что нельзя постичь и объяснить обычными логическими умпостроениями. Ей неприятно было вспоминать, как Жорка усмехнулся и гмыкнул, сказал что-то шутовское, будто разговаривал с одной из актрисул их театра. Этой снисходительной усмешки она не простила ему до сих пор. Индийская же танцовщица Жорке не понравилась; он любил русский классический балет.

3. Стало сухо и неприятно, затомило тоскливо: она вспомнила актрис их театра, не любивших ее и завидовавших ей, актрис и актеров их театра, всегда мешавших ей играть в грудных местах спектаклей. Обычно говорят, что актеры — это дети; Агриппина могла бы добавить: злые дети. Все происходившее с ней в театре было необратимо уже, этого нельзя было исправить, нельзя было начать сначала и похорошему. За сорок два года жизни и двадцать пять лет на сцене она сменила семь театров, из них два ленинградских и один в Москве, везде это повторялось, едва труппа привыкала к ней. Она могла бы наконец понять, что дело не в труппе, она, в общем, и понимала это, пыталась иногда стать иной: более легкой, попроще.

Подул ветер. Агриппина села, опершись выпрямленными руками позади себя, вытянув ноги. Старуха уже ушла, монастырский двор делался пуст и сер: солнце закрыло облако. Агриппине хотелось есть, но не было желания идти куда-то на люди. Потом она вспомнила, что возле автобусной остановки видела стилизованную харчевню, вроде бы совсем пустую, и пошла туда.

День был будний и время межобеденное, в харчевне за деревянными столами не сидел ни один человек, и когда Агриппина удобно устроилась в дальнем углу, к ней вышли не сразу. Но она не торопилась.

Деревянная тяжелая дверь была открыта, из нее в полумрак харчевни падал золотой кусок света, в нем, сверкая, двигались вверх и вниз мошки. На что-то счастливое был похож этот свет и темный деревянный зал-сарай с земляным полом и грубыми столами и лавками, на какие-то картинки из старых книг, виденные ею еще в том возрасте, когда и случившееся и увиденное на картинке одинаково становится частью тебя.

Агриппина медленно, со счастливым вздохом улыбнулась, чувствуя, как снова налаживается внутри, достала из сумочки сигареты, не торопясь, смакуя каждое движение, закурила и стала ждать, глядя сквозь сощуренные ресницы на этот золотой живой свет, ограниченный грубым косяком двери. Наконец к ней подошел официант, она заказала кувшин вина и жареную баранью печенку — блюдо это имело какое-то местное экзотическое название, официант его произнес, и Агриппина забыла мгновенно, потому что не запоминала слова, не имевшие для нее корневых ассоциаций, ей трудно было учить тексты ролей, где было много таких слов. Ей принесли вино в черном глиняном кувшинчике, черную глиняную кружку, овечий сыр и зелень, а экзотическое блюдо жарилось. Она пила вино, слыша, как легко хмелеет, как тяжелеют ладони и икры ног, ела сыр и зелень и размышляла о себе.

Не будь она неудачницей, ей не замечали бы непростоту в отношениях и неровный, с перепадами настроений нрав за талант. Премьершам, баловням судьбы, прощают все. Но она была наследственной неудачницей, в их семье из рода в род передавалось это: талант и не-

удачливость. Потому хотя талант ее и признавали в театре, но как нечто не имеющее значения, даже скорее как навязчиво, нескромно отличающее ее от других. Не прощали ни вспыльчивость, ни барьер непростоты, который всегда, хотела она или не хотела, стоял между ней и окружающими.

Она опьянела, сидела с полуулыбкой на лице, неподвижно шурилась на клубящийся свет в проеме двери, поправляла рукой короткие светлые волосы. Ей было покойно, уверенно, и гениальность снова стояла у горла, как в лучших спектаклях. Первое время это бывало с ней в спектаклях всегда, хотя и не всегда замечалось знатоками, потом бывало уже только в редкие разы — и опять не замечалось знатоками, потому что если раньше ей недоставало мастерства проявить, передать в зал этот подпор у горла, то после было достаточно мастерства скрыть его отсутствие. Отсутствие это воспринимал теперь лишь редкий неискушенный зритель, тот, что шел на спектакль распахнувшись, «обнажив печенку», и передачу тоже благодарно принимал «печенкой», и грустил откровенно, если не слышал передачи.

В злые минуты актеры, режиссеры и даже критики поминали Агриппине, что у нее нет школы, ну, а она огрызалась: слава богу, что нет «школы», нет штампов, сизого налета, который покрывает выпускников этих «школ», словно лежалый шоколад. Вкус тот и не тот, что-то утрачено. Слава богу, что она с семнадцати лет на сцене, на профессиональной сцене, и учителя у нее были прекрасные.

Начинала она действительно с самодеятельности, с театральной студии во Дворце культуры ЗИСа, которой руководил артист Сергей Иванович Днепров. Ей было тогда шестнадцать лет, шла война, она работала обмотчицей на заводе «Динамо» и до приемного конкурса в студии никогда никому не читала ни стихов, ни прозы. Не была даже настоящей театральной: чтобы регулярно ходить на премьеры, не хватало денег, на хороший спектакль, так же как на новый фильм, билеты можно было купить с рук и с переплатой. Впрочем, она любила Театр Моссовета, помещавшийся тогда в «Эрмитаже», спектакли с Мордвиновым и Викланд, случалось, она стояла в толпе поклонниц, чтобы увидеть, как уходит Николай Дмитриевич в черном длинном пальто и шляпе, без грима, но все равно с необычным, отяжеленным талантом лицом. Тем не менее она никогда никому не «показывалась» и на приемный конкурс в студию решила пойти только потому, что посмотрела в ДК спектакль «Дети Ванюшина» и он ей понравился. Понравилось, что самодеятельные актрисы, игравшие главные женские роли, не были хорошенькими. Она тоже не была ни красивой, ни хорошенькой, хотя лицо у нее было сгранным.

Агриппина любила вспоминать это время, когда все еще начиналось, когда сама она была доверчивой и доброй к людям, несмотря на то, что характер у нее и в ту пору был неровным, вспыльчивым и временами мрачным. Любила вспоминать поездки с концертной бригадой на фронт, себя в бархатном, по щиколотку платье, перешитом из старого материнского пальто, и как, несмотря на нелепый, не шедший к ее красным рукам и подростковому лицу наряд, ее выступления каждый раз горячо принимали зрители. Обнадеженная этими горячими аплодисментами, она однажды села в своем единственном и нелепом платье в состав, шедший на юг, ехала сначала на подножке, а после на крыше и объясняла всем, кто ее об этом спрашивал, что она актриса. Приехала в Алма-Ату и шла в длинном бархатном платье через весь город, уверенная, что актрисы одеваются именно так и что все она делает, как настоящая актриса. Очевидно, эта самая неотклонимая, как полет снаряда, уверенность помогла ей поступить в русский драматический театр, где тогда было много эвакуированных из Москвы и Ленинграда акте-

ров и режиссеров, с удовольствием учивших уму-разуму одержимую неотесанную девчонку. Она все вбирала в себя, как сухой мох, вживалась в театр, чувствовала себя на сцене обычно, единственно — здесь было ее место.

В Алма-Ате она вышла замуж за актера, который был старше ее на двадцать шесть лет, казался ей мудрым, добрым и красивым. Он и на самом деле был добрым и много знал. Его пригласили в Ташкент, но там молодая жена главрежа играла роли, которые могла бы играть Агриппина. Из-за этого на следующий сезон муж Агриппины, актер с именем, уехал в Одессу, а после в Сталинград. Агриппина ввелась наконец в репертуар на серьезные роли, и о ней заговорили. В Сталинграде она вышла замуж во второй раз, снова за актера, потому что ей показалось, что любить сильнее, чем она любит и чем любят ее, уже невозможно. Однако спустя три года она вышла замуж за театрального художника, развелась с ним через пять лет, уехала в Ленинград: ее пригласил в свой театр ныне уже покойный Акимов. Больше замуж она не выходила, у нее даже не было связей до Жорки. В Москву она перевелась два года назад из-за Жорки. Агриппина увидела его в Ленинграде на гастролях в роли царя Федора, он же знал ее давно, еще по Сталинграду. Два года им было хорошо, но теперь, видно, и это прошло, ушло куда-то и почему-то, как все, что раньше...

Официант принес ей экзотическую печенку, она съела, допила вино, расплатилась. Возле остановки стоял полупустой автобус, однако ехать в город, в гостиницу, ей не хотелось пока. Она побрела по пыльной улочке меж высокими глиняными дувалами вниз, к монастырю. Через растворенные резные старые двери в дувалах она видела деревья, увешанные оранжевыми плодами, виноградные лозы, вьющиеся по столбам, на них висели тяжелые синие гроздья.

Она не вошла в монастырский двор, а, пройдя под стенами, села над обрывом, смотрела на обмелевшую широкую реку, на желто-коричневые, как невылинявшая шкура верблюда, горы, раскатившиеся до самого горизонта. Солнце садилось.

4. Оно было красным, как глаз альбиноса, висело между темно-синими полосами облаков; оно было шаром, пурпурным шаром, планетой — и вращалось. В плоской сверкающе-белой воде реки оно лежало, отраженное дважды: перед бледно-желтой косой — в русле реки, и дальше, за косой, — в рукаве.

На огненный шар надвинулось снизу кубовое плотное одеяло. Из-за сине-рыжих перекатов холмов пошел малиновый свет, густой и живодышащий, словно чье-то тело, чье-то нездешнее живое сильное тело, словно свободный поток крови, словно дыхание львенка, играющего в пустыне.

Агриппина сидела, растворенно вбирая в себя зрелище, потом почувствовала, как слезы подступили к горлу, и усмехнулась. Усмехнулась, чтобы не взглянуть: очень она боялась в себе таких умильно-растворенных состояний, обязательно после случалась какая-то гадость. Хотя, собственно, какая гадость могла с ней произойти?.. С Жоркой они расставались — тянули еще бодягу, но расставались, и у Агриппины не болело это. Завтрашний спектакль ее партнеры не в силах испортить, хоть они на голове будут ходить, хоть изгаерничают. Она чувствовала в себе колыхание божественной жидкости, предназначенной освятить, оплодотворить завтрашнее ее существование на сцене, и никто тут не мог, не в силах был помешать ей.

Она доехала на автобусе до окраины городка и сошла, чтобы берегом моря дойти до гостиницы. Спешить ей было незачем. Она брела по кромке прилива, маленькая, легкая, не уставшая, светлые короткие

волосы выворачивал, открывая темные корни, бриз; шла и улыбалась. И было хорошо ей. Море колыхалось рядом.

Она дошла до палаточного городка, где жили автодикари, и увидела вдруг толпу и белую фуражку милиционера в центре толпы. Любопытство повлекло ее туда. Навстречу ей к морю спускались толстая загорелая женщина в полосках купальника и мужчина в плавках.

— Ничего не бойся,— говорила женщина.— И будем жить, и никто не тронет...

Агриппина протиснулась к центру толпы, ожидая увидеть труп: она копила свои реакции на все. Но трупа не было, стоял милиционер в серой тонкой рубаше и белой фуражке, стоял, развернувшись спиной к мотоциклу, чуть запрокинув голову и приблизив к шее подбородок, руки его были раскинуты назад и оперты на руль и седло мотоцикла; еще не слыша слов, но читая его позу и движение головы, Агриппина поняла, что тут никакое не убийство, не преступление, а нечто для милиционера (а значит, и для нее) несущественное. Может быть, страшное, существующее уже, но не пугающее его лично, а значит, и ее.

— Я говорю вам, что и этот перевал скоро закроют,— повторил милиционер, переключив голову к спросившему.— У меня сведения, что на двадцать четыре часа открыт, можете уезжать. Уезжайте! А что будет через сутки, я сказать не могу.— И стал перечислять близлежащие курортные города, к которым проезд был уже закрыт.

— Что случилось? — спросила Агриппина у соседки просто так, чтобы не уйти, не узнав, о чем речь.

— Холера,— произнесла та и улыбнулась смущенно и недоверчиво. Улыбнулась, а не озоботилась.

Улыбнулась и Агриппина, как чему-то невероятному, какой-то страшной интересной игре, в которую ее вовлекали. И пошла дальше берегом в гостиницу.

Дверь номера, где жили Рита Сарычева и Лиза Нилина, была раскрыта, Юра Васильев играл на гитаре, Вовка Братунь пел. Вовка был пьян, его красивое доброе лицо было румяно, полно бесшабашной гусарской силы. Агриппина покровительственно любила Вовку, считала его способным актером, на сцене он никогда не позволял себе гаерничать. Вовка хорошо пел, и Агриппина остановилась послушать.

Вовка увидел Агриппину в дверях, поднялся и поклонился. так красиво поведя кистью руки и взглянув снизу, что Агриппина даже хмыкнула от удовольствия. Если бы Вовка не растолстел за последнее время, он был бы самым красивым актером в театре. Но двигался, конечно, лучше всех Жорка. Что же касалось таланта и мастерства, то Жорка был просто другого класса. Ресторанный умелый джаз и симфонический оркестр в консерватории — вот что такое Жорка по сравнению со всеми.

— Вы знаете, что холера? — спросила Агриппина.

— Знаем! — Вовка улыбнулся.— Потому и пьем, что скоро все порем. Выпейте с нами, Агриппина Васильевна.

— Рыженькая! — позвал с другого конца коридора Жорка.— Я жду тебя давно.

5. Он сел в кресле, сломался, высоко подняв худые колени, разбросив по подлокотникам руки. Агриппине всегда казалось, что руки у него изламываются не на трех суставных стыках, как у всех нормальных людей, а на множестве — могут принимать любой изгиб, любой рисунок. Пластичные, умные, подвижные Жоркины руки — три четверти его актерской ценности, его средств выражения. Она до сих пор помнила руки царя Федора — белые, нежные, неуверенные, вот так же сидел он на троне, бросив бессильно, отчаянно руки, и только кисти, приподнятые

чуть, чуть собранные, как «цветок лотоса», пальцы... Господи, как любила она его тогда, даже сейчас сердце сжалось, вспомнив ту любовь.

Жорка молча следил, как она переодевается, как пришла и ушла из ванной, как достала из холодильника сыр, тарелку с фруктами и вино. Усмехнулась.

— Может, теперь фрукты нельзя есть? Холера ведь.

Не ответил ничего, взял стакан с желтеньким вином, отхлебнул половину, спросил:

— Где ты бегала?

— Ездила куда-то. На третьем автобусе до конца, минут сорок пять езды.

— Что меня не взяла?

— Хотелось одной побыть.

— Спектакль, по-моему, завтра, а не сегодня.

— При чем тут спектакль...

В дни важных спектаклей Агриппина старалась не быть на людях, молчала до вечера, копила себя. Презирала снисходительно своих коллег по театру, способных прийти на спектакль прямо с дружеской попойки, «веселенькими».

— Тогда понятно...

Жорка встал, подошел к ее туалетному столику: за рамку зеркала была заткнута открытка с репродукцией портрета Стрепетовой Ярошенко.

— Какая женщина!..— произнес он в который раз машинально, потом сел на пол возле кресла Агриппины, обхватил руками свои высокие колени, ссутулился.

Складные двери в лоджию были растворены, шумела приморская улица, чернело, каталось, сверкая отраженными огнями, море. Горизонт был слабо затянут невидимыми облаками, луна, висевшая над морем, была неясной и розовой. Так они сидели, не касаясь друг друга, долго, потом Жорка шевельнулся, похрустел костями, сказал сухо и обиженно:

— Что же? Спать пора, пожалуй?..

— Пора, завтра спектакль,— веселым голосом согласилась Агриппина и зажгла свет.

Но когда Жорка ушел, было ей тяжко, словно сухой песок на сердце осел. И затомило предчувствие беды.

Спала она в лоджии на вытащенном из кровати пружинном матрасе, закрывала с вечера голову подушкой, чтобы не слышать шума курорта, а утром уже не спала, а дремала, слыша сквозь дрему, как ходит море, звенят в кипарисе птахи, как розово касается ее белых простыней солнце.

Проснулась она в семь часов, вечернее смутное настроение прошло, она сделала зарядку, приняла душ и спустилась в буфет, не опасаясь встреч с коллегами: они ложились так же поздно, как и вставали. Открывая дверь, она понюхала воздух: пахло сладко и отвратительно.

— Хлорка!..— удивилась Агриппина и вспомнила: — Холера!..

Она взяла стакан сметаны, сосиски, кофе, начала есть — и вдруг услышала, что на нее смотрят. Повернула голову и встретила взгляд мужчины, сидевшего за соседним столом. Тот не сразу отвел глаза, и Агриппина вспомнила, что вчера утром этот мужчина так же пристально смотрел на нее.

«Пытается вспомнить, где видел»,— равнодушно подумала Агриппина. Не избалованная славой киноактрис, которым докучали вниманием прохожие на улицах, Агриппина, однако, считала, что и ее узнают, что и у нее есть свои почитатели, помнящие ее в лицо.

Выходя из буфета, она, уже машинально, оглянулась. Мужчина был невысок, темноглаз, пожалуй, немолод. Одет он был в синюю шел-

ковую распашонку и шорты, сидел, тяжело, неизящно поставив локти на стол, и задумчиво смотрел на Агриппину.

Она ушла, весело унося с собой этот неигривый, серьезный взгляд, ей иногда просто необходимы были такие взгляды, льстивые речи; необходимо было знать, что есть люди, которые ее понимают и принимают.

Хотела, как всегда в день спектакля, лечь в номере и лежать, запершись до вечера, но внутренний непокой вынес ее за двери гостиницы.

Солнце входило в силу, опаляло, сковывало жаром. Агриппина шла по солнечной стороне улицы с непокрытой головой, без темных очков. Шелковый брючный костюм легко болтался на ней, не касаясь тела, охлаждал. Она любила солнце и не боялась его. Навстречу текли загорелые, полуголые, весело озабоченные люди, несли в целлофановых пакетах фрукты, ели мороженое, пили воду из стаканов у будок с газировкой. Встречные женщины громко обсуждали непривычный еще наряд Агриппины. С рынка шла женщина с авоськой, полной фруктов, и, наклоняясь, вгрызалась в сочный персик.

«Холера ведь,— думала Агриппина.— Все так же. И языками треплют так же. Или это мне приснилось вчера, что холера?..»

Она вернулась в гостиницу, надела купальник и махровый халатик, взяла полотенце и пошла на пляж. Берег был красным от горячих, сальных, щедрых человеческих тел. Люди купались, орали что-то друг другу, слушали транзисторы, играли в карги, ели килограммами фрукты, ели так эти фрукты, словно каждый из них был машиной, предназначенной переработать фрукты впрок, на зиму.

Чувствуя, что от раздражения и отчаяния у нее начинает болеть голова, Агриппина бросила полотенце на свободный кусочек пляжа возле молодой блондинки с двумя некрасивыми негритятами — мальчиком и девочкой, легла, накрыв голову халатом. Шум пляжа немного отпустил ее, она лежала, подставляясь солнцу, жадно слыша, как похрустывает под пронзительными лучами ее легонькое мускулистое тело. Потом поплавала и пошла в номер, схватив по дороге фразу, которую авторитетно выдала какая-то очередная толстуха в бикини:

— Только после третьего или четвертого брака у них могут быть белые дети, а так — черные...

«Всем до всего дело, все надо обсудить, господи!» — подумала Агриппина и, войдя в номер, закрыла дверь на два оборота ключа, прикрыла стеклянные створки лоджии, задернула плотные занавеси.

Лежала в темноте, думая, что все странно и нелепо. Ради этих вот людей, мимо которых так брезгливо пробрела сейчас, она будет выкладываться, выжигать себя нынче вечером...

В театр она пришла, как всегда, за полтора часа, гримировочные были еще пусты: даже Жорка приходил за час. Сняла костюм, оставшись в трусах и лифчике, и стала медленно гримироваться, слушая, как подступает нервная неуверенность и раздражение — обычное ее состояние перед любимыми спектаклями. Дала им подняться до горла, следила, как меняется лицо, как через темный грим болезненно краснеет кожа. Лицо в зеркале было старым и грубым, но из зала все увидится иначе. Она вспомнила, вернее, она весь день держала про себя мужчину, глядевшего на нее утром, сейчас разрешила себе вспомнить ясно — и, как пузырьки в стакане воды, поднялось в ней удовольствие, огогрело.

Заглянул и хмуро кивнул Жорка, пришла Ольга Богатенкова: гримировочная была на двоих. Ольга болтала что-то, Агриппина молчала, изредка угукая неохотно — в день спектакля она позволяла себе быть особенно нелюбезной. Распахнула дверь Лиза Нилина:

— Бабы, аншлаг!

— Еще бы! — серьезно сказала Ольга. — Холера...

— Почему? — удивилась не поняв Агриппина. — Какая тут связь?

— А страшно... В одиночку страшно, Агриппина Васильевна, на люди хочется. — И через паузу добавила так же серьезно: — Я бы уехала, пока карантин не объявили. Если, не дай бог, будут случаи, выезд закроют. Представляете? И сиди тут дождайся, пока сам подохнешь...

Агриппина сказала, докрашивая синей тушью ресницы:

— Ну, прямо...

И пожала плечами: она не чувствовала в себе страха, удивительно. По трансляции прозвенели все звонки, помреж объявил на выход. Агриппина надела юбку, куртку и сапоги, сбежала вниз, встала за кулисой. Подошел сзади Жорка, обнял за плечи.

— Ни пуха, ни пера, маленькая!

— Ладно. Начали с богом.

Кончилась музыка пролога, и Агриппина, задавливая привычную растерянность, шагнула в круг света, пересекла этот круг быстрыми шагами, все еще пустая внутри, остановилась, оперлась боком о канцелярский стол. Мельком, не видя, поглядела в зал — жарко дышащая пропасть, колышущееся несобранное существо. Она почувствовала: потянулось к ней оттуда и слабо, безадресно заколебалось в воздухе, — сделала жест рукой, как бы забирая, подчиняя это, повернулась резко, послала волну-себя туда, в жаркую пропасть.

— Что, товарищи? — пошла первая реплика роли. — Кого ждем?.. Давайте, Петр Семенович, докладывайте ход строительства.

Она не смотрела на Жорку — во время спектаклей она видела партнеров не прямым, а косвенным зрением, чтобы не разрушать свой круг, — слышала, как он двинул табуретом, пошелестел листками, не спеша, держа паузы, стал подавать сухой убогий текст так, что там, внизу, не кашляло, не скрипело, слушало.

И пошло. Она чертила сотни метров зигзагов маленькими сапожками по кругу сцены, сходила с круга, ожидала за кулисой входную реплику и возвращалась на круг. Не важно, что текст пьесы порой был убог и противоречив, она выдавала его с иной нагрузкой, подчиняла внутреннему своему, — она рассказывала о тяжелой, прекрасной судьбе ее поколения, о своей собственной судьбе. «Господи!.. Да ведь мы забываем друг о друге в благополучии будней, — мысленно кричала она в зал наивное, но святое.» Она чувствовала: доходит. Нечто натянутое между залом и Агриппиной наполнялось взаимным током крови: Агриппина была сердцем, очищающим, обновляющим то, что шло к ней, и обновленным отдавала назад. Внутри все невыносимо сжималось, точно жизнь уходила из нее с этой отдачей, — она любила жертвенно, покаянной сейчас всех.

— Не было друзей? Да, пожалуй... — говорила она текст роли; раскуренная сигарета замирала на полдороге, и рука вздрагивала.

Не бог весть какой жест — в соответствии с авторской ремаркой: «Закуривает сигарету, нервничает». Но дело было не в сигарете, а в том, как она держала руку — лихо, игриво, но рука дрожит, клонится, бессильная, и женщина не может унять эту дрожь. Первый и единственный раз ее героиня стала слабой перед своими подчиненными, перед залом. Рука — и потом слезы текут по улыбающемуся лицу, Жорка — Петр Семенович опускает голову, чтобы не видеть этих слез.

— Я была счастлива тем не менее, — идет дальше текст роли. — Независимо от того, что впереди, я была счастлива. Понимаешь, Петр? Я люблю людей, понимаешь? Ты не веришь мне? Я для них умереть готова...

— Весь секрет ее «искренности»,— вдруг поймала она негромкий, но ясно слышимый за кулисой голос Юры Васильева,— что она всегда: о себе — и про себя. И сейчас про Жорку: крушение надежд...

Юра знал, что она услышит, что сейчас, на финале спектакля, в ней сломается круг токов. Знал, что в ее теперешнем вывороте искренности — это удар ниже пояса. За что? Он сам бы не мог объяснить: была талантливей его, но была ли счастливей?.. Агриппина быстро взглянула на Жорку: слышал? Слышал, конечно,— нечто вроде понимающей усмешки прошло по его лицу. Усмешка была не изнутри, не от себя — это бы можно простить,— усмешка адресовалась за кулису: «Что делать, старик, любовь приходит и уходит...» — и так далее, из обычного мужского комплекса.

Однако она донесла паузу, опустила руку с сигаретой, потом затянулась и щелчком отбросила окурочек, привычно проследив, не слишком ли опасно в противопожарном отношении он упал.

Еще раз выдержала паузу, сказала последнюю реплику, потом без радости приняла аплодисменты, и пять вызовов, и цветы, протянутые ей какой-то женщиной,— все с полуусмешкой на губах и с поклонами, хотя ей хотелось заплакать или повеситься. Дело не в том, что сказал Юра, а зачем сказал. За что? Ни с кем из актеров она даже не поругалась за всю свою актерскую жизнь — грубо ответить, это она могла,— но ведь как ругались, как обзывали друг друга молодые актрисы и тут же снова мирились... Ни у кого она не перебила роль, не отняла лишние двадцать рублей ставки. Она получала — нет, недополучала — только свое. Так за что же?..

Жорка догнал ее на улице, пошел рядом, она молчала, наконец остановилась и дрожащим от злости голосом произнесла:

— Оставь меня! Видишь же: я не люблю тебя больше, не хочу! Можешь объяснять своим друзьям это как тебе угодно, но я не люблю тебя больше, не люблю, пойми, пожалуйста!

Жорка задержал ее, взяв за локти, она вырвалась.

— Я сейчас закричу, позову милиционера. Уходи!

На них оборачивались прохожие. Жорка пожал плечами и ушел. Она спустилась к морю, побрела берегом, злость, кипевшая в ней, успокаивалась, улеглась потихоньку. Плевать... Волчица не из вашей стаи, что делать... Но Жорка ей больше не нужен, хватит с нее тихих предательств, не словесных — улыбкой, пожатием плеч, паузой, движением, тем самым движением, в громогласное звучание которого он не верил. Он был моложе ее лет на семь, но здесь, как и всегда, он ее искал, а не она искала. Гордыня... Да, гордыня — и бог накажет одиночеством, ненавистью тех, кто рядом, ненавистью — за что? Волчица не из нашей стаи...

Зарево города осталось позади, море покачивалось неслышно и невидимо, на заоблаченном черном небе даже звезды не проблескивали. Впереди замерцал красный дымный свет, потом неясные пятна розового, синего, оранжевого света — точно старые абажуры, освещенные изнутри, кто-то разбросал по пригорку. Она вошла в палаточный городок и остановилась, не замечаемая никем, не мешающая никому,— городской дом, распавшийся на полупрозрачные квартиры, лежал вокруг нее. В каждой парусиновой квартирке готовили свое, говорили свое, слушали свою музыку — никому ни до кого не было дела.

Три «Волги» стояли нагруженные, возле них копошились, проверяя, все ли собрано, черные фигуры. Может, они решили уезжать из-за холеры, пока не закрыли последний перевал, а может, у них просто кончился отпуск.

9. На следующее утро она проснулась в обычное время, но не встала, а лежала с закрытыми глазами, пытаясь снова заснуть, благо утро было пасмурное и нежаркое. Чувствовала она себя разбитой, бессильной, безвольной, вчерашний вечер она не вспоминала, но он был в ней, этот вечер. И — голова была трезвой и делово-ясной — она тяжело думала о бессмысленности прожитой нескладной своей жизни: зачем? После нее не останется даже детей: сначала не хотела, потом уже не могла. И хотя в хорошие свои минуты она успокаивала себя: мол, если хоть один человек, выйдя со спектакля, задумается, как неправильно он жил до сих пор, уже не зря истрачены полгода, что она работала над ролью. Сейчас понималось: зря. Задумается, посамоугрызается и будет жить, как жил.... Конечно, среди миллиарда человеческих судеб ее неудавшаяся жизнь — капля в море, сгоревший при вхождении в атмосферу крохотный метеорит, но ей было жаль своей неудавшейся жизни.

Надо было вставать, идти на читку новой пьесы, но идти не хотелось. Во-первых, она знала уже, что для нее там нет роли, во-вторых, ей больше не хотелось никаких ролей и никаких пьес. Однако идти было надо, чтобы не говорили опять: вот, держится наособицу, конечно, мадам чувствует себя премьершей... Хватит с нее подобных разговоров.

Взявшись за ручку двери буфета, она пожалела, что встала поздно: тот человек, конечно, уже позавтракал. Его, точно, не было, и у нее совсем погасло все внутри, даже надежда на какой-то просвет. Однако когда она допивала кофе, человек этот вошел в буфет и, скользнув взглядом по завтракавшим, подошел к стойке, спросил сигареты. Она не поняла, увидел ли он ее и вообще искал ли он ее, но когда он, прихрамывая, направился к выходу, то остановился на мгновение и взглянул точно на нее. Отвел глаза сразу, будто теперь их связывало что-то и неловко было уже просто смотреть в упор. Вышел — и у Агриппины повеселело на сердце, она сама не поняла почему. Она не была легкотщеславной женщиной, и пристальные мужские взгляды ее обычно раздражали, она могла и нагубить в ответ на такой взгляд. Человек этот был, пожалуй, некрасив — невысок, жилист, хромал. И лицо у него было не доброе — жестких очертаний, губы сухой складки. Умное, правда, лицо. Как он двигался — скорее плохо, зажато очень, скупое, то ли из-за хромоты, то ли из-за врожденной или профессиональной замкнутости. В общем, ей от него ничего не было нужно, и тем не менее Агриппина вышла на улицу, унося в повеселевшем сердце этот темноглазый серьезный взгляд.

Шла она быстро: опаздывала, к тому же начал накрапывать теплый дождь. Возле городской железнодорожной кассы клубился народ. Собственно, тут всегда собиралось порядочно народу, но сегодня было столпотворение.

Пришла она в театр, хоть и боялась опоздать, из первых. Села в дальнем углу репетиционной, раскрыла томик Уильямса, стала перечитывать «Стеклянный зверинец», чтобы не глядеть ни на кого.

Вошел и весело, подчеркнуто громко поздоровался с ней Юра Васильев; она посмотрела на него прозрачными глазами, потом кивнула. Господи, что ей с ними считаться — девчонки, мальчишки, злые, но не ведающие, что творят. Глупо все.

Вошел Жорка, сел с ней рядом, взял руку, поцеловал ладонь. И этот по-мальчишески что-то кому-то доказывал: себе, что он порядочный, товарищам?.. Но с ним все кончено, в сердце не было даже остаточной боли. Вчерашний вечер давал ей право на разрыв — спасибо этому вечеру.

Пришла Ольга Богатенкова, сказала, что в соседних двух курортных поселках зарегистрирована холера. Не то два, не то три случая,

один заболевший уже умер. Срочно выселяют палаточный городок и вообще дикарей, не сегодня-завтра город закроют на карантин.

В сердце Агриппины прошел сквознячок веселого ужаса: неужели?.. Она хотела участвовать в трагедии, постигающей людей, как когда-то, девчонкой, упорно прорывалась в бригаду, едущую на фронт. Может, чтобы стать очевидицей, запомнить, сыграть после?.. Ей всегда было легко играть женщин военного времени, потому что она навидалась всяких, назапоминала лиц, голосов, поз, рассказов...

Все помолчали, переглядываясь.

— Да, братцы... — протянул, усмехаясь, Возка Братунь и картинно почесал в затылке. — Надобно драпать, а?.. Как?..

— Пожалуй... — негромко произнес Жорка и посмотрел на Агриппину.

Она так и не поняла, шутил он или искал сочувствия.

Пришел главреж с пьесой, но читать начали не сразу, обсуждали как и что, если и т. д. Потом начали чтение и читали два часа с перерывом, потом час вяло обсуждали. Пьеса была скучной, нужной была деревенская тема, но уж очень эта тема была плоско подана. Тем не менее главреж и худсовет настаивали на включении пьесы в репертуар. Согласились вяло, вяло распределили роли, неожиданно главреж предложил роль старухи-правдолюбки Агриппине, но она сказала, что в ее возрасте надо либо совсем переходить на роли старух, либо пока воздержаться от подобных ролей. Режиссер не стал настаивать: он не любил с ней спорить, и только когда у него накапливалось много таких унижительных для его режиссерского самолюбия случаев, он вспоминал ей все — вспоминал злобно, обидно, старался унижить ее.

Разошлись. Агриппина забежала в гостиницу пообедать: здесь на втором этаже был ресторан, куда с улицы не ходили. После обеда она хотела пойти посмотреть, как выселяют палаточный городок. Села за столик, раскрыла Уильямса, чтобы скоротать время, пока принесут заказ, и тут увидела своего незнакомца. Прихрамывая, он шел по проходу, за ее столом было свободное место. «Господи, — вдруг испугалась Агриппина, — только бы он не сел сюда! Заговорим — и все рассыплется». Она точно почувствовала, что стоит им сказать между собой несколько пусть необязательных фраз — что-то исчезнет; разрушится это школьное волшебство узнавания друг друга без слов. Мгновенное запоминание движения, выражения лица, контакт взглядов, чтение позы — и ты о человеке знаешь, держишь в себе больше, чем после длинной беседы. Разговор, тон, слова — всегда маска, игра, дымовая завеса от смущения или от желания поразить. Движение — вот голая информация о том, что внутри.

Ее незнакомец, не дойдя один столик, сел на освободившееся место, быстро коснулся взглядом глаз Агриппины и без выражения отвернулся, взялся за меню. Сидел он незящно, как крестьянин над миской щей, поставив локти и подавшись сутуло вперед. «Аппарата нет! — пожалела вдруг Агриппина. — Как сидит! Свободно, как хозяин. Ходит зажатое, а здесь забылся и сидит как дома во главе стола, за которым жена, сыновья, внуки, все едят, все сыты...» И улыбнулась: не такую ли семью, не такую ли жизнь она всегда держала внутри, вторым планом? Вот в этой, черновой, спешной, она актриса, и все, что с этим связано, но будет еще жизнь начисто, настоящая, будет назначенный ей богом вот такой нелюбезный, но муж — единственный, отец ее многих детей, и не лень, не тяжело ей рожать от него до старости лет... Те, с которыми она так легко расставалась, были любовниками, хотя и стояли перекрестные печати в паспортах. Любовниками — а она ждала мужа, которому можно было бы, нужно было бы покориться и быть просто женой, женщиной...

Агриппина закончила обед, расплатилась, встала, сделав над собой усилие: ей хотелось еще сидеть и исподтишка наблюдать за этим человеком, читать его лицо. Оно не было добрым, но не было и злым — замкнутое просто лицо, с затворенным окошком, за окошком этим много чувствовалось всякого, сложного... Понять, кто этот человек, было трудно — держался он обособленно, без компании. И к деревне, судя по всему, теперь он уже не имел отношения, поза за столом — память крови...

Зашла в номер, взяла аппарат на всякий случай — вдруг встретится что-то, что надо снять, — пошла берегом. Спектакль сегодня игрался старый, так что если она вернется домой к четырем или даже к половине пятого, то сумеет отдышаться и собраться.

Сейчас, когда много палаток уже убрали, было видно вытопанную, мертво-желтую стерню, набросанную солому, квадраты обжитой и теперь неуютно-оголенной брошенной земли — все было, как на пепелище, как на пожарище: люди толклись так же бестолково, нервно, неряшливо. Она щелкнула несколько таких неряшливых, растерянных поз. Большинство палаточников с машинами поразъехались, остались те, кто, подобно улитке, должен был взвалить свой дом на плечи, но эти не знали как быть, и куда деваться, и что же с отпуском — подобно многим на их месте, они пытались инстинктивно не рушить налаженное, авось перемелется. Между упрямо цеплявшимися за свое место палатками ходили милиционеры и дружинники, выдерживали колышки: мгновение назад тут стоял дом — и уже вот выгоревшая тряпка...

— А куда мы денемся? — кричала на дружинника, повалившего палатку, женщина. — На вокзале куковать? Тысячи народу!

— Три основных и три дополнительных поезда, все уедете! — растолковывал дружинник. — Кто сегодня не уедет, на квартиру определят, там вода, газ, а здесь у вас что?

В центре поселочка на старых ящиках сидели милицейское начальство, пограничный майор и трое солдат с автоматами. Лица у всех были будничные, скучные, майор слушал, что ему говорит толстый загорелый человек в плавках, и рассеянно кивал, а у того лицо было возбужденное, даже вроде бы подобострастное, хотя и гордое, и поза — он сидел тоже на ящике, раздвинув колени, приподняв плечи и пальцы толстых ладоней были сложены шалашиком — читалась: я на равной ноге с высоким начальством, я и сам «ой-ой-ой!..». Агриппина вспомнила дальней юной памятью таких вот дядек, ехавших почему-то на юг, а не на фронт, так же вот, на равных, разговаривавших с проводниками, и те так же снисходительно кивали, слушая вполуха, а после все-таки впускали их в тамбур или даже в свое служебное купе, а она ехала на подножке и после на крыше, а в тамбур ее так и не пустили. Что хотел, что выщигивал у майора этот дядька? Разрешения остаться до вечера? Распоряжения погрузить его с вещами без очереди в призовик или автобус, отвозивший безмашинных на вокзал? Или, может, ему ничего не было надо, просто — беда, и он по сигналу безусловного рефлекса налаживал контакты с начальством?

По полю от одного брошенного квадратика земли к другому ездил какой-то мальчишка с тачкой, собирал пустые бутылки.

— Вот, — сказал вдруг майор, и лицо его прояснело, стало знающим и помнящим многое человеческим лицом. — У кого беда, а кто поднаживется...

Посмотрев на часы, Агриппина испуганно загоропилась: было четыре.

В гостиницу она пришла в половине пятого, легла и час лежала в темноте, собираясь. Но все равно внутри был сумбур, суета, и перед глазами вращался разоряемый палаточный городок.

«Где ж они воду там брали?.. Если что — гниюшник, рассадник, эпидемии не миновать...»

Потом она вспомнила своего неизвестного знакомого — а он что? Собирается уезжать, напугался? И кто он?.. И где же, наконец, он живет, на каком этаже? Ей захотелось увидеть его, она перебрала четыре кратких их встречи, и вдруг ее обнесло стыдом: ведь он не сел с ней за один стол потому, что она сама стала на него пялиться многозначительно, он испугался, как бы ему не повесились на шею!.. Точно кипятком оплеснуло ее изнутри, она крутилась на постели, зло слушая в себе унижение, ненавидела себя, свои дурацкие на старости лет фантазии. Если она его еще хоть раз встретит — глаз не поднимет. На что он ей нужен, в самом деле?..

С этим она поднялась, оделась, пошла в театр. Спектакль игрался хорошо, хотя во втором действии девочки опять стали мешать ей: кто-то возобновил «замри» — забава, которой они развлекались еще в Москве, — и вот то одна, то другая «замирали» в самых неподходящих моментах. В предфинальной сцене она даже прервала реплику и сказала спокойно и довольно громко:

— Если вы не перестанете, я сейчас уйду! Выкручивайтесь как хотите!

Они напугались всерьез, спектакль закончили нормально, и снова были аплодисменты, букетики цветов, вызовы — как всегда. К количеству вызовов и к температуре аплодисментов Агриппина была очень чувствительна.

Спектакль кончился в половине десятого, и она отправилась к палаточному городку. Пригорок был пуст, ходили черными тенями какие-то люди, жгли солому подстилок, вытопанную траву — красный огонь и дым ползли по земле, тянулись к морю. Посредине этого огня и ночи стоял сколоченный из ящиков стол, за столом сидел человек, перед ним была не то банка, не то бутылка. Небо позади было светлое, темно-синее, гляделось как задник, и нелепый силуэт человека за столом среди горящего поля на этом светящемся заднике...

И еще какая-то девица в белых брюках и красном свитере сидела на рюкзаках, больше из палаточников никого не осталось.

Агриппина подошла к большому костру и вдруг увидела своего незнакомца — он разговаривал с человеком в железнодорожной фуражке, с красной повязкой на рукаве. Когда Агриппина подошла, незнакомец взглянул на нее удивленно, но она, верная своему решению, посмотрела равнодушно мимо и ушла.

Возвращалась берегом моря, ей казалось, что она слышит позади скрипение гальки под неровным шагом, подмывало остановиться, зарыворить — в темноте разговоры легче и искренней: не надо делать лицо. Но шла.

Когда она легла, в дверь постучали. Агриппина открыла и увидела Жорку.

— Маленькая, я на минутку... — сказал он нервно.

Прошел в комнату, сел в кресло, потом взял Агриппину за руки.

— Мне страшно, — шепнул он, усмехнувшись, после потер лицо ее ладонями. — Черт те что, я боюсь... Боюсь, слушаю себя все время: здоров? С ума можно сойти... И уже кажется, что живот болит... У нас из гостиницы два часа назад троих увезли с какими-то желудочными симптомами.

— Не обязательно холера. Летом чего только с желудками не творится...

Агриппине стало жаль Жорку: он не был трусом, и если бы надо было взять автомат или нож, где-то в открытую драться, он бы пошел и дрался. Но унижительное ожидание, когда не знаешь, откуда ждать,

чего бояться... Она подошла к Жорке, погладила по волосам, он с судорожным вздохом прижался к ней лицом, раздвинул халат — лицо у него было холодное: видно, потому, что он боялся, сосуды сжались. Он был талантлив и испугался, что вдруг умрет нелепо, полупризнанный, — так и не состоится его блестящее будущее.

— Я останусь у тебя? — попросил он жалко. — Я не могу один, понимаешь...

7. Ушел Жорка под утро, она додремала до семи, поднялась, долго стояла под холодным душем, растерлась докрасна, накинула снова ночную рубашку: было еще прохладно. Подошла к туалетному столику. Обычно днем она почти не смотрелась в зеркало, не красилась никогда, хватало ежевечерних полуторачасовых бдений. Сейчас она долго сидела, разглядывая себя, потом разобрала волосы на прямой пробор — большелобое, синеглазое, крутоскулое лицо русской северной крестьянки: мать была из Красавина, что на Северной Двине, работала в сезон лет с десяти и до отъезда в город на знаменитой Красавинской фабрике, где ткали прекрасные — теперь уже нет таких — льняные полотна, скатерти, салфетки. Зимой работала, а летом крестьянствовала, как и вся семья, в поле, дома, на усадьбе...

Дочь тоже, видно, крестьянка по сути своей — и вот сейчас, на закате женском, кровь затосковала по родному, по твердой почве под босыми ступнями, по своему племени, по настоящему делу, от которого ломит спину и прочные мозоли на руках. Потому и к безделью своему тяжелому относилась она всю жизнь всерьез, как к жатве, сенокосу, к деревенской страде — без легкости, за это ее не любили. «Надрывает пуп»... И правда надрывает пуп, пытается переделать человечество...

Она вышла в лоджию. На пляже заметно поредело, если раньше лежали сплошняком, то теперь от одной распростертой фигуры до другой надо было идти. И вдруг она различила неподалеку под тентом знакомый силуэт: человек, прихрамывая, направлялся к воде. Последила за ним, как он поплыл, небыстро, некрасиво, но уверенно, потом спустилась в буфет, торопясь позавтракала, торопясь вернулась в номер, надела купальник и халат, схватила полотенце. Уговаривала себя, оправдываясь, что ей тоже надо освежиться после нескладной ночи, сегодня трудный спектакль.

Дошла до тента, крадучись взглянула на то место, где видела своего незнакомца, его там не было. «Ушел...» Агриппине сразу расхотелось оставаться здесь, с какой-то даже болью сердечной она провела взглядом по загорающим. Он стоял чуть поодаль, наблюдал за ней, поймал, конечно, и ожидание, и разочарование на ее лице, и гримасу боли...

«Пускай...» — Агриппина едва сдержала улыбку, ложась на горячие камни. — Все равно это скоро кончится — какая разница: понял, не понял...»

Погрелась, сходила поплавала, снова погрелась, все время покойно чувствуя, что и он здесь, изредка проверяя косым взглядом, не ушел ли.

— Федор Сергеевич!.. — услышала вдруг громогласное. — Что же вы в одиночестве? Я думал, он с девушками...

Агриппина приподняла голову, чтобы увидеть, кто говорит и кому адресована эта чушь. Ее незнакомец отозвался:

— Зачем мне девушки днем? Днем я как раз люблю одиночество, золотое одиночество... Ночью — другое дело, ночью я...

«Остановись!» — мысленно попросила Агриппина, вспомнив Серенуса Цейтблома: «Замолчи, милый! Уста твои слишком чисты и строги для этого...»

Она не была ханжой, но ему и правда не шли сомнительные речи. Чем он там занимался ночами — его дело, но болтать об этом ему не шло, да он и сам, наверное, понимал, потому замолчал вовремя.

«Федор... — думала Агриппина. — Когда я увидела Жорку, его тоже звали Федор. Роковое для меня имя... И как говорит хорошо, «о» катает, как мама-покойница, родной диалект. Северный, наш, видно, дяденька...»

Она лежала, закрыв глаза, и вспоминала его лицо: бледноватое — загар по нездоровью или еще почему не приставал к нему, — желваки возле строгих губ... Что ж, спасибо ему, что это снова случилось с ней: желание думать о ком-то, желание видеть кого-то, горькая прекрасная зависимость от кого-то... А большего и не нужно, большего и не может быть в этой ситуации: не те они люди...

К двум часам она пришла в театр на репетицию: завтра в афише был ануевский «Жаворонок», режиссер хотел прогнать и пособрат старый спектакль: его подразболтали. Агриппина играла Жанну, она очень любила эту роль.

Начинали уже прогон третьей картины, когда заявила Ольга, игравшая Агнессу, любовницу Карла. Карла играл Жорка.

— Я в консультации была! — огрызнулась она на раздраженное замечание главрежа, пояснила зло: — Я беременна. — И, перекрывая голосом довольный хохоток, прокатившийся по актерам, продолжила: — Врачиха сказала точно: пять случаев холеры, завтра город закроют на карантин.

Все замолчали мгновенно: ходила где-то далеко, кружила, приближаясь, удаляясь, дразнила, пугала — и вот наконец здесь, рядом... Страшновато...

Жорка бросил бильбоке, подошел к краю сцены, хотел спрыгнуть, потом сел, свесив ноги, опершись растопыренными ладонями об пол.

— Надо уезжать сегодня, — сказал он. — Свихнешься, ожидая, пока скрутит самого. Я, например, и без билета уеду, хоть на подножке. — Жорка сделал рукой один из своих великолепных нервно-растерянных жестов, и Агриппина поняла, что он не шутит.

— Пусть администрация позаботится, — крикнул Юра Васильев.

— Куда же ехать? — спросил самого себя главреж. — Гастроли ломаются... Будем гореть ясным огнем с финансами. Зарплату не из чего будет платить.

— Черт с ней, с зарплатой! — усмехнулся Жорка. — Жизнь! Борис Николаевич, дороже всяких денег...

Все снова начали судить и рядить, кто-то побежал за администратором и за директором, кто-то принялся гадать с главрежем, нельзя ли будет договориться, продолжить гастроли в Пензе: туда намеревались ехать зимой, потом администрации удалось договориться на гастроли в южном городе, у моря.

Агриппина поднялась, заговорила зло и быстро о том, что ей непонятно, почему теперь молодежь так по-животному страшится смерти, хотя смертью тут еще и не пахнет и насчет холеры наверняка ничего не известно. Ольга — известная паникерша.

— Мы, по-моему, ровесники, Борис Николаевич? Помните осень сорок первого в Москве — тиф, дистрофия, бомбежки? Тогда именно что рядышком ходила смерть, кто же о ней думал? Но я не о том, в конце концов. Как же можно нам сейчас уехать? Если холера — нас и так не выпустят, а если не холера, а просто паника? Все из города не уедут, чем же людям заняться? На гастролях мы да ансамбль гитаристов из Ленинграда.

— Замолчи! — выкрикнул Жорка. — Если у тебя есть желание погибнуть на кресте...

— С крестом в огне! — поправил Юра. — Она ведь Жанна д'Арк.

— Ерунду не болтайте, — отмахнулась Агриппина. — Дело серьезное, вам меня сегодня не завести!

Она объясняла, втолковывала главрежу и директору, что, например, во время войны фронтовые листки читали даже те солдаты, которые вообще никогда в жизни ничего не читали. Во время беды людям необходимо искусство — оно помогает думать, собирает, дает веру.

— Ты мне говорил, — кричала она Жорке, — мы клоуны для потехи... Может быть, в мирные часы некоторые зрители и воспринимают нас так. Потому — я объясню только этим — вы позволяете себе во время спектаклей разные штучки, за которые следовало бы дисквалифицировать и в шею гнать из театра! Но сейчас мы нужны людям. Это не высокие слова, — отмахнулась она от ехидной реплики Юры, — это правда. Для чего ты пошел в актеры?

Если бы он знал, для чего он пошел в актеры!..

Она добилась своего. Администрация и худсовет решили, что театр останется в городе. Тем более действительно — куда теперь поедешь?

И опять был спектакль. Народу собралось меньше, чем обычно, зал сидел возбужденный, нервный, слушали плохо, хотя ребята, то ли почувствовав, то ли напугавшись, работали всерьез и хорошо.

— Мы нужны им? — сказал в антракте Жорка. — Фантазия твоя! Сейчас каждому до себя... Не слушают совсем, видишь?

— Вчера тебе тоже было до себя, — сказал Агриппина, — и однако, ты пришел ко мне. Они к нам за тем же идут: чтобы не быть наедине с бедой, за теплом чужого локтя. За тем, чтобы сообразить, как поступать, что делать. И потом, ты просто плохо работаешь, раз не слушают. Веди...

Второй акт прошел лучше, а принимали неожиданно так, как не принимали их здесь ни разу. Стояли, не уходили, хлопали. Просто они были слишком взволнованы, чтобы сидеть тихо.

8. Выйдя из театра, Агриппина отправилась на вокзал. Ольга сказала, что ночью должны уйти три дополнительных поезда.

Шла пешком, радуясь, что она в мягких туфлях на низком: не стучали каблук; шла она по тихому городу тихая, как тень. Прохожих попадалось мало, занавешенные окна светили неярко, в стеклянном освещенном ящике кафе сидели три одиноких посетителя, пили что-то. Агриппина вспомнила, что Жорка сказал: в городе исчезло всякое сухое вино, даже сухое шампанское. Прошел слух, что холерный вибрион погибает в кислой среде, что в древности холеру даже лечили сухим вином. Хотя, с другой стороны, во время эпидемии 1935 года итальянцы вряд ли бросили пить свое кислое кьянти, но это им тогда мало помогло.

Навстречу ей попались дружинники с красными повязками, подозрительно осмотрели ее, спросили:

— Девушка, где вы живете?

— В гостинице «Берег»! — весело откликнулась Агриппина. Она чувствовала какое-то странное возбуждение, нервный подъем сил.

Патрули прошли дальше.

Городок ночью казался уютным, старым: дома из желтого ракушечника с черными высокими старинными дверями, булыжные мостовые, тротуары из каменных просевших плит, акации вдоль тротуаров, на ветвях акаций среди кружевных листьев шуршали связки огромных стручков, под ногами тоже хрустели эти стручки. Агриппина представила розовые приторно-душистые цветы, которые были не так давно на месте стручков, и пожалела, что не застала цветение. Она очень любила запах акаций.

За полупрозрачными шторами в домах шла какая-то своя, сепаратная жизнь, на улицу выливались тихие голоса. Агриппина снова вспомнила войну и то, как сразу раскрылись двери квартир в их доме. Бомбежка — запирать на время тревоги двери было нельзя, вдруг где-то будет пожар, и потом — комендантские патрули, приходившие в любой час ночи проверить, нет ли посторонних. И чувство бесполезности скорлупы, защищающей недвижимость, — перед лицом безносой никто не заботился о шкафах и тряпках: тряпки быстро подраспродали на рынке, а шкафы и стулья пропыхали в буржуйках.

«Почему я все время вспоминаю войну? — удивилась вдруг Агриппина. — Яркое, чистое и светлое в моей жизни — юность, а она пришлось на войну... Потом уже была суета, суета, щелчки по носу и усталость... Вот я и пытаюсь связать эту маленькую беду с той, большой...»

Она вышла на вокзальную улицу и отсюда, с горы, увидела площадь перед вокзалом. Площадь вся была запружена народом, и сюда, в тихую улицу, шел неясный постоянный шум, как с моря. Светили неоновые фонари — в белом современном свете внизу все колыхалось, перетекало, чернело перепадами человеческих озабоченных, спящих туда и сюда тел.

Агриппина вошла в суету не замеченная, не отмеченная никем, потерявшаяся сразу меж многими: было не время для любопытных взглядов. Она слышала запах горячего пота, слышала электричество, которое излучали озабоченные тела, ее ничто не раздражало, все было понятно, все напоминало другое, давнее.

Пробившись на платформу, она стала у белой сверкающей стены, осмотрелась. По всей платформе, сколько видел глаз, сидели на вещах люди, одетые не в яркое, курортное, а в серое, немаркое, потеплей: вечер был прохладный. Ребятишки, намаявшись спали, некоторые, постарше, толклись меж сидящими, но никто не раздражался. К Агриппине подошел мальчик лет шести и вдруг взял ее за руку, за браслет.

— Ого! Интересно... Что это?

— Браслет, — объяснила Агриппина. — Кольцо такое.

— А. — Мальчик отошел.

Неподалеку сидели молодые мужчина и женщина, женщина держала раскрытую пудреницу, а мужчина, глядя в нее, брился опасной бритвой. И Агриппина снова не удивилась, только запоминала обмякшие терпеливые позы вокруг сидящих и выпрямленную узкую спину женщины, державшей зеркальце. И то, как она касалась изредка пальцем щеки мужа или любовника:

— Коля, вот здесь... еще вот здесь...

Компания парней и девчат в штормовках и кедах, с гитарами, сидящих на рюкзаках. Один из парней, поймав взгляд Агриппины, улыбнулся:

— Иди к нам, рыженькая, поедem вместе!

Второй, оглянувшись, спросил:

— У тебя плацкарт? У нас общий. А где твои вещи?

— Я без вещей, — ответно улыбнулась Агриппина.

Рядом на крышке дорогого чемодана, промятая ее, сидела коротко стриженная женщина с усталым немолодым лицом. Один мальчик спал у нее на коленях — она устало распустила руки, мальчик лежал, неудобно вывернувшись, раскинув коленки, жарко дышал приоткрытым ртом. Второй мальчик, постарше, спал, стоя на коленях и ткнувшись лицом в крышку чемодана.

Бесшумно пополз по рельсам состав, люди зашевелились, стали подниматься.

— Рыженькая! — окликнули ее из туристской компании. — Иди-ка к нам, а то стопчут тебя.

Она машинально двинулась к ним, но ее оттеснил поток людей. Состав остановился наконец, открылись двери, началась посадка. Давки, однако, не было, люди с мрачным терпением следовали друг за дружкой, растворялись в черноте входа. За окнами вагонов закачались тени, замелькали лица: севшие высматривали оставшихся.

И вдруг Агриппина увидела своего незнакомца. Он стоял позади толпы, устремившейся в один из вагонов, стоял вполоборота к ней и не видел ее. На нем был надет темный костюм, сидевший никак, на руке висел плащ.

Агриппина улыбнулась, слыша, что защемило сердце. Кто он ей? Никто. А вот уезжает — и жаль, словно гибнет что-то существовавшее уже.

Толпа перед вагоном рассасывалась, незнакомец поднял чемодан и пошел ко входу, протягивая проводнику билет. Оглянулся в дверях и заметил Агриппину. По лицу его прошла гримаса не то тревоги, не то тоже боли, он дернулся вернуться, но сзади поджимали, он покачал головой, улыбнулся и провел ладонью по лицу, словно разгладил желваки возле губ. Агриппина тоже улыбнулась ему глазами и кивнула. Поискала, куда он прошел, но в окнах вагона его не было видно.

Поезд тронулся. Агриппина не стала дожидаться, пока он уйдет, вышла на вокзальную площадь. Здесь еще толклось много народу: следующий поезд должен был уйти в два часа ночи. Миновав площадь, Агриппина побрела тихими темными улицами к гостинице. Похоже было, что в городе больше никого не осталось. Она шла и думала о том, что хорошо, что она добудет здесь до конца, увидит, как будут развиваться события, переживет всё, как все.



МАРИНА ЦВЕТАЕВА

★

ЕГОРУШКА

Помню, на вопрос, заданный Марине Цветаевой одним из поэтов старшего поколения, строгим приверженцем «метра и меры», откуда, мол, в ней, вскормленной классикой и впоенной романтизмом, лубок, былина, частушка, сказка, заплачка и плясовая, она ответила коротко и глубоко серьезно:

— России меня научила революция.

Именно в первые годы революции, когда огромная Русь заговорила во весь свой голос, истинно народная стихия слова, стихия стиха во всей торжественности своей и во всем своем просторечии исподволь влилась и навсегда внедрилась в творчество Цветаевой, переиначив строй, лад и лексику ее произведений.

Именно тогда вошли в них, потеснив лирических героев, герои эпические, носители уже не чувств, а страстей, жертвы и покорители не обстоятельств, а — рока, человеческие герои в нечеловеческий рост. Именно тогда были созданы столь российские по языку, содержанию, размаху, поэмы «Царь-Девица», «Переулочки», «Млодец», задуман и осуществлен первый раздел поэмы «Егорушка».

Цветаеву поразило и захватило богатство и разнообразие фольклорных материалов о Егории Храбром, фантастические повороты баснословной его судьбы: «крестьянского праведника», землепашца-воителя, пастуха — покровителя стада и волков, освободителя премудрой Елисаветы от змеиных чар.

Егорушка «Младенчества», забравшийся вместе с побратимом в чужой сад, чтобы отрясти плоды с деревьев, обуздывает себя, пораженный добрым и мудрым трудом садовника, — и уходит с пустыми карманами и пазухой. Так Егор «Пастушества» защищает стадо от вскормившей его, как Ромула, волчицы, принося в жертву долгу любовь почти сыновнюю, так Егорий «Купчества», нанятый в приказчики, не поддается власти денег, безвозмездно одаряет покупателей товарами...

Переосмысленный автором путь Егория ведет к круглому, как яблоко, раю не только через кручи и огненные реки искусов и испытаний: он пролегает через убогие деревни, слободы ремесленников и мещан, погосты и торжище, через всю теперь отошедшую, тогда отходившую в прошлое Русь; однако, оказавшись в раю, новоявленный праведник тоскует среди крылатых его обитателей, среди овец без волков, речей без единого крепкого словца, рядом с бесплотной Елисаветой; он возвращается на землю, которая ему нужна, которой нужен он.

Марина Цветаева работала над поэмой зимой 1920—1921 годов, вплоть до отъезда за границу; тогда были закончены главы «Младенчество», «Пастушество», «Купчество» (отрывки из которых мы предлагаем читателю) и созданы черновые варианты трех последующих глав; в 1928 году во Франции была начата работа над второй частью поэмы, однако замысел «Егорушки» в целом остался неосуществленным.

Ариадна Эфрон.

I

МЛАДЕНЧЕСТВО

Обронил орел залетный — перушко
Родился на свет Егорий-свет-Егорушка.

Ликом светлый, телом крепкий,
Грудью — емкий, криком — громкий.

Из литературного наследия. Публикация дочери М. Цветаевой — Ариадны Сергеевны Эфрон.

Обоймет — задушит.
Десять мамок сушит.

Поет мамка над колыской,
Поет нянька над колыской:
«Ты лежи, сыночек, тихо,
Серый волк, сыночек, близко.

Придет серый волчок,
Схватит Ерку за бочок:
Так уж спи, мой свет-Егорий». —
А сосун из люльки вторит:

«Придет серый волчок,
Схватит няньку за бочок». —
— Спи сынок, голубок! —
Тот встает на дыбок.

— Спи, сыночек! — А тот
Няньке пятками в рот.

И на том спасибо:
Всех зубов не выбил!

— Ходи тихо, ходи низко —
У Егорья три колыски.

Перва ивова была:
Сама матушка сплела.
Так ее наш сокол
Всю по прутуку расплел.

Росписная да резная —
Вот колысочка вторая.
Часу в ней не пролежал:
Разом в щепья изломал!

Увязала гривну в узел,
Пошла матушка на кузню:

«Наших слез поубавь,
Колыбелочку нам справь,
Чтоб сыночек наш пригожий
Ее в год не раскорезил!»

Пошла в кузнице горячка,
Идет мать-молодка с качкой:
Красной кованюю —
Кузнецовою.

Весом: пять пуд с половиной;
Положила в нее сына.
— Ходи вверх, ходи вниз!
Как скорлупочку разгрыз.

И глядит на свет господен
Оком огненным.

То не ветер расшумелся над вѣтлами —
Вспоминает молода — орла залетного.

Не простого-то орла — златоперого,
Ну, с которым-то она — от которого...

Вспомнить — грудь кипит!
Позабывши стыд —
Волком взвыть бы, да нельзя: сыночек спит!

Не кричит — знать, сыт.
— Вспомнить — грудь кипит! —
Что ж так тихо нынче спит — не храпит?

С лавки скок: — Сы-нок!
Качку толк: — Что — смолк?
Да вся кровь с лица: колыска пуста!

Туды-сюды:
Под качкой — нет,
Под лавкой — нет,
Скок на печь — нет!

Аж в кадку — дно
Пытать багром
Пошла, аж вилами навоз
Перетрясла — как волк унес!

Аль Полунощница в нору
Сгребла, зажав в переднике?
И — воем — по всему двору:
— Мой первенький! — Последненький!

Месяц ясный,
Звезды частые,
Беда-беда страшная!

Заколи меня, несчастную,
Заря-заря красная!

Ох знак на правом на плече
Родимый, щечки-зарева!
При светлом месячном луче
Как есть — по травочке одной —
Все сено перешарила.

В хлев толкнулася: петух
В сердцах вскричал. — Овечий дух
Ей в нос — с какой-то смесью.
Взошла — за нею месяц.

И тычет ей перстом: — Гляди!
Глядит: а хлеву посреди
— Так в нос и вдарил запах! —
Сама — с Егоркой в лапах!

А малый-то ее в живот!
 Так приналег — аж треск идет!
 Причмокивая лихо,
 Егор сосет волчиху.

А рядом — полукругом в ряд —
 Шесть серых волченят.

А она-то его, уж она-то его!
 Сосет — а та, знай, облапливает!
 Уж мало ей лап четырех своих,—
 Хвостом норовит, анафема!

А кру́гом — в маменьку впиясь:
 Дюжина красных глаз.
 А кру́гом — промеж дохлых кур —
 Дюжина овечьих шкур.

Застолбенела, не ступнет:
 Аж гири у лодыжек!
 А этот себе, знай, сосет,
 А та себе, знай, лижет!

Как вздрогнет тут — и шесть носов
 Ввысь — от овечьих шкур.
 И хором шестеро бесов
 За волченихой: — уррр!

— Егорушка! — И частокол
 Ощеренных клыков.
 — Егорушка! — Седых боков
 Дых — и седин — дыб.

— Егорушка! — И через всех
 Бесов — на сына прямо!
 А тот от матери-то — в мех!
 Анафеме-то: — Мама!

А она-то его! Уж она-то его!
 Сосет, а та, знай, облапливает!
 Гляди, мол, смекай, мол, кто мать ему!
 Аж нос задрала, анафема!

А бабы не слышно,
 — Лижи во все рыло! —
 Тихонечко вышла
 И дверку закрыла.

Только с того часу
 Новым дням черед:
 Просит малый мяса,
 Грудь не берет.

Только месяц рожки
 Ткнет сквозь рожь-гречиху —
 Кажну ночь в окошко
 За дитем — волчиха.

Подрастают наши крылышки-перушки,
Три годочка уж сравнялось Егорушке.
Черным словом всех округ хаёт-брóнит,
Не ребёночек растёт — а разбойник.

Кочны вянут в огороде,
Цветы голову воротят.
Цвет не цвет и гриб не гриб —
Всем головочки посшиб!

Мать — сдобную лепешечку
Ему, — тот рожу злобную.
Мать — по носу пуховкою,
А тот её — чертовкою.

И снег зачем белый,
И ёж зачем колкий,
И бог зачем — волка
Без крылышек сделал.

Окрошка на стол —
Подавай ему шей!
Любимая кошка —
И та без ушей!

А ростом-то! Вздохом!
И в высь-то, и в ширь!
Ни чертом, ни чохом:
Растёт богатырь!

Задать ему порку —
Вся грудь закипает!
Да рядом с Егоркой
Браток выступает:

Попом не крещенный,
Христом не прощенный,
Честь-совесть — как сито,
К нему как пришитый.

У Егорки щеки круглые,
А у волка — впалые.
У обоих совесть смуглая,
Сердце в груди — шалое.

У Егорки губы красные,
А у волка — сизые,
Оба до овец опасные:
Одной слюной лизаны.

У Егорки башка кольцами,
А у волка — космами.
Ну, а уж мозгами сходственны:
Одним гребнем чесаны.

У Егорки — штаны рваные,
А у волка — драные.

Оба гости — в лесу — званые:
Одним млеком — пьяные.

Одно слово: братья крёстные!
Оба: рвань отборная!
Из одной лоханки трескают:
Одной грудью вскормлены!

С зарею — как хлебом накормит мать —
Заборы ломать да кусты ломать.
Где энти прошли: словно вражья рать:
Вовек уж лесам не встать.

Да друг перед дружкой силой хвастать:
Овчарок дражнить, по амбарам шастать.

А баба одна забрела во двор,
Да к печке — а в печке-то — вой да ор.
Еще не очнется с тех самых пор,
Как тот ему спинку тер!

Без щелоку, чай, без мочалки-мыла,
А так себе — волчьим манером: рылом.

Чуть где коромысло — бабьё, держись!
Ведерки-то с горки — да вверх, да вниз!
А поп-то у нас потому и лыс,
Что тот ему хвост отгрыз.

Ох синь моя звездная, райский сад!
Ох ноченька поздняя, покров-наш-плат!
У господ бога и волк, знать, свят...
Где свалятся — там и спят.

И сладко так спят, хоть никто не стелет:
Дыханьице-пар на две части делят.

Храпят себе дружно —
И дело святое!
Друг — с другом,
Плут — с плутом, —
Волчонок с дитёю.

2

ПАСТУШЕСТВО

Побросали белочки
Орешки-горошинки.
То на дудочке-сопелочке
Пастушок хорошенький —

Тоску-скуку, злую гостью
Выпроваживает.
К тростнику припав — зо злости
Грудь надсаживает.

От сопенья того дуду —
Щеки лопаются.
От сопенья того — с дубу
Белки хлопаются.

Так орешками и сыплются в лопух.
То Егорушка-безродный свет-пастух.

А овцы? — Таковски:
Жирнее поповских.

А телки? — У волка
Спроси, — глаже шелку.

А волки?
— Зубами им щелкать!

А пес-то? Овчар, чай?
Овчар, да прежаркий!
А так что волчок
У нас серый — в овчарках.

В овчарках — в подпасах:
И вору острастка,
И стаду опаска:
В сем деле натаскан.

Ранним утречком,
Ранним утречком,
Еще курочки спят да уточки,
На зеленый лужок на сборище
Созывает в рожок Егорушка.

Коровы — здоровы,
Бык — крутороги,
А телушки — ровно
Стройные поповны.

Козлы — заказные,
Сапоги смазные,
Рог — кинжал ножовый,
Только дух тяжелый.

Баран — парень глупый;
А жирен — пощупай!
Овцы — одурь с дрожью,
Ягняточки — божьи.

Всяк в сем мирном войске
Славит день по-свойски.
Только вождь при войске —
В великом расстройстве.

Рожок не мил,
Лужок не мил,
Козлом прыгнёт —
Прыжок не мил.

Орешек в рот —
 Зерно горчит,
 А козь хорош —
 Живот урчит.

Все, что ни съем —
 Все в злость ушло!
 И солнышко — зачем
 Возшло?

.

Горошком — рубаха,
 Штаны без заплатки,
 И чай, значит, с сахаром,
 Сладкий, внакладку.

А нам — хоть из кадки!
 Черт с чаем — не жалко!
 Хоть раз бы вприсядку
 С волками — в повалку —
 Под месяцем лютым —
 Румяным — раздутым —
 И овцы чтоб все —
 К шутам!

Да красного страшного — толк — плечом
 Быка-то — да в лоб ему — щелк — бичом.
 Да красным, кумашным-то — плёск — платком
 В глаза ему — и — лбом
 Вперед — что пожарный в горящий дом
 Гремящий — в бычачий гром!

Бык глуп —
 Егор еще глупей.
 Бык лют —
 Егор еще лютей.

От реву — от грому
 В леса — коровы,
 Козлы — на кручи,
 Все овцы — в кучу.

За ревом, за громом —
 Лоб с лбом, гром с громом.
 Что — лоб проломан?
 Нет — рог обломан!

Как ломом — в тупой
 Ему лоб: — Здорово!
 Держись, Ерема! —
 Второй обломан!

Козлы-резвы!
 Сюды, козлы!

Овечий сброд,
 Сюды, на смотр!

Коровушки,
По новости!

И ворон стар,
И заяц скор,
Сюды, сюды,
Весь дол и бор!

Сюды-сюды, весь дол и бор,
По новости-новиночки!
Глядите-кась, как свет-Егор
Быку — пятой — на спиночку!

.

А солнышко — за холмики,
А солнышко — на донышко
Большого моря синего,
Бескрайнего, пустынного.

Как солнышко — за горочку,
Опять коров Егорушка
Скликает, грудку мучает,
Овечью рать толкучую
В ряды берет, полкам-войскам
Козлам-резвám дозор ведет.

От полков-рядов —
Столбы пыльные.
Прямо в очи бьет —
Заря сильная,

Заря щедрая,
Заря щастная,
Как Егоркино сердце —
Красная.
— «Здравствуй, свет-Егор,
Всему стаду — царь!»
Изо всех дворов
К нему млад и стар —

Кто — краюшечку,
Кто — полушечку.
(Аж устанешь,
Хвалу-то слушаемши!)

— «Ох уж свет-Егор,
Пастух верный наш!»
Позади волчок —
Всему стаду страж.

Кто — опивочек,
Кто — обгрызочек.
(С того пиру — не быть отрыжечке!)

— Ох уж свет-волчок,
Овчар верный наш!
Уж такому псу —
Уж чего не дашь!

(Кто — оскребочек,
Кто — оплевочек,
А кто просто —
Вдогонку — овощью!)

(Слова жирные,
Еда постная!)

Козлы смиренные,
Овцы лосные,

У коровушек
— Шаром — вымечко.

До небес, Егор,
Твое имечко!

Поздним вечером,
Поздним вечером
Тоска-грусть встает,
Боль извечная.

Отпылила пыль,
Отчудила быль,
Отгремел — по горбам —
Костыль.

Смотрят звезды
Под кров соломенный.
Только бык ревет,
Рог обломанный.

Спит, в зипун укутанный,
Что медведь олонецкий.
Метель мысли путает,
Метель в избу ломится.

Где меж пярней нынешних
Столп — возьму — опорушку?
Эх, каб мне, Маринушке,
Да тебя — Егорушку!

За тобой, без посвисту —
Вскачь — в снега сибирские!
И пошли бы по свету —
Парни богатырские!

Не видала б горюшка
Русь по день по нынешний —
Каб тебе, Егорушке,
Да меня, Маринушку!

Эх, по всем по красным-то
Я устам — паломница!
Странница клюкастая
Метель — в избу ломится...

Голова на отшибе,
Кулачок — подушечкой.
Не поднять хорошего
И ударом пушечным!

.

3

КУПЕЧЕСТВО

Как к голубке безмужней вдовушке
Попросились купцы в ночевочку.
«Далеко, мол, вдова, до городу!»
Видит баба: седые бороды,
Вторá — первой, а третья — второй седей.
И впустила чужих людей.
Еще рук не успели выпростать —
А уж им самоварчик вытрясен.

Еще шуб не успели вытрусить —
А уж им самоварчик — искрами.
Не успели сосульки сойти с усов —
А уж им самовар готов.

Стаканá не схлебнули цельного —
А уж им зипуны подстелены.

Пол-ломтя не сжевали ситного —
А уж им и подушки взбитые.

Не успели ни крошки стряхнуть с усов —
А уж им и ночлег готов.

Индо взмокла, толчась, заботимшись.
А старшой: «Хороша работница!»

А второй: «Золотые рученьки!»
А третей: «Не трудися, внученька!»

Не успели и век довести до глаз —
Да все трое как вскрикнут враз:
«Ой, доченька! Никак — летун!
Летун-храпун! Летун-хапун!»

Всю казну забирай на откуп!»
А она, ухмыльнувшись кротко:

«Не трудитесь, деды! Не змей летит,—
То сыночек-мой-свет сопит!»

Прозвенела казна за пазухой.
А старшой: «Хороша присказочка!»

А второй: «Не плоха присвисточка!»
А третей: «Чудеса — поистину!»

И все разом: «Прости нас, вдова, дедóв:
Тоже разных видали вдов!»

Еще смута с лица не схлынула —
А они уж друг к дружке спинами.

Еще крест — не творили — заповедь —
А старшой уж со вторым — посапывать.

(Егор принимает купцов за воров.)

...«Ой дурни вы! Ой сѣдые!
Ой, рухлядь вы прадедова!
Ой, холостые ружья вы!
Ой, вы громилы дюжие!

— Чай, трех погостов старосты?
Да что ж это вы — под старость-то?»

Старшой вперед оправился:
«По всей Руси мы славимся!»

Второй: «Назвать по имени —
По всей Руси мы чтимые!»

Третей: «До самой Сызрани
Парчой торгуем, ризами,
Свечным товаром, ладаном,
Тваво добра — не надо нам!»

Стоят, в окошке мрежится.
Старшой: «Прощай, медвежество!»

Второй: «Прощай, сапожество!»
Третей: «Хоть от художества
Тваво — все — гудом хрящики,—
Идем ко мне в приказчики!

Что скажете, торговый дом?»
А те: «Дельцо дубовое!»

— «Что скажешь, мать безотчая?»
А та: «Премного почести».

Скидает на паренька
Шушунук свой ватошный.
Долго на сваво сынка
Воззирала матушка.

(Никогда бы вас, сынов,
И рожать не надо бы!..)
— «Ты прости-прощай, сынок!
Расстаемся на́долго!

Что сыночку — десять дѣн,
Матерям-то — тысячи!
Заугольничком рожден —
До огня возвысишься!

Высоко твой путь забрел,—
Поклонись, коль встретится!
Не кладу тебе, орел,
На сердце смиренница.

Как бы царь ни принажал —
Не клонись осóкою:
Уж в колысочке лежал
С головой высокою!

Чтоб сам Шут тебе — с жучка!
Все ручьи — целебные!..»
Достает из сундучка
Сапожок серебряный.
«Был когда-то позлащен,
Побелел от старости.
Тоже с милым разлучен,
Как и я — без парочки!

Начищай его, дружок,
Мелом без оплошности.
На иконке чтоб дружок
Выходил хорошеньким.

Чтоб по отчим по следам...»
И с крылечка — на ветер:
«Весь на то и век нам дан —
Расставаться навеки!»



ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ,
Герой Советского Союза

★

МОИ ПОЗЫВНЫЕ — РАЕМ*

ВТОРОЙ ЛЕДОВЫЙ ПОХОД

Проект Шмидта. Арктика в 1933 году. Академику Крылову и капитану Вороницу не нравится пароход «Челюскин». Как искали повара. Старт дан. В Копенгагене. «Шаврушка» и ее экипаж. Встреча с «Красиным». Воздушное крещение капитана Воронина. Таинственный остров. Чета Котовых. С борта «Челюскина» в стратосферу. Девочка по имени Карина. «Челюскин» на мысе Челюскин. Букет неприятностей. Полярная осень. Пожар в угольном трюме. У ворот Берингова пролива. До свидания, «Литке!» Аварийное расписание. По борту трещина! Радиорепортаж с тонущего корабля. Прекращение связи. Спасение «шаврушки». Мы на льдине. Шмидт информирует Москву.

В крохотной палатке, куда влезает на четвереньках, темно и сыро. Палатка не обжита. Вещи и люди еще не успели найти свои места. При тускловатом свете фонаря Отто Юльевич Шмидт пишет телеграмму номер один, которую я через несколько минут начинаю отстукивать ключом передатчика.

«13 февраля в 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северный и в 144 милях от мыса Уэллен «Челюскин» затонул, раздавленный сжатием льдов.

Уже последняя ночь была тревожной из-за частых сжатий и сильного торошения льда. 13 февраля в 13 часов 30 минут внезапным сильным напором разорвало левый борт на большом протяжении от носового трюма до машинного отделения. Одновременно лопнули трубы паропровода, что лишило возможности пускать водоотливные средства, бесполезные, впрочем, ввиду величины течи.

Через два часа все было кончено. За эти два часа организовано, без проявления паники, выгружены на лед давно подготовленный аварийный запас продовольствия, палатки, спальные мешки, самолет и радио. Выгрузка продолжалась до того момента, когда нос судна уже погрузился под воду. Руководители экипажа и экспедиции сошли с парохода последними, за несколько секунд до полного погружения.

Пытаясь сойти с судна, погиб завхоз Могилевич. Он был придавлен бревном и увлечен в воду.

Начальник экспедиции **Шмидт.**»

Этой радиограммой, переданной уже из лагеря Шмидта, мы как бы подвели итог плаванию и открыли новый этап экспедиции — жизнь на льдине.

От момента выхода «Челюскина» из Ленинграда до гибели прошло полгода. Короткую биографию корабля, равно как и плавание отправившейся на нем экспе-

* Книга вторая. Первую книгу см. «Новый мир», 1970, №№ 9, 10, 11.

диции, я опишу в этой главе, сплетая воспоминания очевидца с тем, что сегодня собрано и систематизировано историками Арктики.

Окончательно распрощавшись с воздушными кораблями, я снова вернулся в Арктику. События здесь развертывались с неимоверной быстротой.

12 декабря 1932 года в Москву после завершения похода «Александра Сибирякова» возвратился Отто Юльевич Шмидт. 17 декабря Совет Народных Комиссаров СССР принял решение об организации нового учреждения — Главсевморпути. Начальником Главсевморпути Совнарком назначил О. Ю. Шмидта, его заместителями — С. С. Иоффе и Г. А. Ушакова, членами коллегии — М. И. Шевелева, Ф. Н. Матвеева, Б. В. Лаврова и И. Л. Баевского.

Пяти дней, проведенных в Москве, для Отто Юльевича, человека исключительной энергии, оказалось достаточно, чтобы подготовить и согласовать со всеми заинтересованными учреждениями и организациями проект освоения Арктики — проект, какого еще не знала история нашего государства. Сейчас эти наброски, сделанные Шмидтом, — документ, на долгие годы ставший программой большой работы, — хранятся в архивах. Как отмечают историки Севера, большинство пунктов проекта, вышедшего из-под пера Отто Юльевича, превратилось в пункты правительственного постановления.

Возникали контуры великой картины освоения Северного морского пути: второй ледовый поход на восток.

Ничто не предвещало неожиданных событий: предстоял путь, уже пройденный на «Сибирякве». Однако жизнь породила конфликты, определившие судьбу второй экспедиции. Правда, в тот момент, когда мы собирались в путь, об этом никто из участников предстоящего похода даже не мог догадываться.

Впервые мы уходили в обстановке столь исключительного внимания. Несколько месяцев назад заметки о походе «Сибирякова» терялись в массе других не менее важных сообщений. Сегодня же все выглядело иначе: публикации об Арктике не сходили со страниц газет. «Правда» ввела даже специальную рубрику «Арктика в 1933 году», публикуя самые различные сообщения о проводимых работах и предполагаемых.

Беру наугад номер «Правды» того времени, 7 июня 1933 года. Как много информации под рубрикой «Арктика в 1933 году»! Рядом с сообщением о предстоящем походе ледокола «Красин» — информация о летной экспедиции на Чукотку. Профессор-геолог С. В. Обручев (будущий академик) воздушным путем спешил на север страны для изучения богатств тамошней земли. Магнитометрические съемки шли на Земле Франца-Иосифа. На Новой Земле трудились геоботаники, а на мотоботе туда же направлялась группа геологов. Финский профессор Таннер просил о включении его в экспедицию на Новую Землю или Землю Франца-Иосифа. Арктический институт приступил к изданию «Полярной библиотеки».

Обилие информации не случайно. В следующем номере под той же рубрикой «Арктика в 1933 году» «Правда» опубликовала большую статью Владимира Юльевича Визе. Это была программа. Деловая, спокойная и, как всегда у Визе, очень глубокая.

Статья рассказывала об открытии новых станций, о расширении геофизических исследований, о запусках радиозондов, о постройке (это сообщение хочется выделить особо) баз для исследования Арктики с воздуха.

Такого рода шаги, предпринимавшиеся в 1933 году, требовали от страны больших усилий. Предстояло подключить к арктическим делам целые отрасли промышленности. Настало время создавать надежную и удобную арктическую технику.

«Авиационной службе в Арктике, — писала «Правда» 11 июля 1933 года, — нужны специальные самолеты. Работающие над созданием таких самолетов известный авиаконструктор А. Н. Туполев и молодые инженеры Четвериков, Шавров и Яковлев дали уже удачные образцы, отвечающие условиям Севера. Сейчас конструкторы работают над разрешением вопросов, связанных с полетами полярной ночью, в пургу и туманы».

Вся эта огромная созидательная деятельность представляла собой не только акт научно-технический, но и политический. Германский фашизм уже надвигался на человечество. В адской берлинской кухне стряпалась одна из грандиознейших в мире провокаций — процесс о поджоге рейхстага, первый акт великой трагедии, унесшей жизни миллионов.

На земле отчетливо определились два политических полюса. Волей обстоятельств и подготовка к нашему походу, и сам поход стали предметом пристального внимания советской и зарубежной прессы...

Новорожденный Главсевморпуть и его энергичнейший начальник очень быстро заявили о себе. Тщательно обосновав идею нового полярного сквозного плавания, Шмидт обратился в правительство. Его планы и намерения решительно поддержал заместитель Председателя Совнаркома СССР Валериан Владимирович Куйбышев, представивший 20 марта 1933 года в ЦК ВКП(б) соответствующую докладную записку. Все эти хлопоты и окончились соответствующим правительственным решением. Возглавил новую экспедицию О. Ю. Шмидт, его заместителями назначили И. А. Копусова и И. Л. Баевского. Отто Юльевич начал подбирать кадры для будущего похода. Одно из первых писем он отправил Владимиру Ивановичу Воронину, который привел в Мурманск из Японии «Сибирякова». Воронин понимал и поддерживал Шмидта. В своем ответе капитан писал: «Повторить рейс «Сибирякова» необходимо, чтобы рассеять неверие в этот путь, необходимый Советскому Союзу, а неверие есть у многих, многие считают рейс «Сибирякова» счастливой случайностью».

Почти одновременно с Ворониным приглашения стали получать и другие сибиряковцы, продемонстрировавшие в своем трудном плавании сплоченность, энергию и волю. Шмидт старался взять как можно больше испытанных людей, на которых мог положиться.

Состав новой экспедиции определился. С судном же не все было ясно. Шмидт и Воронин рассчитывали на судно ледокольного типа, обладающее достаточным тоннажем. так как предстояло доставить на остров Врангеля смену зимовщиков и большое количество грузов. Однако корабля, соответствующего требованиям комплексной арктической экспедиции, не оказалось. Решили отправить в плавание судно «Лена», достраивавшееся по заказу Советского Союза в Копенгагене на верфи фирмы «Бурмейстер и Вайн». Строился пароход по заказу Совторгфлота, а получал его — Главсевморпуть. Естественно, что эти организации предъявляли кораблю не совсем одинаковые требования.

Стало ясно: трудный путь от Ленинграда до Тихого океана предстоит пройти не на ледоколе, а на обычном пароходе. Что говорить — осложнение неожиданное!

Шмидт принял решение. Это был риск, но риск оправданный. Шмидт понимал, что если плавание удастся, все разговоры (а они крайне мешали работе) о невозможности пройти Северный путь в одну навигацию смолкнут раз и навсегда.

19 июня 1933 года пароход «Лена» переименовали в «Челюскин». Золотые буквы на черном фоне... Нам предстояло понести на север имя храброго русского моряка петровских времен, участника Великой северной экспедиции.

Новое название уже сияло на борту корабля, когда я прибыл в Ленинград, чтобы принять участие в подготовке экспедиции.

Как всегда, вокруг судна царил суматоха. Как всегда, было много хлопот, которые вознаграждаются потом, во время плавания, более или менее спокойной жизнью.

В радиорубке «Челюскина» собралась неплохая компания. Самый младший — Серафим Алексеевич Иванов, или Симочка, как все называли его. Несмотря на свою молодость (Симочке было двадцать четыре года), он уже успел не только отслужить срочную службу на флоте, но и побывать в Арктике. Теперь он направлялся радистом на остров Врангеля.

Интересной фигурой в нашей четверке был Владимир Васильевич Иванюк. В свои тридцать четыре года он все еще не расстался со студенческой скамьей — учился в Ленинградском политехническом институте. Вместе с тем мастер своего

дела, знающий радист-полярник, участвовавший в экспедициях на Землю Франца-Иосифа, Новую Землю, Новосибирские острова.

Самым опытным, самым умелым слыл человек, о котором еще не раз придется вспоминать на страницах этой книги, — Николай Николаевич Стромиллов. С виду суховатый, не очень общительный, но какой превосходный человек!

С Николаем Николаевичем я познакомился в Ленинграде накануне выхода «Челюскина» в рейс. Он великолепно организовал все, чтобы радиорубка «Челюскина» отвечала духу времени. Датской аппаратуры на корабле не было. Мы ставили все свое: передатчик, пеленгатор, приемник. В дальнейшем вся эта техника отлично служила нам. Связывало нас с Николаем Николаевичем общее увлечение: он был одним из старейших в нашей стране радиолюбителей-коротковолновиков. Я москвич, Николай Николаевич ленинградец. В освоении коротких волн ленинградцы явно держали первенство. Любовь к коротким волнам способствовала тому, что мы быстро нашли общий язык. Дружба же пришла позже, когда нас сблизили другие дела, о которых речь впереди.

Судьба разъединила нас со Стромилловым, не дождавшемся конца экспедиции. Николая Николаевича отпустили к нам временно. Предполагалось, что «Челюскин» пройдет Северный морской путь примерно в те же сроки, что и «Сибиряков», и Николай Николаевич вернется на свою основную работу.

Все произошло иначе. Мы застряли во льдах. Экспедиция затонула. Во время вынужденного дрейфа пришлось организовать пешую группу, чтобы разгрузить «Челюскина», уменьшить его личный состав. С помощью чукчей эта группа двинулась на собаках на юг. Вместе с Ильей Шельвинским, кинооператором Марком Трояновским и другими челюскинцами ушел и Николай Николаевич. Мы попрощались с ним и разошлись, как выяснилось потом, на два года, пока Арктика снова не соединила нас.

...Приехал в Ленинград. Мест в гостинице не оказалось. Добрейший Рудольф Лазаревич Самойлович любезно предложил ночевать в его служебном кабинете. К тому времени Институт изучения Севера переехал со Съездовской улицы на Фонтанку, 34, где находится и поныне, гордо называясь Арктическим и антарктическим институтом.

Так я попал во дворец графа Шереметьева, еще хранивший остатки былой роскоши, ночевал на мягком графском диване, обтянутом старинным зеленым шелком, в доме, где все было историей.

Дел на корабле было поверх головы. «Челюскин» прибыл в Ленинград с гарантийным механиком (есть и такая должность), плотным и немногословным датчанином. Механик носил комбинезон, вызывавший своей неземной красотой завистливые взгляды товарищей, облаченных в непрезентабельную московшвеевскую робу. Но ни представительность гарантийного механика, ни его пижонский комбинезон не могли возместить всех огрехов фирмы: корабль предстал перед нами не только с опозданием на месяц, но и почти голым, без какого-либо внутреннего оборудования и запасных частей.

Естественно, что об отправлении в таком виде в Арктику не могло быть и речи. Времени для сборов практически не оставалось. Нам дали на подготовку всего лишь пятнадцать дней, в которых каждый час, каждая минута становились золотыми: ведь предстояло снабдить и оснастить корабль всем необходимым — от самолета до примусных иголок. Списки инвентаря заставляли иногда вздрагивать, поражая неожиданностью. Как сказал один из моих товарищей по плаванию: «Даже небольшая полярная экспедиция должна иметь в запасе все то, что может понадобиться человеку при построении нового мира».

Подготовка оказалась сложной еще и потому, что, помимо задач чисто практических — прохода в одну навигацию Северным морским путем и доставки на остров Врангеля группы зимовщиков, — «Челюскину» надлежало стать глазами и ушами советской науки. На ученых, вошедших в состав нашей экспедиции, возлагались самые разнообразные работы — измерения глубин, астрономические опре-

деления, попутная морская опись берегов с шлюпочными промерами глубин в тех бухтах, куда зайдет экспедиция, поиски знаменитых мифических земель Санникова и Андреева, разного рода гидрологические и гидробиологические наблюдения, сбрасывание буев, наблюдения за льдами и, наконец, исследование собственного судна.

«Челюскин» не вызвал восторга у советских кораблестроителей, а поскольку его рассматривали как головной корабль серии, предполагавшейся к постройке на верфях Копенгагена, нужно было как следует разобраться в том, что же он представляет собой, что в нем хорошо и что плохо. Так на борту появился симпатичный член экипажа — инженер-физик Ибрагим Гафурович Факидов, двадцатисемилетний научный сотрудник Физико-технического института. Этот удивительно талантливый человек до шестнадцати лет не знал ни одного русского слова, а за последующие одиннадцать лет сделал стремительный бросок и достиг многих вершин науки. Скорые на клички челюскинцы прозвали молодого физика Фарадеем.

Работам Факидова придавалось большое значение. Он поставил на судне тончайшую измерительную аппаратуру, и результаты его наблюдений немедленно передавались в Ленинград, изрядно задерживая сообщения об одиноких белокрылых чайках, неутомимо летавших в опусах наших бравых журналистов.

Напряженная подготовка не знала мелочей, имеющих, как известно, опасное свойство вырастать со временем в крупные неприятности. Вот, например, на «Сибирякове» нас очень мучил скверный кок. Он оказался настолько незадачливым, что Шмидту пришлось отстранить его от камбуза. Дабы не повторилась такого рода беда (а в экспедиции хороший повар отнюдь не последняя фигура), кока подыскивали загодя.

Повар парохода «Челюскин» сыскался при неожиданных обстоятельствах. Когда возвращение «Сибирякова» отмечалось большим банкетом, повара, захваченные всеобщим порывом, обещали Шмидту подобрать для следующей экспедиции таких мастеров кулинарии, каких еще не видели камбузы полярных кораблей. Свое обещание они сдержали. Так в составе нашей команды появились Николай Семенович Козлов, поварской стаж которого числился с 1916 года, и Юрочка Морозов, совсем молодой паренек, ставший комсомольцем на борту «Челюскина».

...Город готовился к проводам экспедиции. В ленинградском парке культуры и отдыха вывесили огромную пятиметровую карту Советского Севера. Жирной линией с запада на восток протянулась на ней грасса предстоящего похода. Не встречая никаких препятствий, не отклоняясь от курса ни на градус, линия огибала Чукотку и уходила на юг, к Владивостоку.

Время от времени перед этой картой, как на фоне театральной декорации, возникала фигура очередного докладчика, четко и уверенно информировавшего отдыхавших ленинградцев о наших планах и намерениях. Один из докладчиков попал в поле зрения объектива корреспондентов. Переданная по бильд-аппарату фотография 13 июля 1933 года появилась на страницах «Правды» рядом с заметкой «Проводы «Челюскина» в Ленинграде».

А проводы эти оказались необычными. Я сидел на поплавке неподалеку от Моста лейтенанта Шмидта и пил пиво. Вся картина отправления разворачивалась у меня на глазах. К этому поплавку подвели «Челюскина». Играл оркестр. Сиял галунами парадной формы Воронин. С капитанского мостика произнес речь Шмидт. Работали кинооператоры и фоторепортеры. Тысячи ленинградских ударников провожали нас в дальнюю дорогу.

«Челюскин» загудел и отвалил от пристани, а я продолжал пить пиво, не испытывая ни малейшего беспокойства. Далеко товарищи не ушли. После торжественных проводов на Неве «Челюскин» направился в угольную гавань, чтобы догрузиться углем, необходимым не только нам, но и «Красину».

16 июля, имея на борту 800 тонн груза, 3500 тонн угля и более ста членов команды и участников экспедиции, «Челюскин» покинул ленинградский порт и направился на запад, к месту своего рождения — Копенгагену.

Мы оторвались от земли, но жили ее интересами. Один за другим рвались в кругосветное путешествие летчики Маттерн и Вилли Пост. Маттерн «споткнул-

ся», и вот мы слушаем уже сообщения о полетах Сигизмунда Леваневского, который далеко на востоке, в районе Чукотки, куда нам еще долго добираться, взял на борт своего «СССР Н-8» потерпевшего аварию Маттерна и вез его на Аляску. Да, радио не скупилось на новости... В пути происходили любопытные встречи.

Одна из них началась громким криком вахтенного матроса:

— Зверь! Тюлень!

Но тюлень оказался животным особой породы. Очень скоро отчетливо показалась подводная лодка, а еще через некоторое время мы даже прочитали ее название — «L-55». Для меня это была встреча со старой знакомой. Еще в годы моей полярной юности, бывая в Ленинграде, я видел ее совсем не в таком ухоженном виде, в каком она предстала на пути «Челюскина». Тогда ее только что подняли со дна моря, куда при попытке напасть в 1918 году на наш флот, базировавшийся в Кронштадте, ее отправили советские эсминцы.

Поднятая эпроновцами, восстановленная, она под тем же названием, оставленным в написание потомкам, вошла в состав Красного флота.

Вот и Копенгаген — маленький, чистенький, неторопливый и удивительно уютный. Наш приход не прошел незамеченным. Как радировал в «Правду» ее собкор поэт Илья Сельвинский, «все шесть дней, проведенные нами в Копенгагене, были для жителей стоянием кометы, нас наблюдали в бинокли как в телескопы».

Мы простояли в Копенгагене шесть дней, разумеется, не из желания встретить датского короля, которого мы так и не увидели. Удовольствовались тем, что лицезрели бесчисленное множество велосипедистов, зеленые от морской сырости памятники, смену караула у королевского дворца. А тем временем руководители экспедиции вели не очень приятные переговоры с фирмой «Бурмейстер и Вайн».

Наш короткий и не самый трудный участок маршрута Ленинград—Копенгаген выявил новые недостатки судна: вместо положенных 120 оборотов машины давали лишь 90, перегрелся один из подшипников, заплывали масляные канавки. Все это исправлялось в Копенгагене, пока мы любовались его памятниками.

Высадив гарантийного механика, двинулись дальше. Корабль с этой минуты считался полностью принятым, но после того, что удалось обнаружить и в Ленинграде и на пути к Копенгагену, на гарантии надеяться не приходилось.

Пройдя Кронберг, где, по преданиям, некогда жил сын датского короля принц Гамлет, вышли в Северное море. Здесь произошла еще одна встреча с соотечественниками. Мы обогнали два мощных морских буксира, тащивших огромный плавающий док. Путь у буксировщиков дальний — из Ленинграда то ли в Севастополь, то ли в Одессу. Док очень высокий, а потому особенно ветробойный, тащить его явно тяжело.

Ворони, по всем законам морского рыцарства, предложил буксирам помощь. Они поблагодарили, но отказались. Упрямые морские работяги полагались на собственные силы.

На следующий день, словно угадав наши желания, погода прояснилась. Обычно я уходил в Арктику из Архангельска, а на этот раз впервые огибал Европу. Зрелище, открывшееся нам, оказалось настолько ярким, настолько удивительным, что запомнилось на всю жизнь. Трудно описать красоту норвежских шхер с их неповторимыми красками...

Бесчисленные зеленые островки на фоне яркой синевы неба и серовато-бурых гор. Миллионы 'овражков и проливов. Вместо привычных нашему глазу деревень — одинокие домики, прилепившиеся на разных уровнях. Выглядят они привлекательно и мило. Красные, синие, зеленые, голубые...

Без особых происшествий обогнули самую северную точку Европы — мыс Нордкап. Перекочевали из Норвежского моря в Баренцево и взяли курс на Мурманск. Здесь дополнительная погрузка. К запасу лимонов приобретенных в Копенгагене, добавились витамины попроще — свежие огурцы, капуста и прочая «петрушка». Техника получила пополнение в виде самолета-амфибии «III-2», а в состав экспедиции вошел ее экипаж — один из старейших советских полярных летчиков Михаил Сергеевич Бабушкин и механик Жора Валавин, здоровенный веселый парень.

С конструктором «Ш-2» Шавровым я лично не знаком. Слышал, что Вадим Борисович — страстный коллекционер, обладатель одной из наиболее полных коллекций русских и советских марок за сто лет. с 1857 года. Но эта краткость заочного знакомства не помешала нам фамильярно называть самолет «шаврушкой».

«Шаврушка» считалась тогда одной из авиационных новинок. Деревянный фюзеляж, крыло с полотняной обшивкой, тот же мотор «M-11», что так долго тарахтел на «У-2», непривычные для современной авиации подкосы, поддерживавшие крыло, — так выглядела наша «шаврушка», первая советская серийная амфибия, маленькая, неприхотливая, удобная. Отличилась она завидной компактностью и со сложными крыльями занимала на борту места немногим больше, чем шлюпка.

Достоинства этого самолета сделали его одним из долгожителей нашей авиации, особенно полярной, поставив его по срокам службы где-то рядом со знаменитым «ПО-2», рекордсменом продолжительности использования в авиации.

Этой летающей лодке, попавшей на борт «Челюскина», не повезло. Перед погрузкой самолета на корабль Бабушкин решил проверить ее в воздухе. И... при стечении многочисленной публики произошел конфуз. Летчик едва завел двигатель, как резкий порыв ветра столкнул самолет (он взлетал с воды) с небольшой баржей. Куски разбитого пропеллера полетели от самолета словно брызги. Запасного винта не оказалось. Оставалось одно — ждать, когда его доставят.

В 30-е годы появилась целая плеяда блестящих летчиков. Одним из лучших в этой семье считался Бабушкин: признанный мастер, блестяще владевший сложной профессией полярного летчика, представитель другого, старшего поколения.

За плечами этого высокого человека в морской фуражке с аккуратно подстриженными усами было то, что не имеет себе в жизни заменителей, — опыт. Отсюда удивительное спокойствие и какая-то подкупающая уверенность в себе, которыми дышала вся его фигура.

С Бабушкиным я познакомился, когда он и его «шаврушка» появились на борту «Челюскина», но о славных делах Михаила Сергеевича в Арктике, разумеется, слышал не меньше других. С 1926 года он летал на разведку морского зверя, участвовал в 1928 году в спасении экспедиции Нobile. Сражался с белыми медведями, когда, сделав вынужденную посадку, он пять дней прожил на льдине в ожидании летной погоды.

К слову сказать, Воронин отлично знал Бабушкина. Когда капитан плывал на «Седове», летчик разыскал зверобоев, оторвавшихся на льдине, и спас их, наведя на их льдину «Седова».

...Привычный полярный «большак» привел «Челюскина» к Новой Земле. Вошли в Карское море, не замедлившее показать нам и свой плохой характер, и беззащитность нашего «Челюскина» перед настоящими полярными льдами. Мы увидели их 13 августа 1933 года. словно агрессивные форварды футбольной команды, льды бросились на наш корабль, с ходу забив в наши ворота гол, весьма неожиданный и неприятный.

Первым зарегистрировал действительность ледовой атаки Ибрагим Факидов, не вылезавший из трюмов, где он расставил свою хитроумную аппаратуру. Впрочем, для регистрации того, что произошло, не требовалось и аппаратуры. Согнутый стрингер, сломанный шпангоут, срезанные заклепки и течь красноречиво свидетельствовали: наш «Челюскин» первого ледового экзамена не выдержал.

Плотники быстро поставили распорки. Течь зацементировали, а радиорубка превратилась в штаб. Шмидт консультировался с Москвой, как поступить дальше. Вопрос стоял по-гамлетовски: быть или не быть? Продолжать экспедицию или же возвращаться обратно?

Решили продолжать. Поскольку лед не собирался раздвигаться сам собой, Воронин вызвал «Красина». Для такого вызова у капитана имелись дополнительные основания. Капитан спешил отдать «Красину» уголь, чтобы уменьшить осадку «Челюскина», снизить вероятность соприкосновения со льдами высоко расположенных слабых частей корпуса корабля.

Решение верное, но положение оказалось настолько серьезным, что, не дожидаясь подхода «Красина», пришлось объявить угольный аврал.

Облегчив передний трюм, Воронин спешил приподнять нос судна. Три дня напряженного труда, а 17 августа к нам подошел «Красин». Был он удивительно деловит и абсолютно убежден в своих силах. Извергая клубы дыма, низко сидящий черный утюг с высокими трубами разбрасывал льдины, словно это были листья, плававшие на поверхности пруда.

Победоносное движение «Красина», его впечатляющая сила не могли не привлечь внимания кинооператоров. Марк Трояновский и Аркадий Шафран, спустившись на лед, полным ходом закрутили ручки своих кинокамер. С занятой ими нижней точки ледокол выглядел монументальным. Однако выигрышная с точки зрения киноискусства точка оказалась небезопасной. Расталкивая льды, «Красин» привел в движение и операторскую льдину. Она закачалась и начала отделяться от соседок, что заметно поубавило энтузиазм кинематографистов. Впрочем, льдина словно пошутила. Попугав операторов, она примкнула к остальным. «Красин» повел нас сквозь льды.

Неприятности подстерегали «Челюскина» и тут. Казалось бы, чего проще — идти по проходу, прорубленному ледоколом. Но и этот вариант оказался неподходящим. Широкому и не очень поворотливому «Челюскину» пришлось не впору извилистый канал, возникший во льду за кормой «Красина». Сильный удар — и солидная вмятина украсила левый борт нашего судна.

21 августа, обменявшись прощальными гудками, мы разошлись с «Красным». Ледокол вывел нас на чистую воду и заторопился по своим делам. Мы же остались наедине с океаном.

Зная ненадежность судна, Воронин действовал в высшей степени осмотрительно. Грузовая стрела на тросе спустила на воду амфибию. Разбежавшись по воде, Бабушкин поднял Воронина в ледовую разведку.

В истории нашего полярного мореплавания использование самолета, не имевшего связи с береговыми базами и опиравшегося только на корабль, производилось впервые. Никогда не поднимался в воздух и наш капитан. Бабушкин неоднократно предлагал ему полетать, но под разными предлогами Владимир Иванович отказывался. Ему как-то больше нравилась надежная палуба под ногами. Разведка 22 августа стала воздушным крещением, превратившим нашего капитана в горячего поборника корабельной авиации. Воронин заметил даже, что, будь он помоложе, непременно научился бы летать.

Самолет использовался в нашем плавании не только для воздушной разведки. Очень скоро он помог ученым нанести на карту остров, встреча с которым едва не стала для корабля роковой. Однако чтобы объяснить, как обнаружили мы этот остров, меньше всего ожидая встретить его на своем пути, следует рассказать о большой научной работе, которую вели Павел Константинович Хмызников и Яков Яковлевич Гаккель.

Окоченевшими от холода руками они брали пробы воды для определения температуры, солености, щелочности. Эти пробы попадали к гидрохимику Параскеве Григорьевне Лобза. Анализы, проведенные ею в парходной лаборатории, намного расширили знания ученых о приливно-отливных и постоянных морских течениях и т. д.

Для проведения гидрологических наблюдений через каждые десять миль судно останавливалось и промерялась глубина. Эти промеры и предупредили столкновение с островом, не обозначенным в середине Карского моря.

Во второй половине дня 23 августа обнаружилось уменьшение глубины. К восьми часам вечера замеры показали всего лишь 16 метров. Двигаться дальше стало опасно. «Челюскин» остановился, а к утру выяснилось, что перед ним остров, не обозначенный на картах.

Открыть землю и не обследовать ее — нелепо. Приблизившись к острову на две с половиной мили, спустили на воду две шлюпки-ледянки. Прикрепленные к днищам полозья позволяют в нужные минуты вытащить их из воды и перетаскивать по льду от полыньи к полынье.

Шестнадцать человек во главе с Отто Юльевичем Шмидтом отправились к острову. Предстояло описать его и для науки, и нанести на карту.

Этот шлюпочный поход, за которым мы с интересом наблюдали с борта судна, как бы повторял в миниатюре арктическую экспедицию. Шлюпки шли трещинами и разводьями, с трудом одолевая эти две мили. Экспедиция носила комплексный характер. Каждый из ученых занимался своим делом — Ширшов собирал гербарий скудных лишайников, Стаханов с ружьем в руках отправился на поиски зверья, Хмызников занялся геологическими делами, Факидов — магнитными измерениями, Гаккель определял астрономический пункт, устанавливая точные координаты острова...

На следующий день, вооружившись фотоаппаратом «лейка», Шмидт улетел с Бабушкиным. Сочетание наземного обследования и проведенная Отто Юльевичем аэросъемка позволили Гаккелю точно нанести на карту остров.

Что же это за земля, расположенная в центре Карского моря, такая удобная для постановки на ней полярной станции, способной раскрыть тайны льдов трудного для мореходов Карского моря? После оживленной дискуссии Шмидт решил посоветоваться с Визе. Я получил распоряжение связаться с «Сибиряковым». Через несколько минут связь установлена. Шмидт рассказал Визе свои впечатления и наблюдения. Визе согласен: по всей вероятности, это земля не вновь открытая, а временно пропавшая. Теперь точно нанесен на карту остров Уединения, открытый еще в 1878 году норвежским промышленником Йогансенем, а затем временно исчезнувший.

Может показаться странным, что острова могут пропадать, а затем появляться вновь. Однако ничего сверхъестественного в этом нет. Все объясняется несовершенством измерительной аппаратуры, которой пользовался Йогансен. Только один-единственный раз, разыскивая в 1915 году пропавшие экспедиции Брусилова и Русанова, капитан О. Свердруп побывал подле этого острова, но определить астрономически его положение не смог. Отсюда и легенда о пропавшей земле, конец которой и положила наша экспедиция.

Как радист я больше всего имел дело с метеорологическими и аэрологическими наблюдениями. Их большое прикладное значение вынуждало дежурного метеоролога каждые четыре часа в мороз, вьюгу, дождь или ветер делать записи в дневнике погоды.

Каждый день я и мои коллеги передавали по радио в Центральное бюро погоды наши наблюдения. Там эту информацию обрабатывали, превращая в прогнозы, и как бумеранг возвращали в Арктику.

Метеорологические наблюдения выполняли супруги Комовы — Ольга Николаевна и Николай Николаевич, направлявшиеся зимовать на остров Врангеля. Я уже упоминал об одной из наших задач — доставке зимовщиков на остров Врангеля. Там находилась маленькая полярная станция. Условия работы были тяжелыми. Чтобы облегчить людям существование, Отто Юльевич в виде эксперимента разрешил ехать туда супружескими парами.

Воспоминания о супругах Комовых по всем законам вежливости следовало бы начать с дамы, но, да простит меня Ольга Николаевна, начну я все же с ее супруга. Я всегда с теплотой вспоминаю Николая Николаевича. К сожалению, его уже нет в живых. Этот черноволосый, чернобровый, черноглазый человек, всегда идеально выбритый, принадлежал к числу тех немногих эрудитов, которые своими знаниями могут соперничать со всеми пятьюдесятью томами Большой Советской Энциклопедии.

На редкость начитанный, Николай Николаевич охотно делился своими знаниями с любым из нас. Побывав на Чукотке, Николай Николаевич освоил язык чукчей. Это пригодилось нашей экспедиции в одну из трудных для нее минут. С ходу, без малейшей подготовки Комов мог запросто прочесть лекцию на любую тему, начиная от истории китайского фарфора и кончая балетом Дягилева. Эрудиция Комова потрясала, но... как это часто бывает, достоинства Николая Николаевича обратились в недостаток.

Был наш метеоролог словообильным, стремился рассказать о том или ином

предельно обстоятельно. Собеседника, не подготовленного к приему столь обширной информации, начинало клонить ко сну. Одним словом, мы Николая Николаевича побаивались. Попасть в число его слушателей считалось делом опасным. И все же мы многое прощали Комову. Прощали за его жадность к знаниям. Прощали за то, что он и его жена Ольга Николаевна отличались удивительной доброжелательностью.

...Помню, по обеденным ступенькам трапа я карабкался вверх, туда, где жили и работали метеорологи. Снег. Кругом все серо, темно и холодно. Но каюта есть каюта. В ней мало места, а от множества книг, которые взяли с собой Комовы, она выглядела особенно тесной. В тесноте, как всегда, теплее. Это ощущение тепла, возникавшее у гостей, великолепно создавала сама Ольга Николаевна, женщина удивительно умная, тактичная, пользовавшаяся симпатиями всего состава экспедиции.

Красива ли Ольга Николаевна? Об этом я судить не берусь, но уверенно могу сказать, что являла она собой и женственность и обаяние. Все челюскинцы были поклонниками Ольги Николаевны. Стоило ей попросить что-то сделать, как немедленно объявлялось множество добровольцев.

Очень я любил визиты к Комовым. Чудные домашние часы и минуты, скрашивавшие монотонность нашей жизни.

Третий человек в компании «ветродуев», как называли по обычаю метеорологов, — Николай Николаевич Шпаковский. Собственно говоря, не метеоролог, а аэролог. Арктическая кухня погоды требовала раскрытия тайн ветра. Именно эту задачу при помощи шаро-пилотных наблюдений и запусков шаров-зондов системы профессора Молчанова решал Николай Николаевич Шпаковский. Он привлекал к этой работе чету Комовых и радиста Владимира Васильевича Иванюка, инженера Виктора Александровича Ремова.

Дважды присутствовал я при пионерских опытах с радиозондами. Один раз при запуске их с борта «Цепелина», другой раз на «Челюскине». Но если на «ЛЦ-127» сделали всего два-три запуска, то здесь их число достигло 11. Один из этих запусков, проведенный 15 октября 1933 года, принес мировой рекорд — 23 километра. Это первое в мире научное наблюдение атмосферы на такой высоте. Знаменитый полет стратостата «Осоавиахим», достигшего высоты 22 тысячи метров, состоялся почти через четыре месяца.

О запусках я всегда знал. Шпаковский согласовывал со мной время своих наблюдений. Это диктовалось необходимостью. Передатчик зонда не должен был мешать нормальной работе судовой радиостанции.

Проверенную аппаратуру выносили на палубу и некоторое время выдерживали, чтобы уравнять по температуре с окружающим воздухом. Последняя проверка радиопередатчика, прослушивание его сигналов — и наконец точно по секундомеру запуск...

Около часа, набирая высоту, передатчик зонда шлет сигналы о проведенных замерах. По мере того как высота растет, а давление окружающего воздуха падает, шар, распираемый изнутри газом, раздувается все больше и больше. Наконец, забравшись в стратосферу, он лопается, заканчивая свой репортаж в пользу науки.

Еще одно событие произошло в Карском море — у Доротеи Ивановны и Василия Гавриловича Васильевых, направлявшихся на остров Врангеля, родилась дочь. Как и положено в море, где капитан и царь, и бог, и земский начальник, запись о рождении сделал Владимир Иванович Воронин в судовом журнале «Челюскина». Запись гласила: «31 августа. 5 час. 30 м. У супругов Васильевых родился ребенок. девочка. Счислимая широта 75°46'51" сев. долгота 91°06' вос. глубина моря 52 метра».

Дети на арктических кораблях рождаются не часто. Начался конкурс на изобретение имени новорожденной. Недостатка в предложениях не было. Плебисцит принес новорожденной имя Карина, в честь Карского моря.

А 1 сентября новое событие. В 4 часа дня капитан Воронин трижды огласил арктическую тишину ревом корабельной сирены. «Челюскин» примкнул к боль-

шому собранию кораблей, столпившихся у мыса Челюскина. Едва кинули якорь, как к нам прибыла группа старых друзей-сибиряковцев во главе с Владимиром Юльевичем Визе.

В тот день мы с П. П. Ширшовым шли на корабле «Челюскин», а соратники будущей экспедиции И. Д. Паланин и Е. К. Федоров находились на мысе Челюскина.

Вскоре корабли разошлись, и в «Правду» пошла следующая депеша ее собственного корреспондента Ильи Сельвинского:

«В 4 часа дня впереди нас в тумане возникли очертания кораблей. «Челюскин» подошел к мысу Челюскин.

Это была великолепная минута. За всю историю овладения Арктикой челюскинский меридиан пересекло всего девять судов, и вот сегодня шесть советских пароходов бросили якоря у самой северной точки самого обширного материка мира.

«Красин», «Сибиряков», «Сталин», «Русанов», «Челюскин» и «Седов», совершив трудный ледовый переход, троекратно приветствовали друг друга простуженными голосами.

В десять минут спущена моторка, и мы во главе со Шмидтом стали объезжать корабли. Это был праздник советского арктического флота. Песни, хохот, шутки, возгласы, хоровые приветствия по слогам, как бывало дома на демонстрациях.

Заплаканные снежные утесы выпрыгивали из сурового тумана и, мерцая, уходили в серую муть...

До глубокой все еще белой ночи мы мчались друг к другу в гости на кораблях, на материк, снова на кораблях, откуда обеспокоенная сирена «Челюскина» не призвала нас на борт. В 7 часов по местному времени подняли якоря, взяли курс на ост».

Проливом Вилькицкого «Челюскин» перешел из Карского моря в море Лаптевых. Оно встретило нас жесточайшим штормом. Столовая опустела. У многих неожиданно пропал аппетит и появилась потребность «немного поработать над собой у себя в каюте». Сдала и наша камбузная команда, работать у плиты стало просто невозможно, пришлось перейти на чай и холодные консервы.

По своей жестокости шторм оказался выдающимся: смыты за борт гидрологическая посуда, часть запаса огурцов, приобретенные в Копенгагене ящики с лимонами. Съехали со своих мест даже строительные материалы, предназначенные для острова Врангеля. Сорваны бочки с бензином, поломаны стойки коровника и ранены коровы...

И все же обижаться нельзя. Море Лаптевых оказалось к нам милостивым: ведь вода и ветер даже во время девятибалльного шторма неизмеримо менее опасны, чем льды. Однако обстановка вселяла тревогу. Информация, приносимая радиоволнами, не сулила ничего доброго.

Эфир не скупился на неприятные известия. Ледокол «Красин» сообщал, что сломался один из его трех валов. Силы грозного ледового бойца сразу же резко ослабли. В полуаварийном состоянии находился ледокол «Литке». Рассчитывать на помощь ледоколов не приходилось, а помощь их должна понадобится очень скоро. Как сообщал начальник северо-восточной летной группы Г. Д. Красинский, ледовая обстановка в Чукотском море складывалась явно не в пользу неповоротливого «Челюскина».

В преддверии больших неприятностей начались малые. В Восточно-Сибирском море стали попадаться тяжелые льды. 9 и 10 сентября «Челюскин» получил вмятины по правому и левому бортам. Лопнул один из шпангоутов. Усилилась течь судна...

Опыт дальневосточных капитанов, плававших северными морями, утверждал: 15—20 сентября — самый поздний срок для входа в Берингов пролив. Опоздаешь — можешь петь: «Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу!» Плавание осенью в Арктике — дело трудное. Зимой — невозможное.

Все в жизни относительно. Отправляясь в Арктику, мы понимали, что не

погибнем от зноя, и все же осень у берегов Чукотки явилась к нам не в самых приятных образах. Как отодвинулось все, что каждый любил в осенней поре! Здесь среди льдов даже мысль об осени с обилием фруктов и плодов, какой ее изображают обычно в детских хрестоматиях, выглядела странной. Нереальными казались воспоминания о лесах средней полосы, наполненных запахом сырости и грибов, шелестом облетающих листьев, и уже совсем в ином, потустороннем мире находился виноградный рай Черноморского побережья. Да может ли быть, что где-то далеко от нас люди торопятся в Крым или Грузию на «бархатный сезон»...

Стада льдин, сбивающиеся в ледяные поля, метели, вьюги, молодой ледок и разноцветные всплохи северного сияния...

Сентябрьские заморозки, объединившись с ветрами, делали ледовую обстановку все более трудной. Сплошной лед закрывал поверхность моря, и даже наша «шаврушка» с ее отважным пилотом не могла найти выход из создавшегося положения.

Изо всех сил стучим в ворота Берингова пролива. Стучим настойчиво, взрывами пытаясь дать путь открытой воде. Взрывы тонн аммонала напоминают легкое постукивание в дверь квартиры глухого. Ледяные ворота заперты на один из самых прочных замков, каким только располагала природа.

Воронин сердится, и мы его понимаем. Капитану чертовски обидно. Был бы ледокол! Ну, пусть не «Красин», а хотя бы «Сибиряков».

Темп продвижения снижается. Льды с нарастающей цепкостью хватают корабль. Неподалеку от мыса Ванкарем (мы, разумеется, и догадываться не могли, каким притягательным покажется нам очень скоро этот мыс) «Челюскин» остановился.

В один из этих осенне-зимних дней (осенних по календарю, зимних по холоду) к нам прибыло несколько собачьих упряжек. Это был визит вежливости и дружбы чукчей, поселок которых находился в 35 километрах от нас. Воспользовавшись тем, что Николай Николаевич Юмов знал их язык, Шмидт вступил с чукчами в переговоры, затем вместе с ними уехал на материк.

Последствия этих переговоров оказались результативными. Восемь челюскинцев — больных, слабых, торопившихся по разным делам домой или просто в условиях дрейфа не нужных — отправились пешим путем. Никто не знал, сколько времени просидим мы во льдах. По приказу Шмидта нас покидали: Леонид Муханов, назначенный старшим этой группы, поэт Илья Сельвинский, кинооператор Марк Трояновский, синоптик Простяков, радист Николай Стромиллов, инженер-электрик Кольнер, врач Мироненко и большой кочегар Данилкин.

Проводы происходили в напряженном труде. Не покладая рук мы вели обколку корабля и взрывные работы.

Ничто не помогало. Лед был слишком силен, а «Челюскин» слишком слаб. Единственное, что нас поддерживало — дрейф. Вместе с зажавшим судно льдом мы неторопливо двигались на восток, к столь близкому и одновременно далекому Берингову проливу. Нам оставалось лишь одно — ждать, ждать, ждать...

Дрейф хорош, если его направления совпадают с маршрутом корабля, но больших иллюзий никто не строил. Дрейф (это мы помнили по плаванию «Сибирякова») изменчив, как сердце красавицы. Ждать-то можно было, но чего мыждемся? Этого пока еще никто не знал. Ко всем врагам внешним, которых напустила на нас Арктика, добавился и внутренний — на корабле начался пожар.

Большие пласты угля, не подвергавшиеся вентилированию, самовозгорелись. Техника борьбы с такого рода пожарами достаточно отработана, хотя и не очень приятна. Нужно прежде всего докопаться до очага горения. Обнажив коксующийся, докрасна накаленный уголь, заливаешь его водой и перебрасываешь на свободное место в трюме, чтобы охладить и проветрить. Работа неприятная, выделяется много пара и газа.

Когда дышать становилось уже совсем невозможно, пытались тушить пожар, забрасывая горящие места углем, с тем чтобы прекратить к ним доступ воздуха. Одним словом, чтобы не вдаваться в излишние подробности и не сделать эти записки наставлением по тушению угля при самовозгорании, скажу лишь одно:

потребовалось 48 часов адской работы, чтобы перебраться и перегрузить в угольные ямы 250 тонн угля.

Не успели мы отмыться, как нас ждал новый аврал.

Еще ни разу приглашение на работу не выглядело столь торжественным. Вечером 29 сентября на общем собрании председатель судового профсоюзного комитета машинист Ваня Нестеров предоставил слово Отто Юльевичу. Наверное, я больше чем кто бы то ни было знал, что скажет наш начальник, так как в руках он держал радиограмму.

Северное мореплавание получило сразу букет неприятностей. У Русских островов застрял «Сибиряков». Попав в сильное сжатие, он просил помощи. Оставлены на зимовку суда Ленской экспедиции. Через пролив Вилькицкого с трудом пробивался подраненный «Красин». Подобно нам, в той же Колочинской губе вязли во льдах пароходы «Свердловск» и «Лейтенант Шмидт». У мыса Биллингса стали на зимовку три парохода Колымской экспедиции.

Начавшийся наутро аврал был одним из самых яростных за все время нашего плавания.

Временами казалось, что обколка судна благополучно оканчивается, что «Челюскин» выходит на чистую воду. Арктика дарила нам эти ощущения лишь на мгновения. Едва успевали мы выколоть и оттащить ощутимую порцию искрошенного нашими усилиями льда, как из глубин в проруби всплывали притаившиеся подо льдом глыбы. Молча занимали они освобожденный участок. В этой тишине и неотступности было что-то страшное, давящее на психику.

Благоприятный по направлению дрейф делал свое дело, и 4 ноября при чудной солнечной погоде мы вошли в Берингов пролив. Морозно. Стояла розовая дымка. Прямо по курсу — Тихий океан. Направо — самая северо-восточная точка Советского Союза, мыс Дежнева. Где-то вверху, на галечной косе, прилепился поселок Уэллен (там командовала радиоделами наша милая Людочка Шрадер, подробный рассказ о которой впереди), а напротив далеко на горизонте в лилово-розовом тумане темнели горы Аляски.

Мы находились в самом горле, в самом узком месте Берингова пролива. Позади осталось Чукотское море, Северный Ледовитый океан. Мы вошли в Тихий океан и могли считать, что выполнили задание, но, к сожалению, вошли мы туда не своим ходом, а вместе с ледяным полем, в котором застряли.

Все складывалось драматично. С капитанского мостика невооруженным глазом виден на юге край поля. От кромки и дальше до горизонта — чистая вода.

Пройдя многие тысячи километров, споткнулись о последние метры. Мы были уже в Тихом океане и, если бы не проклятая ледяная перемычка, могли полным ходом идти во Владивосток. Могли бы, но не шли...

Обстановка ясна всем от капитана до кочегара. Начался такой бешеный аврал, что предшествующие показались просто детской игрой. У нас было много взрывчатки. несколько тонн аммонала, запалы, бикфордов шнур. Мобилизовано все — кирки, лопаты, кайла, пещни, топоры. Мы дрались за свое освобождение из ледового плена, отчетливо понимая, что это одновременно и бесплодная попытка, и наш последний шанс. Что-то надо было делать. И это «что-то» мы делали, не жалея сил...

В шахматном порядке по направлению к чистой воде стали прорубать лунки, надеясь прорвать коридор. Ничего не получилось. Двухметровый лед тверд как камень. К тому же в силу своей солености он еще и вязкий. Продолбить лунку — хитрое дело: она не должна быть очень большой, но и не маленькой, такой, чтобы засунуть в нее пудовую банку с аммоналом.

Запихивали банки шестью, вставляя предварительно запал с коротким куском бикфордова шнура. Шнур начинал фыркать, гореть, шла тонкая струйка дыма. Раздавались предупредительные крики. Кто-то отбежал, кто поближе, просто ложился на лед.

Ни грохота, ни эффектных фонтанов. Просто всплескивалась вода и сыпался град кусков льда. Все наши усилия — льдине что комариные укусы. Открыть дорогу «Челюскину» лед не хотел и сопротивлялся нашим взрывным атакам

энергичнее, чем сам корабль. Полопалось несколько иллюминаторов, а разбить иллюминатор дело не простое. Чтобы надежно выдерживать удары штормовых волн, круглые бортовые иллюминаторы имеют стекло толщиной до трех сантиметров, но даже такая толщина не выдерживала, и стекло лопалось. Никто не обращал на это внимания.

Двое суток продолжался аврал. Двое суток не прекращалась каторжная работа. Двое суток никто не спал, толком не ел. Повара тоже заняты на льду. Хватали изредка на ходу полбанки консервов с куском хлеба — вот и весь обед.

Руки у всех стерты до крови, кто долбил, кто выгребал из лунок ледяной мусор. Не у всех рукавицы. Шла дикая работа. Все понимали, что значит для нас время. В любой момент погода и ветер могли измениться, могли подставить подножку коварные течения Чукотского моря...

По существу, мы так ничего и не сумели сделать. Не добрались даже до половины перемычки. Никакого канала не создали. «Челюскин» по-прежнему стоял впаянный в лед. Никакого ветра. Полное спокойствие, но спокойствие обманчивое. То, что не стал делать ветер, сделало течение: поле сначала замедлило свое движение на юг, потом как бы задумалось, постояло на месте и пошло вспять.

Через некоторое время нас, как пробку, выкинуло обратно через Берингов пролив в Чукотское море.

Дрейф не замедлил заявить о себе. Нас неудержимо потащило на север, туда, куда нам вовсе не хотелось попадать.

Отто Юльевич подал телеграмму:

«Литке», Бочеку, копия Николаеву, Красинскому.

Дрейф «Челюскина» продолжается в прежнем направлении со скоростью три четверти мили в час. По-видимому, мы находимся в известном устойчивом течении, которое грозит отнести к Геральду и дальше на север, в район полярного пака. Хотя после обратного выхода из Берингова пролива наша льдина уменьшилась в размере, но наступившее и, по-видимому, устойчивое безветрие сильно уменьшает нашу надежду на разлом льдины ветром и волной. При таких условиях мы обращаемся к вам с просьбой оказать нашему пароходу содействие в выходе из льдов силой ледореза «Литке». Зная о трудной работе, проведенной «Литке», имеющих повреждениях, мы с тяжелой душой посылаем эту телеграмму, однако обстановка в данный момент более благоприятна для подхода «Литке» к нам, чем когда бы то ни было: по-видимому, «Литке» сможет, следуя между восточной кромкой и американским берегом, подойти к нашей льдине по чистой воде. Состояние нашей льдины подробно обрисовано во вчерашней телеграмме, из которой видно, что до разреженного льда от «Челюскина» три четверти мили, а до кромки в некоторых направлениях две мили. Мы надеемся, что «Литке» сможет разломать льдину, в которую вмерз «Челюскин», при одновременной работе «Челюскина» и взрывов. В крайнем случае, если бы разломать не удалось, мы перебросили бы по льду на «Литке» большую часть людей для передачи на «Смоленск», что значительно облегчило бы нам зимовку. При необходимости «Челюскин» может дать «Литке» уголь. Просим вашего ответа. Шмидт, Воронин».

Телеграмму отправили 10 ноября, а 12 ноября «Литке» вышел из бухты Провидения и отправился в Чукотское море. Мы ждали его с нетерпением, однако чем ближе подходил «Литке», тем меньше надежд оставалось на его помощь.

«Литке» находился в аварийном состоянии. Он провел суда от Чукотки до Колымы и, как всегда бывает с ледовыми кораблями, пострадал от этой работы. Наш спасатель тек. На плаву «Литке» держался благодаря непрерывной откачке помпами поступавшей воды. Винты и руль повреждены.

На капитанском мостике «Литке» (сейчас, когда «Литке» давно разрезан, этот мостик можно увидеть на Морской выставке у Сретенских ворот в Москве) стояли достойные люди — Г. Д. Красинский и капитан А. П. Бочек. Несмотря на большую течь, ледорез, случайно оказавшийся в районе, где терпел неприятности

«Челюскин», немедленно погнался за нами, честно сообщив, что сам находится в аварийном состоянии.

Мы хорошо понимали благородство этого порыва. «Литке» подошел на предельно близкое расстояние, и начались драматические переговоры между руководителями обеих экспедиций.

В радиорубке только радисты, Шмидт и Воронин. Дверь наглухо закрыта. Под дверью неотвязно и неотлучно дежурит журналистская братия. Разговоры идут по радиотелефону. Черная тарелка репродуктора, висящая на стене, доносит до нас информацию, решавшую судьбу экспедиции.

Так длилось несколько суток. Корреспондентам ничего не сообщалось. Молчал Шмидт. Не распространялся ни о чем Воронин, да ему никто вопросов и не задавал, ну, а мы, радисты, разумеется, тоже молчали, отлично понимая, что можно, вернее, чего нельзя, обнародовать среди наших приятелей журналистов.

Участникам и свидетелям переговоров ясно: «Литке» способен приблизиться к нам лишь на то расстояние, которое разрешает преодолеть ему льды. Мы надеялись, что расстояние окажется посильным для пешего перехода.

14 ноября «Литке» находился от нас в 35 милях. И близко и далеко. Казалось, что план переброски части людей на «Литке» становится реальностью. Были объявлены списки. Уходящие собирались в дорогу. Васильевы и Буйко мастерили санки для своих малышей.

Определялся вес сильного багажа. Для этого произвели эксперимент: тройка отборнейших «лошадок» — кинооператор Аркадий Шафран, главный инженер Главсевморпути Ремов и подрывник Гордеев таскали на протяжении часа санки, нагруженные пятью пудами кирпича. Экспериментаторы взмокли от пота.

Погода пасмурная. Корабль где-то близко, но сколько мы ни всматривались в горизонт, даже намек на дым «Литке» не видно. На горизонте повсюду сплошной тяжелый лед, который явно был не по зубам ни нам, ни израненному ледорезу. Отправлять людей никто не рискнул. Вариант пешего перехода с корабля на корабль отпал.

17 ноября с интервалом в двадцать минут получили одну за другой две радиограммы. В первой, правительственной, заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССР В. В. Куйбышев передавал «Литке» в распоряжение Шмидта. Во второй капитан Бочек просил разрешения на вывод «Литке» из льдов. Ледорезу грозила опасность попасть в такое же положение, как и «Челюскин». Состоялось короткое совещание. Шмидт опросил руководство экспедиции и услышал один и тот же ответ:

— Отпустить!

В радиорубке мирно и тихо сияли большие генераторные лампы. Жужжали вентиляторы передатчика. Воронин молчит. Храним гробовое молчание и мы, радисты. В этой тишине очень спокойно, обыкновенным тоном Шмидт говорит Бочеку и Красинскому:

— Очевидно, мы решаем правильно. Уходите. Вы в аварийном положении. Что делать. Мы останемся в дрейфе...

Руководство понимало всю опасность нашего положения: неприятности возможны, к ним надо готовиться.

Большая часть этой подготовки пала на плечи хозяйственников. Положение у них нелегкое: однородные, по существу, грузы хранились в разных местах корабля (грузы экспедиции, неприкосновенный запас, грузы зимовщиков острова Врангеля). Для аварийной выгрузки такая система не годилась. В случае неприятностей можно утопить все нужное и выгрузить все ненужное. Иван Алексеевич Копусов предложил не откладывая в долгий ящик пересмотреть систему хранения.

Шмидт согласился. Но аврал, привычное средство массового использования сил участников похода, наш начальник отзерг напрочь. На корабле не только закаленные, готовые ко всему полярники. Среди челюскинцев — женщины, дети и узкие специалисты, далекие от морской практики.

Шмидт распорядился навести порядок без излишнего шума. Под руководством Бориса Могилевича пять человек провели в глубине трюмов незаметную, но важную работу: за несколько дней подготовили все к аварийной выгрузке. Для проверки хорошо бы: провести учебную тревогу. Сигнал к ней пробил сам океан. В одну из ночей, когда произошло сильное сжатие, пришлось произвести выгрузку на лед. Работали всю ночь, а вскоре пришлось тащить груз обратно. Это была первая серьезная репетиция, поучительная и полезная.

Теперь, когда окончательно выяснилось, что застряли мы достаточно крепко и придется дрейфовать, провели несколько собраний. Тема не самая приятная: руководители экспедиции откровенно говорили о нашем опасном положении. Надеюсь на лучшее, надо быть готовым и к худшему.

На стене кают-компании появился большой лист ватмана. Аварийное расписание. Оно информировало: все грузы решено держать у бортов корабля. Грузы разбиты на три сектора. Продовольственный возглавлял наш завхоз Борис Могилевич, сектор спецодежды — его ближайший помощник Александр Адамович Канцын, сектор хозяйственного оборудования и снаряжения — моторист Григорий Евсеевич Гуревич.

Весь личный состав распределен на бригады с точным обозначением круга обязанностей. В мое распоряжение выделена так называемая радиобригада — группа по спасению радиоимущества.

Спасательные работы требовали большой физической силы. Здоровяков не хватало, и радиобригаду как спасателей не самых тяжелых грузов сформировали, не в обиду будь сказано моим товарищам, на уровне гарнизона пушкинской «Капитанской дочки».

В бригаде числился Петя Новицкий, летописец нашего похода писатель Сергей Семенов, гидрохимик Параскева Лобза, ихтиолог Аня Сушкина и зоолог Володя Стаханов.

Аварийное расписание являлось приказом — подготовиться к неожиданностям. Оставалось одно — собрать чемодан. Это не заняло много времени. Я сложил бумагу, карандаш, запасные лампы и всякую прочую мелочь. На палубе приготовил шесты, радиомачты, всякие тросики и т. д.

Оставив какие-либо попытки выбраться из ледового плена, корабль берется силы до весны. К весне мы могли прийти подготовленными только в одном случае — сохранив уголь. Но... Это-то и нелегко было осуществить. Зимовали мы не где-нибудь, а в Арктике с ее лютыми морозами.

Угля мало. Из 3500 тонн оставалось лишь 400, а зима в Арктике не только лютая, но и длинная.

На корабле стало холодно. 13 февраля 1934 года после обеда капитан Воронин, проявлявший большой интерес к наблюдениям Факидова, зашел в его палатку, разбитую на льду. Капитан стал свидетелем резкого движения пузырька в уровне прибора. Воронин знал, что за движением пузырька последует движение льда. Он немедленно вернулся на корабль, и вовремя. На «Челюскина» двигался неожиданно возникший лед.

Мы всегда запоминаем то, что связано с большими эмоциональными потрясениями. Не удивительно, что я помню этот хмурый день 13 февраля так, словно все произошло вчера.

Сплошная низкая облачность. Часы показывали что-то около трех часов дня, но день очень короткий. Кругом серо. Видимость отвратительная.

В эту промозглую, отвратительную погоду я стоял на палубе, и вдруг крик вахтенного матроса:

— Товарищ капитан, по левому борту трещина!

На первый взгляд не произошло ничего страшного. Трещина образовалась тоненькая и сверху выглядела как волосок, но определилась опасность. Кто-то выскочил на лед, бросил поперек трещины доску, и на наших глазах доску стало медленно разворачивать.

Где-то за горизонтом происходило сжатие. Одна половинка поля стояла на месте, другая двигалась. Трещина, перпендикулярная к борту корабля, приближа-

ла издали и уперлась в него. Лед неотвратно скользил вдоль трещины. На нас наваливались миллионы тонн.

Нагнувшись за борт, я стал очевидцем происходившего. Борт корабля пучился, как картонный. Потом как бы грохнули пулеметы — это сорвались с мест тысячи заклепок. Корабль дрожал, стонал, кряхтел, как живое существо.

Борт в надводной части разорвало метров на двадцать. Нутро корабля выворачивалось наружу. Страшно смотреть! Часть борта отвалилась на лед, а вместе с ней полетели зубные и сапожные щетки, книги, разная утварь, подушки — одним словом, то, что оказалось в каютах, попавших под этот удар. На редкость нелепо и неестественно выглядели на арктическом льду обыденные житейские вещи.

Я опрометью бросился в радиорубку. Хозяйство в рубке настолько знакомо, что можно орудовать с закрытыми глазами. Привычный выключатель света превратился в ненужную бутафорию. Мертвая тишина. Включение рубильника не вызвало привычного урчания умформера под столом. Диагноз ясен — нет тока.

Да что они там, черти полосатые, в машинном отделении! Хватаю огромную телефонную трубку, висящую в таком зажиме, из которого она не выскочит ни при какой качке.

— Машинное отделение! Машинное отделение!

В ответ молчание. Либо не работает телефон, или же бездействует все машинное отделение. Но мне нужен ток. Да не только мне. Уже наступили сумерки. Короткий полярный день кончался. В трюмах и в машинном отделении стало совсем темно. Что делать? Пустить в ход расположенный на корме аварийный дизель!

Карьером мчусь по обледенелым ступенькам, скользя, как это любят делать моряки, по поручням. Скорее вниз, на корму! Аварийный дизель на месте, в своем маленьком помещении. Около дизелька на коленях наш экспедиционный моторист, чудесный товарищ, совершенно не ко времени решивший обратиться за помощью к господу богу. Задыхаясь от волнения, он спешит сообщить богу, что попал в арктическую экспедицию исключительно по легкомыслию и больше уж никогда такой глупости делать не будет. Он просит господ бога учесть, что у него маленькие дети, и если он утонет, то, кроме бога, о его детях позаботиться некому.

Времени для наблюдений и психологических анализов не оставалось. Пришлось срочно заняться антирелигиозной пропагандой, и, каюсь, весьма примитивной... Почему не работает дизель?

Моторист очухался и сказал, что маленькая, но существенная деталь находится на ремонте в машинном отделении.

Мчусь в машинное отделение...

То, что я там увидел, выглядело архибезрадостно. В слабом свете, просачивавшемся через какие-то двери и люки, зловеще блестело зеркало воды. Трапы уже наполовину затоплены, а вода, булькая, продолжала прибывать. Искать деталь от дизеля бесполезно, и я побежал обратно в радиорубку.

Дверь радиорубки, как и все двери в эти минуты, распахнута настежь. Выходила она в коридор, ведущий на капитанский мостик. За ним — штурманское отделение. Там над картами обычно священнодействовали капитан и штурман. Теперь двери распахнуты и тут. Владимир Иванович Воронин забирал секстанты, судовой журнал и морские документы.

Не сумев запустить основной передатчик, включаю аварийный.

Ну, Людочка, выручай...

Надо заметить, что для нас Людочка, или, точнее, Людмила Шрадер, радистка с мыса Уэллен, воплощала всю радиокрасу в самой восточной точке Советского Союза. С моих слов Люду знали и любили все челюскинцы. И неудивительно — хорошая радистка, человек редчайшей добросовестности.

Сложность заключалась в том, что очередной сеанс связи с Людой уже состоялся, а до следующего еще далеко.

Слушает ли сейчас Люда?

Связь! Связь с берегом! Немедленная связь!

Самая безотлагательная задача! Никто на белом свете не мог сказать, сколько времени корабль будет тонуть, то ли сутки, то ли час.

...Людочка (ах молодец!) тут же ответила на первый же вызов:

— Ну что у вас там? Почему вылез вне расписания?

— Людочка, мы тонем!

Вбежал Иванюк, принес шапку, рукавицы, ватник. Одеваюсь, уже не снимая наушников, а Иванюк начал выносить приготовленную аппаратуру. Вошел Отто Юльевич. Нерпичья тужурка расстегнута, а у меня в радиорубке не теплее, чем на улице. Очень спокойно Шмидт спросил, есть ли связь, и, услышав, что есть, стал писать радиограмму. Писать неудобно и холодно. Слова и строчки прыгали вкривь и вкось, а я, стоя за спиной, читал текст и, по мере того, как он писался, передавал его. Текст немногословный: «Уэллен, Хворостанскому. Машина и кочегарка залиты водой. Вода прибывает. Шмидт».

Начатый на борту «Челюскина» радиожурнал продолжался и после его гибели в нашем лагере. Сейчас все записанные в него радиограммы, начинавшиеся позывными «РАЕМ», стали достоянием истории. Наш старенький радиожурнал хранится в Музее Революции.

Еще одна запись, сделанная рукой Шмидта: «Шесть часов московского. 13.II.Уэллен. Хворостанскому. «Челюскин» медленно погружается. Машины, кочегарка уже залиты. Прибывает вода в первом, втором трюмах. Выгрузка идет успешно. Двухмесячный паек продовольствия выгружен, стараемся успеть еще. По окончании приема пошлите копии всех моих телеграмм в Москву, в Совнарком Куйбышеву и в Главсевморпути Иоффе. Шмидт».

Это была последняя радиограмма Шмидта, после которой он сказал:

— Эрнст Теодорович, я уж писать ничего не буду, некогда. Но вы сообщите наше положение Людочке и попросите ее, чтобы после того как наступит молчание, она следила за нами на всех волнах...

С этого момента на девичьи плечи Людочки легла тяжесть, которой хватило бы для полудюжины мужчин.

Вот уж когда моя профессия продемонстрировала оборотную сторону медали. Радист в любой экспедиции — лицо привилегированное, знатное. Через него идут все новости. С ним заигрывают корреспонденты газет, когда нужно передать корреспонденцию — простыню. За весь этот почет обычной мирной работы пришлось расплачиваться теперь, в часы опасности.

Во время аварии радисту полагается быть в радиорубке, как собаке на привязи. Наушники плотно прижаты к голове, руки на ручках приемника.

Так я и сидел, утешая себя тем, что нахожусь в самой высокой точке корабля. Морские законы предусматривают всякие неприятные ситуации, а посему на крыше радиорубки всегда размещены мощные аккумуляторы, гарантирующие питание аварийной искровой радиостанции.

Читателям, далеким от радиотехники, хочу пояснить: искровой передатчик — это заря радиотехники, первые шаги радио. Сегодня они украшают музеи, но записать их чохом в музейные экспонаты нельзя. Настроенные на международную аварийную волну 600 метров, они занимают свое место на кораблях. Недостаток передатчика (он занимает много места в эфире и всех забывает) в данном случае обращается в достоинство. Все сделано для того, чтобы его легче было услышать.

Пробегая мимо, Владимир Иванович крикнул, что залило машинное отделение, и добавил:

— Держи связь! Сейчас пришлю твою бригаду!

Я начал свой самодеятельный, но зато крайне актуальный репортаж. О том, как тонул «Челюскин». Один из самых уникальных и трагических репортажей.

Передо мной обмерзшее окно, плотно закрытое льдом. Не видно ничегошеньки, а информацию давать надо. Надо сообщать о том, как идет выгрузка, когда мы примерно начнем выходить на лед. Не имея возможности наблюдать все самолично, я черпал нужные сведения у людей, пробежавших под моими дверями.

Несколько раз по коридору пробегал Воронин.

- Владимир Иванович, вы, пожалуйста, про меня не забудьте!
- Сиди, сиди. Не забуду. Я скажу, когда надо будет уходить. Связь есть?
- Все в порядке. Людочка слушает.
- Хорошо. Продолжай держать связь!

Корабль тонул не плавно. Он погружался рывками. Лед пропорол нам левый борт. Лдына вошла в глубь судна, и «Челюскин» висел на ней своим разорванным бортом. Каждые пять—десять минут по всему кораблю раздавался грохот и что-то похожее на судорогу. Вода набегала в носовую часть. Корабль становился тяжелее и носом вперед уходил под лед...

На первом трюме стояла наша «шаврушка». Маленькая и легкая, но тем не менее для того, чтобы спустить ее на лед, нужна была стрела, а лебедка не работала, не было пара. Решили снять самолет несколько необычным способом. Кто-то сообразил, что, когда палуба и нос корабля сравниваются со льдом, следует молниеносно сдернуть «шаврушку» вручную. Так и решили.

Выглядело это как цирковой номер. Все могло кончиться плохо, если бы не четкое руководство нашего замечательного боцмана Толи Загорского.

Сдернули «шаврушку» в полном благополучии. Порвали только немного ее полотняные плоскости.

Всеобщий любимец Жора Валавин, мобилизовав на подмогу наших плотников, чинил свою «шаврушку». Заклеивали ее столярным клеем, а когда не хватило ремонтных материалов, реквизируя у женщин английские булавки. «Шаврушку» починили, и некоторое время спустя по приказу Шмидта Бабушкин и Валавин улетели на ней из лагеря. Улетели «на честном слове и на одном крыле». Однако я забежал вперед. В те зловещие минуты, почти сразу же после того как сдернули «шаврушку», корабль стал погружаться носом под лед все быстрее и быстрее...

Готовая к действиям, появилась моя боевая бригада. Продолжая сообщать Людочке нужные сведения, я начал давать ценные указания. Сидя с телефоном на ушах, я только покрикивал:

— Это возьмите... Это возьмите... Это не забудьте... Ради бога, осторожнее. Отнесите все подальше от корабля и в одно место, в одно место все складывайте. Вы, черти, разбросаете хозяйство по всей лдыне, потом измучаемся собирая. В одно место снесите!

Должен сказать, что команда моя оказалась на высоте. Бойко действовали все, но наиболее высокие спринтерские данные оказались у Пети Новицкого.

А выгружаться не просто. На корабле темнота. Бегут десятки людей. Все тащат какие-то мешки, ящики, разные предметы. Люди торопятся, сталкиваются друг с другом. Все обледенело. Скользко. Под ногами снег и лед.

Что происходило с кораблем, можно только догадываться. Корабль рывками оседал все больше и больше. Бригада заканчивала работу, когда по моему столу покатались круглые карандаши. Крен стал основательным.

Появился Владимир Иванович:

— Через десять минут закрывай лавочку. Скажи, чтобы там, на берегу, за нами как следует следили...

Последние слова Людочке Шрадер: «По приказу Шмидта сейчас оставляем судно. Сходи на лед. Успешно опустили самолет и две шлюпки. До следующей связи ничего не предпринимайте».

Отсоединить провода уже было некогда, и я их безжалостно отрезал.

Всей бригадой мчимся на крышу радиорубки за аккумуляторами. Чертыхась, тащим эти многопудовые банки по узким скользким трапам.

Забираю маленький ламповый передатчик. Теперь надо бы забрать чемодан с личными вещами. Увы, времени на это не хватило. Личные вещи так и остались в каюте. Сдернув с крючка полушубок, нахлобучив шапку, выбегаю на лед.

Прыгают с большой высоты Шмидт и Воронин. На наших глазах гибнет Борис Могилевич. Он замешкался на корме, присел для прыжка, но поскользнулся и не успел встать.

Быстро поднималась корма. Покатились оставшиеся бочки. В серые сумерки происходило страшное — погибал корабль, наш дом. Прижавшись обмороженной скулой к ледяной лупе своей кинокамеры, снимал эти кадры, которые потом увидел весь мир, наш оператор Аркадий Шафран. Страшные кадры — корабль уходил под лед. Скрежет, грохот, летящие обломки, клубы пара и дыма. Все кончено.

Из майны, куда ушел корабль, вынырнула мерзкая зеленая льдина. Плоская, изъеденная морскими течениями, она, вероятно, дрейфовала вместе с «Челюскиным». Льдина пришла как последнее известие из морской пучины, словно сказав нам: это все...

Сжатие продолжалось, и место, где стоял корабль, закрылось надвинувшимся льдом. В ледяном вале торчали бочки, обломки досок, бревен, раздавленные шлюпки.

Уже в темноте происходила переключка. Иногда отвечали не сразу. Люди рассеялись между торосами льда. Тревожно звали голоса. Не дозволяли одного — Бориса Могилевича.

Мы, радисты, без приказа понимали, что от нас требуется и чего от нас ждут. Да и все понимали, что надо делать...

Темно. Поземка. Трескучий мороз. Разумеется, в таких условиях надо прежде всего укрыть людей. Все необходимое для строительства спасено, но в кутерьме выгрузки разбросано по льдине и частично уже замечено снегом. Где топор? Где лопаты? Не сразу найдешь нужные инструменты и материалы...

Вспотевшие, мокрые от неистойвой работы, люди снова набрасываются на то, что осталось от «Челюскина». Люди не чувствуют ни тридцатиградусного мороза, ни ветра. Начинают сооружать палатки. Мне же предстоит срочно добиться связи с материком.

На три топора огромный спрос, но для радио получаю топор вне всякой очереди.

Радиобригада занята установкой мачт. Видимость нулевая. Где колышки? Помощников много, но дело движется медленно. Колья пробивают снег, но, дойдя до льда, не хотят держаться.

Жиденькая мачта изгибалась на ветру, как удочка. Бегающие в сумерках и пурге люди налетали на оттяжки радиомачты, выдергивали колышки. В конце концов, кое-как мачту все же установили.

Теперь черед аппаратуры. Она сложена в палатке Факидова, переполненной женщинами, детьми и ослабевшими товарищами. Разворачивать аппаратуру — значит, выставить их на мороз. На такое я решиться не мог.

Отправляюсь к Шмидту. Докладываю. Ответ, разумеется, именно тот, какого я и ждал:

— Женщин и детей не трогать. Под радиостанцию занять первую построенную палатку.

Первым справились со своим делом Сергей Семенов, Ширшов, Гаккель, Громов, Шафран, Хмызников, Решетников. Построились и завалились спать. О решении Шмидта они, конечно, ничего не знали, и я деликатно попросил для начала «уголок под радиостанцию». Не выгонять же хозяев палатки на жгучий мороз. Потеснились. Немедленно легли в два этажа.

Договорившись с хозяевами, начинаю вносить аппаратуру: аккумуляторы, передатчик, всякую мелочь. В углу на коленях приступаю к сборке радиостанции. Освещение небогатое — фонарь с разбитым стеклом. Наш общий любимец художник Федя Решетников следит за моими руками и светит мне фонарем. Приходится действовать без рукавиц. Плоскогубцы, нож, провода обжигают руки. Изредка грею в рукавах одеревеневшие пальцы. Тепла и в рукавах маловато. Начинает то ли подсыхать, не то подмерзать мокрое от пота белье. Затекают колени. Палатка так плотно набита людьми, что даже протянуть ноги невозможно.

Наконец приемник включен. Снимаю шапку, надеваю наушники. Мороз обжигает уши. Включаю приемник: техника работает. Прекрасно! Знакомый щелчок генерации, начинаю вертеть ручку и... вот как иногда может посмеяться судьба.

Сто четыре человека на льдине. Ночь. Мир спит, не подозревая о том, что случилось во льдах, и первое, что услышали потерпевшие кораблекрушение, — веселый фокстрот из Аляски...

В палатке холод. Потные, разгоряченные, люди стали «остывать». Появился мелкий неприятный озноб. Именно в этот момент, как ангел-избавитель, возник Канцын, помощник Могилевича, взявший на себя заведование хозяйством после его гибели:

— Получать теплые вещи!

Пока мы ставили радиостанцию, а остальные занимались строительством палаточного городка, Канцын с помощниками сделал большое дело. Они произвели беглую инвентаризацию всего, что удалось спасти. А спасли немало. Консервы, сыр, масло, свежее мясо (свиней, заколотых перед выгрузкой), сахар, мука, крупа, чай, сгущенное молоко... Одним словом, на два-три месяца, если подтянуть ремешки потуже, должно хватить.

Однако мы назяблись так, что даже полученные теплые вещи не согревали.

Мы с Ивановым работали, а рядом, используя не только каждый квадратный метр, но и каждый квадратный сантиметр площади, молча, прижавшись друг к другу, лежали наши товарищи. В первую ночь мало кто спал.

Продолжаю вертеть ручку приемника. Слышу, как Уэллен спрашивает у мыса Северного:

— Не обнаружил ли ты сигналов «Челюскина»?

Нет, нас не слышат. Мои вызовы — глас вопиющего в пустыне! А передатчик исправен. Лампы горят хорошо. Все как будто бы в порядке.

Довольно быстро разобрались, почему нас не слышат. Впопыхах мы сделали антенну чересчур короткой, а наш передатчик, работавший на двух малюсеньких лампочках «УБ-107», кроме конденсатора, не имел никаких органов настройки. Передатчик очень слаб — небольшая шкатулка, рассчитанная на то, чтобы держать связь с берегом во время стоянки корабля на рейде. Отсюда и название передатчика — рейдовый. Многим позже проведенные расчеты показали, что мощность, излучаемая этим передатчиком, была меньше одного ватта.

Надо удлинить антенну, но в темноте и в пургу это невозможно. Отто Юльевич разрешил ждать до рассвета.

Ложусь спать. Голова на коленях Стаханова. Ноги на животе Иванова. Полы палатки хлопают от ветра. Фонарь коптит. Можно подумать, что все спят, но изредка то тот, то другой молча закуривает. Не спится. Холодно и неудобно...

Чуть начинает светать, поднимаю радиобригаду. Удлиняю антенну. Нас должны услышать...

Слушаю. Зову. Проходит час за часом. Аппаратура в полной исправности, а связи нет как нет.

Отто Юльевич отзывает меня в сторону:

— Свяжемся ли с берегом?

Спрашивает тихим голосом, чтобы другие не слышали. Смотрит испытующим взглядом.

— Свяжемся. Станции предупреждены, слушают нас. У нас очень маленькая мощность.

Слушаем. Вызываем. Снова слушаем... Проходит полдня. Сажаю за приемник Иванова, сам устраиваюсь у камелька. Ноги в тепле, но голова и спина мерзнут. Начинает клонить ко сну. Иванов монотонно стучит ключом. Кругом тихо. Все на месте аварии, там дел хватает. Глаза смыкаются все плотнее. И вдруг истошный крик Сима:

— Уэллен отвечает!

Сон как рукой сняло. Сима кубарем выкатывается из палатки, орет во весь голос:

— Где Шмидт?

Люди угадывают необычное. Из месту аварии несется весть:

— Отто Юльевич! Радио!..

И вот небывалое зрелище: впервые в жизни я увидел, как Шмидт бежит.

Пробежал мимо меня. Я за ним. Запахавшись, на четвереньках влезает в радиопалатку. Даю Шмидту журнал, чтобы он записал телеграмму. Шмидт и гут верен себе. Его первые слова:

— Товарищи, у меня большая радиограмма. Может ли Уэллен подождать?

Ну конечно может! Кто-то снимает с головы Шмидта шапку, мокрую от снега, сушит ее у камелька. Кто-то дает ему папиросу, спичку, чтобы он закурил, отдохнул, сосредоточился. При скудном свете фонаря Шмидт пишет свой краткий доклад правительству.

Работаем позывными «Челюскина». Но обязательная форма — откуда радиограмма. Так рождается название нашей льдины — «лагерь Шмидта».

Все это предшествовало знаменитой телеграмме, начинавшейся словами «13 февраля в 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северный и в 144 милях от мыса Уэллен «Челюскин» затонул, раздавленный сжатием льдов...»

ЛАГЕРЬ ШМИДТА

Первый день. Правительственная комиссия. Для нашего спасения мобилизовано все. На собаках к лагерю Шмидта. Дисциплина, дисциплина, дисциплина! Газета «Не сдадимся!». Заседание партийной ячейки. Штабная палатка. Как мы жили на льду. Наши аэродромы. Рассказы Шмидта. Ляпидевский спасает женщин и детей. Лед ломает наш лагерь. Вместе с самолетами готовы в путь дирижабли. Болезнь Шмидта.

Не знаю, был ли удовлетворен господь бог первым днем творения, мы же отнеслись к делу рук своих — палаточному городку, построенному за ночь, — без особого восторга. После уютных кают холодные палатки, буквально набитые людьми, не радовали. Но все понимали — прошли первые трудные часы. Дальше, надеялись, будет легче. Наша судьба во многом зависела теперь от нас самих.

Конечно, находясь еще в дрейфе, мы знали — угроза гибели висит над кораблем как дамоклов меч, и гоговились к самому тягучему. Теперь нужно было приспособиться к условиям очень нелегким, а это было совсем не просто...

Десяток кособоких палаток, шест, гордо именуемый радиомачтой, унылый самолетик и разбросанные там и сям грузы...

Невесело...

Однако и в этих трагических условиях находилось место для шуток и смеха. Старший помощник капитана Сергей Васильевич Гудин, проплававший из своих сорока лет двадцать два года, отвечал за порядок на корабле. Свои обязанности Гудин выполнял с завидным педантизмом. Петр Ширшов под дружный хохот слушателей рассказывал, какими укоряюще-страшными глазами смотрел на него Гудин, когда Петя, вместо того чтобы бежать кругом за какими-то очень нужными ему приборами, недолго думая разбил окно в каюте и достал все через выбитое стекло.

— Подумать только! Сознательно, преднамеренно разбить стекло каюты!

Легко было представить себе растерянность и огорчение нашего строгого и непоколебимого в вопросах порядка Сергея Васильевича.

А рядом кто-то травил другую историю:

— Ребята, слышали, как наш стармех начудил? «Челюскин» тонет, а он вошел к себе в каюту, открыл шкаф, посмотрел на свой новенький заграничный костюм, подумал, да и закрыл опять шкаф: куда-де брать костюм на лед, помнется, запачкается. Спокойнее одеть старый!

Наше место даже в Арктике считалось глухим медвежьим углом. Надеяться на быстрое вызволение не приходилось. Отсюда вывод: сделать все необходимое, чтобы не дать стихии прихлопнуть нас, как мух.

Среди нас были плотники, печники, инженеры, и все же строительство ледового городка оказалось нелегким. Мы имели опыт плаванья, опыт дрейфа, опыт зимовок — не было у нас опыта кораблекрушений. Руководствовались по памяти литературными источниками, сокрушаясь при этом, что герои книг находились в

инных ситуациях. Робинзон Крузо, как известно, попал не на ледяное поле, а на тропический остров.

Оглядев утром результаты ночной стройки-молнии, мы поняли: сооружения наши недолговечны. Не откладывая в долгий ящик приступили к их реконструкции.

Ох эти реконструкции! Их пришлось проводить несколько раз. Постепенно палатки, в которых поначалу нельзя было не только стоять, но и трудно сидеть, стали превращаться в каркасные домики с брезентовыми стенами, утепленные снаружи снегом.

Связь стала для нас еще более важным делом, чем на корабле. Вот почему радистов освободили от других обязанностей. Одна задача стояла перед нами: не выпускать из рук незримую нить связи с материком.

Москва, а за ней и весь мир знали о гибели корабля. Сообщение о катастрофе с «Челюскиным» было опубликовано молниеносно. 13 февраля мы затонули, 14-го передали первую телеграмму Шмидта. 15-го полный текст этой телеграммы появился на газетных страницах.

Трагизм сообщения Советского правительства усугублялся тем, что прошло всего лишь недели полторы после тяжкого известия о гибели на стратостате «Осоавиахим» товарищей Федосеенко, Васенко, Усыскина. Не успела утихнуть боль одной невосполнимой утраты, как надвинулась другая...

Борьба за спасение сотни человеческих жизней началась без минуты промедления. Через несколько часов после сообщения Шмидта Валериан Владимирович Куйбышев поручил Сергею Сергеевичу Каменеву созвать совещание и срочно наметить планы организации помощи.

Выбор Куйбышева не был случайным. С. С. Каменев, председатель Реввоенсовета СССР и заместитель народного комиссара по военным и морским делам, на протяжении многих лет занимался Арктикой, хорошо знал ее. Еще весной 1928 года он возглавил инициативную группу, создавшую комитет Осоавиахима по спасению экспедиции Нобиле, а затем по поискам пропавшего без вести Амундсена.

Через год Каменев — председатель комиссии по составлению пятилетнего плана освоения Арктики. В состав комиссии вошли крупнейшие ученые и полярники О. Ю. Шмидт, А. Е. Ферсман, В. Ю. Визе, Р. Л. Самойлович, Н. М. Книпович, Г. Д. Красинский, Н. Н. Зубов и другие. Она стала центром всех дел, таких, как создание Арктического института в Ленинграде, координация деятельности различных учреждений, занимавшихся вопросами Севера...

Если к этому добавить, что под руководством С. С. Каменева были организованы экспедиции Г. А. Ушакова на Северную Землю и экспедиция на «Сибиряке», что С. С. Каменев был большим другом О. Ю. Шмидта, то станет ясно — лучшего помощника себе В. В. Куйбышев выбрать не мог.

По указанию Сергея Сергеевича первые наметки плана спасательных работ составил Георгий Алексеевич Ушаков. Совнарком СССР постановил организовать Правительственную комиссию. Ее возглавил заместитель Председателя Совнаркома В. В. Куйбышев. В состав комиссии вошли наркомвод Н. М. Янсон, заместитель наркомвоенмора С. С. Каменев, начальник Главвоздухфлота И. С. Уншлихт и заместитель начальника Главного управления Севморпути С. С. Иоффе.

Ни минуты промедления! Однако даже для самой авторитетной комиссии десять тысяч километров, разделявшие Москву и лагерь Шмидта, — препятствие серьезное. Решили прежде всего использовать местные средства, сформировав на Чукотке Чрезвычайную тройку под председательством начальника станции Г. Г. Петрова.

Радиограмма из Чукотского моря взволновала миллионы людей. Она появилась на первых полосах «Правды» и «Известий». Рядом с первой радиограммой Шмидта газеты опубликовали постановление Совета Народных Комиссаров СССР «Об организации помощи участникам экспедиции тов. Шмидта О. Ю. и команде погибшего судна «Челюскин».

Найдутся, возможно, скептики, которые скажут, что я взялся не за свое дело: вместо того чтобы подробно излагать то, что видел своими глазами, уделяю

де неоправданно большое место тому, чего, находясь на льдине, разумеется, видеть никак не мог.

Конечно, я видел далеко не все, но моя профессия радиста делала меня свидетелем (точнее, слушателем) многого.

Мы часто говорим «забота партии», «забота правительства», «внимание народа»... Может быть, от неумеренного употребления слова подчас стираются и не всегда доходят до ума, до сердца.

В полной мере сила их, смысл их и значение для советского человека открылись для меня и для миллионов людей в те дни. Как ни странным покажется, но, мне думается, история нашего спасения во всей полноте еще не написана. Сообщения газетных листов так и не перекечевали в книги. Даже превосходно написанный том «Как мы спасали челюскинцев», созданный прямо по горячим следам событий и содержащий множество волнующих подробностей, не в силах претендовать на полноту изложения, так как рассказывает главным образом о подвиге семи летчиков, семи первых Героев Советского Союза.

Подвиг этих людей огромен, и я постараюсь написать о них все что помню, тем более что с некоторыми из них я очень подружился. Отдавая должное этим замечательным людям, оказавшимся на острие атаки, нельзя умолчать и об огромной работе многих других, о стремительных и точных мероприятиях государства, сделавшего все, чтобы этот подвиг свершился.

Перечитывая старые документы, я хочу, чтобы теперь, почти четыре десятилетия спустя, люди среднего поколения — те, что тогда только бегали в школу или только родились, — люди младшего поколения знали о бессмертном подвиге, подвиге не одного человека, не десятка людей, а всего народа, всей страны, пославшей людей на трудную работу и мобилизовавшей тысячи, чтобы выручить эту сотню из беды. Я находился в числе тех, кого спасали. Мой долг рассказать о тех, кто нас спасал. Я считал бы себя неоплатным должником своего народа, если бы не описал всю эту историю, не опубликовал бы большую часть забытых и неизвестных подробностей, связанных с нашим спасением. В Правительственной комиссии и в редакции газет приходило множество писем. Добровольцы отдавали себя в распоряжение комиссии, готовые идти на любой риск, на любые лишения ради нашего спасения.

Затем заработал неслыханный фонтан изобретательской фантазии. Рождалось множество разнообразных проектов, и хотя большинство этих проектов носило в высшей степени утопичный характер, не могу не вспомнить теплыми словами их авторов.

Один советовал сделать около лагеря огромную прорубь, чтобы могла вынырнуть подводная лодка. Другой предлагал оснастить самолеты воздушными шарами диаметром четыре-пять метров. По его мнению, такое комбинированное устройство должно оказаться гораздо безопаснее самолета при посадке на неровный лед. Третий рекомендовал использовать изобретенную им катапульту для облегчения взлета самолетов со льдины. Поток проектов был воистину неиссякаемым: конвейерный канат с корзинами для подъема людей на движущийся самолет, танк-амфибия, шары-прыгуны...

Спасибо вам всем, дорогие друзья. Время сделало свое дело. Из пылких юношей вы превратились, как, впрочем, и я, в людей почтенного возраста, но и сегодня, вспоминая об этих подчас наивных идеях, не надо их стыдиться. Все эти проекты, в том числе и самые невероятные, порождены лучшими чувствами, а потому заслуживают большого уважения...

Итак, первые практические шаги предстояло сделать Чрезвычайной тройке. Положение ее оказалось непростым. Только два вида транспорта — собаки или самолеты — могли стать реальным спасательным средством. Однако в краю, равном по площади двум Франциям, в краю, где жило всего лишь 15 тысяч человек, и самый древний транспорт этих мест, и самый молодой представлены весьма скромно. Чукотка располагала всего лишь четырьмя самолетами. Один из них, «Н-4» летчика Ф. К. Куканова, закончив большую работу по вывозке пассажиров с зазимовавших судов, находился на мысе Северном с поврежденным шасси.

Два «АНТ-4» и «ЮГ-1» летчиков А. В. Ляпидевского, Чернявского и Е. М. Конкина стояли на мысе Уэллен.

История этой группы самолетов, один из которых первым добрался до лагеря Шмидта, заслуживает того, чтобы о ней рассказать. Еще был октябрь, еще «Челюскин» продвигался вперед, когда летная группа во главе с летчиком-наблюдателем Петровым отбыла из Владивостока на пароходе в бухту Провидения. Попытка «Литке» оказать нам помощь потерпела неудачу, и тогда начальник экспедиции Г. Д. Красинский, понимая, что у «Челюскина» мало шансов на спасение, предложил пилотам организовать снятие людей с нашего дрейфующего корабля. Задача оказалась нелегкой, и пока летчики пытались ее решить, «Челюскин» утонул. Эта группа самолетов оказалась ближе всех к месту гибели.

По предложению С. С. Каменева решили приблизить самолеты к нашему лагерю.

Темпы спасательных работ иначе как удивительными не назовешь. Правительственная комиссия не успела довести до местных работников свои решения, а районные партийные и советские организации в Уэллене уже начали действовать. Организовывалась спасательная экспедиция: по льду на нартах с собачьими упряжками до лагеря Шмидта. Экспедицию возглавил метеоролог Н. Н. Хворостанский, начальник полярной станции Уэллен.

Все это стало известно из следующей радиограммы: «Организовали чрезвычайную комиссию, мобилизуем весь собачий транспорт. По предписанию районного комитета партии полагаю завтра выехать во главе организованной экспедиции на собаках навстречу вам. В Лаврентии пурга. С прекращением пурги вылетят самолеты. Жду ваших распоряжений, дальнейших указаний. Хворостанский».

По льду от материка до лагеря около 150 километров, но краткость расстояния относительна, расстояние небольшое, но очень труднопреодолимое.

Вызвать нас на собаках или по воздуху? По этому поводу мнения расходились, и даже осторожный Шмидт, отвечая на радиограмму Хворостанского, поначалу считал его вариант вполне реальным.

«Так как самолетов еще нет,— передавал я Хворостанскому ответ Шмидта,— и наш аэродром может поломать, то, по-видимому, наиболее реальна помощь собачьими нартами, что вы начали готовить. Напоминаю только: необходимо взять с собой навигатора или геодезиста с секстантом, хронометром для определения пути, ибо ваши операции будут очень трудными. Надо сразу мобилизовать возможно больше нартов, в том числе в Наукане, Яндагае и других местах. Лучше выступить позже, но 60 нартами, чтобы закончить дело разом...»

Продиктовав ответ, Шмидт созвал население на общее собрание, одно из самых незабываемых собраний моей жизни. Собралась сотня людей, закутанных с головы до ног и потому подчас просто неузнаваемых. Трибуна — льдина. Главный докладчик начальник экспедиции Отто Юльевич рассказывает обо всем: и о том, что продовольствия хватит на два месяца, о том, что установлена связь с берегом, что готовится санная экспедиция и при первой же возможности к нам полетят самолеты.

Шмидт сообщает о мерах помощи, готовящейся в большом, далеком от нас мире, и формулирует то, что предстоит делать нам. Он говорит об организованности, дисциплине, любви и уважении друг к другу.

Главная идея речи ясна — в выпавших на нашу долю условиях мы обязаны прежде всего остаться настоящими советскими людьми. Арктика знает немало трагедий, в которых смерть победила в результате разброда и разлада между людьми. Это самое страшное, когда расходятся мнения, образуются партии приверженцев того или иного варианта спасения. Грустная участь постигла американскую экспедицию на «Жанетте», погибшей в районе Новосибирских островов. Незадолго до революции произошла трагедия с экипажем затертой во льдах «Святой Анны», когда штурман Альбанов покинул корабль и отправился в тяжелейший двухсоткилометровый поход на юг, к Земле Франца Иосифа. Спокойно, без аффектации Шмидт говорил нам обо всем этом. Такая огромная вера была

у нас в этого человека, что чувство оторванности от всего мира отступило, мы оставались коллективом, который так крепко спаялся за месяцы плавания и авралов.

Положение Отто Юльевича на этом собрании нелегкое. Состав экспедиции выглядел пестро. Среди нас — ученые, не раз побывавшие в Арктике, опытные матросы, люди бывалые, неоднократно попадавшие в передряги, есть и люди сугубо сухопутные. Многие из них выросли и сформировались еще до революции, впитав в себя несколько иное мировоззрение, нежели младшая часть экспедиции.

Заканчивая свои размышления о железной дисциплине, Отто Юльевич вдруг неожиданно жестко сказал:

— Если кто-либо самовольно покинет лагерь, учтите, я лично буду стрелять!

Мы прекрасно знали Отто Юльевича как человека, который не то чтобы стрелять, но и приказания свои отдавал как просьбы. И все же, наверное, следовало сказать именно так, решительно и жестко. Шмидт предельно точно сформулировал самое важное для всех нас: дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина!

Что же касается стрельбы, то она была лишь один раз, когда Погосов убил медведицу с медвежонком, обеспечив нас мясом. Огорченным ушел с собрания кинооператор Аркадий Шафран. Пасмурная погода и недостаток света не позволили ему снять памятный эпизод. Верный своему профессиональному долгу. Шафран занудливо внушал Шмидту, что собрание надо обязательно повторить, только когда погода прояснится. Чтобы не огорчать энтузиаста, Шмидт согласно кивал головой, хотя о повторении не могло быть и речи. Слишком много дел набегало каждый час, чтобы приносить такие жертвы на алтарь киноискусства. Первым из неотложных дел стало сооружение барака. Нельзя было не порадоваться в этих условиях тому, что с нами бригада строителей, так и не попавшая на остров Врангеля. Это были профессиональные плотники, здоровые и крепкие, в руках которых топор так и играл. Мастера своего дела отменные.

Руководил ею инженер-путеец Виктор Александрович Ремов. Аккуратный, предельно вежливый, он уверенно командовал своими подопечными. Еще задолго до гибели корабля Ремов пришлось проявить себя, когда при первой же встрече со льдами наш корабль получил повреждение. Пока я передавал и принимал радиogramмы, в которых Шмидт советовался с Москвой, как поступить — идти дальше или же вернуться, — Ремов со своими плотниками укреплял корабль изнутри.

При погружении корабля были перерублены канаты, державшие строительный материал. Когда «Челюскин», встав дыбом, ушел под лед, большая часть строительных материалов осталась наверху. Правда, чтобы получить это наследство, потребовалась каторжная работа. Торошение продолжалось и после гибели корабля. Доски и бревна в хаотическом беспорядке перемежались с кусками льда. Вытаскивать их из этой каши — дело нелегкое.

Расчистили место, и строители приступили к сооружению барака. Никаких проектов, чертежей, утвержденных в соответствующих инстанциях. Бревна поелико возможно не пилили. Длина бревен и брусов во многом определила размеры барака.

Такая стройка требовала изобретательности и находчивости. Отдел технического снабжения нашей льдины не всегда мог предоставить строителям полную номенклатуру необходимых материалов. Никого не смутило отсутствие оконного стекла. Когда дело дошло до остекления, в ход пустили смывые фотопластинки и бутылки, которые встраивали, прижимая друг к другу, в оконных проемах, а зазоры между бутылками и бревнами конопатили всяким тряпьем, какое только подворачивалось под руку.

Одновременно с сооружением барака чуть в стороне плотники строили камбуз.

Другой не менее важной работой, выпавшей на нашу долю, стало строительство аэродромов. Забота об их изыскании и оборудовании началась задолго до гибели корабля, после того как группу Ляпидевского, Конкина, Чернявского наце-

лили на снятие людей с дрейфующего корабля. Пожалуй, слово «аэродром» звучит чересчур громко для «пяточка» размерами 150 метров на 600, но сил на изыскание и поддержание в надлежащем виде этих «пяточков» требовалось много.

Изыскать аэродром мог человек авиационно грамотный. Работу эту поручили Бабушкину. Каждая новая передвижка льдов — а они возникали здесь часто — превращала гладкие поля в ледяной хаос, меньше всего пригодный для посадки такого тонкого аппарата, как самолет.

Найденные площадки держались недолго. Лед буйствовал и ломал их. Число изыскателей аэродромов нужно было увеличить. Бабушкин подготовил группу людей, которые, разойдясь в разных направлениях, смогли бы в кратчайший срок выполнить поставленную перед ними задачу.

Один из аэродромов, найденный за день-два до гибели «Челюскина», и стал первым аэродромом ледового лагеря.

Этот чертов пяточок находился довольно далеко от нас. По утрам туда отправлялась первая рабочая партия, в середине дня выходила вторая смена.

Адовая работа. Если лед сжимался и его торосило, то образовавшиеся валы приходилось срубать, а затем на фанерных листах-волокушах растаскивать в стороны. Если же возникали трещины, то на тех же волокушах нужно было срочно тащить лед, чтобы законопатить трещины.

Поскольку все время стояли сильные морозы, то на протяжении считанных часов все опять схватывало, и наш пяточок, гордо именуемый аэродромом, снова был готов принимать самолеты. Никто не знал, когда прилетят самолеты, но готовыми к их приему нужно быть каждый день, каждый час. Составили список челюскинцев, строго регламентировавший, кого и в каком порядке вывозить на Большую землю.

Создали специальную аэродромную команду. Она состояла из механиков Погосова, Гуревича и Валавина. Жили наши аэродромщики на своем хуторе. На случай, если бы внезапно возникшие трещины отрезали их от лагеря, они имели аварийный запас питания и сами готовили себе пищу.

С первых же дней делалось все необходимое, чтобы принять руку помощи Большой земли. После гибели «Челюскина» жизнь лагеря на льдине интересовала не только наших родных и близких, но весь мир. Вот почему после тяжелой работы делали свои записи журналисты, набрасывал рисунки художник Решетников, продолжали вести съемку кинооператор Шафран и фотограф Новицкий.

Пресса и кино не обижали нас своим вниманием, но мы обижали прессу. С первых дней нашего пребывания на льдине пришлось очень экономить аккумуляторы — настолько, что ни одной частной радиogramмы не было передано ни в лагерь, ни из лагеря. Никаких исключений! Как мы ни уговаривали Шмидта послать хотя бы пять слов приветя сыну в день его рождения, Отто Юльевич категорически отказался.

Журналисты, оказавшиеся среди нас, скрипели зубами от злости. Шутка ли, сидеть на информации, которую жаждал получить весь мир, и не иметь возможности эту информацию передать! Но иного выхода просто не было.

А там, в Москве, далеко от нас, газетный мир продолжал жить своей привычной жизнью. В редакторские кабинеты вызывали самых опытных, самых умелых, чтобы отправить их поближе к нам, поближе к информации, которую так трудно было заполучить в Москве.

Опыт бывалых редакторов подсказывал: надо пустить вперед асов журналистики. Их ждет большая и очень важная работа.

Пока журналисты точили перья, не имея еще возможности размахнуться во всю ширь, начала свои информационные Правительственная комиссия. Она регулярно публиковала коммюнике, появлявшиеся в печати за подписью Куйбышева. Комиссия стала центром, куда стекалось все, что делалось для нашего спасения.

В первом же сообщении говорилось, что весь обширный арктический аппарат включился в спасательные работы:

«Всем полярным станциям, — заканчивал сообщение товарищ Куйбышев, — предложено вести непрерывное дежурство по приему радиogramм т. Шмидта и

передавать их вне всякой очереди. Полярным станциям восточного сектора предложено четыре раза в сутки давать сводки о состоянии погоды, положении льда и подготовки как транспорта, так и организации промежуточных продовольственных и кормовых баз в направлении от станции к месту нахождения лагеря. Радиосвязь с т. Шмидтом поддерживается непрерывно».

Ввели специальный разряд радиограмм под кодовым названием «Экватор». «Экватор» шел вне всякой очереди, пробивая возможные заторы.

В большом аврале принимала участие вся Арктика. Несмотря на широкий размах, этот аврал был только началом, причем началом с немалыми трудностями...

Старая поговорка «первый блин комом» довольно быстро получила еще одно подтверждение при организации нашего спасения. Сторонники и противники похода к лагерю на собаках недолго спорили. Уже на следующий день после гибели корабля, увлеченный идеей санного броска, Хворостанский мобилизовал 21 упряжку и двинулся в путь с расчетом домобилизовать остальные 39 упряжек по дороге.

Против этого похода очень возражал Небольсин, большой знаток собак и опытный в использовании этого транспорта человек. Не без оснований Небольсин считал поход Хворостанского делом опрометчивым. Мобилизация 60 упряжек грозила оставить чукчей без охоты, а это означало голод.

Хворостанский двигался четыре дня. На пятый день Небольсин догнал собачий караван и передал распоряжение председателя Чрезвычайной тройки Петрова прекратить экспедицию. Одним словом, санный вариант (сидя на льдине, мы об этом ничего не знали) отодвинулся на второй план. На первое место вышла авиация.

Тем временем, пока нащупывалась генеральная линия нашего спасения, жизнь в лагере Шмидта шла своим чередом. Постепенно все становилось на свои места. После общего собрания родилась лагерная газета с гордым названием «Не сдадимся!».

Мы действительно не хотели сдаваться, что сразу же почувствовалось в величайшей творческой активности всех корреспондентов нашей газеты с адресом «Чукотское море, на дрейфующем льду». Хлопотало у газеты много народу, и первый номер (а всего их было выпущено три) вышел на славу.

«Эта газета, выпускаемая в такой необычной обстановке — в палатке на дрейфующем льду на четвертый день после гибели «Челюскина», — является ярким свидетельством бодрости нашего духа. В истории полярных катастроф мы мало знаем примеров, чтобы столь большой и разнохарактерный коллектив, как челюскинцы, встретил момент смертельной опасности с такой величайшей организованностью», — писал в передовой нашей стенгазеты один из ее редакторов Сергей Семенов.

«Мы на льду. Но и здесь мы — граждане великого Советского Союза. Мы и здесь будем высоко держать знамя республики Советов, а наше государство о нас позаботится». Это из статьи Шмидта, опубликованной в том же самом первом номере «Не сдадимся!».

Самые разные авторы, самые разные корреспонденции. Если Федя Решетников нарисовал для газеты картинки, на которых морж, медведь и тюлень требовали от Шмидта предъявления паспорта с пропиской на льдине, а на другом рисунке, не уместаясь по габаритам в палатке, был изображен лежащим на снегу я с радиопередатчиком, то другие авторы опубликовали в той же газете корреспонденции весьма серьезные. «Отдел информации» сообщал об организации Чрезвычайной тройки под председательством Петрова, а «отдел науки» в лице Гаккеля предлагал выжигать и вырезать на всех подпадающих тому предметам надписи «Челюскин», 1934». Гаккель подходил к своему предложению как ученый, считая, что при дальнейшем дрейфе эти деревянные предметы дадут исследователям еще одну порцию информации. Что же касается другого ученого, Хмызникова, то он разразился обстоятельным сочинением о судьбах полярных экспедиций, попадавших в положение, сходное с нашим.

Я не случайно описываю нашу стенную газету с такими подробностями. Мне хочется, чтобы читатель почувствовал сыгранную ею роль.

Вопросам морального состояния обитателей льдины руководство экспедицией и партийная организация уделяли огромное внимание. Сохранить твердость духа в наших условиях было не менее, а скорее более важно, чем физические силы, которых в условиях полярной робинзонады требуется немало.

18 февраля собралось на свое первое заседание партийное бюро. Сохранился протокол, равно как и рисунок Федора Решетникова, изобразившего это заседание в одной из палаток, при свете фонаря «летучая мышь». Вопрос стоял один: «Сообщение О. Ю. Шмидта».

«О. Ю. Шмидт, — написано в протоколе, — начинает с того, что с большой гордостью отмечает организованность, дисциплину, выдержку и мужество, проявленные всем коллективом челюскинцев в момент катастрофы. Очень разнообразный по своему составу коллектив тем не менее показал себя сплоченным в ответственной момент экспедиции».

Шмидт квалифицировал такое поведение коллектива как акт высокой сознательности, объяснив его в значительной степени той работой, которую проводила партийная организация экспедиции. Еще до выхода «Челюскина» в море Шмидт обратился в Ленинградский транспортный институт с просьбой выделить группу студентов старших курсов, голловых, честных и инициативных коммунистов, которые стали бы партийным ядром экспедиции. Пожелание Шмидта удовлетворили, и в состав нашей экспедиции попал ряд хороших, умных и энергичных людей, для которых поход стал не только отличной производственной практикой, но и серьезным жизненным экзаменом.

После гибели корабля коммунистов распределили по всем палаткам лагеря для поддержания бодрости духа и дисциплины.

Не следует думать, что все с первого до последнего дня дрейфа протекало безупречно гладко. Случались и у нас срывы, умалчивать о которых нечестно. Хотя были они так ничтожно малы и случались так редко, что иной начальник просто предпочел бы закрыть на них глаза, чтобы «не портить общего впечатления», но не таков был Шмидт, не так смотрели на дело члены партийного бюро. Вот почему заседание партийного бюро, происшедшее 18 февраля 1934 года, оказалось бурным и страстным.

Один-два человека при разгрузке тонущего «Челюскина» отдали предпочтение личным вещам по сравнению с экспедиционным имуществом, которое для блага дела следовало спасать прежде всего. Другие два человека при погрузке продуктов прихватили по паре банок консервов, которые, впрочем, без звука возвратили в общий котел по первому же требованию. Ну и, наконец, последнее ЧП случилось в день самого собрания. В ожидании самолета Ляпидевского, который, к слову сказать, в тот день так и не сумел прорваться к лагерю, один из участников похода пытался переправить на аэродром свой заграничный патефон, которым очень дорожил, чтобы вывезти его на Большую землю.

Каждый факт сам по себе невелик, но тенденция выглядела до крайности опасной. Вот почему, не сговариваясь друг с другом, члены партийного бюро требовали суровых мер, и когда Шмидт предложил организовать над провинившимися «суд палатки», его предложение, несмотря на высокий авторитет нашего начальника, отвергли.

Наказали их иначе. В здании барака, где происходил товарищеский суд, собрались все члены экспедиции. Провинившимся было стыдно. Самый суровый приговор вынесли владельцу патефона: «При первой же возможности выслать самолетом в числе первых».

Ничего похожего за трудные два месяца существования ледового лагеря в нашей жизни больше не повторялось.

Палатки поставили так, что вскоре пришлось заниматься их реконструкцией. Штабная палатка, в которой размещалась радиостанция, не явилась исключением.

Облик палатки с белоснежной лапшой инея, с низко провисшим потолком прочно врезался в память.

Шмидт поначалу поселился отдельно, в крохотной палаточке, которая путешествовала с ним в альпинистских походах по Памиру, но его одиночество оказалось недолгим. Начальник экспедиции решил жить вместе с нами, радистами, чтобы ощущать ту ниточку связи, что находилась в наших руках. К тому же у нас было теплее.

Несколько слов о нашей штабной палатке. Она отнюдь не выглядела эдаким палаццо. На полу набросаны брезенты, какие-то тряпки, на них положена фанера. О том, чтобы встать в полный рост, и думать не приходилось. Посетители вползали согнувшись, а разогнуться уже не могли. Так на коленях и приползали к Шмидту для докладов. Зрелище неповторимое! Отто Юльевич (вспомните его легендарную бороду) сидит по-турецки и слушал коленапреклоненные доклады, словно какой-то восточный владыка, по какому-то недоразумению перекочевавший из роскошного дворца в скверненькую холодную палатку.

Поскольку на льдине предстояло провести явно не один день, проблема сносного быта стала жизненно важной проблемой. Каждая палатка — а сбились в палаточные коллективы люди, главным образом, по профессиональным признакам, образовав сообщество научных работников, кочегаров, машинистов, матросов, — старалась обогнать соседей в удобстве бытия. Чем удобнее жить, тем легче работать.

Палатки ставили на деревянные каркасы и несколько вкапывали в лед, чтобы уменьшить выдувание самого драгоценного — тепла. В некоторых палатках появилась даже возможность стоять в полный рост, иным удалось даже соорудить двухкомнатные жилища, и, наконец, — это было нашей гордостью — выросло самое монументальное здание — наш знаменитый барак, куда немедленно переселили слабых, больных, женщин и детей.

Строители воздвигали для камбуза крытое помещение, механики изготавливали кухонное оборудование: из двух бочек и медного котла скомбинировали устройство, которое один из челюскинцев назвал союзом суповарки и водогрейки. Название точное. После того как топливо отдавало тепло суповарке, продукты сгорания уходили в дымоход, растапливая по пути лед и приготавливая необходимую пресную воду. Так постепенно накапливался опыт, заметно облегчивший наше существование.

Возникла угроза — недостаток топлива. Двадцати мешков с углем не могло хватить надолго. Решили и эту проблему.

Сознаю, сколь банально звучит определение «золотые руки», но другого не могу подобрать для характеристики Леонида Мартисова. Как старый «кастрюльщик», перепахавший и перечинивший много всякой рухляди в годы военного коммунизма, я смог оценить по достоинству его мастерство.

Первая проблема, с которой столкнулся Леонид Мартисов и его помощники, — отсутствие инструмента. Пока они размышляли, где добыть инструмент и материал, лагерь требовал продукции. Времени для поисков и размышлений практически не оставалось.

Артистическое владение профессией позволило Мартисову, быстро приспособившись к обстановке, выполнить и это и многие другие задания. Редкостный талант. Он делал все из ничего. В ход шли части раздавленных шлюпок вместе с неработающими моторами.

Мартисов брал медную трубку. Иголкой, так как другого инструмента у него просто не было, пробивал несколько дырочек. Получалась самодельная форсунка. Через эту самодельную форсунку топливо из бочки с горючим текло в камелек, маленький чугунный камелек, какие обычно ставят в товарных вагонах при перевозке людей.

Появление отопительной системы меня очень обрадовало — радиоаппаратура боялась холода.

Находилась она в архиплохих условиях. У задней стенки палатки был сделан узенький столик, сколоченный из неструганных досок. Под столом аккумуляторы, на столе передатчик и приемник. Сверху спускался на проволоке керосиновый фонарь.

Стол — священное место, и я свирепо огрызался, если кто-нибудь осмеливался ставить на него кружки с чаем или консервные банки.

Радиоаппаратуре досталось значительно больше того, что предусматривали ее проектные возможности. Ночью температура падала ниже нуля. Утром, когда загорался камелек, аппаратура потела. Удивительно ли, что она порой бастовала.

Приходилось осторожненько разбирать приемник и сушить его потроха. В такие минуты разговаривать со мной не рекомендовалось. Я походил на бочку с порохом. Шмидт наблюдал за моими деяниями молча, ни единым словом не прерывая моих сердитых «внутренних» монологов. Конечно, я очень ценил чуткость Отто Юльевича.

Спал я рядом с аппаратурой, прикрывая телом бесконечные провода и проводочки. С не меньшим старанием берег я и радиоаппаратный журнал, куда записывались все исходящие и входящие радиogramмы. Журнал хранился у меня под головой как документ секретный, требующий круглосуточной охраны. Некоторые новости, поступавшие извне, не подлежали широкому опубликованию: ведь многочисленные предприятия по нашему спасению не всегда проходили гладко, и если приятные вещи тотчас же шли в широкое обращение, то о временных неудачах Шмидт иногда предпочитал умалчивать.

Как существует врачебная тайна, так и для нас, радистов, существовала тайна корреспонденции, особенно такой острой, как переписка по организации нашего спасения.

День начинался рано. По установленному порядку вставать надо было в шесть утра. Это был час первого разговора с Уэлленом. В половине шестого, ежась от холода, поднимался Сима Иванов. За ночь температура в палатке обычно падала и к утру мало отличалась от наружной. Иванов разжигал камелек, ставил на огонь самодельное ведро с кусками льда. Вторым за три-четыре минуты до шести вскакивал я. Сразу же садился за передатчик. Уэллен ждал. Вызовы повторять не приходилось.

Постепенно пробуждались все остальные, и в палатку начинали врываться последние известия лагерной жизни. Воронин докладывал Шмидту о видимости, состоянии льда, трещинах и торосах. Комов представлял сводку погоды. Бабушкин сообщал аэродромные новости. Хмызников приносил новые координаты. Одним словом, поток информации разрастался и, достигнув максимума, снижал.

В полдень повара кормили обедом. Ожирение не грозило нам. Обед обычно состоял из одного блюда. В ход шли консервы и крупы.

В три часа завхоз начинал выдавать сухой паек на следующий день — сгущенное молоко, консервы, чай, сахар и 150 граммов галет.

В 4 часа 30 минут в палатку подтягивался весь штаб экспедиции. С материка шли тассовские сводки, передававшиеся специально для нас. Из них мы узнавали все новости — международные, общесоюзные и новости по организации нашего спасения.

18 февраля во втором сообщении Правительственной комиссии говорилось: «Принимаются меры по отправке в бухту Провидения дополнительно двух самолетов из Камчатки и трех из Владивостока, что обычно связано в это время года с очень большими трудностями».

Вечерами — неизменное домино. Шмидт, Бобров, Бабушкин, Иванов занимали всю палатку, и мне оставалось лишь одно — «отправляться в гости». Выглядело это так: я забирался в одну из палаток, выискивал свободное место и тут же засыпал.

Иногда заглядывал в палатку научных сотрудников. Там играл патефон. В скучно освещенной палатке, среди заросших дикими бородами чумазых жителей лагеря раздавался такой необычный здесь голос Жозефины Беккер.

Все это происходило в тихие, нелетные дни. В летные «ходить в гости» не удавалось. Я и обедал урывками между двумя переговорами, часто не снимая наушников с головы. Связь требовалась каждые четверть часа, до позднего вечера или до того, когда с берега сообщали, что вылет откладывается. Случалось, что

нам сообщали о вылете самолета. Женщины и дети одевались и шли к аэродрому, но тут же поступал отбой: самолет вернулся.

Будущий Герой Советского Союза номер один Анатолий Васильевич Ляпидевский рвался к лагерю, но пробиться было непросто. Трудностей хватало не только у Ляпидевского... В Петропавловск-на-Камчатке полным ходом шел пароход «Сталинград», чтобы, погрузив на борт самолеты, продвинуть их предельно далеко на север. Во Владивостоке грузился углем, продовольствием, арктическим имуществом и самолетами другой пароход — «Смоленск», на котором отправлялись в путь Каманин и Молоков. В Америку для закупки самолетов «Консолидейтед Флейстер», которым также предстояло включиться в спасательные работы, выехал полномочный представитель Правительственной комиссии Г. А. Ушаков с летчиками С. А. Леваневским и М. Т. Слепневым. Одновременно нашему полпреду (как называли тогда послов) в Соединенных Штатах Трояновскому послали указание: приложить все усилия, чтобы облегчить Ушакову быстрые и эффективные переговоры.

Размах спасательных операций привлек к себе большое внимание зарубежной прессы. «Дело спасения», — писала английская газета «Дейли телеграф», — будет находиться в прямой зависимости от выносливости пострадавших и той быстроты, с какой спасательная экспедиция сможет до них добраться. Пока обе стороны сносятся по радио». Немецкая газета «Берлинер тагблат» информировала своих читателей категоричнее: «У них хватит пищи, чтобы прожить, но долго ли они будут жить?» Ей вторила другая фашистская газета, «Фольксштимме»: «Кажется, следует ожидать новой арктической трагедии. Несмотря на радио, на самолет и другие достижения цивилизации, в данное время никто не может помочь этой сотне людей в течение всей арктической ночи, если природа не придет к ним на помощь — они погибнут».

Нет, природа не спешила прийти на помощь. Скорее наоборот. Ветры, морские течения делали наше существование весьма неустойчивым. Лишь в первые дни природа несколько щадила нас, но мы понимали — продлится это недолго.

Уже через неделю, 21 февраля, выяснилось, сколь зыбок фундамент лагеря.

Неприятности начались с утра. Первыми заметили их те, кто пришел разбирать лес, всплывший на месте гибели. Трещина шириной 15—20 «антиметров», открывшаяся глазам собравшихся, выглядела внешне безобидной. Примерно часов в 10 утра раздался треск. Океан пошел в атаку, и трещина побежала туда, где ее меньше всего ждали, — прямехонько к лагерю. Первым подвергся нападению лес, с таким трудом выловленный из ледяной воды. Трещина прошла прямо под бревнами, и они начали снова падать в воду. Пришлось срочно оттащить их от краев. Под угрозой гибели оказался склад продовольствия. Защиту его организовали мгновенно, перебросив в жарком аврале продукты подальше от опасной трещины. Рухнула стена камбуза. Трещина, прошедшая через территорию лагеря за время его существования, смыкалась и размыкалась более двадцати раз.

...Появились первые сообщения о подготовке к походу ледореза «Литке» и ледокола «Красин». Оба корабля, изрядно истрепанные полярной навигацией, требовали серьезнейшего ремонта. К тому же «Красин» находился в доках Кронштадта, и для того, чтобы оказать нам помощь, ему предстояло совершить кругосветное путешествие. Тогда мы этого не знали, но позднее стало известно, что Валериан Владимирович Куйбышев обратился к Сергею Мироновичу Кирову, возглавлявшему ленинградскую партийную организацию, со следующей телеграммой:

«В Ленинграде стоят на ремонте ледоколы «Ермак» и «Красин». Положение экспедиции Шмидта таково, что окончательное спасение всего состава экспедиции может растянуться в связи с дрейфом льдов до июня и дальше. Если принять меры к срочному ремонту «Ермака» и «Красина», то они смогли бы сыграть решающую роль в деле спасения Шмидта и ста человек его экспедиции... Прошу детально ознакомиться с этим делом и поднять на ноги всю партийную организацию и массы рабочих для срочного ремонта «Красина», имея в виду, что, быть может, от этого будет зависеть спасение героев Арктики».

По поводу этого шага Правительственной комиссии президент Академии наук

СССР, председатель Полярной комиссии А. П. Карпинский писал: «Если до наступления тепла не все челюскинцы будут доставлены на берег, «Красин» забрет тех, кто останется на льду. Посылка «Красина» — мудрая страховка на этот случай».

Рабочие доков — и коммунисты и беспартийные — поняли, какая ответственность ложится на них. Закипела жаркая работа, ставшая еще одной гранью того великого подвига, который осуществила страна.

27 февраля Шмидт получил радиограмму.

Все собрались вечером в бараке. Со всех сторон вопросы:

— Эрнст, что случилось, почему нас собрали?

— Есть кое-какие новости. ТАСС подготовил специальный обзор «Сводка ТАСС для челюскинцев»...

Отвечал как можно равнодушнее, чтобы усилить эффект сюрприза, но наши пронизательные пинкертоны догадываются:

— Старик, ты что-то темнишь!

Развожу руками, пытаюсь перевести разговор на другие темы — не отступают. В этот момент в барак входит Отто Юльевич, и разговоры прекращаются. Уф! Можно наконец вздохнуть спокойно.

Шмидт зачитывает несколько телеграмм о подготовке авиационных дел, затем о ходе ремонта «Красина» и наконец самое главное, из-за чего был собран коллектив:

«Лагерь челюскинцев, Полярное море, начальнику экспедиции Шмидту. Шлем героям-челюскинцам горячий большевистский привет. С восхищением следим за вашей героической борьбой со стихией и принимаем все меры к оказанию вам помощи. Уверены в благополучном окончании вашей славной экспедиции и в том, что в историю борьбы за Арктику вы впишете новые славные страницы.

**Сталин, Молотов, Ворошилов, Куйбышев,
Орджоникидзе, Каганович».**

Раздается такой взрыв аплодисментов, такое дружное «ура», что, кажется, закачались даже стены барака.

Затем полетел в эфир наш ответ:

«Полярное море, 28 февраля. С непередаваемым восторгом экспедиционный состав и экипаж «Челюскина» заслушали приветствие руководящих членов ЦК ВКП(б) и правительства...»

В лагере челюскинцев, на льду, не ослабла энергия. Мы знаем, что наше спасение организуется с истинно большевистскими энергией и размахом, мы спокойны за свою судьбу, но не сидим без дела. Насколько возможно, продолжают научные работы, упорно строим и улучшаем наш лагерь, чтобы пребывание на льду было достойно советской экспедиции...»

Строительство аэродромов — главное дело. Требовало оно бездну сил. Все прекрасно понимали: в любой час надо быть готовыми к приему самолетов.

Работа тяжелая. Усилий аэродромной команды в составе Погосова, Гуревича и Валавина явно не хватало. Расчистка аэродрома входила в обязательное трудовое расписание всего личного состава.

Океан играл с нашей льдиной, то сжимая, то отпуская ее. Трещины срочно конопатили снегом и льдом, чтобы они поскорее смерзлись, торосы срубали. В связи с опасностями, порожденными трещинами, решили перевести на аэродром наш самолет.

Четыре километра нелегких дорожных работ. Чтобы открыть путь огромным саням, на которые погрузили «шаврушку», челюскинцы срубили ропаки, а затем, впрягшись в бурлацкие лямки, потащили амфибию к летному полю. Два с половиной часа тяжелой работы открыли возможность двум людям, Валавину и Бабушкину, покинуть наш лагерь. Они благополучно долетели до мыса Ванкарем на «английских булавках» и могли гордо сказать, что были единственными челюскинцами, которых никто не спасал.

Погосов застрелил медведицу с медвежонком, обеспечив нас свежим мясом — продуктом, которого явно не хватало.

К слову сказать, для одного из челюскинцев это событие обернулось большой неприятностью. Полярники знают, как опасна печень белого медведя, и лучше ее не есть. Иногда люди заболели, а иногда, как говорят медики, наступал летальный исход. Белопольский слушал эти рассказы и посмеивался. Наш юный самоуверенный биолог считал их сказками, и когда Погосов подстрелил медведицу, Белопольский, чтобы доказать, как побеждаются предрассудки, съел печень. Последствия оказались пренеприятнейшими. Белопольский пожелтел — тело его приобрело ярко-желтый цвет, с лица, рук, спины лохмотьями стала слезать кожа. Сильнейшее отравление.

Больных, равно как женщин и детей, надо было вывозить в первую очередь. Однако составление списка очередности на посадку оказалось делом хитрым и деликатным. С большой обидой пришли наши женщины к Шмидту:

— Отто Юльевич, почему намечено нас всех отправить в первую очередь? А где конституция, где равноправие?

— Дорогие женщины, все же разумнее будет переправить вас на материк в первую очередь. Не обижайтесь, возьму уж этот грех на свою душу.

Во вторую очередь попали больные и пожилые люди, затем все остальные.

Слушая сообщения с Большой земли, мы понимали, что не за горами день, когда мы примем на нашем аэродроме первый самолет.

Теперь лагерь жил уже более или менее устоявшейся жизнью.

Рассказ был бы неполным, если не сказать о роли Шмидта как главной фигуры в жизни лагеря. О чем только не беседовал с нами наш начальник! Он читал лекции о диалектическом материализме, о германском империализме, о возникновении итальянского фашизма, политические и философские доклады чередовались с рассказами о скандинавской мифологии, творчестве Гейне, истории монашества в России... Одним словом, всего не перечтешь. В списке, составленном моим соседом по палатке Володей Стахановым, значилось около сорока тем, которых касался Отто Юльевич.

Шмидт любил играть в домино и преферанс. Партнеры набивались в нашу малюсенькую палатку, садились по-турецки, вместо стола — фанерный лист. Игроки зверски мешали моей работе по связи, и я их ненавидел тихой ненавистью. Видно, с тех пор на всю жизнь остался я непримиримым врагом козлогонов и преферансистов.

Библиотека не могла похвалиться изобилием. Немногие книги (удалось спасти лишь несколько штук) шли нарасхват. Одна из них читалась вслух и по многу раз, неизменно доставляя аудитории огромное удовольствие. Томик Пушкина кочевал по палаткам, принося нам высокое художественное наслаждение. Особым успехом пользовался «Медный всадник» Описание наводнения, вероятно, ассоциировалось с горестями и невзгодами, выпавшими на нашу долю.

Заканчивался очередной день. Мы расползались по своим мешкам, надеясь тайне, что завтра, быть может, прилетит самолет.

Томительные ожидания скрашивались передачами из Уэллена. Вела их наша славная милая Людочка. Из окна ее радиостанции был хорошо виден аэродром. И вот с утра начиналось...

В семь часов Люда сообщала: «Один мотор запущен». Через полчаса: «Запущен второй мотор...» Еще через несколько минут: «Один мотор как будто работает плохо». Еще через четверть часа: «Один мотор стал давать перебои и остановился. Второй летчики остановили сами. Слушайте нас через час...»

Через час все начинается сначала. Люда радостно сообщает: «Опять пущены моторы. Самолет рулит по аэродрому, делает пробежку...» Затем Людочка неожиданно скисает: «Ах нет, подождите! Почему-то он остановился...»

Почему остановился, Люда не знает. Аэродром далеко. На радиостанцию никто не приходит. Люда может радировать только о том, что видит. Неожиданно ее известие звучит как выстрел:

— Самолет пошел в воздух... Скрылся из виду...

В лагере радость. Очередная партия собирается на аэродром. Назначаем еще один разговор с Узленом — не вернулся ли самолет?

Минуты, часы ожидания, сомнений, надежд. И наконец известие: самолет возвратился обратно.

Так происходило двадцать восемь раз.

Двадцать восемь безуспешных попыток сделал Ляпидевский, стремясь пробиться к нам.

Ожидания выматывали. В эти дни особенную признательность испытывали мы к Люде с ее постоянной готовностью помочь нам насколько у нее хватало сил.

Без особых наших просьб сообщала она все новейшие сведения. Ей, бедняжке, приходилось на своих плечах выносить всю тяжесть немислимой нагрузки: в иные дни ей приходилось работать с двенадцатью радиостанциями. Урывками спала она, втиснувшись со своим тощим матрасиком между печкой и радиопередатчиком на станции, — времени ходить домой не оставалось.

Наконец наступил день, которого мы так долго ждали. Термометр показывал около сорока, когда вскоре после обычной информации о сборах и вылете, которую передавала Люда, на сигнальной вышке появился флаг, означавший: к нам летит самолет.

Вышка — семи-с-половиной-метровое сооружение, воздвигнутое на шестиметровом торосе. Использовалась она для наблюдений и сигнализации. В холодное утро 5 марта вышка сообщила: летит самолет!

Процессия женщин и детей двинулась к аэродрому. В воздухе показалась большая тяжелая машина Туполева «АНТ-4». Радостный крик. Самолет пошел на посадку. Все рванулись вперед к аэродрому, и... огромная льдыня длиной в несколько километров и шириной метров в 20—26 преградила дорогу.

Спихнули в воду большую глыбу льда, чтобы переправиться на ней как на плоту, но попытка оказалась неудачной — смельчак принял ледяную ванну.

Легко представить наше огорчение. Загрустил и я: как манну небесную ждал самолета с аккумуляторами.

Конечно, неожиданную водяную преграду преодолели: на рысях доставили шлюпку-ледянку. Женщин с детьми доставили к самолету, а я получил столь дорогие для меня аккумуляторы.

К нам наконец приблизился молодой летчик, комсомолец Анатолий Ляпидевский. Это был трудный полет. В хаосе ледяных глыб и ропаков искать лагерь с воздуха не легче, чем иголку в стоге сена. От мороза запотевали летные очки, и Ляпидевский прилетел в пыжиковой маске, защищавшей лицо, но ухудшавшей видимость. По его признанию, такой маленькой площадки—450×150 метров — он в своей летной жизни не видел. Тяжелую машину Ляпидевского удалось посадить на наш ледовый аэродром только благодаря великолепному мастерству пилота, добытому упорной тренировкой. Взлетая со своего аэродрома, он обозначал сигнальными флажками крохотный пятачок, на который и садился многократно.

Появление Ляпидевского в лагере Шмидта сразу же ввело его в число лучших полярных летчиков мира, и мир требовал подробностей о нем. Но... журналисты располагали на этот счет скудной информацией, не говоря уж о невозможности взять у летчика интервью.

Привожу рассказ репортера «Правды» Льва Хвата, как он добывал нужный материал:

«Вскочил в «газик», спешу в Аэрофлот. Занятия давно кончились, но где-то на четвертом этаже застаю сотрудника отдела кадров. И вот у меня в руках тоненькая папка: «Краткая автобиография пилота А. В. Ляпидевского». Заглядывая в листок, диктую по телефону редакционной стенографистке:

«Летчику Анатолию Васильевичу Ляпидевскому двадцать пять лет... Да, да, только двадцать пять... Абзац. Он родился в 1908 году, в семье учителя. Двенадцати лет ушел на заработки в станицу Старощербинскую на Кубани, почти четыре года батрачил. Осенью 1924 года переехал в город Ейск, там вступил в комсомол. Больше года работал на маслособойном заводе. Районным комитетом комсомола был направлен в авиационную школу... Записали? Продолжаю Абзац. В 1929 году

Анатолий Ляпидевский успешно окончил школу морских летчиков. Был оставлен инструктором в авиашколе имени Сталина. Опять абзац. В марте 1933 года перешел на службу в Гражданский воздушный флот. Работал на авиалиниях Дальнего Востока, затем переведен в полярную авиацию. Записали? У меня пока все...»

С Ляпидевским в дальнейшем у нас сложились отличные отношения. Толя — милый, душевный и на редкость доброжелательный человек. Хорошо помню, как через пять лет после нашего спасения, в 1939 году, мы получали с Ляпидевским Золотые Звезды Героев Советского Союза. Дело в том, что звание Героя Советского Союза учреждено 16 апреля 1934 года, а знак отличия — Золотая Звезда — появился в 1939 году. На обороте ее имеется очередной номер. Когда мы вышли из ворот Спасской башни на Красную площадь, я сказал:

— Толя, ты только подумай, Звезды будут получать еще тысячи людей. Все они, разглядывая номер на оборотной стороне, станут вспоминать тебя, потому что на твоей звезде номер первый.

Ляпидевский улыбнулся и промолчал. Моя возвышенная тирада его явно смущала, как видно, смущало его и плотно приставшее к нему прозвище «дамский летчик». Прозвали его так потому, что он вывез из лагеря десять женщин и двух маленьких девочек. Но не только потому. Я не в силах описать то внимание, которым одарила Героя номер один прекрасная половина рода человеческого. По слухам, письма и нежные записки носили нашему Толе чуть ли не бельевыми корзинами.

Меня обуревала черная зависть.

Но вернусь к первому прилету в лагерь Ляпидевского.

На следующий день «Правда» сообщила об этом скромно и коротко. Одновременно появилось сообщение Правительственной комиссии:

«Комиссия решила дополнительно отправить в Уэллен через Владивосток известного летчика Болотова с самолетом «Т-4», имеющим небольшую посадочную скорость. До Владивостока Болотов проследует поездом, а дальше на пароходе».

Летчик Ф. Е. Болотов имел редкий по тому времени опыт, опыт трансатлантического перелета в Америку через Тихий океан.

Этот неуловимый перелет произошёл еще в 1929 году на самолете «АНТ-4» «Страна Советов». Первый пилот С. А. Шестаков, второй — Ф. Е. Болотов, штурман Б. В. Стерлигов и бортмеханик Д. В. Фуфаев пролетели над всей страной, затем над Тихим океаном. Последнюю часть пути пролетели на одном моторе, так как второй вышел из строя.

Вот этот драгоценный опыт Болотов и должен был обратить на спасение челюскинцев.

8 марта в «Правде» появилось сообщение о том, что на Аляске Гарри Блонт, арктический летчик общества воздушных сообщений «Пацифик Аляска эйрус», намерен вылететь на помощь челюскинцам. Я не случайно упоминаю об этом. В те времена советские полярные летчики не раз выручали американских коллег. В те же дни, когда отправился в плавание «Челюскин», потерпел аварию при попытке совершить кругосветное путешествие американский пилот Маттерн. На помощь ему немедленно вылетел С. А. Леваневский, доставивший американца на Аляску. Погибшего Эйльсона разыскал другой наш полярный пилот — М. Т. Слепнев.

Не удивительно, что американцы, не принимавшие участия в спасении экспедиции Нобиле, горели желанием оказать помощь челюскинцам. Кое-что даже сделали, о чем речь впереди.

Эвакуация женщин и детей оказалась на редкость своевременной. Спустя сутки новая трещина, словно по злому расчету, прошла точно под жилым бараком и разорвала его пополам.

Произошло это ночью. Тревога...

Сжатие объявило о себе скрипом. В крошечной тьме этот скрип действовал угнетающе. Сначала казалось, что где-то визжит щенок, потом лай собаки. Шумы нарастали. И обиженный щенок и взрослый пес подавали голоса все громче и громче. Иногда звуки перемежались ударами. Удары становились все ближе и ближе...

Это означало, что надвигающийся вал выжимает льдины и они, оказавшись на гребне вала, не удерживаясь, падают вниз, ломая двухметровый лед. Тупо и неодолимо двигался разрушающий, не знающий пощады вал. Он рос. Гребень его достигал пяти-шести метров. Падающие льдины заставляли дрожать все ледовое поле.

Внезапно сплошная темень осветилась каким-то таинственным сине-зеленым светом. Его излучал изнутри ледяной вал, похोдивший в эти мгновения на исполнинский бриллиант. Мы сообразили, что вся эта феерия происходит не без нашего участия. Горели спички. Спички, как и положено в полярных экспедициях, имели морскую упаковку — деревянный ящик, обшитый белой жестью с тщательно пропаянными швами. В эту тревожную ночь ящик со спичками попал в ледяную мясорубку и где-то глубоко загорелся, у самой подошвы ледяного вала.

Пиротехническими эффектами дело не ограничилось. Под баракom возникла трещина и начала расходиться. Не теряя драгоценных секунд, жители барака начали, как говорится в милицейских протоколах, «освобождать помещение». Того гляди трещина, расширяясь, грозила превратить барак в грудy обломков и сделать его непригодным для жилья, если бы не сметливость плотников. Строители не растерялись и успели перепилить стены. Барак распался на две половины, как театральная декорация.

Одну из половин зашили досками и приспособили к жилью. Аэролог Шпакoвский, доктор Никитин некоторые другие челюскинцы поселились в этом укороченном доме, на берегу трещины, через которую тут же перебросили мост в виде пары досок.

В один из дней меня неожиданно вызвала Люда:

— Кренкель, ты давал сейчас SOS?

— Нет, а в чем дело?

— Сейчас какой-то американец давал твоими позывными SOS и знак вопроса. Я вызвала его, он ждет, я решила немедленно запросить тебя.

— В лагере все спокойно. Никаких сигналов бедствия никто не давал. Поблагодари американца за внимание, но скажи ему, что чрезмерная услужливость опасна!

Карта, опубликованная 9 марта на страницах «Правды», свидетельствовала о напряженности работы Правительственной комиссии. Выглядела карта оперативной сводкой с холодного, морозного ледяного фронта.

Со всех сторон нацеливались на лагерь Шмидта самолеты. С парохода «Смоленск» — Каманин, Молоков, Пивенштейн, Бастанжиев, Фарих, с парохода «Сталинград» — Шостов и Шурыгин, из Хабаровска — Водопьянов, Голышев и Доронин, с Уэллена — Ляпидевский, Чернявский, Конкин, с Аляски — Леваневский и Слепнев. Это было наступление, и если даже предположить, что при нем неизбежны потери, а они и в самом деле неизбежны, то все равно такое массовое применение авиации выглядело многообещающе.

Еще сообщалось: «Правительственной комиссии дано распоряжение направить во Владивосток для погрузки на подготавливаемый к походу на Север третий пароход, «Совет», четверо аэросаней».

Через неделю новая карта выглядела еще внушительнее. Далеко на север продвинулись пароходы «Смоленск» и «Сталинград». Готовился к выходу из Владивостока «Совет». Заканчивался ремонт ледореза «Литке» и ледакола «Красин». От Москвы на восток спешили аэросани и самолеты. На побережье на собаках везли грузы и бензин.

За каждым изменением карты-сводки скрывался напряженный труд сотен людей.

— Срочный ремонт «Красина», — заявил журналистам директор Балтийского завода товарищ Попов, — небывалый факт в истории судостроения. Рабочие завода выполнили все работы по встречному плану в восемнадцать дней вместо нормального срока в четыре месяца. За работу в такой же срок одна английская судостроительная компания запросила миллион рублей золотом.

Предстояло готовиться к встрече самолетов. Делать ставку на один аэродром было опасно.

Наконец отыскался Ляпидевский, пропавший несколько дней назад и не подававший о себе вестей. Чего только не передумали мы за эти дни, но теперь стало известно: самолет на льду у острова Колючина, сломано шасси, но люди целы и невредимы.

Подготовку аэродромов вели по очереди три бригады. Их возглавляли боцман А. А. Загорский, гидробиолог П. П. Ширшов, мой товарищ по экспедиции на Северный полюс, и машинист А. С. Колесниченко. Инструмент небогатый — лом, лопаты, трамбовки да фанерные листы-волокуши.

Мы уложились в сроки, поставленные Шмидтом. За четыре дня восстановили аэродром номер один, с которого увезли женщин и детей и после того разрушенный натиском льдов. Простоят ли? Гарантия могла быть только одна — обилие запасных площадок. Бригады расчищали новые площадки. Продвижение спасательных отрядов происходило куда медленнее, чем хотелось и нам и пилотам. Летчики сталкивались с неслыханными трудностями.

В последней декаде марта внимание всего мира приковали к себе летчики. Решено было использовать для спасения челюскинцев и дирижабли, те самые, про которые я уже написал, наверное, даже больше, чем они того заслуживали. Несмотря на то, что по поводу возможности применения дирижаблей на Севере написано великое множество бумаги, история Арктики насчитывала всего лишь три рейса дирижаблей. В 1926 году над полюсом пролетел на «Норге» великий Амундсен, в 1928-м произошла катастрофа с дирижаблем «Италия», летевшим под командованием Нобиле, в 1931 году состоялась международная экспедиция на «Графе Цеппелине», в которой принимал участие и я.

Словом, опыт невелик. Но Правительственная комиссия не сочла себя вправе отвергнуть и те немногочисленные шансы на вызволение челюскинцев, которые могли принести дирижабlistы. Во второй половине марта появилось сообщение о том, что из Владивостока в бухту Провидения отправлено два дирижабля. В эту группу дирижабlistов включили самых лучших специалистов. Возглавил ее Э. К. Бирнбаум, один из участников полета на стратостате «СССР-1». Командиры корабля «В-2» — Оппман и Суслов, командиры второго дирижабля, «В-4», — Померанцев и Гудованцев. В число воздухоплателей, движущихся к нам на помощь, вошел и мой старый товарищ и попутчик по экспедиции на «Графе Цеппелине» Федор Федорович Ассберг.

Комментируя возможности этого отряда, известный воздухоплатель Прокофьев, командир стратостата «СССР-1», сказал:

— Дирижабль «В-2» может быть использован непосредственно для полетов в лагерь Шмидта, дирижабль «В-4» — для обслуживания нужд всех экспедиций и, наконец, служить хранилищем газа для дирижабля «В-2». Газовая установка и запас химикатов обеспечивает работу экспедиции в течение нескольких месяцев...

Сообщение о дирижаблях, которые, по мнению многих, способны повисать над нужной точкой и брать пассажиров с меньшими трудностями, чем самолеты, произвело впечатление. Я же относился к этому с известным скепсисом, памятуя о впечатлениях от полета к Ярославлю, но делиться своими сомнениями не стал и потому скромно помалкивал.

Вторая половина марта оказалась самой трудной, самой напряженной за весь период организации нашего спасения. Месяц ушел на то, чтобы перебросить на Дальний Восток людей и технику. Теперь предстоял самый сложный рывок. Нашим спасателям предстояло пробиться в далекий угол северного побережья Советского Союза, где восточное полушарие сходится с западным. Здесь находились два маленьких селения — Уэллен и Ванкарем, главные опорные точки спасательных отрядов, внезапно снискавшие себе мировую известность.

Три летные группы шли к нам на помощь. 17 марта из Николаевска-на-Амуре под командованием Виктора Львовича Галышева вылетели три самопета — В. Л. Галышев, М. В. Водопьянов, И. В. Доронин. 21 марта стартовал каминский отряд — Н. П. Каманин, В. С. Молоков, Б. А. Пивенштейн, Б. В. Бастан-

жиев, И. М. Демиров. 28 марта из города Фербенкса на Аляске двинулись М. Т. Слепнев и С. А. Леваневский.

Только один раз удалось долететь до лагеря Ляпидевскому. Преодолев трудный путь от Соединенных Штатов до Чукотки, разбился Леваневский. Потерпели жестокие аварии летчики Бастанжиев и Демиров, неудача постигла такого опытного летчика, как Галышев. Сломал ногу шасси своего «Р-5» Каманин и улетел дальше, пересев на самолет Пивенштейна. Ломался при посадке о лед и «Флейстер» Слепнева.

Число неудач, приходившихся на каждую удачу, велико, умение преодолевать немислимые трудности делает честь нашим летчикам. Они упорно продвигались вперед, и наконец наступили решающие дни. Люда передала, что в лагерь собираются лететь какие-то американские самолеты. Мы догадались, что речь идет о машинах, купленных нашим правительством. Пилотировать их поручено Леваневскому и Слепневу. Прошло еще несколько дней, и Люда сообщила, что над Уэлленом, несмотря на плохую погоду, на бешеной скорости пронесся какой-то самолет.

Пока мы думали и гадали, что это за таинственный самолет, Шмидт ушел в барак читать лекцию по диалектическому материализму. Меня вызвал Ванкарем.

— Зови Шмидта. С ним хочет говорить Ушаков!

Мы с Георгием Алексеевичем старые друзья и потому радостно приветствовали друг друга. Я объяснил ему, что придется подождать, что просьбу Шмидту передам, но не знаю, сможет ли он подойти к аппарату.

Ушаков удивился:

— В чем дело?

— Отто Юльевич читает лекцию по диамату!

Мое сообщение даже на Ушакова, человека бывалого, произвело впечатление. Он сказал:

— Раз так, то ясно, что в лагере все в порядке, но Шмидта все же позови!

Разговор Шмидта с Ушаковым, невольным слушателем которого по долгу службы оказался я, был длительным и не очень приятным. Именно в эти минуты я услышал об аварии, приключившейся с Ушаковым на самолете Леваневского.

— У берегов Чукотского полуострова, подле мыса Онман, — рассказывал Ушаков Шмидту, — неожиданно начался очень сильный снежный шторм, прижавший самолет к низу. Видимость исчезла. Неожиданно перед несущейся с огромной скоростью машиной выросла стена. Казалось, самолет неминуемо врежется в эту стену, но Леваневский показал самообладание и виртуозность управления: в одно мгновение самолет почти вертикально пронесся над скалой, едва не коснувшись лыжами торчащих на ее вершине каменных зубцов. Через несколько минут повторяется почти та же картина. Пилот снова с честью выходит из испытания. Дальше идти брeючим полетом невозможно. На высоте двух тысяч метров — новый снежный шторм и начинается обледенение. Машина потеряла обтекаемость и начала терять скорость. Вентиляционные трубки покрылись льдом. Работа мотора нарушилась. Машина начала проваливаться... Спланировав вниз, летчик пошел над прибрежным льдом, выискивая посадочную площадку. Вдоль берега шла узкая полоска сравнительно ровного льда. Самолет снизился и получил удар, которым снесло правую лыжу. Вторым ударом снесло левую лыжу, и самолет бросило так, что он ударился о торос и остановился. Потеряв сознание, Леваневский склонился над штурвалом. По правой щеке от глаза стекала за воротник тужурки струйка крови. Медленно, но все же сознание вернулось к нему. Я залил рану йодом, сделал перевязку и, так как самолет приземлился подле чукотской яранги, стал организовывать транспорт для перевозки пилота.

Шмидт хмуро выслушал невеселый рассказ Ушакова, а потом разговор пошел о собачьих упряжках, которые надо переправить на льдину на случай, если с авиацией что-то окажется не совсем в порядке.

Собак решили доставить на льдину с дальним расчетом. По мере того как челюскинцы будут улетать на материк, возможность приводить в порядок лагерные аэродромы станет все более и более ограниченной. Не исключено, что посадочные площадки разрушатся, когда на льдине останется всего лишь несколько чело-

век. Авиация без аэродромов станет бессильной, и придется уходить пешком. Не вызывало сомнений, что тяжелейший пеший поход до берега гораздо легче сделать, имея надежных собак.

Наконец наступил день — 7 апреля, — когда мы получили сообщение о том, что к нам летят самолеты «Флейстер» Слепнева, «Р-5» Каманина и «Р-5» Молокова. Первыми вылетели «Р-5».

Все три летчика хотели лететь вместе и прибыть в лагерь одновременно. По началу все шло, как задумывалось. Однако когда Слепнев, имея на борту пассажира Г. А. Ушакова, догнал товарищей, он увидел, что за самолетом Молокова тянется шлейф темного дыма. У Василия Сергеевича барахлил мотор. Сопровождаемый Каманиным (для подстраховки на случай вынужденной посадки), Молоков вернулся в Ванкарем, чтобы исправить повреждения.

Вылетая из Ванкарема, Слепнев сообщил по радио:

— Буду в лагере через тридцать шесть минут.

Я удивился такой точности и посмотрел на часы. Через 37 минут на горизонте показался самолет Слепнева. С большой скоростью он приближался к лагерю, сделал крутой вираж и потом почему-то долго кружился над аэродромом. В лагере недоумевали.

При посадке самолетов на сигнальной вышке обычно находился штурман Марков. Мы условились с ним: троекратный взмах шапки над головой означает благополучную посадку. Но сколько я ни глядел, Марков неподвижно стоял на вышке, никаких знаков не подавал, а потом стал спускаться на лед. Что-то неладно. Так оно и оказалось. Вскоре пришли с аэродрома и рассказали, что случилось.

Машина Слепнева обладала высокой посадочной скоростью. Ветер не благоприятствовал пилоту совершить посадку на узкий аэродром. Самолет запрыгал, замахал крылышками и, выскочив за пределы аэродрома, подломился. Когда машина остановилась, из нее, словно ничего не случилось, вышел Слепнев. Одетый с иголочки, он выглядел особенно эффектно на фоне нашей братии в весьма обшарпанных туалетах. Великолепная меховая куртка, видимо эскимосского пошива на Аляске, игривая шапка с меховым помпончиком, великолепное самообладание просто ошеломили нас.

Слепнев привез ящик американского пива, шоколад, сигареты — одним словом, ему было чем угощать нас, пока механики во всеоружии опыта, накопленного при штопании и латании бабушкинской «шаврушки», приступили к исправлению поврежденных слепневского самолета.

Собаки, которых доставили Слепнев и Ушаков, мы не сразу оценили по достоинству. Они показались мелкими и слабосильными. Но это лишь казалось. Другом собачьей своры и главным каюром лагеря стал наш боцман Толя Загорский. Он отлично знал чукотских собак и умел обращаться с ними, так как во время зимовки подле берегов Чукотки парохода «Ставрополь» Толя подружился с чукчами и научился управлять нартами.

Оглядев напуганных воздушным путешествием и непривычной обстановкой собак, боцман крикнул им что-то по-чукотски, и собаки, почуввав в нем друга, раскрыли ему свои бесхитростные души.

Боцман приласкал, накормил собак, запряг их в нарты и навалил на них пудов пятнадцать груза. К удивлению скептиков, маленькие кудлатые псы резво потащили поклажу.

После посадки Слепнева не прошло и часа, как снова затарахтели моторы. В лагерь прилетели Каманин и Молоков, а еще через час ледовый аэропорт отправил на материк первую группу. Каманин повез членов моей радиобригады: зоолога Володю Стаханова и радиста Иванюка. Молоков — кочегара Киселева, повара Козлова и матроса Ломоносова.

Как будто бы все шло наилучшим образом, но радоваться не приходилось. Хорошее и плохое попеременно сменялось. Радость апрельского дня, когда наконец три самолета добрались до нашего лагеря, омрачалась серьезными неприятностями. Первая из них — болезнь Шмидта.

Весь день 7 апреля Отто Юльевич провел на аэродроме на ледяном ветре. Он сильно продрог, к вечеру почувствовал себя худо, а наутро температура поднялась до 39 градусов. Он лежал пластом на груде меховой одежды в штабной палатке. Лишь изредка открывал глаза, облизывал сухие губы и спрашивал:

— Эрнст Теодорович, какие новости?

После отлета трех самолетов наступили, пожалуй, самые тревожные дни нашего лагеря. Нас основательно трясло. Толчки начались с 6 часов утра, а затем усиливались не переставая. После обеда разрушился камбуз, и к ужину мы остались без горячей пищи. Затем разнесло вдребезги один из аэродромов. Лед торосило, и льдина, на которой стоял барак, вдруг полезла на ту, где стояли наши жилые палатки. Хорошо, что в последний момент ледяной вал вдруг остановился.

Сжатие оказалось куда более жестоким, чем то, что раздавило «Челюскина». Нам пришлось вынести из палатки все, кроме радиоаппаратуры, чтобы не спотыкаться, если очередь дошла бы до передатчика и приемника и больного Шмидта.

Вахтенный разбудил весь лагерь. Со сна я не понял, в чем дело. Слово «сжатие» мгновенно привело меня в рабочее состояние. Одевшись, я вышел из палатки. Ледяной вал приблизился к радиомачте, нужно срочно переносить ее в другое место.

И все же ровно в 6 часов утра, без минуты задержки, я начал работать с Ванкарем. С гордостью подчеркиваю точность, так как любая задержка немедленно стала бы предметом волнений товарищей на берегу.

9 апреля сжатие повторилось с не меньшей силой. Дул сильный ветер — семь, а временами и восемь баллов. Щедро валил снег, и в этой жестокой пурге лишь смутно угадывалось солнце. Именно в эти минуты, когда вокруг наших палаток клубилась снеговая каша, из Ванкарема, где стояла ясная солнечная погода, сообщили:

— Сейчас к вам вылетают самолеты.

Вот обрадовали! Попробуй прими эти самолеты! При таком сильном ветре со снегом, да еще при поврежденных площадках задача становилась просто неразрешимой. Пытаюсь объяснить Ванкарему, что принять самолеты мы не в силах, но меня не понимают:

— Кренкель, почему не надо самолетов?

Начинаю объяснять, но в этот момент вбегает Сима Иванов и тихо, чтобы не слышал лежащий рядом в полузабытьи, с высокой температурой Шмидт, шепчет:

— Кончай работать. Надо переносить мачту, иначе ее свалит лед.

Прямо хоть разорвись. С одной стороны, надо объяснить, чтобы не выпускали самолеты, с другой — необходимо так же срочно спасти мачту.

Что делать? Спрашиваю у Шмидта:

— В Ванкареме ясная погода, а у нас нет. Разрешите отставить на сегодня прилет самолетов?

Шмидт кивает головой: он не против. Стремительно отстукиваю в Ванкарем: «По распоряжению Шмидта на сегодня полеты в лагерь отставить».

А лед гудит, трещит, и кажется, что этот треск раздается у тебя под ногами. Хочется поскорее выскочить, быть где угодно, только не в темной палатке, да и Иванов дергает за плечо:

— Кончай, кончай разговор!

Передаю в Ванкарем: «Самолетов не надо. На лагерь надвигается вал».

Мы с Ивановым выскакиваем из палатки и, раздетые, спешим к мачте. Подбегают еще два товарища. Льдину, на которой стояла мачта, напором вала вдавило в воду. Шлепая валенками по воде, подхватываем мачту и уже в последний момент вытаскиваем ее в безопасное место.

Потом погода утихла, но буйство ее обошлось нам недешево. Во-первых, был стерт с поверхности льда наш барак. Лед растрескался, вдвое уменьшив площадь лагеря. Угроза гибели нависла над ледовым городком как никогда.

10 апреля зажужжали полным ходом авиационные моторы. Летчики торопились, и безрезультатно. Трех человек вывез Каманин, шесть — Слепнев и четырнадцать — дядя Вася, как к тому времени весь лагерь нежно называл Василия

Сергеевича Молокова. Надо заметить, что дядя Вася оказался самым результативным из числа героев-летчиков, занимавшихся эвакуацией лагеря. Он вывез тридцать девять человек, первым стал грузить пассажиров не только в кабину своего «Р-5», но и в расположенные под крыльями парашютные контейнеры. Вместо трех каждым рейсом увозил не меньше пяти. Таких рейсов 10 апреля Молоков сделал три.

Разумеется, доложить обо всем этом Шмидту было очень приятно, но на следующий день пошли такие новости, что я просто растерялся — как информировать о них Отто Юльевича? Дело в том, что член Правительственной комиссии Георгий Алексеевич Ушаков, прилетевший на льдину и вывезенный с нее 10 апреля дядей Васей, принял решение сообщить о болезни Шмидта в Москву. Полагаю, что решение правильное. Ушаков знал, что Отто Юльевич перенес туберкулез, понимал, что в условиях ледового лагеря болезнь приобретала характер угрожающий, а поэтому не следовало учитывать естественное желание начальника экспедиции покинуть льдину последним.

Все же, зная о телеграмме Ушакова в Москву, я с большим волнением записывал текст: «11 апреля. 4.45 московского. Аварийная. Правительственная. Ванкарем. Ушакову, Петрову, копия Шмидту. Правительственная комиссия предлагает в срок по вашему усмотрению вне очереди переправить Шмидта на Аляску. Ежедневно специальной радиogramмой доносите о состоянии здоровья Шмидта. Сообщите ваше предположение о его отправке. Куйбышев».

Не успел я, как говорится, очухаться, как поступило новое сообщение:

«4.57 московского. Правительственная. Аварийная. Архангельск. Радио. Ванкарем. Шмидту, Боброву.

Ввиду вашей болезни Правительственная комиссия предлагает вам сдать экспедицию заместителю Боброву, а Боброву принять экспедицию. Вам следует по указанию Ушакова вылететь в Аляску. Все приветствуют вас, уверены возвращением. Куйбышев».

Тут было над чем призадуматься. С одной стороны, надо доставить телеграмму немедленно, тем более что адресат лежит тут же рядом, в палатке. С другой — давняя дружба со Шмидтом, огромная любовь к нему начисто лишили меня дара речи. Я понял, что прочесть такую телеграмму Отто Юльевичу у меня просто язык не повернется, и решил доложить о принятых сообщениях Алексею Николаевичу Боброву.

Шмидт лежал с закрытыми глазами, в очень тяжелом состоянии. Пряча на всякий случай радиожурнал за спиной (журнал выносился из штабной палатки лишь в тех редких случаях, когда Шмидту нужно было огласить на наших собраниях те или иные телеграммы), я выскользнул из палатки. Бобров находился у Копусова. Я вызвал Алексея Николаевича и конфиденциально сообщил ему важные новости, подкрепленные телеграммой Ушакова: «Мобилизовать для убеждения Шмидта общественное мнение челюскинцев и, если это нужно, подкрепить его даже решением партийного коллектива».

Бобров выслушал меня и решил задачу в высшей степени деликатно. Под предлогом секретных разговоров со Шмидтом он попросил из палатки всех посторонних и сообщил ему о правительственном решении. Прочитав Шмидту телеграмму Куйбышева, Бобров сказал:

— Отто Юльевич, теперь вы мой подчиненный и обязаны выполнять приказы!

Не откладывая дела в долгий ящик, Бобров решил тотчас же отправить Шмидта из лагеря. Сразу же возник вопрос, кто же будет его сопровождать. Так как я знаю немного английский язык, выдвинули мою кандидатуру. Шмидт сразу же запротестовал:

— Нельзя оставить лагерь только с одним радистом!

Выбор остановился на нашем докторе Никитине. Его вызвали в штабную палатку и сказали:

— Будешь сопровождать Шмидта в Америку!

Наш симпатичный доктор не возражал:

— Я согласен. Только, Отто Юльевич, если можно, распорядитесь, чтобы мне выделили новый полущубок, а то в таком ободранном виде в Америку лететь как-то не очень прилично!

Все засмеялись. Никитина одели в новый полущубок, пусть щеголяет на Бродвее. Отто Юльевича закутали, засунули в спальный мешок и уложили на нарты, соорудив под головой мягкую меховую подушку. Затем челюскинцы в сопровождении Никитина, который в новом полущубке выглядел просто франтом, повезли своего начальника на аэродром. Нарты часто поднимали и несли на руках, чтобы не трясти больного Шмидта. На руках внесли его и в самолет. Трогательные волнующие проводы! У многих слезы. Наш славный дядя Вася увез Шмидта, Никитина и плотника Юганова.

По возвращении с аэродрома Бобров радировал Куйбышеву, что распоряжение об эвакуации Шмидта выполнено через десять часов после отправки распоряжения из Москвы, а вскоре, разойдясь с этой телеграммой в пути, пришла удивительно теплая, человечная телеграмма Куйбышева, адресованная лично Шмидту:

«Правительство поставило перед всеми участниками помощи челюскинцам с самого начала задачу спасти весь состав экспедиции и команды. Ваш вылет ни на йоту не уменьшит энергии всех героических работников по спасению, чтобы перевезти на материк всех до единого. Со спокойной совестью вылетайте и будьте уверены, что ни одного человека не отдадим в жертву льдам. Куйбышев».

Вылетая далеко не последним из лагеря, Шмидт рисковал ничуть не меньше. Маврикий Трофимович Слепнев, доставивший Отто Юльевича из Ванкарема на Аляску, в город Ном, рассказывал мне, что американские механики, осмотрев самолет, сказали:

— Вам очень повезло! Это чудо, что вы долетели...

Дело в том, что из-за прыжков по нашему аэродрому лопнули крепления в фюзеляже самолета. Целостность конструкции нарушилась, и все держалось только на обшивке.

В дальнейшем у Шмидта все обошлось хорошо. Американские врачи вылечили его, а после того как его здоровье привели в порядок, он на обратном пути заехал в Вашингтон и был представлен Рузвельту — президенту Соединенных Штатов. А когда мы возвращались в Москву, на станции Буй в наш поезд сел Отто Юльевич, и на Белорусском вокзале Куйбышев встречал уже всех нас вместе. Но прежде чем наступил этот радостный день, произошло еще много самых разных событий...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Челючные операции. Последняя ночь. В яранге у чулков. Как мы с Леваневским спасали Боброва. Свисток Водопьянова. Поезд идет в Москву. Кортёж линкольнов. Митинг на площади. Рассказ Василия Ивановича Качалова. Банкетная лихорадка. Прощай, Москва моей юности. Каждый год 13 февраля...

С отлетом Шмидта ритм лагерной жизни не нарушился. Четко и уверенно совершали свои челючные операции Молоков, Каманин, Доронин и Водопьянов.

По плану эвакуации каждый знал, когда надлежит ему покинуть лед, но тем не менее все здоровые под любым предлогом старались переместиться в число последних. К вечеру 12 апреля на льдине осталось всего шесть человек.

Незабываемо прекрасный вечер! Полнейший штиль. С вышки отличная видимость на десятки миль. Абсолютная тишина. Изредка чуть-чуть похрустывает лед. В этом огромном ледяном царстве нас шестеро — исполняющий обязанности начальника экспедиции Бобров, капитан Воронин, начальник аэродрома Саша Погосов, боцман Загорский, Сима Иванов. Я и наши лохматые друзья — ушаковские собаки. Как положено, я сижу за приемником в ожидании сообщений из Ванкарема о вылете к нам самолетов. И вдруг новость: «Летчики устали, машины требуют осмотра. Посидите последнюю ночь. Самолеты прилетят за вами завтра».

Нельзя сказать, что радиограмма привела нас в восторг. Признаться, мы рассчитывали, что успеем 12 апреля добраться до материка. Но надо ждать!

Никто так не интересовался метеосводками, как мы в этот вечер. Последние дни держалась на редкость хорошая летняя погода с отличной видимостью. В тех местах, где мы бедовали, это большая редкость. Не требовалось особой догадливости, чтобы сообразить: рано или поздно отличная погода кончится и начнется плохая. А с ней — подвижка льда и торошение, ломка посадочной площадки, которую восстанавливать будет уже некому. Воронин каждые пять минут выскакивал и смотрел, не меняется ли погода. Да не он один. Последнюю ночь мы провели без сна.

Что же делать, чтобы быстрее прошло время? Покормили собак. Поговорили немного, но беседа не клеилась. Решили поесть. Продовольствия в лагере хватало, но Шмидт сэкономил его: мало ли что произойдет при очередном сжатии? Теперь же, когда все улетели, в нашем распоряжении остался весь склад продовольствия. В такой обстановке мы могли доставить себе удовольствие и предаться умеренному пиршеству.

Возник спор, что есть и в каком количестве. Остановились на мясных консервах. Один ящик или два? В ящике 72 банки, едоков шесть. Решили — хватит.

В лагерном имуществе оказался эмалированный таз. В нем купали детей. Ныне использовали его для разогрева консервов. Уселись вокруг бывшей детской ванны на корточках и, орудуя перстами, легкими и немытыми, уничтожили ужин. Остатки достались собакам.

Итак, в эту ночь нам не спалось. Начинался полярный день. На востоке стало брезжить, зарозовело небо. Ванкарем вызвал меня и начал подробный репортаж:

— Летчики проснулись. Летчики потягиваются. Летчики закуривают. Летчики одеваются. Летчики завтракают. Моторы греются. Самолеты пошли к вам!

Тут же телеграмма Боброву: «Отправляем три самолета. Осмотрите лично лагерь, чтобы в нем не осталось ни одного человека. Свободное место догрузите собаками...»

Новое дело! Да как же можно забыть собак? Мы отлично понимали, что они представляют собой. Когда для нашего лагеря понадобились собаки, председатель Чрезвычайной тройки Петров обратился к чукчам с такими словами:

— Советская власть прислала меня и летчиков спасать челюскинцев. Возможно, им придется выбираться пешком. Я очень прошу вас от имени Советской власти дать две упряжки собак!

Петров гарантировал, что они вернутся в полном порядке.

Получив такое заверение, чукчи дали упряжки. Петров дал вексель от имени Советской власти, нам же надлежало его оправдать.

Самолеты летят к нам полтора часа. Знали мы и точку горизонта, где обычно появлялись долгожданные черточки. Но проходит час, полтора, два... Ванкарем спрашивает:

— Самолеты у вас?

— Нет, а разве они не вернулись?

— Нет!

Беспокойство на берегу и у нас, а через некоторое время сообщение с материка:

— Самолеты вас не нашли. Вернулись обратно. Сейчас вылетают снова. Дайте дымок по сильнее!

Легко сказать! Встречая самолеты, мы сожгли все наше тряпье, машинное масло, солярку, керосин, бензин, щепки. Сложить последний костер оказалось не из чего. До сознания же не сразу дошло, что можем сжечь хоть весь лагерь. Ведь и палатки, и снаряжение, и продовольствие через какие-то полчаса придется бросить.

...Разложен последний парадный костер. Он был огромен. Туда пошли нераспечатанные рогожные кули с новехонькими полушубками, палатки, великолепные спальные мешки, личные чемоданы, подушки, одеяла... Когда все это горело и недостаточно дымило, я собственными руками кинул в огонь два огромных фа-

нерных ящика с папиросами первого сорта «Казбек». Прошло уже много лет, но я, как закоренелый курильщик, до сих пор не могу забыть этого варварства.

Пока последние самолеты добирались к нам, посадочная площадка, как того и следовало ожидать, дала трещину, да к тому же — по диагонали, — хуже не придумаешь. Раскололась и на глазах стала расходиться, достигнув ширины 30 сантиметров.

Водопьянов лихо сел на льдину. Ни живые ни мертвые ждем, чем окончится посадка. Больше всего боялись за коротенькую хвостовую лыжу: нырнет в трещину, зацепит за лед, тогда — катастрофа.

Водопьянов сел благополучно. За ним Молоков и Каманин. Водопьянов высывается из-под колпака, машет рукой, что-то кричит. Мы подбегаем к самолету. От винта идет рвущий поток воздуха. Тесемки от шапки больно хлещут по лицу. За треском мотора ничего не слышно. Остается только догадываться, какие слова сейчас произносятся для ускорения посадки.

Прежде всего погрузили собак: хватали одной рукой пса за хвост, другой за гривок и вбрасывали. Собакам такое отношение не нравится, огрызаются, пытаются укусить. Вслед за ними нырнул в каманинский самолет и собачий друг Толя Загорский. Получаю указание из Ванкарема закрыть станцию. Отвечаю Ванкарему, что снимаю передатчик, и уже не слушаю его.

По международному коду даю: всем, всем, всем... «К передаче ничего не имею, прекращаю действие радиостанции».

Медленно три раза повторяю: «РАЕМ! РАЕМ! РАЕМ!» Это позывной «Челюскина», он же служил позывным лагеря Шмидта.

Я еще не знал, что скоро он станет моим личным позывным, который будет мне присвоен как радиолюбителю за то, что я не опозорил его и не послал сигнала бедствия.

Делаю последнюю запись: «Снят передатчик 02.08 московского 13 апреля 1934 года».

Лагерь Шмидта умолк...

Владимир Иванович Воронин вырезал из спасательного круга кусок с надписью «Челюскин» и взял из сигнального свода флагов букву «Ч». Обрезаю провода приемника и передатчика. На миг комок подкатывает к горлу: нет, это не просто одним движением оборвать нить связи с Большой землей, которая была для нас нитью жизни.

Воронин и Погосов садятся к Молокову, мы с Бобровым и Симой Ивановым — к Водопьянову. Саша Погосов на своем боевом посту до последней минуты. Он дернул каманинскую машину, затем нашу и, подтолкнув самолет Молокова, сам прыгнул в него на ходу.

По просьбе Боброва Водопьянов делает круг над лагерем, а затем берет курс на Ванкарем.

Все на берегу! Ура! Качаем всех летчиков. Предельно грязные, оборванные и заросшие, мы обнимаем и целуем наших спасителей.

Возникает сложная проблема расселения всей оравы. Единственный дом среди чукотских яранг — фактория Ванкарем — не мог похвастать большими размерами. Не знаю его происхождения, но, судя по предельной разнокалиберности дерева, построили его явно из обломков какого-то судна. В домике всего две комнаты, одна из них по совместительству и кухня. Помимо хозяев, здесь размещаются два члена Чрезвычайной тройки — Г. Г. Петров и А. Небольсин, а также 20 летчиков и челюскинцев.

Чрезвычайная плотность населения в Ванкареме вынудила нас спать в три смены, а питались мы за единственным кухонным столом в четыре смены. Даже при самом глущем желании воткнуться в эту чащобу человеческих тел еще одному не было ни малейшей возможности. Нас троих определили на постой в одну из яранг около фактории.

Яранга сегодня экзотика, а в то время нормальное чукотское жилище. Это довольно большая куполообразная постройка из шкур и старых брезентов. Ничем не примечательная снаружи, она полна неожиданностей. Входишь и, если мерить

нашими русскими меркам, попадаешь в «сени». В них еще холодно, но полно всякой утвари — винтовки, ведра, посуда. Только за этими «сенями» начинается жилая часть. Она занимает примерно треть и, подобно сцене, возвышается над землей. Пол устлан моржовыми шкурами. Они похожи на линолеум — так отполировали их несколько поколений обитателей.

Сходство со сценой усугубляется еще занавесом. Чтобы пролезть внутрь, надо отвернуть уголок полотнища из оленьих шкур.

Во весь рост стоять нельзя — высота метр с четвертью, не более. Самое интересное — это отопление и свет. В уголочке стоит наклонная доска величиной чуть поменьше газетного листа. Внизу — полоска ягеля, знаменитого мха, которым питаются олени. Ягель прижат косточкой то ли моржовой, то ли какого-то другого зверя и служит фитилем. А на наклонной доске лежат куски моржового или тюленьего сала. Оно потихоньку тает и, стекая по наклонной доске, питает фитиль.

Хозяйка яранги, действуя косточкой, удивительно ловко на ночь тушит жирник, убавляя фитиль, или же, наоборот, прибавляет тепла и света. Над этим огоньком круглые сутки висит чайник. Чай пить можно в любую минуту. Один раз по неосторожности я попробовал поправить фитиль, и сразу же все разладилось. Огонь сник, фитиль стал отчаянно коптеть. Хозяйка засмеялась, взяла косточку и в секунду все восстановила.

Хозяин яранги оказался знаменитым человеком. Он находился на шхуне «Мод», когда Амундсен проходил по Северному морскому пути. Напоминанием об этом осталась у него фотография, на которой он снят вместе с Амундсеном.

В маленьком помещении нельзя было продохнуть, но зато было тепло. Спали мы вповалку на полу и так крепко, что снов не видели.

Пока мы предавались отдыху, на страницах «Правды» появился фотомонтаж. На первой полосе было помещено изображение пятиконечной звезды. В центре фотопортрет Боброва, по углам остальные и предельно короткая подпись: «Последняя шестерка». В этом же номере «Правда» напечатала короткое и волнующее приветствие Алексея Максимовича Горького:

«Только в Союзе Социалистических Советов возможны такие блестящие победы революционно-организованной энергии людей над силами природы.

Только у нас, где началась и неутомимо ведется война за освобождение трудового человечества, могут родиться герои, чья изумительная энергия вызывает восхищение даже наших врагов.

М. Горький.»

Из самых разных стран мира поступали приветствия, перепечатывались высказывания разных газет. В этом потоке информации одна радиogramма доставила мне особое удовольствие.

Читатель, быть может, помнит, как, находясь на Земле Франца-Иосифа, я установил радиосвязь с «Маленькой Америкой» — американской экспедицией адмирала Берда, работавшей в Антарктиде. Теперь, несколько лет спустя, адмирал Берд оказался в день нашего спасения в 135 километрах от «Маленькой Америки». Оттуда он и послал следующую радиogramму:

«Мистер Мэрфи сообщил мне из «Маленькой Америки» по радио подробности спасения членов советской научной экспедиции на «Челюскине». Это подвиг, производящий большое впечатление, и я счастлив передать через ТАСС мои поздравления советским летчикам, которые успешно выполнили такую опасную миссию».

На мысе Ванкарем я познакомился с Леваневским. Высокий, стройный, немного рыжеватый, с мужественным красивым лицом, он держался как-то обособленно.

Было ли это признаком гордыни, как иногда объясняли манеру поведения Сигизмунда Александровича люди, плохо знавшие его? Вряд ли. Не гордыня, а сдержанность. В дальнейшем мы очень подружились с Леваневским. Подружились и наши жены. Словом, стали добрыми семейными знакомыми. Но все это

произошло потом. Тогда же, в апреле 1934 года, я встретил человека, застегнутого наглухо на все пуговицы, державшегося с откровенной отчужденностью.

Я далек от того, чтобы осудить за это Сигизмунда Александровича. Легко было понять его состояние: опытный полярный летчик, пропутешествовал из Москвы до Аляски, проехал добрую половину земного шара, получил в Америке первоклассный самолет, прилетел на нем в СССР, разбил его, чуть не погиб сам и не спас ни одного челюскинца. Правда, мы вместе (разумеется, по-разному) участвовали в спасении одного из челюскинцев, который, если бы не помощь Леваневского, мог бы погибнуть, не добравшись до твердой земли.

Небольшое отступление.

В первые дни, проведенные в Ванкареме, сразу же дали о себе знать два обстоятельства. Во-первых, духовный голод: в библиотеке фактории не хватало книг. Во-вторых, болезни. Примечательно, что на льдине почти никто не хворал, а по возвращении на Большую землю все, словно сговорившись, начали болеть. В основном гриппом, протекавшим в тяжелой форме. Больных (их оказалось 16 человек) направили в единственную больницу Чукотки, находившуюся в бухте Лаврентия. Для небольшой больнички такая нагрузка оказалась непосильной. Здоровые челюскинцы пришли ей на помощь: починили все, что только можно было починить, отремонтировали ванну, кровати, примуса, лампы, наточили хирургические инструменты. Для отопления больницы добыли уголь, в кооперации достали ситец, из которого пошили новое белье. Группа челюскинцев превратилась в братьев милосердия. Наш повар обеспечивал больных питанием.

Случилось непредвиденное: острый приступ аппендицита у Алексея Николаевича Боброва. Срочно понадобился хирург. Он находился в Уэллене. От Уэллена до бухты Лаврентия всего лишь час полета, но на местном аэродроме находился только один «У-2», и то весьма потрепанный. Леваневский решил лететь, хотя и понимал, что самолет держится на «честном слове».

В тундре вынужденная посадка. В бухте Лаврентия решили, что самолет погиб. Однако Леваневский все-таки доставил к больному хирурга — доктора Леонтьева.

Моя роль в спасении Алексея Николаевича оказалась неизмеримо скромнее. Волей обстоятельств я стал одним из ассистентов доктора Леонтьева. Едва хирург сделал разрез, как старенький движок, обслуживавший больницу, забастовал, и операционная погрузилась в темь. Кто-то зажег керосиновую лампу и, быстро сунув ее мне в руки, подтолкнул к столу.

Операция прошла успешно.

Несколько слов о спасших нас летчиках.

Михаил Васильевич Водопьянов вывез меня с челюскинской льдины, а через три года доставил на другую льдину, но о полюсе речь впереди, а сейчас хочу рассказать о приобщении Водопьянова к литературе.

Рассказывать о том, что писал Михаил Васильевич, не стану. Его произведения издавались неоднократно. Интереснее рассказать про обстановку, в которой летчик сделал первый шаг из бурной авиационной среды в мир ее величества литературы.

Плыли мы на «Смоленске» весело. Позади трудные времена, острые впечатления, сложные переживания, большая напряженная работа. Здесь, на отличном современном корабле, мы, люди деловые и работающие, оказались в несколько неожиданной для себя роли — пассажиров.

Отмывшись и отоспавшись, мы наслаждались бездумной болтовней, радовались тому, что не нужно никуда спешить, напрягаться, можно вспоминать, размышлять, мечтать...

У каждого это происходило по-разному. Нас, людей напишущих, вдруг со страшной силой потянуло к перьям.

Началось это с легкой руки Ильи Леонидовича Баевского. Поддержанная журналистами, начала воплощаться его идея создания коллективного труда «Поход «Челюскина». Двухтомная книга в том же 1934 году увидела свет.

Нашему тяготению к писанине немало способствовал повышенный спрос на любые дневники, рассказы, статьи, воспоминания челюскинцев и их спасителей.

Из всех самодеятельных писателей, у которых прорезалась в те дни страсть к литературе, Михаил Васильевич Водопьянов оказался одним из наиболее продуктивных. Он прилежнейшим образом писал по несколько часов в день. Каждая новая страница аккуратно подклеивалась к предыдущей. Свиток рос, вызывая у большинства веселое почтение:

— Миша, как продвигаются твои обои?

— На каком километре остановился?

Я считаю, что Водопьянов сделал полезное дело, записав все, что помнил и знал об Арктике, и рассказал об этом широкому кругу читателей.

...Незаметно, «за разговором», добрались до Владивостока. Здесь впервые мы поняли, чем была для всего советского народа борьба за наше спасение.

Первым встретил нас гидросамолет. Он пролетел над самыми мачтами, сбросив на палубу множество букетиков ландыша и сирени, собранных женщинами Владивостока.

Затем прошел военный корабль. Блистая белоснежной формой, моряки приветствовали нас громким «ура». Потом, вздымая водяные борозды, промчались торпедные катера, а когда мы приблизились к берегу, нас встретила эскадрилья военных самолетов и эскадра самых разных судов, возглавляемая ледоколом «Добрыня Никитич».

Мы медленно шли вперед. Когда открылся город, заревели гудки владивостокских заводов. Подали свой голос все советские и иностранные корабли, стоявшие на рейде. «Смоленск» заревел в ответ. Едва причалили, как прогремели выстрелы артиллерийского салюта. Весь Владивосток вышел на улицы, украшенные флагами. Незабываемо волнующие часы...

Специальным поездом двинулись челюскинцы из Владивостока в Москву. Кругом верные, проверенные друзья, и как приятно, поворачиваясь ночью на другой бок, прислушиваться к мерному стуку колес, а не к толчкам и скрипу льда.

Полного покоя все же не было. На больших станциях в поезд подсаживались корреспонденты, очевидно, всех газет и журналов Советского Союза, начиная от «Мурзилки». Нас всех без исключения «терзали». Едва отбивались от шквала вопросов.

— Расскажите о самой страшной минуте.

— Что вы в этот момент думали?

— Что ощущали? Что делали?..

О черт! Не до самоанализа было в те минуты и часы.

Пришлось ввести обязательные дежурства и днем и ночью: на любой станции, малой или большой, в любое время суток нас трогательно и торжественно встречали. Поезд замедлял ход и, еще не слыша, какой марш играют, уже улавливаешь рывкание геликонов и удары барабана — пора выходить в тамбур, открыть дверь и быть готовым к очередной речи. При слабом освещении маленькой станции видишь в полутьме море голов. Славные, дорогие люди! Вместо того чтобы мирно спать, они пришли нас приветствовать!

Под конец дежурства, если на него пришлось много остановок, не говоришь, а хрипишь. Нам дарили цветы, конфеты, торты. На одной станции мы получили огромный торт — ледовый лагерь с шоколадными палатками и льдинами. Это было произведение искусства. Единственный его недостаток — он не пролезал ни в окно, ни в дверь. Пришлось торт разрезать и внести в вагон. На следующей станции нас приветствовали дети, и мы вручили им этот шоколадный уникум.

А вот зачем нам подарили двух живых поросят, я до сих пор не знаю.

И все же не обошлось без неприятностей. Полным ходом наш поезд нырлял в очередные туннели вдоль чудесного Байкала и, выскочив из последнего, дал экстренно торможение. С верхних полок вперемешку с чемоданами посыпались

люди, а в вагоне-ресторане бой посуды превзошел все положенные железнодорожными правилами нормы.

Виной оказалась беспризорная вагонетка, нагруженная несколькими рельсами. Как и почему она появилась на нашем пути, неизвестно. Кругом не было ни души...

По дороге домой у многих челюскинцев произошло знаменательное событие — вступление в партию. 15 июня подал заявление Леваневский, 16-го Ляпидевский. За ними последовали Факидов, Васильев и я. На перегоне Барабинск — Тибисская состоялось заседание бюро экспедиционной ячейки ВКП(б), на котором было принято решение рекомендовать нас к приему в партию.

На станции Буй нас встретил Шмидт в полном здравии и благополучии. Вспомнились печальные проводы больного Отто Юльевича в Америку. Теперь вместе с нами Шмидт ехал в Москву.

В Ярославле — гром оркестров. Ныррем в море смеющихся, радостных людей. Рукопожатия, объятия, а вот и, зажатая среди встречающих, мелькнула моя Наташа... Ура! Наконец она! Моя милая, милая. Федя Решетников, мой добрый друг, опередил меня и первым расцеловал Наташеньку. Вот ведь чертяка...

Каждые 150 километров пути менялся паровоз и машинист. Локомотивные бригады как на подбор — лучшие из лучших. Особенно запомнился машинист Томке. Если нужен портрет заслуженного потомственного машиниста, то писать такой портрет надо было с Томке. Весь облик этого седого кряжистого человека внушал глубокое уважение.

Машинисты изо всех сил старались наилучшим образом провести наш поезд по стране, а мы, поелико возможно, платили им взаимностью. На каждом перегоне и челюскинцы и летчики делегировали своих представителей в паровозную будку.

До Москвы пять часов езды... Они промелькнули как минуты. Семейные, московские новости докладывала Наташа, стоя со мной у открытого окна в коридоре. Стояли в обнимку и целовались, целовались...

Часто на бреющем полете нас обгоняли самолеты с надписью «Привет челюскинцам».

Замелькали знакомые места: Пушкино, Мамонтовка, Клязьма. Все дачники высыпали приветствовать нас.

По соединительной ветке наш поезд передали на Белорусский вокзал.

К Москве подъезжали 19 июня во второй половине дня. Как всегда бывает при возвращении после долгого отсутствия, чем ближе к столице, тем большим становилось наше волнение. Так уж устроен человек. Держались в труднейших условиях, а тут волновались, как школьники. То же переживали и встречавшие. Как рассказывали мне потом мои близкие и друзья, к 4 часам дня город преобразился. Даже трамваи, основная тяговая сила московского транспорта (метро еще только строилось), остановились. Центр города заполнен людьми, ринувшимися на улицу Горького, по которой должен был пройти последний этап нашего путешествия: Белорусский вокзал — Красная площадь.

Цветы в этот день стали предметом большого дефицита. К 12 часам на дверях всех цветочных магазинов появились записки «Цветов нет».

Первыми объявили москвичам о нашем прибытии самолеты эскорта — звено, сопровождавшее наш экспресс. Затем, отдуваясь дымом и паром, украшенный цветами и портретами героев-летчиков, эмалево-синий паровоз «СУ-101-04» подтащил наш поезд к перрону. В будке локомотива — один из лучших железнодорожников страны, делегат XVII партсъезда товарищ Гудков. Помимо локомотивной бригады на паровозе пассажир — единственный челюскинец, занимавшийся в этот момент работой. При исполнении служебных обязанностей въезжал в Москву на синем паровозе, разукрашенном цветами, наш неутомимый кинооператор Аркадий Шафран. Выглядел он просто на зависть своим московским коллегам: на нем был летный комбинезон и большие летные очки. Секрет экзотического туалета нашего оператора прост: на лед Аркадий выскочил в ватнике, ему

надо было снимать гибель «Челюскина», и тут уж было не до личных вещей, благополучно ушедших на дно морское. Во Владивостоке его пытались приодеть, но не очень удачно. Въезжать в Москву в таком виде молодому человеку не хотелось, а летный комбинезон, котя и не первого сорта, оказался удобной одеждой. Пришлось ползать по паровозу и тендеру с углем, выбирая лучшую съемочную точку. В этих условиях пригодились и летные очки, защищавшие глаза от угольной пыли. Кинохроникеру приходилось вертеть одной рукой ручку камеры, а другой отвечать на приветствия.

Начальник сводного караула рапортует Шмидту:

— Товарищ начальник героической экспедиции! Товарищи Герои Советского Союза! Для вашей торжественной встречи построен караул от войсковых частей московского гарнизона, вооруженного отряда Осоавиахима и сводного отряда Аэрофлота!

Шмидт принимает рапорт почетного караула. В. В. Куйбышев, М. М. Литвинов, С. С. Каменев обнимают Отто Юльевича, поздравляют с благополучным прибытием челюскинцев в Москву.

Трудно описать эту встречу... Перрон полон встречающих. Мы попадаем в объятия матерей, отцов, жен, детей, знакомых и незнакомых людей. Бессвязные первые слова, тихие слезы радости, бесконечные букеты цветов, рывающий оркестр, родственники, не выпускающие из своих объятий.

Впереди Куйбышев, Шмидт, много тех, кому мы доставили так много хлопот. Путь устлан широкой ковровой дорожкой. Сбивая и мешая друг другу, трудятся в поте лица своего вездесущие фотографы.

Когда вышли на площадь, я даже зажмурился. Море людей, заполнивших площадь, заволновалось. И хотя по дороге от Владивостока до Москвы было много радостных встреч, то, что произошло в столице, превзошло все ожидания.

В те годы советская автомобильная промышленность только формировалась и лишь один-единственный легковой автомобиль отечественного производства «ГАЗ-А», в высшей степени скромный, сошел с конвейеров автозаводов. На площади (в то время ни сквера, ни памятника Горькому еще не было и примыкавшая к ней улица Горького была еще старой Тверской-Ямской) нас ожидало 80 легковых автомобилей самой шикарной, самой знатной тогда марки «линкольн». Большие черные машины с поднимающимися и опускающимися тентами. Впереди на радиаторе — прыгающая собака. Брезентовые тенты откиннуты, а борта увиты цветами. В первую машину сели В. В. Куйбышев, О. Ю. Шмидт и Н. П. Каманин. Автомобиль долго не мог тронуться с места. Его обступали со всех сторон. Сотни рук засыпали машину и ее пассажиров розами. Со всех сторон возгласы:

— Привет челюскинцам!

— Да здравствуют герои-летчики!

— Да здравствует Шмидт!

Откуда-то появился микрофон, и Отто Юльевич произнес короткую речь, в которой благодарил москвичей за теплый прием.

На речь Шмидта площадь ответила громовым «ура» и взрывом аплодисментов.

Мы проехали под Триумфальными воротами. Этот памятник архитектуры (он перемещен сейчас на Кутузовский проспект) был поставлен в честь победы русского оружия над Наполеоном, в честь солдат русской армии, в 1814 году вступивших в Париж.

В этот день даже Триумфальные ворота помолодели и в полном смысле слова «расцвели». Сверху донизу их украсили цветами.

По обеим сторонам улицы конная милиция в белоснежных гимнастерках и таких же сверкающих белизной шлемах, похожих на тропические, которые я запомнил с детства по картинкам, иллюстрировавшим романы из англо-бурской войны. Изюм всех окон сыпались листовки.

В открытых окнах радостные лица, всюду многочисленные портреты челюскинцев.

Наконец прибыли на Красную площадь. Стояла чудная погода. Из Никольских ворот вышли Сталин, Ворошилов, Калинин, Орджоникидзе и другие руководители партии и правительства. Они поздоровались с нами, и затем все поднялись на Мавзолей. Часть челюскинцев разместились на крыльях Мавзолея, часть на ступеньках. С радостью увидели Горького. Он стоял в своей широкополой шляпе, так хорошо знакомой нам по множеству фотографий. Алексей Максимович плакал, не будучи в силах сдержать своих чувств.

Начался митинг. От правительства с большой речью выступил В. В. Куйбышев.

— Спасение челюскинцев показало, — сказал Куйбышев, — что в любой момент вся наша страна поднимается на защиту, когда это будет нужно, и что многих и многих героев сможет она дать. Спасение челюскинцев показало, насколько мы можем уже рассчитывать на свои собственные силы, на выросшую у нас свою отечественную технику, насколько успешно мы осваиваем эту технику.

Потом говорили Шмидт, Каманин, Молоков, Ляпидевский, Воронин, Бобров...

Начался парад. Красноармейцы, физкультурники, колонны рабочих, комсомольцев, отряд барабанщиков, конница, артиллерия, танки...

С ревом и гулом прошла над головами собравшихся воздушная армада. Запыхавшая строй самолетов, над площадью, сопровождаемый двумя истребителями, летел восьмимоторный гигант «Максим Горький». Истребители эскорта выглядели рядом с ним крохотными мушками.

Строили «Максима Горького» в тех местах, где проходила моя юность. Испытывали там, где теперь садятся только вертолеты, — бывшей Ходынкс, затем Центральном аэродроме, ныне аэровокзале и вертолетной станции. Для того чтобы преодолеть расстояние между этими двумя точками, самолет разобрали и целая процессия автомобилей и повозок (об этом писали в газете) ночью потащила исполина через Разгуляй, Басманную, по Садовому кольцу и Садово-Триумфальной, Тверской-Ямской и Ленинградскому шоссе. Чтобы ввести самолет на аэродром, пришлось разобрать ворота.

В день нашего приезда «Максима Горького» впервые увидел народ.

Для позеленевших в лапах эмблемы самодержавной власти, это был один из последних парадов. Вскоре Совет Народных Комиссаров СССР принял решение заменить к 7 ноября 1935 года царских орлов звездами из уральских самоцветов. Кремлевские башни приняли хорошо знакомый нам сегодня вид.

Из далекого Уэллена пришла радиограмма от чуждей, оказавших нам первое гостеприимство на материке. Они поздравляли с благополучным возвращением домой.

Большое впечатление произвело поздравление, появившееся в газетах. Знаменитая революционерка Вера Николаевна Фигнер, старая женщина с молодой душой, писала: «Вы явили мужество и солидарность между собой, качества, пример которых всегда помогал мне жить».

Услышать такое от человека, чью волю не смогли сломать зловещие казематы Шлиссельбурга, очень почетно.

Трогательно рассказывал народный артист СССР Василий Иванович Качалов о чувствах актеров.

«Однажды в феврале я пришел в театр, чтобы сыграть роль «от автора» в «Воскресении». Это были первые дни вашего пребывания на льдине, наполненные множеством неясностей и не вызывающие уверенности в будущем. Актеры, люди эмоциональные, волновались.

«Председатель суда» даже начал путать реплики, а в антракте сказал мне: «Я что-то «наложил», но, понимаешь, не мог сосредоточиться. Одна мысль в голове: «Челюскин», льдина... Подумал и как-то уж очень не по себе стало...»

Я увидел крупные слезы, побежавшие по гримированному щекам моего товарища. Через несколько дней тот же спектакль, та же сцена. Я заметил необычную оживленность «заседателей», которым по ходу пьесы полагалось изображать скуку, сонливость и равнодушие.

Я подошел поближе и отчетливо услышал шепоток, никак не предусмотренный Львом Толстым:

— Ляпидевский вывез всех женщин с льдины».

Затем наступила эпоха банкетов. Все жаждали позвать в гости челюскинцев, а пригласив, считали обязательным признаком хорошего тона не только послушать наши рассказы, но напоить и накормить. Делалось все это от души, и мне пришлось много поездить по стране, рассказывая то, что уже известно читателям этих заметок. Об одной из таких поездок надо рассказать.

Великолепно воспроизвели самый дух банкетной лихорадки любимые мной писатели И. Ильф и Е. Петров. Фельетон «Чудесные гости», появившийся в «Правде», повествовал о великой битве редакции газеты «Однажды вечером» с редакцией газеты «За рыбную ловлю» за челюскинцев.

...Помните, чудесных гостей пригласила газета «Однажды вечером». Редакция готовилась к их встрече как могла.

«...Из комнаты, на дверях которой висела табличка «Литературный отдел и юридическая консультация», исходил запах колбасы и слышался отчаянный стук ножей. Там засели пять официантов и мейрджотель в визитке. Они резали батоны, раскладывали на тарелках редиску с зелеными хвостами, колесики лимона и краковскую колбасу. На рукописях стояли бутылки и соусники.

Сотрудники, которые в ожидании банкета нарочно ничего не ели, часто заглядывали в эту комнату и, вдохновившись сверканьем апельсинов и салфеток, снова устремлялись на лестницу.

Заведующий литературным отделом стоял перед редактором и, нервно притрагиваясь к своим маленьким усикам, говорил:

— Сейчас у них обед с народными и заслуженными артистами, а потом они поедут на завтрак в ЦУНХУ, оттуда минут через десять на обед со знаменитыми людьми колхозов, а там уже стоит наш человек с машинами, схватит их и привезет прямо сюда закусывать...

...Час прошел в таком мучительном ожидании, какое едва ли испытывали челюскинцы, ища в небе самолетов. Василий Александрович, не отрываясь от телефона, принимал сообщения.

— Что? Едят второе? Очень хорошо!

— Кто пришел отбивать? Ни под каким видом! Имейте в виду, что если упустите, мы поставим о вас вопрос в местное. Может быть, вам нужна помощь? Высылаем трех на мотоциклах...»

Бедная редакция «Однажды вечером»! Она лишь в самый последний момент узнала, что этажом ниже, в редакции газеты «За рыбную ловлю», тоже накрывают столы. Там тоже ждали челюскинцев, их челюскинцев!

Такой подлости от своих коллег и соседей «Однажды вечером» совсем не ждала. Но сражаться с ними трудно, «За рыбную ловлю» имела в лифте своего человека, а приказ лифтерше дан самый категорический: остановить лифт не на четвертом, а на третьем этаже. Редакторы обеих газет т. Барсук и т. Икапидзе уже стали надвигаться друг на друга.

В это время внизу затрещали моторы, послышались крики толпы, и освещенный лифт остановился на третьем этаже. Рыбная лифтерша сделала свое черное дело...

...Дело четвертого этажа казалось проигранным. Хитрый Барсук говорил о нерушимой связи рыбного дела с Арктикой и о громадной роли, которую сыграла газета «За рыбную ловлю» в деле спасения челюскинцев. Пока Барсук действовал таким образом, «Однажды вечером» переминался с ноги на ногу, как конь. И едва враг окончил свое торжественное слово, как товарищ Икапидзе изобразил на лице хлебосольную улыбку и ловко перехватил инициативу.

— А теперь, дорогие гости,— сказал он, отодвигая плечом соперника,— милости просим закусить на четвертый этаж...

...Чудесные гости, устало улыбаясь и со страхом обоняя запах еды, двинулись в редакцию вечерней газеты.

В молниеносной и почти никем не замеченной вежливой схватке расторопный Барсук сумел все же отхватить и утащить в свою нору двух героев и восемь челюскинцев с семьями...

...А дальше все было очень хорошо и даже замечательно. Говорили речи, чуть не плакали от радости, смотрели на героев во все глаза, умоляли ну хоть что-нибудь съесть, ну хоть кусочек. Добрые герои ели, чтобы не обидеть. И на третьем этаже тоже, как видно, было хорошо. Оттуда доносилось такое сверхмощное «ура», что казалось, как будто целый армейский корпус идет в атаку.

Далеко за полночь на нейтральной площадке встретились оба редактора. У одного в петлице была чайная роза, от которой почему-то пахло портвейном, другой обмахивал разгоряченное лицо зеленым хвостиком от редиски. Они занимались важным делом — меняли челюскинцев, тщательно высчитывая достоинства каждого из чудесных гостей».

Я не мог не вспомнить здесь эту великолепную историю, ибо как участник многих встреч такого рода оценил всю точность юмора высокочтимых мною И. Ильфа и Е. Петрова.

Трогательное и смешное в эти дни часто оказывалось рядом. И челюскинцы и встречавшие нас сотни тысяч москвичей были растроганы тем, что автомобили, доставившие нас на Красную площадь, были увиты гирляндами цветов. Однако три недели спустя попытка проехать в таком разукрашенном цветами автомобиле вызвала совсем другую реакцию. Такая попытка по не зависящим от меня обстоятельствам была сделана, и я оказался ее невольным участником.

Получив приглашение приехать в гости в один подмосковный город, я удивился, увидев у подъезда своего дома увитый гирляндами цветов «газик». Хотелось тотчас попросить снять эти запоздалые украшения, но лица делегатов подмосковного городка, приехавших за мной и Василием Сергеевичем Молоковым, излучали такое доброжелательство, что попросить снять цветы означало обидеть этих славных милых людей, чего я, конечно, позволить себе не мог.

Язык не повернулся что-либо сказать, и мы поехали. Но проехали немного. На площади Дзержинского постовой милиционер свистнул и, остановив наши машины, строго спросил:

— Что это за деревенская свадьба?

Сидевший в первой машине Молоков занялся популяризацией Арктики. Милиционер, познакомившись с одним из Героев Советского Союза, с удовольствием выслушал, что во второй машине едет еще и Кренкель. Взмах руки — и наши разукрашенные автомобили гордо покатали дальше.

Вернувшись в Москву после завершения челюскинской эпопеи, я много ходил по городу. За время отсутствия, как всегда, произошли изменения. Стих трамвайный перезвон на Арбате. Последний трамвай прошел по этой улице за десять дней до возвращения челюскинцев. Исчезла Сухарева башня. Я застал лишь груды обломков, которые развозили грузовики и ломовые извозчики. Москва моей юности уходила в безвозвратное прошлое...

Первые годы челюскинцы как-то не очень поддерживали отношения друг с другом. Потом все изменилось. Наш славный Виктор Александрович Ремов, взяв на себя бездну хлопот, вновь организовал нас в коллектив. Каждый год 13 февраля, обычно в ресторане «Прага», мы вместе с летчиками, нашими дорогими спасателями, отмечаем дату гибели «Челюскина»...

Нас уже не много. Болезни, возраст, война сделали свое дело. Из дрейфовавших на льдине ста четырех человек остался всего сорок один.

Мы досиживаем до последней минуты, когда в ресторане уже начинает мигать свет и официанты, хорошо знающие всю нашу компанию, вежливо напоминают:

— Пора уходить.

Мы расходимся, чтобы через год, 13 февраля, встретиться снова. Слишком многое связывает нас, чтобы мы могли поступить иначе. К тому же в этот вечер нам всем бывает обычно очень хорошо...

СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ

...и служили мы государеву службу на студеном море-окияне...
(Из старинной поморской песни)

Вам поручается строительство новой станции. Опять на «Александре Сибирикове». Наши гости — медведи. Двенадцать собак. Здесь ты виден со всех сторон. Самые северные стахановцы. К нам прилетел гидролог. Необычная охота. День рождения. Нас консультирует Костя Зенков. Неважный остров. На ушаковской зимовке. Оживляем технику. Радиоперекличка. Цинга. Нам плохо. Смена!

Наконец прошла полоса встреч, выступлений...

Возвратившись как-то ранней весной из очередного вояжа, узнаю от жены, звонил Отто Юльевич и сказал: «Наталья Петровна, скажите, Вы не знаете, как Эрнст Теодорович — вообще, собирается работать?»

Зная Отто Юльевича, это «вообще» воспринял как приказ со строгим выговором и предупреждением.

На следующий день первым посетителем Шмидта был я.

«Вот мы предполагаем поручить вам строительство новой станции и назначить вас начальником. Что вы скажете?»

Сразу я ничего не мог сказать, потому что от радости в зобу дыханье сперло. Ой, до чего здорово! Новая станция, новые места и новое амплуа — красота! Радость и гордость обуревали меня.

Мне поручалось добраться, высадиться и построиться или на острове Визе, или на мысе Арктический, (северная оконечность Северной Земли), или на мысе Оловянный в проливе Шокальского на Северной Земле.

Эти многочисленные «или» объяснялись очень просто — куда пустит лед, куда сумеем пробраться.

К тому времени здесь, в Москве, появилась уже (видимо, без этого нельзя) арктическая бюрократия: приказы, циркуляры, инструкции, нормы расходования, формы отчетности — все это имелось в изобилии, все это надо было переварить и освоить.

В обязательном порядке начальники станций посещали курсы. Я познакомился со славными людьми: Леонидом Владимировичем Рузовым — мыс Челюскина, Иваном Михайловичем Никитиным — мыс Желания и Александром Григорьевичем Капитохиным — остров Уединения. Мы держались кучкой и злоупотребляли служебным положением Капитохина — старосты группы. Одурев от всяких премудростей, бегали на уголок, чтобы освежиться кружкой пива, а Капитохин ставил нам галочку — «на занятиях были». Раскаяния при этом он не испытывал, — отнюдь не все лекторы сеяли разумное. На всю жизнь запомнились лекции по пожарному делу. Я узнал массу интереснейших вещей: с огнем надо быть осторожным, он может стать причиной пожара, трубы надо чистить и окурки под матрац не совать.

Наш педагог по случаю жаркой погоды был в ситцевой косоворотке с растянутым воротником и подпоясан кавказским ремешком.

«...значит, так — это огнетушитель системы Тайфунт...» В течение академического часа следовало объяснение, каким местом «Тайфунт» надо ударить об пол, чтобы он начал действовать. Одолеваемые дремой после очередной кружки пива, мы почтительно внимали лектору.

Мною он не был доволен. Я очень толково повторил, каким местом надо ударить об пол, но вызвал негодование, сказав — «системы Тайфунт...»

— Товарищ Кренкель, я же ясно и четко сказал «Тайфунт», а вы перевираете название.

Спорить я не стал...

Первая половина лета прошла в хлопотах. Вот уже и поезд Москва — Архангельск. Провожать нас пришел сам Отто Юльевич. Это было, конечно, большой

честью. Пришла и Наташенька. Обо всем уже переговорили и обговорили дома. ...Официальный поцелуй при всех и грустный взгляд, когда поезд тронулся.

Привычный Архангельск, как дом родной. Иногда заходили освежиться в ресторан «Арктика», напротив летнего сада. Там заказывали единственное в меню блюдо — треску по-польски, благоухающую на весь квартал. Целыми днями мы пропадали в джунглях необозримых складов на Бакарице.

Здесь мы получали положенное нам имущество, стараясь, конечно, прихватить и неположенное.

Старый друг «Сибиряков» принял на борт нашу четверку и смену полярников, следующую на остров Уединения.

Все было привычным и дорогим.

«Сибиряков» быстро бежал по пустынному морю. Днем у нас находились кое-какие дела (кормежка собак и свиней), а светлым вечером полярного дня собирались в клубе около теплой трубы. Не было, казалось, темы, которую мы бы не затрагивали.

На острове Уединения помогли в выгрузке, побродили по острову и через два дня, распрощавшись с Капитохиным и его милой женой хирургом Александрой Петровной, отправились дальше.

Остров Визе нас не принял: не пустил тяжелый лед. Ткнулись по направлению к мысу Арктический, но и тут потерпели неудачу.

В августе входили в пролив Шокальского. Вот они, молчаливо угрюмые горы и сползающие ледники, среди которых мы проведем год жизни.

Отличное и предельно точное название дал своей книге истинный герой Арктики Георгий Алексеевич Ушаков — «По нехоженой земле».

Да, нехоженная...

По этому берегу со дня сотворения мира прошли три года тому назад только три человека: Ушаков, геолог-геодезист Урванцев и каюр Серега Журавлев. Об Ушакове и Урванцеве рассказ впереди, а о Сереге, как его все звали, расскажу сейчас.

Это была красочная фигура.

Именно такими я представляю себе наших землепроходцев. Тех, которые в давние времена без ледоколов, без самолетов, без радио на утлых суденышках бороздили полярные моря и были первооткрывателями неведомых земель.

Высокий, худой, состоящий как бы только из костей и сухожилий, руки как лопаты, рыжий, с грубым голосом и речью. Меткий стрелок, неумолимый в работе и надежный, как базальтовая скала. Таким был Серега Журавлев.

Однажды, объезжая упряжку собак, Серега заехал в далекую деревеньку под Архангельском, где испокон века не видели такой вид транспорта. Все население высыпало на улицу.

— Ой, ой, гляньте, до чего большевики довели, на собаках ездят...

— Погодите, бабы, — огрызнулся Серега, — через год на котах приеду.

Первого сентября «Сибиряков» уходил. Дописываю последние слова последнего письма жене с неизменными словами: не волнуйся, обнимаю, целую и так далее.

Выстрелы, прощальные гудки, все как полагается в таких случаях.

Во время выгрузки произошел печальный случай. Судовой электрик в припадке меланхолии повесился. Мы безуспешно пытались его оживить: поочередно до изнеможения делали искусственное дыхание, все было напрасно.

Решили похоронить его по морскому обычаю — предать морю. Но вместо того, чтобы просто зашить труп в кусок парусины и привязать пару колосников, положили покойника в гроб. «Сибиряков» уже попрощался с нами и, чуть-чуть отойдя, на виду у нас, команда смайнила гроб за борт. Часть плохо прикрепленных колосников, видимо, сорвалась и вот картина: удаляющийся корабль, серый мрачный день, свинцовое небо и ныряющий на волнах гроб.

Первая ночь. Разместились на двухъярусных койках за печкой, в углу большой комнаты. Спали долго. А наутро все та же удручающая груда ящиков на

берегу. Каркас сарая стоит, но надо его зашить досками. Ящики, тюки, бочки, — о, господи...

Но, как говорится, глаза страшатся, а руки делают. Мехреньгин, на все руки мастер, сноровисто зашивает досками сарай. Берет в рот жменьку гвоздей и быстро орудует молотком.

Кремер не хочет отставать...

Метеоплощадка высилась на бугре с положенными ей аксессуарами: две стандартные метеобудки, столб с флюгером и дождемер. Четыре раза в сутки, в темноту и пургу Кремеру надо идти к будкам. Те же разбросанные камни, снег, заструги. Жалея нашего метеоролога, положили толстые доски, так будет удобней.

— А леер будем протягивать?..

Опять у троих веселое настроение.

— Милый мой, леера между домами натягиваются только в плохих кинофильмах, когда пургу изображают с помощью выработавшего свои ресурсы авиатора. Ишь ты, леер ему нужен! Обойдешься и так...

Борис Александрович Кремер — наш метеоролог впервые в Арктике. У летчиков есть выражение: «вывозить» молодого летчика — это когда опытный пилот демонстрирует в действии новичку новый, неизвестный ему самолет.

Так и я «вывозил» Кремера и поэтому считаю себя его полярным крестным отцом.

Житейская мудрость гласит, что человек обыкновенно недолюбливает тех, кто на него похож. В нашем случае эта мудрость дала осечку. Мы в чем-то похожи и даже одинаково сильно картавим. Мой крестник в дальнейшем оказался отличным полярником, неоднократно возглавлявшим коллективы крупных полярных станций.

Редела гряда ящиков, и все как-то потихоньку устанавливалось. Запыхтел маленький двигатель, уходили на мыс Челюскина наши метеосводки.

Все становилось привычным, и очередной день тоже начинался как обычно. За окном темно, плита еще не прогрела комнату, вставать явно не хотелось.

Метеоролог уже вернулся с площадки, составил и передал радиисту первые сведения о погоде наступившего дня. Теперь он возился у плиты за дощатой перегородкой с чайником: приступил к своим домашним обязанностям.

Начало рабочего дня мало чем отличалось от московского, разве что ближайшие соседи находились к югу от нашего острова в трехстах километрах.

В центре помещения стояла огромная, монументальная печь как символ тепла и жизни.

Дощатая перегородка от печки к стене образовывала спальню и кухню. Находясь в спальне, можно было без лишних вопросов безошибочно определить по запаху меню обеда.

Наступило время утреннего чаепития, но ему не суждено было состояться.

Внезапно бешено залаяли собаки. На обычную утреннюю перебранку это не походило. Чувствовалось, что необычайное возбуждение вызвано веской причиной.

Не успели выскочить на крыльцо, как лай собак стал удаляться. Быстренько: штаны, сапоги, ватник — и с винтовками выскакиваем на крыльцо. Наш дом стоял на косогоре, среди огромных каменных глыб. С крыльца открывался далекий вид на юго-запад, на пролив, который где-то на горизонте соединялся с морем.

В непосредственной близости от нас в пролив выдавался наш мысок с флагштоком, а вправо отходила небольшая бухточка, наша гавань.

Стояла поздняя осень.

Припорошенные первым снегом высокие горы, как в зеркале, повторялись в спокойной воде пролива. Величавые айсберги молчаливо двигались к югу. Торжественная тишина нарушалась лишь далеким лаем собак. Вся свора мчалась галопом по береговой террасе вдоль берега бухты по следам медведицы.

Это происходило в полукилометре от нас на противоположном берегу бухточки, и с высокого крыльца нашего дома отлично было видно.

Что делать? Бежать вдоль бухты или спустить шлюпку? И то и другое требует чересчур много времени. Остается одно — стрелять.

Жаль было убивать такого красивого зверя, но нам следовало думать о корме для собак на долгую полярную ночь... Взяли тушу на буксир. Буксировка шла медленно, начался ветерок и появилась волна. Кое-как добрались до дома. переоделись, покурили и приступили к нудной работе.

Пришлось подрубить лед, устроить пологий скат, и лишь тогда вчетвером вытащили добычу на берег.

Началась разделка. Дело нешуточное и требующее опыта и сноровки. Первое требование — отличный, острый промысловый нож. Шкура снимается вместе с толстым слоем сала и накидывается на высокие козлы. Остается голая туша, но, как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Снять шкуру не так уж трудно, но кропотливая, почти ювелирная работа начинается с лапами и головой. Разделку приходится вести на ветру голыми руками. Как ни тяжело далась нам возня с первым охотничьим трофеем, мы радовались: мяса хватит надолго. Окурока развесили по стенам дома вне досягаемости собак, остальное — в бочки, а требуху собакам. Покончив с разделкой, пообедали и решили отдохнуть. Но не тут-то было: опять лай собак. На этот раз совсем близко, в тридцати метрах от дома три медведя обнюхивают злополучное для их родича место. Пришлось трудиться допоздна.

Столько медведей в один день — неплохо. В основном, запасали корм для собак и радовались такому богатому улову.

Тут уместно сказать хорошие слова о собаках.

Не помню, кто сказал мрачную фразу: чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак. Оставим людей в покое. Спор на эту тему мог бы завести чересчур далеко; обратимся лучше к собакам, но оставим в покое бедных городских собак, превращенных в забаву. Владельцы их, клянясь в любви к своему Рексу или Диане, часто забывают при этом, что жизнь любимцев хуже собачьей: три обязательные прогулки, от которых старательно отбиваются все члены семьи. Да и что это за прогулки на поводке, с намордником, и вся зелень — это склон между трамваем и бульварной оградой, на котором балансирует гордый хозяин несчастного существа. Давайте их пожалеем и поставим на этом точку.

В давние времена ни одна полярная экспедиция не могла обойтись без собак. Ну, как же, единственное тягло в полярных условиях. Сколько искренних и добрых слов рассыпано на страницах многочисленной полярной литературы об этих верных друзьях человека!

С наступлением двадцатого века стала уходить в небытие многовековая полярная техника. Самолеты, вертолеты, вездеходы основательно потеснили собак. А много лет назад на Колыме еще существовал питомник ездовых собак. Колымская! В свое время мечта любой экспедиции, любого полярника. Средней величины, с широченной грудью и массивными лапами, она с первого взгляда внушала доверие. Отличительным признаком были почему-то разномастные глаза.

В полной мере четвероногие сохранились и сохраняются у чукчей на побережье Чукотки.

А как же иначе: выезд на промысел. поездки к родственникам и на ближайшую факторию за сотни километров, чтобы купить муку, керосин и патроны, требуют наличия своей упряжки.

Было и у нас двенадцать собак.

Георгий Алексеевич Ушаков, понимая все их значение при грандиозной работе по исследованию Северной Земли, заказал себе именно колымских. Несколько их — а может быть, это уже было новое потомство — досталось нам. Остальные оказались ниже всякой критики: нормальные обитатели архангельской живодерни. Хозяева, видимо, разыскивали пропавших, а их избалованные питомцы уже ехали покорять Арктику. Несколько упрощая и переводя на житейскую практику георию Дарвина, мы решили, что произойдет естественный отбор. А пока для этих короткошерстных собак предстояло заготовить на зиму корм и следовало торопиться. пока стояла чистая вода и нет-нет да и выныривала черная круглая голо-

ва тюленя с топорщащимися усами и удивленными коровьими глазами. Разделка очередного тюленя всегда являлась радостным событием для своры собак. Просто не хватало сил отбиваться от возбужденной компании.

Экзаменом для четвероногих служила работа. Тут в полной мере познавался истинный характер каждого пса.

На появление человека в дверях с упряжью лохматые друзья реагировали различно: одни подбегали с утренним приветствием, а другие молниеносно исчезали. В упряжке четное количество собак, и каждая пара, имея на плече и груди шлею, тянет пропущенную через кольцо большую ляжку. Таким образом, нерадивое отношение к своим обязанностям замечает не только человек, но и собачий партнер.

Честный работяга на ходу подкусывает отстающего ленивца, а на очередной стоянке обеспечен серьезный собачий разговор.

Существует у собак свой табель о рангах, своя иерархия. Стоило во время кормежки подойти к своре общепризнанному всей стаей вожаку Казанове, прозванному так за полное пренебрежение к моногамии, как даже сильные псы предпочтут отойти в сторону. Единственное, что они позволяли себе — глухое рычание.

До сих пор глубоко жалею, что именно я стал виновником гибели Казановы.

Наволя порядок во время очередной кормежки, я схватил его за загривок. Он зарычал, ощерился и попытался укусить. Это не удалось, но он вырвал большой клочок из моих штанов — особых кожаных, на байке с высоким корсажем, сшитых женой. Штаны были моей гордостью и предметом зависти товарищей.

Обстановка созрела для воспитательных мер. Прижав Казанову коленом к снегу, левой рукой держа за загривок, я стал внушать этому сукину сыну, кто тут из нас царь природы. Вокруг сидели все собаки, молча наблюдая экзекуцию. Казанова встал, молча ушел за сарай и лег.

Я навещал его, носил воду и вкусную еду. Он не ел, не вставал. Через неделю он подох.

Самолюбие есть и у собак.

Кроме нас четверых, в доме жили вместе с нами еще три существа. Во-первых, мощная немецкая овчарка Грейф, приехавшая из Москвы. Этого пса совсем еще маленьким щенком мы вместе с женой в наволочке на трамвае с Арбата привезли домой. Характер у него был хороший, если не считать перепорченную хозяйскую обувь. Собакам в дом заходить не полагалось. Поэтому они косились на Грейфа и явно его недолюбливали, но резких выпадов себе не позволяли. Собаки понимали: Грейф — приближенная и любимая собака начальства.

Во-вторых, кошка. Маленьким котенком мы прихватили ее в архангельской бане.

Не мудрствуя лукаво кошку назвали Муркой. Когда же сделали сенсационное открытие: Мурка вовсе не мурка, а наоборот, устроили торжественные крестины. При всеобщем одобрении нарекли бывшую Мурку Лукой.

В Архангельске в качестве продовольствия нам дали огромнейшую свинью, да еще поросую. Не надо говорить, как много внимания мы уделяли этой даме, вернее не ей, а будущим окорокам. Мы обращались с ней, как с севрской вазой. Под высоким крыльцом устроили закуток и тщательно законопатили все щели, чтобы не продувало. Наконец наступил волнующий день опороса. По положению, будучи начальником, командовал предстоящей операцией я. Приготовили шайку с теплой водой, и мои ассистенты, бережно зажав в ладонях очередной теплый комочек, мчались в дом. Наслышанные о том, что новорожденных купают, мы старательно купали наших поросят, удивляясь их непонятному облачению — тонкой пленке, похожей на целлофановую, которую тут же сдирали.

Обладай свинья даром речи, непременно сказала бы: «Слушайте, вы, болваны, дайте-ка я лучше сама управлюсь».

Наша чрезмерная забота и слабые познания в области акушерства привели к печальным результатам — из десятка поросят уцелел только один.

В технике существует такой неофициальный термин — «дуракоупорный»; именно таким оказался этот поросенок. Нарекли его Васькой, и был он нашим общим любимцем. В свободное время, во время чаепития или шахматной партии Лука и Васька сидели у нас на коленях. Посередине комнаты, распластавшись, лежал Грейф. Лука пластом ложился на шею страшного пса, а Васька, стуча копытцами, подбегал и устраивался на паху Грейфа. Момент укладки, учитывая копытца, Грейф переносил стоически, хотя и ворчал.

Время шло, Васька рос, ну, а как быть дальше?.. Как ни горько — пришлось расстаться с ним. Чтобы смягчить моральные переживания такой тризны, пришлось выдать по полстанкана спирта.

...Кухонный угол был моим царством. Всего вдоволь. В сарае штабеля мешков и ящиков с консервами. Отличные колбасы — такие твердые, что запросто можно убить человека, бочки с треской, селедкой и прочая снесь.

Я старался вовсю. Пришлось освоить такое хитрое дело, как выпечку хлеба. Он не должен быть пресным, перекишим. Внизу не должно быть закала, наверху не должна отставать корка. Таким образом: четыре «не должен» и лишь одно «должен» — хлеб обязан быть вкусным. Полярный суп почти не сходил с повестки дня — надо сначала разварить сухие овощи, а потом вытряхнуть туда банку мясных консервов и тут же подавать на стол. Варить не надо, ни-ни, иначе будут не куски мяса, а тряпки. Популярностью пользовался суп «андалюз» — рис и томатная паста. И конечно, бессмертный и известный всем морякам десерт — компот из сухофруктов: мутная, сладкая вода с черными кусками неизвестно чего. Утверждают, что это сушеные груши. На стол не подавались паштеты из соловьиных язычков, как у Нерона, зато в меню входило такое отменное блюдо, как почки белого медведя, какого не знал всемогущий властелин.

В нашей компании я был единственным кандидатом в члены партии. Заявление подал где-то в районе Хабаровска в поезде, которым возвращались домой челюскинцы. Мне было тридцать лет, и я не боялся вопроса: «А где ты был раньше?» Раньше я был на маленьких зимовках, где не существовало партийной организации.

Вся история челюскинцев привела меня к мысли о вступлении в партию. Там во время ледовой трагедии с особой силой почувствовал я силу коллектива.

Надо сказать, что Арктика — отличная школа для любого человека. Не все ее выдерживают и бывает — уходят с первого курса этого сурового жизненного университета. В условиях большого города, в условиях учрежденческой канцелярии не всегда удается сразу распознать человека. Всеобщими бывают официальные характеристики о моральной устойчивости. Но редко ли случается, когда «морально устойчивый» в служебные часы, в домашней обстановке дает волю сдерживаемым порывам — и тут-то и проявляется характер личности без маски. Нет границ его самодеятельности... Тут и битье жены и детей, чрезмерное поклонение Бахусу, перебранка в коммунальной квартире и прочее.

А паутро перед сослуживцами вновь предстает в ином облики. Поди разберись, а кто он такой по существу?

В Арктике другое дело. Двадцать четыре часа ты как на блюдечке. Товарищи видят тебя со всех сторон со всеми, как и положено любому человеку, изъяснянами. Тут маска не поможет. Все по-честному, карты на стол...

То, что я состоял кандидатом в члены партии, никаких преимуществ мне не давало, а скорее наоборот, налагало высокие обязанности.

Трое отличных честных людей представляли собой беспартийную массу. Я слухавил бы, утверждая, что был среди них грамотным марксистом. Но встречи с хорошими людьми, житейский опыт и весь настрой тех лет дали свои результаты.

Старший среди нас — наш механик Николай Георгиевич Мехреньгин. До революции работал мотористом на судах заграничного плавания. Не раз уже побывал на полярных станциях. Где-то под Архангельском есть не то деревня, не то речушка под названием Мехреньга, и там все жители Мехреньгины. Оттуда родом

наш Николай Георгиевич. Спокойный, уравновешенный, понимающий шутку и мастер на все руки. Все мы уважали его.

Наш радист — Алексей Голубев. Вместе с И. Д. Папаниным зимовал год на Земле Франца-Иосифа. Много лет назад, став радистом на год раньше меня, натаскивал меня по азбуке Морзе. Вместе ходили в кино, в пивные, когда у одного из нас появлялись деньги. Последнее случилось не часто.

Имея таких замечательных товарищей, самой большой глупостью было бы командовать. Каждый отлично знал свои прямые обязанности, и никто не гнушался любой работы.

Все же звание начальника в наших необычных условиях накладывало на меня известные обязательства. Человек (если он не стоеросовая дубина) должен учиться всю жизнь. Сначала школа с двойками и тройками, а затем большая жизнь, уже без отметок. Хотя это не совсем так. И жизнь, в лице окружающих, ставит тебе отметки. До гробовой доски человек учится. Услышал, увидел, прочитал что-либо хорошее — прими на вооружение и повтори... Что-либо плохое — обязательно запомни и не поступай так.

Ближайшие люди находились от нас на мысе Челюскина, что-то около трехсот километров.

Райкомов, курсов, семинаров, инструктивных бесед не существовало. Наше дело — четыре раза в сутки давать погоду. Как мы это делаем, никого особенно не интересовало, лишь бы без ЧП. Несколько условных значков на синоптической карте, где обозначен мыс Оловянный, свидетельствовали: наша четверка жива и делает положенное дело.

Мы регулярно слушали радио и были в курсе всех международных событий. Регулярно проводились политбеседы. Все с удовольствием принимали участие в них, тем более что говорили «за жизнь» и как-то приноравливали все к нашим условиям, к нам самим. Вспоминали и комментировали случаи из собственной жизни, говорили о прочитанных книгах и в поисках иллюстративного материала вторгались и в классику. Признаться, суждения о поведении широко известных героев далеко не всегда совпадали с литературными образцами.

В августе 1935 года произошло событие, всколыхнувшее всю нашу страну. Донецкий шахтер Алексей Стаханов, умело используя новейшую технику, которой в то время располагала угледобывающая промышленность, поставил небывалый рекорд по добыче угля.

Началось всенародное стахановское движение. В каждой радиопередаче сообщалось о включении в него десятков и сотен тысяч тружеников. Во всех областях современной жизни находил применение метод Стаханова.

Станция малюсенькая, один домик, четверо человек. Нас направили сюда ради науки, и мы гордились своим неказистым храмом науки. Программа работ скромная: четыре раза в сутки вести наблюдения погоды, следить с помощью футажа за приливами и отливами, делать снегомерную съемку.

Мы — единственная станция в огромном архипелаге Северной Земли, и наши сведения нужны синоптикам. Может быть, от нашей будничной, скромной работы прогнозы станут чуть-чуть лучше; на это, во всяком случае, мы надеялись.

Мы внимательно следили за московскими передачами и никак не могли сообщить, каким образом и нам стать стахановцами. Угольных пластов под рукой нет, нет станков, паровозов, вагонов, дойных коров и инкубаторов. Есть у всех четверых только нормальное чувство гражданственности нормальных советских людей.

— Эх, ребята, хорошо бы и нам включиться в это дело!

— Хорошо-то хорошо, а как?

Мы слышали лозунг: больше и быстрее. А применить его к своим условиям не могли. Понимали: если вместо четырех положенных метеонаблюдений мы начнем делать шестнадцать, то вряд ли станем стахановцами, а вероятнее всего нас назовут по справедливости болванами.

В одной из передач услышали четко сформулированный основной тезис: «Оседлать технику и гнать ее вперед».

Ясно... Но наличие техники не позволило обольщаться радужными надеждами и строить грандиозные планы. Прямо надо сказать, с техникой не густо: упряжка собак, бензиновый движок в три лошадиные силы, скромная радиоаппаратура, стандартные метеоприборы — вот и весь наш скромный арсенал.

Опять вставал очередной вопрос — кого оседлать, кого и куда гнать вперед?

Долго мучались, спорили — уж очень нам тоже хотелось быть стахановцами, и в конце концов родился хороший план. Как уже говорилось, расширять преподанную нам программу работ не имело смысла. А нельзя ли выполнить что-либо сверх программы? Мы находились на берегу широкого пролива Шокальского. Лишь два года назад по этому проливу, считая с сотворения мира, прошло первое и пока единственное судно, следовательно, пролив со всеми его глубинами, течениями, приливами и отливами совершенно неизучен.

Гидрологической аппаратуры нет, да она и не предусматривалась на первый год зимовки. Никто из нашей четверки незнаком с тайнами гидрологии.

Начальство в управлении полярных станций одобрило наше предложение. Ответ гласил: «Подготовьтесь к приему гидролога со всем его хозяйством. Он прибудет к вам с наступлением светлого времени, самолетом. Начались деловые переговоры с милейшим Леонидом Владимировичем Рузовым — начальником большой полярной станции. Уточнялась программа, сроки работы и срок прибытия гидролога, согласовывался миллион мелких житейских вопросов, от которых зависел успех.

Нам четверым также пришлось изрядно потрудиться и создать хорошие условия для работы.

В мало-мальски приличную погоду запрягали собак и на середину пролива доставляли все необходимое для незатейливого строительства: бревна, доски, куски толя, гвозди, плотничий инструмент, а также несколько мешков угля, камелек, керосин и пару ящиков с консервами. Таких рейсов сделали много. Иногда накрывала непогода, иногда приходилось наравне с собаками впрягаться в лямки. Ругались, но дело двигалось. Очевидно, мы были самыми северными стахановцами страны.

Нам сообщили необходимые размеры посадочной площадки. Пришлось ее поискать и обозначить границы вешками, подготовить костер для дымового сигнала и посадочное «Т».

(Окончание следует)



Профессор В. ЭФРОИМСОН

★

РОДОСЛОВНАЯ АЛЬТРУИЗМА *

(Этика с позиций эволюционной генетики человека)

Проблема происхождения доброго начала в человеке спокон веков волнует мыслителей. В не столь уж далекие времена для большинства людей наиболее убедительным представлялось то объяснение, которое давала этой проблеме религия. Сегодня, когда мало кто всерьез относится к идее божественного происхождения добра, широко распространено убеждение, что воспитание — полный, единственный и безраздельный творец этических, моральных, нравственных начал в человеке, а их передача от поколения к поколению целиком обусловлена только социальной преемственностью.

Роль преемственности бесспорна. Если ребенка сразу после рождения лишить на несколько лет звука человеческой речи и общения с другими людьми, то он никогда уже не научится говорить и превратится в полудиота. Конечно, способности и свойства человека развиваются в общении с людьми. И не исключено, что сверхталантливый педагог смог бы вырастить на редкость продуктивного специалиста из ученика, почти не обладающего способностями к будущей профессии, а опытный рецидивист — закоренелого негодяя из потенциально благороднейшего ребенка. Исходя из этих крайних, уникальных ситуаций, можно прийти к выводу, что человек со своим потенциальным умом и этическими свойствами рождается каким-то белым листом, на котором окружение, среда, воспитание записывают любой текст. Но оторвемся от особых, аномальных ситуаций и задумаемся над тем, является ли мышление и этика подростка, юноши, индивида действительно только мягкой глиной, пассивно ждущей скульптора.

Попытка объявить воспитание само по себе монополистом в деле формирования этических представлений неизбежно ведет к безусловно прогрессивным, оптимистическим выводам. Ведь можно же, поддерживая из поколения в поколение преемственность обработки умов, воспитывать тупых расистов или сектантов-фанатиков. Тем более что это уже удавалось. Но почему же только до поры до времени? Потому что внешние и внутренние толчки быстро вскрывали слабость этих государств, угнетающая социальная преемственность рушилась. Угнетенные массы брались за оружие и шли на опаснейшую борьбу, как только для этого возникали экономические предпосылки, достаточно глубоко выясненные социальными науками. Но ведь знаменателен и сам факт готовности масс идти на подчас почти верную гибель!

Бесчисленные мыслители приходили к выводу о существовании в человеке какого-то начала, заставлявшего из века в век (нередко вопреки всему, что пытались зало-

* В статье В. Эфроимсона ставится ряд проблем, которые, очевидно, требуют дальнейшего обсуждения и уточнения. Тем не менее публикация ее может представить для наших читателей определенный интерес.

жить в него воспитатели) подыматься на борьбу со злом даже при ничтожных шансах на победу, и тем самым признавали в человеке врожденное существование доброго начала. Но имеются ли хоть какие-либо основания для таких признаний? Иначе говоря, совместимо ли с современной наукой предположение, что, кроме порожденных воспитанием, кроме обусловленных социальной средой, есть еще какие-то, разумеется же не божественного происхождения, истоки доброго начала в человеке? «Почему, вследствие какого умственного или чувственного процесса человек, сплошь да рядом, в силу каких-то соображений, называемых нами «нравственными», отказывается от того, что несомненно должно доставить ему удовольствие. Почему он часто переносит всякого рода лишения, лишь бы не изменить сложившемуся в нем нравственному идеалу?» (П. А. Кропоткин, «Этика», Пб.—М., 1922, т. I, стр. 109).

Успехи современного естествознания, успехи эволюционной генетики позволяют, по-видимому, ответить на этот вопрос. Есть основание считать — в наследственной природе человека заложено нечто такое, что вечно влечет его к справедливости, к подвигам, к самоотвержению. И задача этой статьи — показать, что те огромные, хотя противоречивые потенции к совершению добра, которые постоянно раскрываются в человеке, имеют свои основания также и в его наследственной природе, куда вложены они действием особых биологических факторов, игравших существенную роль в механизмах естественного отбора, в процессе эволюции наших предков.

При этом хочется еще раз подчеркнуть, что выдвинутая идея ни в какой мере не отвергает роль социальной среды и воспитания в формировании этических принципов личности. То, что любой организм, а в особенности человек со всеми свойствами его психики, поведения, этики, — продукт среды, бесспорно. Но поскольку та сторона вопроса, которая подчеркивает роль воздействия социальной среды, воспитания, получила самое широкое освещение в научной литературе и многочисленных публицистических статьях, то автор в данном случае считает целесообразным сосредоточить главное внимание именно на наследственном механизме формирования этических начал. Ибо, по нашему мнению, такой антитезисный подход может породить необходимый синтез. Одним словом, мы попытаемся показать, что последний миллион лет и в особенности последние десятки тысяч лет эволюции создали какой-то преемственно передающийся комплекс наследственных этических реакций, придавливаемых (но все же существующих) в условиях крайних, предельных, но реализующихся в нормальных условиях.

Естествен ли, природен ли для человека только эгоизм?

Уничтожение десятков миллионов людей на фронтах и в лагерях во время двух мировых войн, массовые расстрелы гражданского населения, бомбежки мирных городов, истребление пленных голодом, холодом, болезнями, безнаказанность военных и гражданских преступников, возникновение новых очагов войны внушили многим зарубежным ученым мысль, что агрессивность, эгоизм и хищность — природные, неискоренимые свойства человечества в целом. Обыватели и обслуживающие их писатели, художники, артисты, кинодеятели прониклись этим же мировоззрением без особой помощи ученых. Идеологи империализма (отнюдь не бескорыстно) способствуют распространению подобных взглядов, ибо видят в них надежный способ противодействия объединению людей для борьбы за общие интересы. Они доказывают, что представление о врожденном человеческом эгоизме опирается на дарвиновскую теорию естественного отбора. Все неспособные к самосохранению должны вымирать, уступая место тем, кто любой ценой, любыми средствами побеждает и уничтожает врагов и соперников. По их мнению, ближайшим предком человека является плотоядный хищник, африканский австралопитек, миллион лет назад избравший кость антилопы в качестве главного орудия охоты и убийства себе подобных. Примеры, иллюстрирующие правоту этого взгляда, подбираются из жизни животного мира. Так, самец бойцовой сямской рыбки сражается с соперником и убивает его. Стаи птиц, стада обезьян сражаются за территорию с соплеменниками; в стаде обезьян очень быстро устанавливается иерархия господства и подчинения; сложное иерархическое деление существует в виде так называемого права первого клевка и в столь безобидной на вид стае кур.

Американский антрополог А. Кейт в трудах об эволюции человека пишет: «Нужно признать, что условия, вызывающие войну, — разделения животных на социальные

группы, «право» каждой группы на собственную территорию, развитие комплекса враждебности, направленного на защиту этих участков,— все это появилось на земле задолго до появления человека». А человек, по представлению А. Кейта, несет в себе закрепленное в генах наследство в виде страсти к господству, собственности, оружию, убийствам, войнам.

Но самая худшая ложь — это неполная правда, и недаром английская присяга суду формулируется: клянусь говорить правду, всю правду и ничего кроме правды.

Идея, будто естественный отбор среди диких животных ведет к усилению хищнических инстинктов, совершенно правильна, если представить себе их существование в форме борьбы всех против всех. Если такой же характер имел естественный отбор в ходе формирования человечества, то логически неизбежен вывод, что все этические начала в человеке порождены лишь воспитанием, религией, верой, убежденностью, являются особенностями, целиком приобретаемыми каждый раз наново под влиянием среды в ходе индивидуального развития, то есть ненаследственными. Зато вспышки массовой жестокости — не только результат ее воспитания и культивирования, это возврат к животным инстинктам, к первобытным звериным, из века в век подавляемым, но именно естественным свойствам. Такое объяснение поступков человека широко распространено в зарубежной научной литературе.

Стремление к личной выгоде в обществе стеснено, дескать, лишь разумом, диктующим такую осторожность и такие нормы поведения, которые позволили бы обойти карающий закон и избежать опасной вражды и осуждения окружающих (не пойман — не вор). Отсюда все поступки, направленные на личную выгоду, но совершаемые в нераскрываемой тайне, естественны, а человека удерживают от их совершения только страх и навязанные воспитанием навыки. Эта теория, выводящая все поведение человека из его созданного отбором абсолютного эгоизма, подкупает своей простотой и логичностью. Действительно, по О. Уайлду, «любовь к самому себе — это единственный роман, длящийся пожизненно». Но эта теория естественного эгоизма сталкивается с фактами массового героизма и самоотвержения, с существованием героической верности своему долгу, стойкого чувства товарищества в самых тяжелых условиях и с быстрым массовым возрождением общечеловеческих этических принципов почти сразу после снятия тех исключительных форм подавления, которые сделали совершенно невозможными их претворение в жизнь.

Идея справедливости обладает необычайной способностью к регенерации, она подобна фениксу, возрождающемуся из пепла.

* * *

Вероятно, никто не станет оспаривать, что готовность матери (иногда и отца) рисковать жизнью, защищая детеныша, не вызвана воспитанием, не благоприобретена, а естественна, заложена в природе матери и отца. Но родительское чувство у животных длится лишь тот срок, на протяжении которого детеныши нуждаются в помощи и охране, а затем родители перестают обращать внимание на выросших детей. Очевидно, очень сложный инстинкт действует лишь постольку, поскольку он помогает охране потомства и процветанию вида. Нетрудно понять, что он способствует передаче наследственных особенностей родителей (в частности, тех же инстинктов защиты потомства) будущим поколениям. Наоборот, отсутствие наследственных родительских инстинктов исключало передачу этого дефекта потомству — оно просто не выживало без помощи родителей и родители, лишённые таких инстинктов, этот свой дефект больше не передавали. Так сохранялись и совершенствовались наследственно обусловленные родительские инстинкты.

Уже у стадных животных этот тип альтруизма распространяется за пределы семьи, охватывает стаю, стадо — отсутствие чувства взаимопомощи у членов этого сообщества обрекает его на быстрое вымирание. Ведь у многих видов животных только стая, а не пара родителей способна одновременно осуществлять сигнализацию об

опасности, защиту детенышей и добывание для них пищи. Стихи Киплинга выражают эту истину лучше любой прозы:

Добыча Стаи — для Стаи; ты волен на месте поесть.
Смертная казнь нечестивцу, кто кроху посмеет унести!
Право Щенка-одногодка — досыта зоб набивать
добычей Стаи, и Стая не смеет ему отказать
Право Берлоги — за Маткой: у всех однолеток своих
с туши четверку взимает она для прокорма щенков молодых.

Естественно, что даже без передачи опыта родительским примером стадно-стаи-ные инстинкты оказываются непосредственно закрепленными, точно так же как защитная окраска, наличие когтей и много других средств самообороны

Обезьяны-геизады заботятся о потомстве всей стаей, и если дается сигнал тревоги, далеко забредшие детеныши бросаются на спину любому из стаи, несущемуся в укрытие.

В стаде павианов мать с детенышем — привилегированное существо, ее охраняют самцы.

Самый страшный враг южноафриканских павианов не лев, могучий, но слишком тяжелый для того, чтобы лазать по деревьям за своей добычей, а леопард, который добирается до места, недоступного для льва, и убивает, как и лев, одним ударом лапы.

Натуралист Евгений Маре, три года живший среди павианов в Африке, однажды подсмотрел, как леопард залег около тропы, по которой торопилось к спасительным пещерам запоздавшее стадо павианов — самцы, самки, малыши, словом, верная добыча. От стада отделились два самца, потихоньку взобрались на скалу над леопардом и разом прыгнули вниз. Один вцепился в горло леопарду, другой в спину. Задней лапой леопард вспорол брюхо первому и передними лапами переломил кости второму. Но за какие-то доли секунды до смерти клыки первого павиана сомкнулись на яремной вене леопарда, и на тот свет отправилась вся тройка. Конечно, оба павиана и могли не ощущать смертельную опасность. Но стадо они спасли.

Рассматривая не только высших позвоночных, но и насекомых, особенно социальных, мы найдем почти у каждого вида такие инстинкты, способности, обычно считающиеся монополиями человека, как героическая охрана потомства и забота о нем, взаимовыручка в опасности, самоотверженная защита стада и т. п.

Не говоря даже о добродетелях дельфинов, мы все же обнаружим, что в совещенно разных ветвях эволюционного дерева независимо создавались многие «человеческие» свойства. Но для того чтобы из некоторых задатков наших обезьяноподобных предков за десятки тысяч поколений выработались человеческие качества, неизбежно требовался отбор по строго определенному направлению, «программированному» жесткими взаимосвязанными изменениями: огромным ростом головного мозга и его мощи, удлинением срока заботы о потомстве, усложнением сотрудничества и усилением самоотверженности. (О значении социальных условий, о воздействии труда на формирование развития упомянутых выше человеческих качеств автор не говорит здесь лишь в связи с уже заявленным в начале статьи намерением уделить основное внимание наименее выясненному, а именно — наследственному механизму формирования этических начал.)

Чтобы понять значение этого направленного естественного отбора и вызываемых им перестроек наследственной природы человека, вспомним высказывание Ф. Энгельса о том, что определяющим моментом в истории является производство и воспроизводство самой жизни, имеющее две стороны: с одной стороны, производство средств жизни, а с другой — «...производство самого человека, продолжение рода». Обычно помнят лишь первую часть формулы, но именно во второй ее части, в закономерностях производства самого человека, продолжении рода, таятся среди всей совокупности причин причины наследственного закрепления тех якобы противоестественных человеческих эмоций, эмоций человечности, самоотверженности, благородства, жертвенности, непрерывное восстановление которых остается подчас загадкой или представляется алогичным с вульгарно-материалистических позиций.

* * *

«В то время как все другие животные быстро обучаются находить себе пищу, только у человека младенчество длится долго. И если бы он был вначале таким же, как теперь, то не смог бы выжить».

Анаксимандр Милетский.

С чего начинаются человек и человечность?

От австралопитеков и питекантропов раннего палеолита нас отделяют 500—200 тысяч лет, от неандертальцев среднего палеолита 200—40 тысяч лет, а современный человек появился 40—13 тысяч лет назад (поздний палеолит); от 13 до 5 тысяч лет отделяют нас от мезолита и неолита, и примерно 5—7 тысяч лет длится историческая эра. Одно поколение, считая от рождения младенца до его зрелости и рождения у него детей, длится около 25 лет, и мы отдалены от нашего звероподобного предка всего-навсего десятком тысяч поколений.

Емкость черепа австралопитека — 450—550 кубических сантиметров, гомо эректус — 770—1000, пекинского человека — 900—1200, неандертальца — 1300—1425, современного человека, сапненс, разумного, — 1200—1500. За эволюционно короткий срок емкость черепа выросла втрое.

Эволюция одного вида одновременно идет в разных направлениях, но с очень разной скоростью. Молекула гемоглобина человека, отделившегося от своего общего предка с гориллой два миллиона лет назад, отличается от молекулы гемоглобина гориллы лишь одной аминокислотой из 146, входящих в состав бета-цепи гемоглобина. Но всего за пять тысяч лет одомашнения тутовый шелкопряд утратил инстинкт добычи корма и полета. Лишь десятки миллионов лет потребовались, чтобы из тапирообразной морды вырос хобот слона и сформировалась шея жирафа, открывшая виду массу листьев, недоступной другим млекопитающим.

Однако удлинение шеи до таких размеров возможно было лишь при одновременной и сопряженной эволюционной перестройке всего организма — укреплялись и усиливались передние ноги и передняя часть туловища. Эволюция вида идет направленно, по определенному, наиболее важному, характерному пути приспособления. Например, тутовый шелкопряд под влиянием отбора, соответствующего основному пути — «каналу» — его эволюции, может за десяток поколений пройти путь наследственного сдвига от огромной бабочки с коконом, весящим три грамма, до карликового отродья весом в шесть-семь раз меньшим. Но главное, что при этом вместо одного поколения за год он будет давать три, четыре и пять поколений. Иными словами, наличие такого установившегося, главного направления реагирования на отбор обеспечивает не только сверхбыструю эволюцию, но и эволюцию коррелированную, согласованную по целым системам признаков.

Каково же основное направление эволюции наших предков, каковы изменения, сопряженные с этим основным направлением (каналом)?

Как известно, безоружность двуногих предков человека, спустившихся с безопасных деревьев на кишевшую могучими хищниками землю, предков еще неуклюжих и медленно бегавших, лишенных больших клыков, разрешилась в двух направлениях: появились не только гигантопитеки и мегантропы (тупики эволюции), но и гоминиды, владеющие членораздельной речью, использующие орудия, и главное — существа социальные.

Когда наш предок начал ходить на задних лапах, а передние лапы стали руками, появились орудия и начал стремительно развиваться и расти мозг, начал слагаться совершенно новый канал коррелированного, сверхбыстрого эволюционирования.

Большой мозг беспомощен, пока его содержимое не связано в целое памятью, условными и более сложными экстраполяционными рефлексами. Параллельно эволюционному росту мозга все более удлинялся срок, в течение которого детеныши нуждались в помощи и охране со стороны не только родителей, но и всей стаи, орды. Даже у самых примитивных племен детеныши до шести лет совершенно не способны к самостоятельному существованию, к обороне. У индейцев ребенок лишь с девяти лет признается способным охотиться самостоятельно.

Непрерывная охрана, непрерывное подкармливание беспомощных детей и беременных, численность которых составляла, вероятно, не меньше трети стаи, могли осуществляться только стаей в целом, скованной в своих возможностях быстрого передвижения этой массой нуждающихся в охране и пище носителей и передатчиков генов. И если эволюция человека от питекантропа оставила заметные следы в виде постепенно меняющихся скелетов, то в отношении наследственных инстинктов и безусловных рефлексов человек должен был уйти по направлению очеловечивания от питекантропа гораздо дальше.

Переход функций к большим полушариям головного мозга из-за дополнительных причин сделал еще более направленным, а значит, еще более узким путь становления человечества.

Прежде всего, хождение на задних конечностях сузило таз праженщин и лишило их свойственной обезьянам способности рожать большеголовых детенышей. Поэтому подъем на задние конечности (появление прямоходящего питекантропа) привел к тому, что детеныши стали появляться на свет с непрочным черепом, с незрелой нервной системой. Этому черепу предстояло сильно и долго увеличиваться уже после рождения; предстояло долго развиваться и незрелой нервной системе. С другой стороны, вследствие подъема на задние конечности и освобождения передних детеныши в момент рождения оказались неспособными ходить. Матерям предстояло долго носить их на руках, тогда как у наших четвероногих предков детеныш способен ходить почти с момента рождения. Эти согласованные друг с другом постепенные следствия роста больших полушарий все больше и все дольше усиливали зависимость потомства от наличия прочной спайки внутри стада, орды, рода, семьи, племени.

То, что сексуальная восприимчивость праженщин утратила сезонность и благодаря этому младенцы стали появляться на свет в самые разные времена года, также повысило роль социальности в сохранении потомства. Напомним, что наши предки научились использовать огонь всего 300 тысяч лет назад (*Homo pekiniensis* — пекинский человек), варка пищи и шитье одежды были освоены всего 35 тысяч лет назад, земледелие — шесть тысяч лет, письменность появилась пять тысяч лет назад.

«Естественно, что... среди очень многих человекоподобных видов, с которыми человек находился в борьбе за жизнь, выжил тот вид, в котором было сильнее развито чувство взаимной поддержки, тот, где чувство общественного самосохранения брало верх над чувством самосохранения личного, которое могло иногда влиять в ущерб роду или племени» (П. А. Кропоткин, «Этика», Пб.—М., 1922, т. 1, стр. 207).

* * *

«Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы! Любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови может только один человек».

Н. В. Гоголь, «Тарас Бульба».

Круг инстинктов и безусловных рефлексов, необходимых для сохранения потомства, огромен. Требуется не только храбрость, но храбрость жертвенная, сильнейшее чувство товарищества, привязанность не только к своей семье, но и ко всем детенышам стаи, выработка мгновенной реакции на защиту беременных и кормящих самок. В условиях постоянных нападений хищников многие из этих рефлексов должны были срабатывать молниеносно.

Конечно, нельзя представить себе путь к человечеству только как путь усиления, совершенствования и расширения того начала, которое можно назвать альтруистическим. Во многих ситуациях избирательно выживал и оставлял больше потомства тот, над кем тяготел инстинкт самосохранения, чистый эгоизм. Борьба внутри стаи или племени за добычу, за самку сопровождалась отбором и на хищнические инстинкты. Вождь даже в современном южноамериканском охотничьем племени оставляет в четыре-пять раз больше детей, чем рядовой охотник. Но племя, лишенное этических инстинктов, имело, может быть, столь же мало шансов оставить взрослое потомство,

как племя одноногих, одноруких или одноглазых. Стаи дочеловеков, орды, роды и племена человека могли не конкурировать и не воевать друг с другом, все равно природа безжалостно истребляла те общины, в которых недостаточно охранялись беспомощные дети, в которых недостаточно о них заботились. И если эволюция шла в направлении роста больших полушарий, то это могло происходить лишь при условии защиты долговременно беспомощного потомства. Если при этом неизбежно возрастали до гигантских, никем из животных и отдаленно не достигнутых размеров резервуары памяти, материальные основы безусловных, условных и экстраполяционных рефлексов, создавались сложнейшие механизмы мышления, то столь же неизбежно и быстро росла та система инстинктов и эмоций, на которую опирается совесть.

Под названиями «совесть», «альтруизм» мы будем понимать всю ту группу эмоций, которая побуждает человека совершать поступки, лично ему непосредственно невыгодные и даже опасные, но приносящие пользу другим людям.

Стада и орды дочеловеков и орды, роды, племена людей могли некоторое время обходиться без каких-либо коллективистических и альтруистических инстинктов. Они могли временно побеждать и плодиться. Но они редко могли выращивать свое потомство и редко передавать свои гены. А не оставляя потомства или беззаботно обрекая его на гибель, эти орды, как бы они ни были многочисленны и победоносны, должны были становиться бесчисленными вымирающими тупиками эволюции, ее иссыхающими веточками. Лишь детеныши стай, орд, родов, племен с достаточно развитыми инстинктами и эмоциями, направленными не только на личную защиту, но и на защиту потомства, на защиту коллектива в целом, на защиту молниеносную и инстинктивную, полусознательную и сознательную, имели шансы выжить. В условиях доисторических и даже исторических индивидов, у которых отсутствовали эти инстинкты, и общины, у которых эти инстинкты были редки, непрерывно устранились естественным отбором за счет малой численности выживавших детенышей.

Могли ли эти инстинкты ограничиваться лишь заботой о потомстве, о товарищах по защите, или же становление человечества, превращение человека в сверхсоциальное существо было неизбежно связано с естественным отбором и на альтруистические инстинкты, гораздо более широкие?

Комплекс этических эмоций и инстинктов, подхватываемых отбором в условиях той специфики существования, в которую заводило человечество увеличение лобных долей мозга, оказывается необычайно широким и сложным, а многие противостественные, с точки зрения вульгарного социал-дарвинизма, виды поведения оказываются на самом деле совершенно естественными и наследственно закрепленными. Поэтому свойственное человеку стремление совершать благородные, самоотверженные поступки не является простой позой (перед собой или другими), не порождается только расчетом на компенсацию раем на небе, чинами, деньгами и другими материальными благами на земле, не является лишь следствием добронравного воспитания. Оно в значительной мере порождено его естественной эволюцией, направлявшейся по руслу развития умственных способностей, удлинению срока беспомощности детей и сопряженной с этим чрезвычайной интенсификацией отбора на альтруистические эмоции. В долгий период палеолита и неолита, когда территориальная разобщенность стай и племен человека быстро обрывала распространение таких по преимуществу человеческих инфекций, как чума, холера, оспа, корь, тиф, дизентерия, когда женщины рожали по 10—15 детей и из них доживало до зрелости лишь двое-трое, выживание и распространение племен главным образом зависело от успешной защиты потомства от хищников, от непрерывности кормления детенышей, от ухода за ними. Лишь при прочной внутривидовой спайке, самоотверженности, товариществе, честности, чувстве жалости потомство могло прожить целое десятилетие, от рождения до относительной самостоятельности. Зато сохранение хоть половины потомства на протяжении трех-четырех поколений могло породить настоящий взрыв преимущественного размножения племени «альтруистов» и инстинкты, которые позднее будут названы альтруистическими, чувства верности, товарищества, могли сразу распространяться на необозримые пространства. Но, возникнув на биологической наследственной основе, эта природная сущность человека проявляется в качественно иной области — социальной. И одна

социальная структура может способствовать ее проявлению, а другая, наоборот, подавлять и извращать.

Отбор, понимаемый как борьба всех против вся, как отметание всего явно слабого, индивидуально неприспособленного либо утратившего приспособленность, казалось бы, должен был привести к закреплению эмоций, направленных против всех «неполноценных». Покажем на нескольких примерах, что наряду с этим реально действовавший групповой отбор порождал эмоции в высшей степени альтруистические, чело- вечные, гуманные, являющиеся истинной основой прогресса и победы над природой.

* * *

«Так как человек не может обладать добродетелями, необходимыми для блага племени, без самоотвержения, самообладания и умения терпеть, то эти качества во все времена ценились высоко и вполне справедливо».

Ч. Дарвин, «Происхождение человека и половой отбор», т. II, кн. I, М.—Л. 1927, стр. 165.

Эволюционно-генетический анализ объясняет нам, почему связи родственные, любовь к родственникам, жертвенность по отношению к ним оказываются столь прочными. Рассмотрим предельно упрощенную схему генетика Гамильтона.

Если индивид обладает наследственным задатком, который мы условно назовем геном альтруизма *A*, то, по законам Менделя, этим же геном должна обладать половина его братьев и сестер, четверть его племянниц и племянников, одна восьмая часть дядюродных племянников и т. д. Если наш индивид пожертвует собой ради спасения, например, четырех братьев и сестер, то с погибшим уйдет в небытие один ген *A*. Зато каждый из четырех оставшихся в живых, по законам Менделя, имеет 50 шансов из 100 быть обладателем гена *A*. Следовательно, два гена *A* будут сохранены. Предположим, что в течение нескольких поколений один из обладателей гена *A* будет жертвовать собой, каждый раз спасая десятки людей своего племени или рода, а среди спасенных несколько человек имеют тот же ген *A*. В таком случае частота этого гена будет быстро возрастать. Вывод: ген, индивидуально невыгодный, но способствующий сохранению ближайших родственников и даже менее близких, будет распространяться особенно интенсивно, если своим самопожертвованием индивид спасает множество людей. Это положение хорошо объясняет, почему именно в условиях жестокой борьбы за существование так сильна клановая, племенная спайка, почему инстинкт героизма, самоотверженности встречал такую могучую поддержку в обычаях. Именно родственные и даже «земляческие» связи поддерживались естественным отбором, закреплялись обычаями. Истребительный обычай кровной мести, разумеется, тоже опирался на эту форму группового отбора, поддерживавшего принцип «все за одного, один за всех». Именно этот принцип в исторически сложившихся условиях не столько усиливал, сколько ограничивал межплеменную борьбу. Чужака, одиночку не следовало трогать — за ним стояли племя и угроза кровной мести, варварский, но относительно прогрессивный обычай, сменивший полную безнаказанность убийства и насилия.

Дарвин отмечал: «...Никакое общество не ужилось бы вместе, если б убийство, грабеж, измена и т. д. были распространены между его членами; вот почему эти преступления в пределах своего племени клеймятся вечным позором, но не возбуждают подобных чувств за его пределами».

Мы обязаны продолжить эту мысль Дарвина и признать, что если естественным отбором заложены основы для внутриплеменной этики, то достаточно лишь внешнего стимула для того, чтобы эта этика была распространена на все человечество.

Конечно же следует отметить здесь, что естественный отбор не создал и не мог создать самую этику, но он вызывал такие перестройки наследственности, на основе которых у человека складывалась восприимчивость к определенным эмоциям и этическим началам, способность к этическим оценкам, к восприятию этических оценок, более того, потребность в этических оценках.

Один из крупнейших эволюционистов-генетиков нашего времени, Добжанский, прямо указывает: «...вполне допустимо, что эволюционные процессы могут создавать этические коды, которые при некоторых условиях могут действовать вопреки интересам отдельных индивидов, но зато помогают той группе, к которой эти индивиды принадлежат».

Анализ, основанный на эволюционно-генетических представлениях, позволяет по-новому осветить и вопрос о том, почему в человеческом обществе существует уважение к старости. Не является ли это почтение лишь продуктом традиции и воспитания? По-видимому, такое представление несколько сужено.

Дело в том, что уже на заре организации человеческих сообществ с развитием речи все большее, а может быть, и решающее значение в борьбе племени за существование стал играть накапливаемый и передаваемый опыт. Объем знаний, умений и навыков, необходимых племени для выживания в борьбе с природой и врагами, неуклонно возрастал. Умения и навыки изготовления орудий, одежды, добывания и поддержания огня, охота, ловля, сбор и хранение провизии, знание животных — жертв и хищников, знание свойств пищевых, целебных и ядовитых растений — даже всего этого было недостаточно. Требовалось знание звезд, рек, болот, гор, умение лечить раны и болезни, устраивать жилье, ухаживать за младенцами и так далее, до бесконечности. Весь этот поистине энциклопедический арсенал знаний, получаемый от предков и накапливаемый, осваиваемый, проверяемый в жизни, при отсутствии письменности во всем своем объеме мог становиться достоянием лишь старых людей.

Конечно, прогресс человечества за последние десять тысяч лет и более определяется не естественным отбором (который в снятом виде, но действует постоянно), а социальной преемственностью, передачей опыта, умений, знаний от поколения к поколению, от одного стада, орды, племени, народа другому, по вертикали и горизонтали, в смене поколений от предков потомкам и от одного человеческого сообщества другому, одновременно существующему, но не обладающему этим знанием и умением. Однако главными передатчиками всего этого опыта, в особенности до появления письменности, были прежде всего старые люди с их жизненным опытом и запасом собираемых памятью знаний. Они неизбежно становились для племени охраняемым и почитаемым кладом. От этой малочисленной группы (в примитивных условиях люди редко доживали до старости) выживание племени, может быть, зависело в гораздо большей мере, чем от молодых, но неопытных добытчиков. Поэтому у народов, не имевших письменности, старейшины пользовались очень большим авторитетом.

Разумеется, старые люди уже не передавали свои гены потомству, но группы и племена, в которых охрана старых людей и помощь им не была столь же автоматической и рефлекторной, как и помощь детям, при прочих равных условиях оказывались в худшем положении, чем племена, в которых гигантское разнообразие жизненного опыта дикарей и варваров непрерывно передавалось из поколения в поколение через живые энциклопедии — цепочки старых мужчин и женщин.

Таким образом, эмоциональное почтение к старикам, их защита, оказание им помощи не относится к категории чувств, всецело искусственно привитых и противостоит естественным с позиции теории естественного отбора. Эта форма альтруизма тоже могла иметь наследственную основу, закрепляться групповым естественным отбором и только подкрепляться воспитанием.

Нас не должно удивлять, что в чрезвычайных условиях у дикарей возникали прямо противоположные обычаи — уничтожения беспомощных стариков и старух как обременяющих общину бесполезных потребителей скудных средств существования.

Проследившая формирование наследственных инстинктов и эмоций под влиянием отбора, можно обратить внимание на то, что родители нередко переносят любовь, которую они питали к своим детям, на внучат. Нетрудно видеть, что и эти переключения эмоций с одного объекта на другой, более нуждающийся в заботе, неизменно давали преимущество в выживании и в распространении своих генов тем семьям и родам, родовым общинам, где оно существовало. «Никому, кроме бабушек, не следует ходить за ребенком, матери умеют только производить детей на свет». Сколько женщин, даже не зная этого афоризма Киплинга, ведут себя в полном соответствии с ним!

* * *

Одной из особенностей человека и человечества является любопытство и жажда знаний, обрекавшая немалое число особенно одержимых этой жаждой людей на жертвы и лишения. Эту жажду можно считать прогнвоестественной, тем более что овладение знаниями часто не помогало, а скорее мешало их владельцам выжить и тем более оставить побольше потомства. Те, кто имел мужество идти дальше уже общепризнанного или смело думал о недозволенном, гибли во все века.

Потомство великих ученых, мыслителей, поэтов, провидцев обычно малочисленно. «Из пророка, познавшего женщину, семьдесят семь дней не говорит Бог»,— гласит древнее изречение. Индивидуальный отбор, вероятно, во все века действовал против чрезмерно любознательных, против стремившихся к познанию.

Однако попробуем сопоставить судьбу стада, орды, полулюдей, целиком лишенных духа познания, с судьбой такой группы, в которой хоть изредка появлялись его носители, почти всегда погибавшие бесцельно или бесследно, но нет-нет да оставлявшие орде, полустаду-полуплеменю какую-либо из тысячи находок, будь то уменьше добыть огонь, насадка камня на палку, «изобретение» щита, уменьше плыть на бревне, хоть немного повышавших шансы группы на выживание и размножение. «Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать»,— сказал Эдисон. Этот афоризм вряд ли будет справедлив вечно. Но он, вероятно, точно описывает ситуацию, существующую не одну тысячу лет. Тем нужнее эти немногие думающие для племени. Групповой отбор, видимо, не был столь интенсивным и сильным, чтобы сделать жажду знаний всеобщей и неукротимой, как, например, половое чувство, абсолютно необходимое для продолжения рода, но он все же шел. Именно жажда познания нового, истинного, скрытого заставила работать в науке сотни тысяч людей до того, как этот труд стал хорошо оплачиваться. Жажда знания и понимания обуревала людей всегда. Если она уводила в жречество, монашество, знахарство, шаманство, алхимию, талмудизм, кабалистику, сектантство, то она не создавала непосредственных материальных благ. Но даже эти искатели истины в религии, обреченные тем самым на научное бесплодие, нередко цементировали свои племена и народы этическими нормативами, ослаблявшими внутрплеменную борьбу, а своим жертвенным примером возбуждали добрые чувства, гаснувшие в суете.

* * *

В силу ряда причин в нашей стране, второй родине дарвинизма и родине эволюционной генетики, в течение определенного времени уделялось недостаточное внимание той стороне развития человечества, которая определялась его биологией и была связана с особенностями естественного отбора, действовавшего на человека в ходе его доисторического и исторического развития. Обычно человек с его психикой рассматривается исключительно как продукт социальных сил. И потому не исключено, что некоторым читателям попытка осветить эволюционно-генетическую сторону проблемы покажется недопустимым переносом биологических закономерностей в социологию. Между тем Ф. Энгельс, изучая проблемы семьи, пришел к выводу о мощном влиянии биологических факторов на социальные. Он писал, что замеченное людьми вредное влияние кровного родства родителей на потомство привело к грандиозному перевороту в системе брачных отношений, суть которого заключалась в замене группового брака парным, притом обязательно экзогамным, не допускающим близкородственного союза. Именно чисто биологическим (общим и животным и растениям) фактом вреда кровнородственных браков Ф. Энгельс, опираясь на наблюдения антропологов, объясняет последовательную серию переворотов при переходе от кровнородственной семьи к системе браков, исключающей половую связь между сестрами и братьями. «Не подлежит сомнению,— пишет Энгельс,— что племена, у которых кровосмешение было благодаря этому шагу ограничено, должны были развиваться быстрее и полнее, чем те, у которых брак между братьями и сестрами оставался правилом и обязанностью»¹. С позиций современной эволюционной генетики это означает, что

¹ К Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 43.

межгрупповой отбор отметал племена с кровосмесительными браками и поддерживал племена, где эти браки запрещались. И далее: «Стремление воспрепятствовать кровосмешению проявляется все снова и снова, действуя, однако, инстинктивно, стихийно, без ясного сознания цели». Благодаря этому перестраивается вся родовая и племенная жизнь. Энгельс отмечает, «что у ирокезов и большинства других стоящих на низшей ступени варварства индейцев брак воспрещен между всеми родственниками, которых насчитывает их система, а таковых несколько сот видов»².

Чрезвычайно показательно то, что при этом перестраиваются в ходе отбора не только законы, но и инстинкты у огромного большинства людей всех времен и народов, начисто исключаящие половое влечение брата к сестре и наоборот. Для подавления такого влечения, как правило, вовсе не требуются особое воспитание, обучение, указания на «греховность», «постыдность» и т. д. Влечение просто начисто отсутствует. Любопытно, что в цивилизованном обществе это полное подавление полового влечения приостанавливает свое действие уже на той степени родства, при которой риск для потомства оказывается резко сниженным,—на степени двоюродного родства. При таком родстве брак разрешен протестантской церковью, формально запрещен католической, но разрешение на такой брак выдается относительно легко, а в Индии и Японии браки с двоюродными сестрами просто обычны. Статистика показывает, что при кровосмесительных связях (брат — сестра, отец — дочь) очень велик риск для потомства, тогда как двоюродное родство родителей дает умеренные, допустимые цифры. Таким образом, на половой инстинкт самой природой, именно наследственным инстинктом, наложено биологически чрезвычайно важное ограничение.

Революция брачных отношений шла почти одинаково у племен, разобщенных в пространстве и времени, в Северной Америке и Африке, на островах Тихого океана и в джунглях Азии. Вся эта сложнейшая перестройка, как указывал Ф. Энгельс, в конечном счете подчинена одной задаче — исключать кровнородственные браки. Так мощно действовал именно биологический фактор на социальные отношения. Так мощно система воспроизводства человека влияла на общественное сознание.

* * *

Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет, и губит!

А. Блок.

«Мужчина помнит трех женщин: первую, последнюю и одну».

Р. Киплинг.

Но если то, что мы называем теперь групповым отбором, в корне перестроило быт при переходе от дикости к варварству, то и самое поразительное по силе чувство, чувство половой любви, любви моногамной, к единственному и единственной, тоже, можно думать, в значительной мере порождено особой направленностью естественного отбора в ходе становления человечества.

Каково же происхождение этой безмерной и столь прочной избирательности, когда возможных объектов для удовлетворения чисто физического полового влечения так много?

По-видимому, в условиях частого голода, холода, нападения хищников и врагов женщина и мужчина, часто менявшие партнеров, разрушавшие свою семью, значительно реже доводили своих детей до половой зрелости и реже передавали свои гены потомству, чем мужчины и женщины с прочным влечением друг к другу, с прочными семейными инстинктами. Когда исчез групповой брак, отбор на поддержание инстинк-

² Там же, стр. 49, 51.

тов целостности семьи, вероятно, начал идти с большой интенсивностью и длился во все исторические времена. Вероятно, поэтому многообразный комплекс эмоций, унаследованный нами от предков, оказывается очень устойчивым. Разумеется, не следует думать, что развертывание этой системы эмоций происходит независимо от окружающей среды, ее влияния, воспитания. Речь идет скорее о том, что эта унаследованная система создает восприимчивость к ряду этических положений, вносимых извне, восприимчивость унаследованную и поэтому возрождающуюся вновь и вновь в каждом поколении, нередко паразитирующую устойчивую. Но инстинкты, эмоции моногамной любви, вероятно, укреплялись и другим способом. Не исключено, что здесь играл роль и естественный отбор, вызванный венерическими болезнями.

В эпоху группового брака люди жили столь разобщенными сообществами, что возбудители венерических болезней почти не могли приспособиться к человеческому организму или достичь широкого распространения. Только много позднее, когда численность населения Земли достигла многих миллионов, венерические болезни стали широко поражать народы и племена. Вероятно, с этого времени начал усиливаться очень своеобразный естественный отбор на однолюбие, на способность к супружеской верности, на все эмоции, с этой верностью связанные. Сбережение девственности, которая иным представляется противоестественной и даже пережитком варварства, тоже, вероятно, относится к группе эмоций, мощно поддержанных естественным отбором по той же самой причине.

В нашу эпоху, когда венерические болезни в значительной мере искоренены, трудно представить себе, какую важную роль они играли некогда в качестве фактора естественного отбора. В прошлом, уже с предысторической эры, почти каждый внебрачный контакт был связан со значительным риском венерического заболевания. И эти болезни мощно устранили из человеческого генофонда наследственные предрасположение к сексуальным излишествам в форме частой смены партнеров. Провозглашенная церковью святость брачных отношений религиозно оформила лишь в свое время властно продиктованный природой долг по отношению к здоровью супруга и детей.

Эмоции моногамной любви, любви на всю жизнь, могут показаться противоестественными. Но тех, кто эти эмоции не способен был испытывать, естественный отбор отметал достаточно беспощадно, разумеется, не потому, что они сами гибли, а потому, что оставляли мало потомства, не оставляли его вовсе или оставляли потомство, зараженное внутриутробно либо в ходе родов.

Отсутствие соответствующих эмоций жестоко каралось из поколения в поколение естественным отбором, ибо венерическое заболевание обрекало на полное или частичное бесплодие. Трудно сказать, что возникло раньше: легенды и саги о верности, о любви, не знающей препятствий, религиозные табу или те эмоции, которым они соответствовали. Но и эмоции и соблюдения запретов поддерживались естественным отбором.

Однако и независимо от венерических болезней победителем с эволюционной точки зрения редко бывала полуобезьяна или белокурая бестия, которая владела всеми женщинами орды, а других мужчин калечила. И орда бестии и ее потомство оказывались, вероятно, очень недолговечными, не выдерживали борьбы с другими ордами, с природой. Они становились одним из бесчисленных тупиков эволюции. С эволюционной точки зрения победителями оказываются народы или группы, устойчиво плодотворные. И чадолюбивый крестьянин оставлял обычно больше детей, чем ловеласы, донжуаны, мессалины и клеопатры всех социальных уровней, времен и народов.

На материальной основе психики, созданной естественным отбором, возникает величественное здание эмоций, связанных с чувством индивидуальной любви, такой, какой описывают ее поэты и художники.

В наше время религиозные догмы, нормирующие сексуальные контакты, потеряли значение. Почти исчезли, по крайней мере в развитых странах, венерические болезни, которые тысячелетиями проверяли людей на стойкость и моногамность сексуального влечения. Но те эмоции, которые были наследственно закреплены естественным отбором, остались. И сохраняется у юношей и девушек, мужчин и женщин мечта о

единственной и вечной любви, сохраняется вопреки всем удовольствиям, которые обещают ныне почти безопасные мимолетные связи. Это значит, что сохранились некогда созданные естественным отбором, наследственно обусловленные системы эмоций, наследственная восприимчивость к определенным этическим идеалам. Может быть, обидно, жестоко, что эмоции и идеалы супружеской верности, преданности, вечной любви к своим детям и их матерям выкованы десятками тысячелетий отбора, то есть гибелью миллионов, десятков миллионов, сотен миллионов тех детей, родители которых не обладали этими этическими эмоциями. Еще обиднее и оскорбительнее согласиться с тем, что наши высшие поэтические идеалы вечной любви имеют своим отдаленным источником столь низменные причины, как бесплодие и отбор, вызванный венерическими заболеваниями. Но природа беспощадна, она оставляет из миллионов икринок в живых только пару рыб-производителей. Она заставляла женщин рожать 15—20 детей и оставляла в живых только немногих, точнее, она начисто выметала в каждом поколении потомство большинства семей и продолжала род за счет немногих, ведя жестокий индивидуальный, межсемейный и межгрупповой отбор. А каким победоносным в ходе эволюции могло оказаться появление наследственного инстинкта или эмоции, властно соединившей отца и мать! Ведь в то время дети, лишенные одного из родителей, имели мало шансов дожить до самостоятельности.

* * *

Таким образом, закон естественного отбора, самый могущественный из законов живой природы, самый безжалостный и «аморальный» среди них, постоянно обрекавший на гибель подавляющее большинство рождавшихся живых существ, закон уничтожения слабых, больных, в определенных условиях — и именно в тех условиях, в которых создавалось человечество — породил и закрепил инстинкты и эмоции величайшей нравственной силы.

Из этического наследия человека, из арсенала его наследственных норм реакции в каждую историческую эпоху реализуется далеко не все. Для пробуждения, реализации этих общечеловеческих эмоций (об исключениях речь будет ниже), конечно, требуется воспитание, пример. В разные исторические периоды реализуется не весь наследственный этический код, а лишь та его часть, которая соответствует социальным условиям эпохи. Некоторые элементы этического наследия временно перестают проявляться из-за перерыва в передаче необходимых традиций, другие, наоборот, усиливаются, гипертрофируются. Но подспудное существование наследственного кода этических эмоций трудно оспаривать.

Поражает воображение быстрота, с которой завоевали доверие миллионов, десятков и сотен миллионов людей религии и учения, выступавшие под флагом человечности и справедливости. Поражает воображение длительность власти этих религий и учений. Очевидно, они находили резонанс в уме и чувствах подавляющего большинства людей всех времен и народов. И если религии сохраняют поныне свою власть над сотнями миллионов, то это в немалой мере объясняется тем, что церковь эксплуатирует свойственное человеку, но часто поруганное чувство справедливости. Ведь и социальные процессы и тенденции, направленные на поиски справедливости, при всей своей специфичности не только не противоречат основным биологическим свойствам человека, но и наоборот, соответствуют некоторым сторонам его сложной биологической организации.

Еще раз напомним — мы не пытаемся объяснять все этические нормы, все веления совести спецификой того естественного отбора, которым создавалось человечество. В реализации их роль социальной преемственности, передача традиций, навыков, действие личного примера и системы воспитания огромна. Но можно с большой долей уверенности утверждать, что эмоции человечности, доброты, рыцарского отношения к женщинам, к старикам, к охране детей, стремление к знанию — это те свойства, которые направленно и неизбежно развивались под действием естественного отбора и входили в фонд наследственных признаков человека. Они развивались по мере превращения животного в человека — животное социальное, по мере увеличения мозга и удлинения срока беспомощности детей, как развивались мозг, условные рефлексы,

разум, память, способность к членораздельной речи. Разумеется, постепенно возникнув, совокупность альтруистических эмоций может быть закреплена как норма поведения и передаваться далее по законам социальной преемственности. Но без генетической основы эта социальная преемственность не имела бы универсальности и стойкости.

Таким образом, чувство долга, доминирующее в поведении неизворотливого большинства, порождено не звездами небес и божественным законом в груди. Оно развивается при решающем воздействии социальных условий, параллельно с отобранным за десятки тысяч поколений эволюции комплексом эмоций, столь же необходимым человечеству, как и речь, как умение пользоваться орудиями.

* * *

Есть, однако, факты, как бы опровергающие эволюционно-генетическую гипотезу становления этики. Основная масса этих фактов связана со стойким существованием воистину бессовестной преступности. Оставить эту проблему без краткого рассмотрения значило бы спрятаться от главного возражения.

Выход в действие комплекса эмоций, объединяемых названием «совесть», да и интенсивность этих эмоций зависят от среды, воспитания, примеров. Но «такт», «приличие», «дипломатичность», «хорошие манеры», «светскость» и т. д., позволяющие, в частности, «хранить и в подлости оттенок благородства», удобны как формы ухода от требований долга. Дикарь или малообразованный «простак» может проявить большую этическую активность, чем цивилизованный человек, всегда легко подыскивающий мотивы для самооправдания. Связь высоты уровня этики индивида со степенью его образования или его материальным положением далеко не однозначна, и история дает нам немало примеров зависимости между этими факторами, отнюдь не прямой, а подчас обратной. Во всяком случае, охотников до «самоутверждения» любой ценой нетрудно на протяжении истории найти среди представителей разных социальных групп.

Объективными антропометрическими измерениями группы студентов и группы молодых преступников американский антрополог Шельдон установил, что подавляющее большинство преступников-подростков США характеризуется однотипной телесной конституцией, так называемым мезоморфно-эндоморфным типом. Предельно упрощенно — это коренастый, большебрюхий и широкогрудый здоровяк с преобладанием физического развития над интеллектуальным. Что же это, наконец отыскался пресловутый преступный тип Ломброзо? Разумеется, нет. Просто в том социальном окружении, в котором агрессивность и бессовестность являются одним из важнейших атрибутов социального подъема, где идеалом является «мужественный» хищник, где организованная преступность, по свидетельству отнюдь не приверженных к коммунизму специалистов, дает ежегодный доход в 20 миллиардов долларов, где повседневно демонстрируется расовое неравенство, где социальная несправедливость само собой разумеется и естественна, там этот вариант нормальной конституции легче идет на преступления, чем все в пять раз более многочисленные остальные, вместе взятые. Психологически понятно стремление этих подростков к самоутверждению чем бог послал, проявляя свою силу, сноровку, смелость, которые в иных социальных условиях нашли бы себе совсем другое применение.

Разумеется, наивно было бы отрывать биологическое от социального. Молодыми преступниками в США становится лишь малая доля подростков упомянутой конституции, ее наиболее бессовестная часть. Перейдя в критический возраст гормональной перестройки и сексуальной реализации, выйдя из-под власти школы и семьи, обладая уже достаточной силой для хулиганства и т. п., но еще не созрев настолько, чтобы подпасть под власть и задерживающих центров, и более масштабных общественных групп, эти юнцы легко организуются в шайки со своими примитивными идеалами самоутверждения. Но, например, во времена Святейшей инквизиции и Третьей империи, когда так поощрялось доноительство, по числу своих жертв, вероятно, превалировал иной конституциональный тип: более взрослые самоутверждающиеся подонки эндоморфного (церебрального) типа, поставляющие преступников более хитрых и лучше маскирующихся. Нужно ли упоминать, что это лишь статистическая закономерность, а реальное взаимодействие личностного, наследственного, конституционального с социальной средой в

каждом случае несравненно более сложно? Нужно ли упоминать, что никакая конституция (за исключением клинически патологичной, например психоза) не может служить всепрощающим обстоятельством? Личная ответственность остается. Человек благодаря развитию лобных долей мозга слишком далеко ушел, чтобы не понимать совершаемого и не прогнозировать следствия.

Умственная отсталость, незрелость или просто ограниченность может легко приводить к суждению об окружающем с позиций небольшой группы своего непосредственного окружения — подростков, уличной шайки, парней или девушек своей деревни, членов своей секты, своей группы снобов или дельцов. Именно это позволяет направить этический комплекс на «доблестное» участие в какой-нибудь шайке бандитов, воров, хулиганов; нравственное чувство найдет выход в «молодечестве»; чувство товарищества у новичков будет использовано бессовестными членами шайки. Но и этот вид поведения диктуется этическим комплексом, лишь извращенно реализуемым. Реализация этого на практике может быть направлена в любые каналы, например, на уничтожение «еретиков», «свободомыслящих», «представителей неполноценной нации», «врагов религии», «врагов священной частной собственности» и т. д. и т. п.

Конечно, роль традиции, культурной среды, преемственности, примера и воспитания в развитии этических свойств несомненна. К сожалению, мы еще слишком мало знаем о законах развития детской психики и действующих при этом механизмах усиления и торможения, чтобы установить, какое влияние на индивидуальную этику оказывают младенческие и детские восприятия, способные тысячекратно воспроизводиться в памяти усилительными механизмами психики и пускать в ход разнообразнейшие цепные процессы. Дурная традиция, дурное воспитание способны подавить наследственное чувство справедливости, гуманизма не только у морально дефективных, но и у людей с большим чувством долга. Низменные, «зверинные» инстинкты легко развязываются на любом уровне, от самосуда над конокрадом, от выхода деревни на деревню с колыями до погромов и межплеменных, межнациональных, межрасовых войн. Но безупречна и точка зрения тех социологов, которые исповедуют догму всевластия воспитания.

Антисоциальные поступки, преступность нередко целиком относят за счет социальных факторов, а применительно к нашему обществу — за счет пережитков капитализма в сознании трудящихся, за счет влияния чуждой идеологии. Предполагалось, что крайние формы антисоциального поведения, в частности преступность, исчезнут вместе с жестокой социальной нуждой, с неграмотностью. Этого, однако, пока не произошло, хотя существенно сгладились и пережитки капитализма, и пережитки нарушений норм социалистической законности, а экономический, культурный и образовательный уровень резко поднялся. При всей их значимости одними социальными факторами всю преступность полностью не объяснить.

Но подобно тому, как с улучшением материальных и санитарных условий среди заболеваний выходят на передний план наследственные дефекты, оттесняя дефекты, порожденные средой (инфекции, последствия недоедания, авитаминозы и т. д.), так и с ослаблением острой нужды и других чисто социальных предпосылок преступности начинают яснее выступать предпосылки биологические.

Однако, рассматривая преступность как явление прежде всего социальное, в ее биологических аспектах, мы должны ограничить свой анализ профессиональными преступниками, рецидивистами, то есть той чисто паразитической прослойкой, для которой преступление — основная, более или менее постоянная форма существования. Одной из причин такой преступности, вероятно, является зрелище безнаказанного, торжествующего зла в любой его форме. Примеры порождают и воспитывают подражателей. Но накоплен ряд фактов, позволяющих наконец трезво, деловито поставить вопрос о том, какую роль в подлинной, хронической, рецидивирующей преступности имеют биологические и генетические факторы. Роль этих факторов в преступности долгое время полностью игнорировалась в силу естественной реакции на нелепости и дикости, высказанные криминалистами-ломброзианцами тогда, когда никакой научной генетики не существовало, а биологическая теория личности представляла собой набор произвольных догм.

Общая тенденция отбора вовсе не означает, что «нормальную» систему эмоций и реакций на окружение нельзя подавить средой или что человечество наследственно однородно в отношении эмоций, связанных с этикой. Нормальная система этических реакций, подобно любому виду психической деятельности, осуществляется при условии нормального состояния огромного количества генов.

* * *

Одной из постоянных особенностей любого вида высших организмов является его неисчерпаемая наследственная биохимическая разнородность. Речь идет не только о постоянных и часто вспыхивающих мутациях, речь идет о том, что в окружении неисчислимого разнообразия бактериальных, вирусных и грибковых паразитов, легко проникавших при мельчайших ранениях во внутреннюю среду организма, кровь, лимфу, клетки, переполненные питательными веществами, высшие животные (в том числе и насекомые) выработали универсальные средства защиты, одним из которых является именно наследственная разнородность. Например, если возбудитель малярии в ходе своей эволюции приспособился к нормальному эритроциту человеческой крови, то любое наследственное изменение этого эритроцита, даже вредное для человека, но еще более вредное для паразита, в малярийных зонах подхватывается отбором и за несколько десятков поколений распространяется среди многих миллионов людей. Известны десятки таких разных «противомалярийных» наследственных изменений эритроцитов, а общее число подобных им, планетарно распространенных, должно исчисляться многими тысячами. Рекомбинация генетических изменений в ходе их наследования приводит к тому, что любая пара людей, даже близко родственных, отличается друг от друга тысячами биохимических особенностей. Микробный паразит, вирус или бактерия, заразив одного человека, приспособившись к нему, размножившись в нем, попадая к другому человеку, оказывается в совершенно новой среде. Пока паразит приспособится, против него успевают мобилизоваться другие механизмы иммунитета, бесчисленные, но неповоротливые, не столь быстро вступающие в действие. Но эта наследственная биохимическая разнородность, защищающая человечество от множества инфекций, неизбежно приводит к его разнородности эндокринной, физической и психической. На нее накладываются и воздействия социального окружения, и избирательность реакции индивида на это социальное окружение. Следовательно, при наличии у человека около семи миллионов генов возможны тысячи разных наследственных поражений сложнейших систем, которые управляют реакциями, лежащими в основе этических эмоций, и задерживающими центрами, тормозящими реализацию антиэтических импульсов. Некоторые из этих нарушений нам необходимо рассмотреть.

Из генных дефектов, поддерживаемых среди населения мутациями, особо показательна болезнь Леш-Нигена, вызываемая резким повышением уровня мочевой кислоты в крови. Больные крайне агрессивны по отношению к окружающим и себе самим. Они кусают и ломают все для них доступное. Связь между очень высоким уровнем мочевой кислоты в крови и агрессивным поведением проявляется и при других заболеваниях, например, при подагре. Схожая аномалия обмена (а не только сильные боли) вызывает крайнюю раздражительность и злобность людей, страдающих этим недугом. Если переходить к догадкам, то можно вспомнить, что подагра наследовалась в доме Медичи. Тяжелейшей формой этой болезни страдала королева-мать Екатерина Медичи, самая кровожадная интриганка и убийца XVI века, вдохновитель и организатор Варфоломеевской ночи.

Известно много наследственных болезней, вызывающих эмоционально-этическую деградацию личности (хорея Гентингтона и т. п.). Но гораздо большую социальную роль играют широко распространенные наследственные отклонения, близкие к норме характерологические особенности эпилептоидов, шизоидов, циклотимиков. Каждый из этих типов отклонений имеет не только отрицательные, но и социально ценные стороны. Однако при несоответствующей среде целеустремленная настойчивость эпилептоидов оборачивается взрывчатостью, а абстрактное мышление и уход во внутренний мир шизоидов — догматизмом, бесчувственностью и фанатизмом; доброта, общительность циклотимиков — безответственностью. Воспитание и самодисциплина могут

подавить нежелательные проявления личностных особенностей, но метод проб и ошибок достаточно мучителен и дорог. «Надлежащий человек на надлежащем месте» — вот оптимальное решение для характерологических отклонений, потенциально ценных, но в особых условиях.

На основе ряда близких к норме отклонений вырабатываются и характеры исключительно ценные, и склонные к некоторым преступлениям. К этой же группе отклонений относятся наследственная расторможенность и безволие, проявляющиеся в алкоголизме или наркомании. Конечно, и здесь громадную роль играет среда. Но уже в детстве человек активно выбирает среду на основе некоторых критериев, неосознаваемых им самим, вероятнее всего связанных с его биологической природой. Большинство детей и подростков из неблагополучных семей ускользают из-под вредного влияния родителей. В то же время полное благополучие в семье отнюдь не гарантирует этическую полноценность детей.

Когда ослабевает петля материальной нужды, воспитателем преступности, подчеркнем это снова, может стать зрелище безнаказанного хищничества, паразитизма и торжествующего зла. Воспитываемые примером зла и несправедливости гангстеры, малые и крупные, временные и постоянные, гастрольные и профессиональные, подводимые и не подводимые под уголовные кодексы, не скоро переведутся. Но свидетели зла могут становиться и его приверженцами и противниками. И нелегко будет еще найти то внешнее событие, воспитательное воздействие которого окажется по своей направленности решающим и пока еще «нейтрального» ребенка или юнца повернет к правдоискательству, злу или безразличию.

Когда говорят о роли наследственности, молчаливо подразумевается, «при прочих равных условиях», а уж разобраться в том, во что сформируются бесчисленные разнообразные генотипы в бесчисленно разнообразных и притом меняющихся условиях, пока нам не под силу. Приходится упрощать переменные, потому что только так и можно подойти хоть к первому приближению.

Многообразие частных дефектов и особенностей, в том числе и наследственных, почти безгранично, а многие из них очень нередки. Нас не удивляют ни дальтонизм (у восьми процентов мужчин), ни отсутствие музыкальной памяти или восприимчивости к стихам, ни отсутствие математических способностей. Мы знаем женщин, полностью лишенных материнского чувства. Мы знаем еще больше мужчин, лишенных отцовского чувства, мы знаем людей, не имеющих друзей и не нуждающихся в них. Нас не должно удивлять и существование людей, этически дефективных полностью или в том или ином отношении. Но вернемся от еще не разработанной роли этих характерологических особенностей к более точным данным генетики преступности.

Стремление к господству, отсутствие сострадания, беспощадная борьба с соперниками за добычу, а также широко распространены среди животных и нередко, как многие другие типы поведения, прочно закреплены наследственно (ясное доказательство тому — резчайшее различие в поведении необученных собак разных пород).

При изучении причин преступности среди населения в целом каждый раз обнаруживаются бесчисленные переменные, любым из которых легко произвольно приписать решающее причинное значение. При таком массовом изучении совершенно невозможно определить соотносительную роль наследственности и среды в преступлениях. Но роль наследственности четко выступает при изучении тех преступников, которые являются близнецами. Близнецы, разумеется, становятся преступниками вовсе не чаще, чем обыкновенные люди, но близнецы дают возможность познать сложнейшие вопросы наследственности человека. Кратко напомним, что у индивида, мужчины и женщины, при формировании половых клеток не только вдвое уменьшается число хромосом и генов, но и происходит их рекомбинация, так что из всех семи миллионов генов, полученных от отца, и семи миллионов генов, полученных от матери, половая клетка получает только один ген из каждой пары. Естественно поэтому, что братья-сестры, в том числе многие близнецы, вернее двойни, резко отличаются друг от друга по набору генов. Но наряду с обычными, двуйцевыми близнецами, рождающимися из-за одновременного оплодотворения двух разных яйцеклеток разными спермиями, нередко рождаются и так называемые близнецы однойяйцевые. В этом случае образовавшиеся из одной оплодотворенной яйцеклетки две совершенно идентичные по набору хромо-

сом и генов дочерние клетки в дальнейшем развиваются каждая самостоятельно и дают двух наследственно идентичных людей. Они оба, подобно и двуяйцевым близнецам, обычно растут в сходных условиях — семейных, социальных, экономических и воспитательных. Но если разница по любым особенностям между двумя партнерами двуяйцевыми вызвана и наследственными различиями между ними, и различиями в условиях развития, то разница между однояйцевыми партнерами (в первом приближении) вызвана только различиями в условиях развития — наследственность у них идентична. Это бросается в глаза из-за их внешнего сходства, доходящего до полной неразличимости, в то же время установлено их тождество по интимнейшим биохимическим и молекулярным особенностям. Основное различие между партнером преступника в однояйцевых и двуяйцевых парах сводится к тому, что однояйцевый идентичен с преступником по генотипу, а второй отличен от него, как брат от брата. Материалы, собранные в Европе, США и Японии на протяжении сорока лет, ясно показывают, что эта разница оказывает значительное влияние на судьбу партнера: по новейшим, более точным данным, собранным в Дании Христиансеном (1968, 1971), однояйцевый партнер становится преступником вдвое чаще двуяйцевого партнера (см. таблицу).

Частота преступности второго близнеца при преступности первого в случае полной генетической идентичности (ОБ) и значительно меньшего генетического сходства, которое свойственно братьям (ДБ).

Автор, год	Страна	Однояйцевые близнецы			Двужайцевые близнецы		
		Число пар	Второй близнец		Число пар	Второй близнец	
			тоже преступник	не преступник		тоже преступник	не преступник
Ланге, 1929	Германия	13	10	3	17	2	15
Розанов и др., 1941	США	45	35	10	27	6	21
Легра, 1932	Голландия	4	4	0	5	0	5
Кранц, 1936	Германия	31	20	11	43	23	20
Штумпфль, 1939	Германия	18	11	7	19	7	12
Боргстрем, 1939	Финляндия	4	3	1	5	2	3
Иосимасу, 1957	Япония	28	14	14	26	0	26
Хайяси, 1967	Япония	15	11	4	Ничтожно		
Христиансен, 1968	Дания	91	48(53%)	43	122	29(24%)	93
	Всего	249	156	93	264	69	195
	%		62,6			25,4	

Можно возразить, что однояйцевые близнецы чаще оказываются в одинаковом внесемейном бытовом окружении, чем разнаяйцевые. Но снова напомним, что эту среду партнеры все же и сами выбирают, в ней застревают или уходят из нее, и гораздо показательнее этих статистических данных то, что однояйцевые близнецы-преступники оказались в противоположность партнерам двуяйцевым поразительно сходными по характеру своих преступлений.

Но необходимо помнить, что близнецовый метод характеризует соотносительную роль наследственности и среды не «вообще», не глобально, а лишь в той стране, среде и группе населения, среди которой производилась выборка близнецов. Применительно же к преступности эта оговорка должна иметь в виду прежде всего социальную среду. В частности, если этический генофонд реализуется в большей мере на основе преемственности, то это в еще большей мере относится к антисоциальности, правонарушению и

преступности. Но опять-таки во вне-экстремальных условиях выбор пути определяется прежде всего личностью, которой каждый день, неделю, год неоднократно предоставляется возможность активного выбора между повиновением внутренним законам этики и эгоистической формой поведения.

Некоторые новые факты трудно опровергнуть. С частотой примерно 1:500 и 1:1000 встречаются среди мальчиков-младенцев аномалии, имеющие не 46, а 47 хромосом, а именно одну лишнюю половую хромосому, X или Y. Первые (XXY) евнухоидны, вялы, безвольны. Среди туповатых преступников они встречаются раз в десять чаще, чем среди остального населения. Подростки с лишней Y-хромосомой даже в хороших семейно-социальных условиях рано начинают выделяться не только высоким ростом, но и эмоциональной неустойчивостью, несдержанностью и агрессивностью, а затем и преступностью. Наиболее характерны для них бессмысленные поджоги и воровство, сексуальные преступления, не столь уж редки и убийства. Среди высокорослых преступников аномалия XYY встречается в несколько десятков раз чаще, чем среди нормальных мужчин. Обе аномалии легко диагностируются экспрессными методами изучения хромосомного набора, для первой из них известен метод гормонотерапии и социального патронажа, для второй они еще только продумываются.

Изучение электроэнцефалограмм (ЭЭГ) и судебных дел более 250 тяжелых преступников (убийства, нанесение тяжелых увечий и др.), проведенное в 1969 году Уильямсом в США, показало, что среди однократных агрессоров такого рода аномалии ЭЭГ встречались не чаще, чем среди нормального населения (примерно у 10 процентов), тогда как эти аномалии обнаружались почти у 50 процентов агрессоров рецидивирующих; в первом случае преступление являлось единичной реакцией на очень тяжелую жизненную ситуацию, во втором случае оно было обычной реакцией данной личности на обычные житейские конфликты.

В чем же причина рецидивирующей агрессивности у лиц с нормальной ЭЭГ? Оказывается, что в основе этой постоянно вспыхивающей злобности нередко лежит младенчество и детство, проведенные в отсутствии ласки и доброты. Способность к отзывчивости утрачивается уже почти необратимо — и возникает безудержный эгоцентризм, прорывающийся в повседневном стремлении к самоутверждению. Что обратная ситуация, потакание во всем, тоже развивает эгоцентризм, общеизвестно. Но в чем же причина немотивированной, бессмысленной агрессивности? В неспособности разумно подавлять вспышки эмоций, как это типично и для аномалов типа XYY.

Итак, хотя эволюция человека обусловила его чрезвычайную наследственную разнородность, склонность к преступности вовсе не есть неизбежная компонента человеческой психики, порожденная его биологическим «звериным» естеством. Подавляющее большинство людей удерживается в рамках общечеловеческой этики, если только не создаются особые обстоятельства. Существует, однако, большое число биологических и, в частности, генетических аномалий, которые «срывают» норму. Но нужно остановиться на одной особой социальной аномалии, порождающей массовую преступность.

* * *

«Новой, реалистической науки о нравственности, освобожденной от религиозного догматизма, суеверий и метафизической мифологии, подобно тому, как освобождена уже современная естественно-научная философия, — и вместе с тем одухотворенной высшими чувствами и светлыми надеждами, внушаемыми нам современным знанием о человеке и его истории, вот чего настоятельно требует человечество».

П. А. Кропоткин, «Этика» Пб — М. 1922, т. I, стр. 6.

«Сказать, что человек ищет легкого — значит оклеветать его. Трудностей, самоотвержения, мученичества, смерти — вот чего жаждет сердце человека».

Т. Карлейль.

Девушка. «Все люди — негодяи».

Ученый. «Не надо так говорить. Так говорят те, кто выбрал себе самую ужасную дорогу в жизни. Они безжалостно душат, давят, грабят, клеветают: кого жалеть? ведь все люди негодяи!»

Евгений Шварц, «Тень».

Необходимо перейти от «вульгарной» преступности к той, которая заставляет особенно остро сомневаться в природной этичности человечества.

Существует преступность, уголовно обычно не наказуемая, но таящая в себе огромную социальную опасность: это появившийся задолго до Дарвина социал-дарвинизм «избранных», для которых окружающие лишь объект и средство самоутверждения. Эти избранные иногда откровенничали: «Если бы народы знали, из-за чего мы воюем, никогда не удалось бы устроить хоть одну приличную войну» (Фридрих II). Наполеону, великому патриоту сначала Корсики, потом Франции, в период своей послетермидорианской безработицы попросившемуся даже на службу к русскому царю, принадлежит изречение: «Что значит для такого человека, как я, какой-нибудь миллион человеческих жизней?» Случайно ли, что его первыми министрами стали самые коварные люди эпохи—Тайлеран и Жозеф Фуше? («На первый взгляд, ни один из этих схваченных на лету обликов Фуше не похож на другой. С некоторым трудом представляешь себе, что тот же самый человек, с той же кожей и с теми же волосами, был в 1790 году учителем монастырской школы, а в 1792 году уже реквизирует церковное имущество; в 1793 году был коммунистом, а пять лет спустя стал миллионером и через десять лет герцогом Отрантским» (С. Цвейг, «Жозеф Фуше»).

Позволим себе еще одно свидетельство, американского ученого Андурского: «Правители, по собственной инициативе принимающиеся за агрессию, руководствуются главным образом стремлением к власти, славе, к господству над противником; война может быть развлечением для черствого деспота. Людовик XIV — упомянем лишь один из бесчисленных примеров — начинал войны со скуки, не подвергая себя при этом, разумеется, ни малейшим опасностям или лишениям. В противоположность современным деспотам он был на этот счет совершенно откровенен».

В феодальном, частнособственническом, эксплуататорском обществе социальный отбор быстро выносит захватчиков и их пособников на такие позиции, которые позволяют им господствовать над тысячами «низших». С точки зрения эволюционной генетики, почти все деятели этого рода — тупички эволюции, они почти не оставляют потомства. Однако соответственно своему положению в обществе эти «высшие» или стоящие несколькими рангами ниже видны миллионам, и по этим-то единицам человек подчас составляет представление о большинстве человечества и, естественно, сомневается в существовании общечеловеческих законов этики.

Но подлинный поступательный ход истории, ее истинный прогресс создается отнюдь не тираническими фигурами, не гестаповцами, шагающими по трупам, а тружениками, которые работают, кормят и чаще черепашьими шагами, а иногда и скачками творят необратимое — добавляют в сокровищницу человечества все новые и новые крупницы знаний, умений, мыслей, идей. Именно эти миллионы тружеников, продолжателей человеческого рода, хранителей и передатчиков наследственных задатков гуманности определяют прогресс человечества.

Ведь утверждают же некоторые зарубежные ученые, что само существование инквизиции, гитлеризма доказывает всесильность «воспитания» и отсутствие наследственной детерминированности совести. Но все эти насильственные идеологии преподносились народам в обманной облатке справедливости, а жестокие средства оправдывались высокой целью. Главное же заключается в том, что во всех случаях предварительно пришлось уничтожить свободу совести, свободу слова, печати, собраний, тайну голосования — словом, прежде всего лишить народ возможности узнавать правду и навязывать ему свою злобно-лживую, многолетнюю, массовую и всепроникающую систему дезинформации: обмана с амвона, через печать, радио, театр и кино.

К этой-то ситуации естественный отбор человеческую психику не подготовил. Отбор вырабатывал альтруистические эмоции и этику тогда, когда она могла опираться на большинство и действовать в согласии с большинством. Естественный отбор,

шедший с доисторических времен, также не мог выработать этику, устойчивую к оболванивавшей технике жрецов, священников, расистов, фашистов, хунвэйбинов, как он не мог подготовить наш организм к перенесению взрывов водородных бомб. Но может быть, одной из важнейших опасностей является то, что идеи гуманизма, этики и морали оказались глубоко скомпрометированными софистической философией и пропагандой, внушавшей массам представление о ложности и условности тех этических норм, на которых в действительности держалось человеческое общество. Слишком долго и упорно этику проповедовали в целях эксплуатации и слишком часто преступления против человечности, совершаемые как на почве религиозного фанатизма, так и вследствие навязывания массам политическими авантюристами ложных и реакционных идей, производились якобы во имя «высшей справедливости». И если убежденность в правильности законов этики основывается лишь на каких-то неосознанных чувствах, то в почти безнадежном положении оказываются те, кто, живя в условиях физического и социального угнетения, сохраняет, однако, приверженность законам общечеловеческой этики, следование которым обходится им безмерно дорого.

Однако эволюционно-генетический анализ показывает, что на самом деле тысячекратно осмеянные и оплеванные софистами этические нормы и альтруизм имеют также и прочные биологические основы, созданные долгим и упорным, направленным индивидуальным и групповым естественным отбором.

Естественное до сих пор мало соприкасалось с проблемами этики и морали. Между тем биологические основы этики и альтруизма человека, порожденные, по-видимому, естественным отбором, и выросший на их основе целый комплекс общечеловеческих чувств и эмоций представляют собой своеобразный универсальный язык, связывающий человечество в единую семью.

Путь от нормальных генов нашей психики до поведения и поступков, разумеется, необычайно многосложен и извилист. Но один фактор на этом пути исключительно важен — это идеалы, господствующие в обществе или в микросоциальном окружении. Уничтожение эксплуатации и порабощения человека человеком, уничтожение идеалов господства, хищничества, стяжательства, карьеризма приведет к тому, что человечество сможет сделать в этике не меньший скачок вверх, чем оно уже сделало в науке и технике.

Отбор одарил обыкновенного человека не только способностью слышать и видеть, но и способностью понимать, умом потенциально мощным и пронизательным. Требуется лишь устремленность к пониманию добра и зла.

Достижения генетики уже успели приковать к ней внимание десятков миллионов людей. Это поможет осознать, что туманные, неясные душевные побуждения, что та совесть, от которой ради житейского успеха в эксплуататорском обществе нужно отречься как можно скорее, на самом деле является непреложным фактом нашего существования, саморегенерирующим свойством, несущим в себе и награду и расплату за поступки человека. Человеку ценой миллиардов жертв, жестоким естественным отбором досталась способность мыслить, различать добро и зло. Он должен всегда и во всем быть судьей своим собственным делам, сознавать, что за свои поступки всегда отвечает он сам.



Академик Б. АСТАУРОВ,
президент Всесоюзного общества генетиков и селекционеров
имени Н. И. Вавилова

★

НОМО SAPIENS ET HUMANUS— ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ И ЭВОЛЮЦИОННАЯ ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

(По поводу статьи В. П. Эфроимсона об эволюционно-генетических
основах этики)

«Нравственным существом мы называем такое, которое способно сравнивать свои прошлые и будущие поступки и побуждения, одобрять одни и осуждать другие. То обстоятельство, что человек есть единственное существо, которое с полной уверенностью может быть определено таким образом, составляет самое большое из всех различий между ним и низшими животными».

Чарльз Дарвин, «Происхождение человека и половой отбор», глава XXI.

К раугольным камнем современных знаний о наследственности и развитии любых живых существ, в том числе и самого человека, является элементарно простое положение, гласящее, что все свойства каждого индивидуума в своем конкретном, неповторимом, только ему присущем проявлении создаются при участии как наследственности, так и среды. Все признаки организма без исключения несут, с одной стороны, печать наследственных задатков, полученных зародышем вместе с зачатковыми клетками и заключенным в них генетическим материалом от своих родителей, и, с другой стороны, отпечаток влияния среды, при интимном соучастии которой происходило развитие данного зародыша,— условий, в которых осуществлялась реализация полученной им наследственной информации. Можно только пожалеть, что это чуть ли не самоочевидное положение не всегда достаточно глубоко осознается.

Между тем это даже не правило, а непреложный, фундаментальный закон. Как закон он не знает никаких исключений и ведет ко множеству важных следствий. Если к нему и можно что-то добавить во имя точности и строгого соответствия объективной реальности, то лишь одно — в определении конечных признаков организма наследственностью и средой нет абсолютного детерминизма: сформировавшиеся признаки не заданы наследственностью и средой с железной жесткостью.

В силу существования объективной случайности, вторгающейся в процессы осуществления сложнейшей программы индивидуального развития, создается некоторый спектр случайной изменчивости признака, изменчивости, не сводимой ни к изменениям наследственной основы, ни к колебаниям условий среды. Эта полностью случайная изменчивость в той или иной степени имеет место всегда, даже среди организмов совершенно тождественных как по своей наследственной структуре, так и по условиям, в которых шло их развитие, и, таким образом, строго говоря, любой сформировавшийся при-

знак есть результат трех групп факторов — наследственности, среды и случайностей формообразовательного процесса. Это своего рода шум, вносящий некоторую неопределенность в передачу наследственной информации. Однако этот третий фактор (случайность) при всем его принципиальном значении для сферы биологических явлений (значении, едва ли уступающем тому, какое случайность имеет в области физики микромира) практически не отражается на решении главных поставленных в статье В. П. Эфроимсона проблем, и сейчас мы можем о нем забыть, считая, что в первом и достаточном приближении любое свойство организма зависит только от наследственности и среды.

Закон формообразовательного взаимодействия наследственности и среды касается любых мыслимых свойств и признаков — морфологических, физиологических, качественных, количественных, и, что особенно важно помнить в связи с сюжетом примечательной статьи В. П. Эфроимсона, ему подчиняются и такие сложные признаки, как особенности высшей нервной деятельности и поведения животных, в частности, психики человека. Закону этому подвластно становление и таких интегративных характеристик, как инстинкты, темперамент, возбудимость, ум и память, склонности к определенному виду деятельности, способности и таланты, общие черты характера, вроде доброты и жизнерадостности, угрюмости и злобности, и такие эмоциональные реакции, как любовь и страдание, ненависть и ярость, инстинкт самосохранения и инстинкт самопожертвования — эгоизм и альтруизм. Эти «душевные», подчас чисто человеческие свойства в отношении их зависимости от наследственности и среды не могут оказаться каким-то исключением и быть противопоставлены «телесным» признакам. Форма и функция находятся в неразрывной связи, и все «духовные» проявления психики зиждутся на структурных особенностях нервных клеток, анатомии и архитектонике мозга, гормональной деятельности системы желез внутренней секреции, интенсивности и качественных биохимических особенностях обмена веществ, и в значительной степени они являются производной всей «физической», материальной организации живого существа, покоясь на совокупности тех морфо-физиологических признаков его конституции, относительно которых никто и никогда не усомнится, что они определены наследственностью и средой.

Что касается содержания понятия «среда», то слово это надо понимать здесь в его самом широком, всеобъемлющем значении. В той мере, в какой дело идет о становлении самых высших этажей психики и, в частности, этических норм поведения, первостепенное значение имеет, конечно, отнюдь не температура, влажность, освещенность, состав атмосферы и пищи, то есть не те внешние условия или абиотическая среда в узком смысле понятия, которую зачастую имеет в виду биолог, говоря об условиях развития организма. В этой связи для человека первостепенное значение имеет прежде всего среда социальная — человеческое окружение, воспитание в семье и школе, трудовые навыки и общественные отношения, ужасы войны и спокойствие мира, пресыщенность богатства и голод безработицы, обычаи, этические каноны и идеалы, мировоззрение данной эпохи, данного народа или государства, укоренившиеся там верования и накопленные знания, понятия о дурном и хорошем, добре и зле, доблестном и постыдном, дозволенном и незаконном, нравственном и безнравственном, святом и греховном. Словом, для становления этики отдельной личности средой являются прежде всего весь социальный фон, все культурное наследие и этические нормы жизни общества, в котором формируется сознание его сочлена.

Проблема относительного значения внутреннего и внешнего — наследственности и среды в развитии любых черт морфо-физиологической организации живых существ и в том числе любых характеристик психики и поведения высших животных и человека, кратко сформулированная как альтернатива «природа или воспитание» (*nature or nurture*), насчитывает не менее ста лет научной истории. Специально в аспекте индивидуального развития сложного организма из внешне простой яйцеклетки, в сущности, та же проблема еще много дольше существует в форме альтернативы «преформация или эпигенез»¹. В настоящее время эту «вечную проблему» можно, однако, считать беспово-

¹ Преформисты считали, что организация будущего сложного организма полностью преформирована и предопределена структурной организацией зачатковых клеток, эпигенетики же — что она целиком создается в ходе развития под влиянием сил и формообразовательных влияний, идущих извне.

рогно решенной. Она четко решена в том смысле, что это именно никоим образом не альтернатива, что роль наследственности и среды в развитии любых мыслимых свойств ни в коем случае нельзя противопоставлять друг другу.

В ходе эволюции наследственная программа развития во всей ее невообразимой сложности выковывается в горниле естественного отбора, стоящего на страже непрестанного приспособления организма, сообщества и вида, к которому он принадлежит, ко всей совокупности условий среды и создающего поражающую воображение целесообразность организации живых существ. Сложнейшая наследственная конституция, вся эта совокупность миллионов генов становится в ходе прогрессивной эволюции пригнанной к окружающим условиям, как уникальнейший ключ, подобранный к фантастически мудреному замку. Поэтому как факторы становления организации наследственность и среда, преформированное и эпигенетическое, представляют собой подлинно нерасторжимое единство противоположностей, так что вместо противительного союза «или» между ними должен стоять соединительный союз «и». Не «наследственность или среда», но «и наследственность и среда», не «природа или воспитание», но «и природа и воспитание», не «преформация или эпигенез», но «и преформация и эпигенез».

И вот, хотя это почти самоочевидное положение представляет собой азбучную истину, проверенную и доказанную всей практикой биологии бесчисленное число раз, вокруг этого решенного вопроса вновь и вновь разгораются битвы. На практике даже в среде биологов, особенно неискушенных в генетике (например, среди физиологов), а тем более за пределами собственно «чистой» биологии — на обширных и жизненно важных границах соприкосновения биологии с медициной, агрономией, а главное — социологией (в области педагогики, криминалистики и т. п.), эта давно «снятая» проблема неудержимо возрождается вновь и вновь.

Сторонники формирующего значения среды ломают копья с адептами наследственности, утрируя и доводя в пылу борьбы взгляды своих противников до абсурда, обвиняя их во всех семи смертных грехах, а сами впадают в тяжкий грех абсолютизации отстаиваемых ими положений. Защитники значения чисто биологических сторон природы человека, например наследственной биологической неодинаковости отдельных людей, несмотря на всю научную неопровержимость этого факта, могут заслужить упрек в забвении того (тоже бесспорного) положения, что человек «животное социальное», услышать глужкое обвинение в беззаконной биологизации явлений, подведомственных якобы всецело компетенции социологов, и быть причисленными к социал-дарвинистам, а то и получить позорное клеймо расизма. В то же время сторонники могущества внешних условий, вселив факторы социальной среды получают упреки в недооценке биологии человека, в генетической неграмотности (и в самом деле не столь уже редкой), в ламаркизме и идеализме, поскольку формирующее значение среды зачастую сопровождается утверждением об адекватной передаче результатов ее влияния по наследству (вспомним пресловутый афоризм «порода входит через рот»), и в конечном счете могут получить нелестный ярлык «догматизма», тем более что такие взгляды подчас действительно являются отголоском укоренившихся бытовых предубеждений и пережитком законных догм.

Острота этих споров понятна; она вызывается тем, что та или иная исходная посылка — примат «природы» (наследственности) или примат «воспитания» (среды) — приобретает значение постулата, с неизбежностью влекущего за собой бесчисленные практические следствия в важнейших областях теории и практики, — в области философии и методологии науки, социальной политики, образования, здравоохранения, стратегии сельского хозяйства (методы создания сортов и пород) и прочее и прочее. И в зависимости от того, какой из постулатов признан исходной аксиомой, следствия эти сплошь да рядом могут оказаться диаметрально противоположными. Именно этим, скажем в скобках, оправдано и то внимание, которое с риском заслужить упрек в тривальности и в том, что автор ломится в настежь открытую дверь, уделяется здесь этому вопросу.

Итак, в качественной постановке проблема «снята» и в действительности не существует. Взамен противопоставляющего «или» должен быть союз «и», и противники,

заявившие в силу общих и принципиальных убеждений полярно противоположные позиции, должны понять, что они находятся в плену ложных экстремистских взглядов и сражаются с ветряными мельницами.

Вопрос остается, однако, вполне правомочным в количественной постановке, и это верный показатель того, что он перестал быть областью домыслов и веры и стал предметом точных наук: какова доля участия или удельный вес наследственности и среды, природы и воспитания, кооперативно участвующих в формировании признака, в конечном проявлении каждого конкретного свойства?

Это далеко не праздный вопрос, и факты показывают, что он не имеет однозначного, пригодного для всех случаев жизни решения. Принципиальное решение для всех свойств одно — «и наследственность и среда», их удельное отражение в конечном выражении разных свойств может быть количественно очень различным.

Дети белых родителей, зачатые, родившиеся и выросшие как в условиях полярного холода, так и в условиях экваториальной жары, останутся белокожими, хотя, может быть, и покроются загаром на экваторе; дети родителей-негров и там и здесь останутся чернокожими. Высокий удельный вес наследственности и малая роль влияния среды на пигментацию кожи очевидны, но это никоим образом не означает, что факторы среды не принимали участия в развитии этого признака, а говорит лишь о том, что во всем диапазоне взятых внешних условий «норма реакции» данной («белой» или «черной») наследственной конституции на все значения средовых условий устойчива и практически одинакова. С другой стороны, каждый знает, что одно и то же животное, пусть это будет собака, на голодном и биохимически неполноценном пайке и в забросе вырастет хилым, забитым и, может быть, трусливым заморышем, хотя в сытости и в холо оно превратится в рослого и храброго красавца. Здесь очевидно сильное влияние среды, хотя это опять-таки отнюдь не означает, что наследственность безразлична: в одних и тех же условиях голодовки иные наследственные конституции хоть и с трудом, но выживут, другие же обнаружат недостаточную выносливость и станут жертвой болезней. Здесь легко уловимы как роль среды, так и роль наследственности.

А как же обстоит дело с такими психическими параметрами, как свойства характера, способности, нравственный облик, как, скажем, себялюбие и самоотверженность? Не правы ли те, кто думает, что эти свойства и вся судьба ребенка находятся полностью во власти среды и воспитания, что психика новорожденного — страница без всяких записей (*tabula rasa* — чистая доска), на которой, поставив ребенка в соответствующие условия, можно написать и судьбу гения, и судьбу среднего человека, и судьбу слабоумного? Не сталкиваемся ли мы здесь со случаем зеркально противоположным формированию цвета кожи, когда при любой наследственности результат будет отражать лишь влияние условий среды?

К счастью, современная антропогенетика располагает мощными и точными методами, чтобы бесстрастно и объективно ответить на этот не деликатный вопрос независимо от того, понравится ли нам ответ или будет неприятен. И одним из самых сильных и безупречных является подаренный человеку самой природой так называемый близнецовый метод, позволяющий сравнить по любым признакам двух развивающихся из одной-единственной разделившейся на две части оплодотворенной яйцеклетки (яйца) так называемых однояйцевых, полностью наследственно-идентичных близнецов. Само их анекдотическое сходство даже по таким признакам, как ум, характер, склонности, способности, почерк и даже отпечатки пальцев, — свидетельство большого значения наследственности в формировании этих свойств. На статистически надежном материале можно сравнить наследственно-идентичных партнеров по изучаемым свойствам в случаях, когда оба близнеца развивались и росли независимо в разных условиях, и оценить меру значений этих условий для нарушения определяемого наследственностью подобию. Можно сопоставить внутрипарное сходство наследственно-идентичных близнецов со сходством близнецов неидентичных, иначе говоря — двоен, возникших из двух оплодотворенных яиц (двуяйцевые близнецы) и имеющих такую же степень наследственного подобию, как обычные дети одной пары родителей: братья-сестры. И здесь можно оценить меру влияния наследственности и среды при воспитании в одинаковых и разных условиях (вместе и врозь). Подобный анализ позволяет убедиться, что ряд признаков человека ведет себя подобно цвету кожи, так что их наследственная норма реакции

устойчива в любых внешних условиях, совместимых с жизнью человека. Таковы: цвет волос (если их не красить) и глаз, подавляющее большинство биохимических показателей подобных группам крови, многие, зависящие от «порчи» одного-единственного гена наследственные болезни, вроде цветной слепоты и гемофилии (патологической кровоточивости), таков пол (пол идентичных близнецов всегда одинаков) и многое другое. Другие обычно отражающие действие многих генов, признаки определяются как наследственная тенденция — большее или меньшее предрасположение к проявлению свойства. Таковы предрасположения к некоторым заболеваниям — скажем, туберкулезу, некоторым формам рака, некоторым психическим заболеваниям и многие количественные признаки. В таких случаях внешние условия оказывают на реализацию признака большое влияние и порой могут его совершенно подавить или, напротив, способствовать его проявлению. Наконец, есть немало случаев, когда среда или внешние воздействия имеют явное определяющее значение или даже всеисильны при любой наследственности. От заражения некоторыми инфекциями, вроде сыпного тифа, чумы, венерических болезней, от губительного действия экстремальных отклонений условий среды за пределы наследственно-определенных границ оптимума (впрочем, несколько разных у разных людей) — от крайних жары, холода, давлений и т. п., от отравляющего действия сильных ядов, вторгающихся в обмен веществ и биохимию организма, неспособен застраховать ни один вариант наследственной конституции человека.

Подавляющее большинство параметров психики человека, черты, слагающие его «духовный мир», относятся к свойствам той средней категории, на формировании которых заметно сказываются и наследственность и среда. Однако и здесь мы не найдем единообразия, и некоторые фундаментальные параметры психики человека (инстинктивные реакции, подвижность нервных процессов, возбудимость, память, ум) более устойчиво проявляются в широком диапазоне условий среды, то есть достаточно стойко определяются как врожденные наследственные свойства, чем другие, в окончательное проявление которых существенным элементом входит воспитание и научение. Естественно, что такие характеристики, как знания, «культурность» и воспитанность, приобретаемое в индивидуальной жизни умение выплнять те или иные действия, привычки, взгляды, верования несут сильнейшую печать влияния социальной среды на окончательное содержание сознания и мышления, покоящихся в то же время на фундаментальных параметрах нервной деятельности. При грамотном сборе и использовании обширных статистических данных наследуемость многих из этих характеристик можно оценить количественно и другими методами, помимо близнецового.

Касаюсь наследственной обусловленности признаков, необходимо оговорить, что мы сознательно фиксируем здесь внимание только на одной, хотя и очень существенной, стороне дела — на относительном значении наследственности и среды, совершенно не разбирая множества других вопросов. В том числе мы совсем не освещаем здесь большого, самостоятельного и в высшей степени важного вопроса о наследственной основе и структуре признаков, ее простоте или сложности, то есть о зависимости признака от одного или многих генов, рецессивности или доминантности, устойчивости и подверженности случайным колебаниям (вариабильности) и т. п. Однако никак нельзя обойти молчанием того важнейшего обстоятельства, что в отношении подавляющего большинства психических характеристик высших животных и человека мы должны очень остерегаться нередко встречающихся грубых упрощений (подчас, правда, условных и чисто фразеологических) и не говорить без достаточных к тому оснований и даже фигурально об отдельных генах умственной и творческой способности, художественной, музыкальной одаренности и т. п. При несомненном наличии более или менее весомой наследственной компоненты в определении подобных качеств и при том, также бесспорном, положении, что в основе этой наследственной обусловленности, несомненно, лежат гены, никак не приходится забывать, что такие интегральные свойства психо-физической организации представляют собой продукт многих миллионов лет эволюционного процесса, итог отбора и взаимной пригонки бесчисленных наследственных изменений. В подавляющем большинстве случаев они покоятся на сложнейшей наследственной основе множества генов, сложившихся в координированные системы, так что иногда, отражая более специфичное и сильное действие «основных» генов, подобные признаки зависят и от множества «генов-модификаторов», а в сущности, от всей наследственной конституции. Обычно они

наследуются поэтому не по простым классическим менделевским схемам, а по осложненному типу множественно-обусловленных количественных признаков. Очень хорошо писал об этом в довольно давно изданной (1947), но не устаревающей книге «Эволюционно-генетические проблемы в невропатологии» один из наших медиков, глубоко понимающих генетику психики, С. Н. Давиденков.

Один из лучших в мире знатоков генетики человека, Владимир Павлович Эфроимсон, обобщив внушительный массив накопленных в этой важной области точных знаний, построил оригинальную общую теорию генетических основ эволюции этических характеристик психики человека, изложив ее здесь в форме полного свежих идей общедоступного очерка.

Для создания представлений о генетических основах эволюции такого высокого этажа человеческих норм поведения и психики, как этика, этажа надстроенного над фундаментом унаследованного и врожденного, и нижними этажами приобретенного в процессах запечатления, воспитания и «впитывания» культурного наследия, ясное понимание элементарных биологических основ становления всех свойств организма представляется настолько обязательным, что мы сочли полезным рассмотреть этот вопрос гораздо пристальнее, чем это сделано в статье самого В. П. Эфроимсона. Вполне отдавая себе отчет в значении этого вопроса, сам он не мог себе позволить уделить столь элементарным предпосылкам более чем две-три ясные фразы, вполне достаточные для специалиста, но, быть может, не для широкого читателя, которому адресована статья.

Исключительно важна также для понимания поднятых В. П. Эфроимсоном вопросов ясная оценка места и веса наследственности и среды в формировании человека и в эволюционном плане.

Восприятие человеческим обществом накопленных прежде знаний и культурных традиций обычно относят к так называемой традиционной наследственности, которой наш известный генетик М. Е. Лобашов дал также, на наш взгляд, менее выразительное название сигнальной наследственности.

То, что у человека есть «два процесса наследственности: один — вследствие материальной непрерывности (половые клетки) и другой — путем передачи опыта одного поколения другому (разрядка моя.— Б. А.), яснее всего сформулировал в приведенных выше словах Т. Г. Морган, и он же резко подчеркнул огромное значение второго пути наследственной передачи или влияния социальной среды для эволюции человека. («Экспериментальные основы эволюции», гл. X, «Эволюция человека», М.—Л., Биомедгиз, 1936).

Думается, однако, что лучше разграничивать чисто биологические и социальные механизмы наследственности и по предложению С. Н. Давиденкова говорить не о традиционной наследственности, но о культурной или социальной преемственности: «Пусть «наследственностью» остается то, что передается из поколения в поколение через половые продукты, то же, что передается посредством выучки, будем называть «преемственностью». (С. Н. Давиденков. «Эволюционно-генетические проблемы в невропатологии», ч. I, гл. III, § 32 «Наследственность и преемственность». Л., 1947).

Едва ли не всем теперь ясно — и в этом, конечно, отдает себе полный отчет В. П. Эфроимсон, — что эволюционная роль общественной среды по мере развития человечества неуклонно возрастала и с возникновением великих цивилизаций перешла на качественно новую ступень. Эта качественная новизна, особенно резко бросающаяся в глаза на современном нам этапе эволюции человечества, в том именно и состоит, что социальные закономерности, и прежде всего процессы социальной преемственности накопленного капитала знаний, стали играть в эволюции человечества ведущую роль, далеко опережая по значению и темпам медлительно действующий фактор собственно биологической эволюции человека — естественный отбор. Однако от этого человек не перестал быть живым существом, оставшись хотя и социальным, но животным; не прекратила своего существования и наследственная компонента, определяющая норму его реакции на социальную среду, и эта наследственная компонента требует к себе теперь тем большего разумного внимания человека, чем менее может о ней позаботиться слепой медлительный естественный отбор, давление которого ослаблено цивилизацией

Квинтэссенция статьи В. П. Эфроимсона именно в том и состоит, что для столь сложной сферы человеческого духа, какой является этика, он убедительно показывает, что и она формируется под влиянием не одной только среды (в данном случае социальной), но имеет и свою важнейшую наследственную компоненту.

Исходя из этой неоспоримой мысли, В. П. Эфроимсон пошел гораздо далее, рассмотрев вероятные пути эволюционного становления генетических основ этики и поведения, и показав, что определяющий их генофонд современного человека вырос на глубоких корнях, уходящих не только в доисторические эпохи превращения человекоподобной обезьяны в человека, но и в бездонные глубины эволюции животного мира.

Нет ли здесь, однако, неоправданной биологизации социального явления? Нет ли здесь социал-дарвинизма, неизбежно ведущего при логическом его развитии к расизму?

Нет, переоценки биологических сторон человека и забвения того, что человек животное прежде всего общественное, здесь нет. Значение социальной среды здесь полностью оценивается, и ей принадлежит в представлениях В. П. Эфроимсона как роль условия, формирующего этику в ходе индивидуального становления отдельной личности, так и создающая роль эволюционного фактора. Но если в современном человеестве эволюционная роль социальной среды осуществляется по преимуществу через процессы культурной преемственности, то на ранних этапах становления человечества общественная среда, несомненно, играла свою роль по-другому. Она выполняла творческую роль фактора, благоприятствующего отбору и процветанию тех общественных объединений (семей, родов, орд, племен), наследственный фонд которых обогащен наследственными типами и генами, обуславливающими специфически «гуманные» черты психики и укрепляющими общественное начало и альтруизм подчас в ущерб эгоистическим интересам индивидуума.

При полном непонимании ведущей роли социальной среды социал-дарвинизм видел одни «зоологические» факторы эволюции «человека-зверя» — «борьбу каждого против всех», индивидуальный отбор сильных, агрессивных, себялюбивых животных в человеческих популяциях, живущих по принципу «человек человеку волк». Социал-дарвинизм возвеличивал в человеке свойственное ему, но эволюционно отмирающее «животное» начало. В. П. Эфроимсон увидел весь процесс с диаметрально противоположной точки зрения. С полной оптимизма верой в светлое будущее гуманизма он увидел наследственно обусловленные черты «человечности», наследственные, общественные, альтруистические инстинкты в животных предках человека, проследил их усиливающийся удельный вес в еще продолжающемся процессе все большего «очеловечивания» социального животного, в процессе изживания индивидуалистического, эгоистического, зоологического начал.

Справедливость требует, однако, сказать, что в этом отношении он не одинок и по основной направленности идей не только имеет предшественников среди замечательных русских и зарубежных мыслителей — дарвинистов, но, в сущности говоря, как и эти последние, в значительной степени развивает основополагающие идеи, с гениальной прозорливостью и силой высказанные самим Чарлзом Дарвином. Конечно, он делает это на современном уровне.

В коренном перевороте мировоззрения, вызванном появлением теории Дарвина, не все идейное богатство его колоссального научного наследия встретило сразу должную оценку и не все великие мысли получили равномерное и достойное развитие. Первый и величайший труд Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора», опубликованный в 1859 году и полностью распроданный в день выхода (случай беспрецедентный для науки того времени), сокрушительно покорил мысль, и именно его ведущая идея — эволюционный прогресс на основе индивидуального естественного отбора, перживания и размножения наиболее приспособленных особей (разрядка моя. — Б. А.) — при отчаянном, но сравнительно беспомощном сопротивлении догматиков, клерикалов и ретроградов от науки властно и надолго овладела умами мыслящих людей. Именно эта идея первой «получила фору» и определила преимущественные тенденции развития дарвинизма и, конечно, прежде всего ходячие обывательские представления о его содержании. Как бывает на первых порах почти во всяком мощном идейном движении, среди ярых последователей, популяризаторов, пылких пропагандистов и комментаторов великих идей, так доходчиво и просто объяснивших дотоле непонятное и чудес-

ное, нашлись и вульгаризаторы, и упрощенцы, и роялисты больше, чем сам король. Возможно, не в самую счастливую минуту родившееся на свет соблазнительно яркое выражение «борьба за существование» вместо скрывавшегося за ним широкого и «метафорического» дарвиновского значения стало порою употребляться не в переносном, а в буквальном смысле. Именно в таком извращенном обывательском понимании этот «закон зубов и когтей», неправомерно перенесенный некоторыми эпигонами дарвинизма из биологии в социологию, стал идейной опорой социал-дарвинизма. В том обществе, где индивидуализм, частное предпринимательство, чистоган и «сильные личности» решают успех, именно такая интерпретация получила заметный резонанс, переродившись в иных случаях в ницшеанскую идеологию «белокурых бестий» и «сверхчеловеков», которым позволено все. Не в столь откровенно каннибальском варианте этот же знакомый мотив слышится все же и в наши дни в нередкой акцентировке «агрессивной животной биологической сущности человека», в тенденции подчеркнуть, что человек, в сущности, не более чем довольно-таки злая «голая обезьяна»: зоологические инстинкты которой вроде «территориального императива» Ф. Ардри якобы сдерживаются лишь идущими наперекор природе законами общежития.

Между тем спустя двенадцать лет после появления «Происхождения видов», в 1871 году, вышло в свет одно из самых замечательных произведений Ч. Дарвина «Происхождение человека и половой отбор», в котором в полный голос зазвучал совсем иной мотив, едва слышный в «Происхождении видов», — мотив группового отбора социальных инстинктов.

Это замечательное произведение, особенно его IV, V и XXI (заключительную) главы должен был бы прочесть каждый культурный человек, желающий понять, что он собой представляет с естественноисторической точки зрения. Но, может быть, читатель не посетует на несколько взятых оттуда цитат, достаточно намечающих хотя бы и пунктиром красную линию этого произведения.

Вот они:

«Мы видим, что чувства и впечатления, различные ощущения и способности, как любовь, память, внимание, любопытство, подражание, рассудок и т. д., которыми гордится человек, могут быть найдены в зачатке или в хорошо развитом состоянии у низших животных» (Ч. Дарвин. «Происхождение человека и половой отбор». М., 1907, гл. IV);

«Я вполне согласен с мнением тех писателей, которые утверждают, что из всех различий между человеком и низшими животными самое важное есть нравственное чувство, или совесть... Оно резюмируется в коротком слове «должен», столь полном высокого значения. Мы видим в нем благороднейшее из всех свойств человека, заставляющее его без малейшего колебания рисковать своей жизнью для ближнего; или после должного осуждения пожертвовать этой жизнью для какой-нибудь великой цели в силу одного только глубокого сознания долга или справедливости» (гл. IV);

«...Не без колебаний решаюсь я противоречить столь глубокому мыслителю (Дарвин имеет в виду Джона Стюарта Милля.— Б. А.), но едва ли можно спорить против того, что у низших животных моральное чувство инстинктивное, или врожденное; и почему же не быть тому же самому у человека?» (гл. IV, стр. 75);

«У строго общественных животных естественный отбор иногда косвенно влияет на отдельные особи, сохраняя только те изменения, которые выгодны для общества. Община, заключающая в себе много одаренных особей, увеличивается в числе и остается победительницей над другими менее одаренными общинами, хотя при этом ни один член в отдельности ничего не выигрывает перед другими членами того же общества» (гл. II).

Говоря о свойственном общественным животным чувстве взаимной симпатии, Дарвин замечает, что «нет сомнения, что симпатия усиливается под влиянием привычки. Но каково бы ни было происхождение этого сложного чувства, оно должно было усиливаться путем естественного отбора, потому что представляет громадную важность для всех животных, которые помогают друг другу и защищают одно другого. В самом деле, те общества, которые имели наибольшее число сочувствующих друг другу членов, должны были процветать больше и оставлять после себя более многочисленное потомство».

Все это, конечно, говорится об очень ранних ступенях происхождения человека, когда же Дарвин переходит к положению дел в современном обществе, он ясно отдает

себе отчет о падении роли отбора и возрастании значения социальных закономерностей и пишет, что «насколько вопрос касается повышения уровня нравственности и увеличения числа способных людей, естественный отбор имеет, по-видимому, у цивилизованных наций мало влияния, несмотря на то, что их основные общественные инстинкты были первоначально приобретены этим путем».

Правда, он далее нигде не развивает эту мысль, занимаясь только биологической фазой эволюции человека и не касаясь пришедшей ей на смену фазы социальной.

Естественно, нельзя на одной-двух страницах дать канву великого произведения, занимающего 494 страницы, полных глубоких мыслей и фактов. Однако ясно, что Дарвин видит в зачатке у более низко организованных животных все черты человечности, включая разум, моральные чувства и альтруизм. Он подчеркивает наличие этих свойств и выгоду их развития именно у общественных животных и показывает, что «общественные инстинкты» развиваются посредством естественного отбора тех общин (групповой отбор), в которых эти общественно полезные инстинкты развиты в наибольшей степени. Основой развития этих свойств он считает врожденные (наследственные) инстинкты, усиливающиеся под влиянием примера и привычки (обучения и воспитания), то есть под влиянием воздействия общественной среды. Он ясно, хотя кратко и не развивая этого положения, говорит о том, что естественный отбор общественных инстинктов играл большую роль лишь на ранних ступенях происхождения человека (биологическая фаза эволюции) и отступил на задний план в цивилизованном обществе перед первенствующим значением чисто социальных факторов (социальная фаза).

Первоначально этот новый, зазвучавший в «Происхождении человека» мотив группового отбора общественных инстинктов как важнейшего фактора, способствующего прогрессивному развитию специфических черт человечности — разумного поведения, этики и нравственности, — не получил должного отклика. Он потонул в хоре тех глашатаев дарвинизма, которые подчас и по отношению к человеку развивали принцип «борьбы за существование», и в том вульгаризованном варианте, который впоследствии поступил и на вооружение социал-дарвинизма.

Прошло почти десятилетие, прежде чем мотив, прозвучавший в «Происхождении человека», нашел отклик: в 1880 году на Съезде русских естествоиспытателей и врачей в лекции, прочитанной деканом Петербургского университета зоологом К. Ф. Кеслером, отстаивалась мысль, что, помимо «Закона взаимной борьбы», в одушевленной природе существует еще и «Закон взаимной помощи», берущий свои истоки в родительских чувствах заботы о потомстве. По мнению Кеслера, в успешном соревновании видов за существование и особенно в их прогрессивной эволюции «Закон взаимной помощи» играет еще более важную роль, чем «Закон взаимной борьбы».

Лишь еще десятилетие спустя — и также в порядке протеста против «Закона борьбы», распространенного в значительной мере и на человека в нашумевшей лекции Томаса Гёксли «Борьба за существование и ее отношение к человеку» (1888), — в английском журнале «Деятнадцатое столетие» («Nineteenth Century») началась публикация серии статей (1890—1896) замечательного русского мыслителя, дарвиниста и революционера П. А. Кропоткина. В этих статьях, опубликованных по-русски только в 1902 году в виде книги «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса», вновь зазвучал дарвиновский лейтмотив группового естественного отбора общественных инстинктов — «инстинктов человечности», но свою полную разработку этот мотив получил в еще более замечательной книге П. А. Кропоткина «Этика», оборванной на полупhrase, первый том которой «Происхождение и развитие нравственности» (1922) явился его лебединой песней².

Перекликаются идеи В. П. Эфроимсона и с самобытными мыслями о биологических путях эволюции морали, высказанными другим замечательным русским дарвинистом, основоположником «механики развития» (экспериментальной эмбриологии) в нашей стране Д. П. Филатовым (1876—1943). К сожалению, изложенные им в не вполне доработанной статье «Мораль будущего», эти мысли до сих пор не увидели света.

² Второе издание книги «Взаимная помощь...» и первое издание «Этики» вышли в 1922 году в издательстве «Голос Труда» и впоследствии не переиздавались.

В 1932 году виднейший английский ученый-коммунист — генетик и биохимик Дж. Б. С. Холдейн четко указал на большую роль межгруппового отбора по признаку альтруизма, применив это чисто человеческое понятие к миру животных. «Если ... я использовал бы зоологию для преподнесения уроков морали,— писал он,— я должен был бы опустить дальнейшее изложение и объявить себя защитником точки зрения Кропоткина, что внутривидовая конкуренция всегда является злом, а взаимопомощь значительным фактором эволюции». В приложении он произвел математические расчеты эффективности отбора по «генам альтруизма» (Дж. Б. С. Холдейн. «Факторы эволюции», Биомедгиз, М.—Л., 1935, стр. 75, 114—116).

Можно встретить мысли об эволюционной роли альтруизма и у многих других генетиков прошлого и современности, размышлявших о волнующих проблемах эволюции человечества.

В том, что сделано по отношению к происхождению человека самим Дарвином, можно условно видеть две связанных, но противоречивых стороны:

с одной стороны, на основании сходства в строении человеческого тела с телом человекообразных обезьян Дарвин лишил человека его божественного происхождения, низведя его с высокого пьедестала, на который он был вознесен догматами религии, в мир животных. В этой линии происхождения человека он подчеркнул наличие роднящих нас с животным миром черт животного;

с другой стороны, и в животных, в их психике, в чертах их поведения и, главное, в их отношениях друг к другу, в их общественных инстинктах, он увидел в зачатке те элементы, которые мы связываем с именем Человек.

Подчеркивая прогрессивное нарастание специфически человеческих черт общественного поведения на эволюционных путях, ведущих от животного к человеку, и в конце концов рождение человеческой этики и нравственности, он объединил мир животных и людей также и преемственностью черт «человечности».

Именно эту линию развития человека, линию нарастания социализации и гуманизма, так ярко проходящую через произведения Кропоткина и других русских и зарубежных прогрессивных дарвинистов, стремившихся вскрыть естественноисторические корни происхождения морали и нравственности, продолжил в своей статье «Родословная альтруизма» и В. П. Эфроимсон. И мы должны быть очень благодарны ему за то, что, идя своим собственным, независимым и оригинальным путем, он разработал эти издавна реявшие в воздухе идеи во всеоружии современных знаний, со свойственной ему широтой, глубиной, убедительностью и оптимистической верой в человека.

Будучи в своих взглядах антиподом социал-дарвинизма, он при этом в какой-то степени вернулся к той верной линии идей самого Дарвина, начало которой сто лет назад было положено «Происхождением человека». Однако он пришел к этому исходному пункту, не возвращаясь вспять, но в результате поступательного движения, вернувшись к дарвиновским идеям «по спирали» на новом ее витке и на более высоком уровне познания.

Он оказался над исходным пунктом спустя столетие, в течение которого родилась и выросла генетика, а теория эволюции, как и вся биология, сделала гигантский шаг вперед. И он сделал это, будучи сам на самом переднем крае современной биологии, полностью владея фактами, методами и идеями в области таких прогрессивных и быстро развивающихся ее ветвей, как эволюционная генетика и антропогенетика.

Очень важно, что он оказался над исходным пунктом через то переломное столетие, в течение которого родилось и сформировалось мировоззрение диалектического материализма, столетие, в течение которого в значительной части мира одержал победу социалистический строй, и что он смог поэтому посмотреть на вещи с высоты представлений и свершений научного социализма. Как и всем нам, это позволило ему в полной мере оценить определяющее значение социальных факторов и закономерностей в эволюции человечества и его этики, понять, что условия общественного строя и процессы преемственной передачи гигантски возрастающего и стремительно меняющегося капитала знаний, обычаев и представлений стали играть в социальной фазе эволюции человечества далеко опережающую роль сравнительно с медленными преобразованиями наследственного генофонда, отнюдь не отменяя, впрочем, фундаментального значения биологических законов.



Столетие назад Дарвин лишил человека его божественного ореола, показав, что он всего лишь испытывающее колоссальное умственное и нравственное развитие животное. Он сам и его последователи, и среди них В. П. Эфроимсон, размышлявшие над быстрым эволюционным прогрессом специфических черт человечности — социальных инстинктов, разумности, общественно полезных способностей к труду, социальной этики и морали, — убедительно обосновали, что в биологической фазе эволюции человека за этот быстрый прогресс были ответственны в значительной степени биологические факторы — естественный групповой отбор «наследственных факторов человечности», определяющих умственные и творческие способности, альтруистическое поведение и проч.

Мы живем в социальной фазе эволюции человечества, в эпоху, когда научно-технический и социальный прогресс сопровождается головокружительными преобразованиями окружающей человека природной и социальной среды и соответствующими изменениям бытия изменениями самого его сознания.

И мы полны оптимизма в том отношении, что в этой социальной фазе эволюции человека сохранится и приумножится тенденция прогрессивного нарастания черт разумности и гуманности, дальнейшего накопления генетических и средовых предпосылок для формирования Человека с большой буквы, не только мудрого, но и гуманного (*Homo sapiens et humanus*).

Надо желать и верить, что по мере того, как человек будет все более рационально вмешиваться в свое окружение и создавать для себя все более совершенную среду жизни, и по мере того, как он начнет находить все более гуманные и эффективные пути совершенствования своей наследственности, порождения зла и тьмы будут отступать перед духами добра и света. Нет никакого сомнения, что в обществе социальной справедливости, обществе, основанном на светлых идеалах коммунизма, факторы социальной среды в процессе своего прямого влияния на реализацию противоречивой наследственности будут благоприятствовать полному расцвету всех его наследственных задатков, которые способствуют развитию черт человечности и альтруизма, и, наоборот, будут подавлять проявления, доставшиеся человеку в наследство от зоологических предков, задатков агрессивности и эгоизма. Следует надеяться, что в результате этого процесса как будущая среда всего человечества, так и будущая его наследственность сольются в гармонию и станут в конце концов такими, какие нужны для того, чтобы создать подлинно мудрого и гуманного Человека с большой буквы.

К этому должен стремиться высоконравственный Человек передового социального строя, человек сегодняшнего и завтрашнего дня. Но при этом он должен твердо помнить, что хотя его собственный эволюционный прогресс и вступил в социальную фазу, господствующие в окружающей его среде и в его собственном организме законы биологии тем самым ни в коей мере не отменены. Он должен помнить и о том законе природы, с которого мы начали, о том, что каждое его свойство зависит не только от среды, но и от его собственной наследственности, и что, становясь господином своей судьбы и беря эволюционный прогресс человечества в свои руки, он должен научиться обращаться не только со своей средой, но и со своей наследственностью крайне заботливо, бережно, мудро и гуманно.

В социальной фазе своей эволюции он должен заслужить себе новое наименование — Человек мудрый и гуманный — *Homo sapiens et humanus*.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Т. Вл. БАЛАШОВА

★

ДЕЙСТВЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ И НИГИЛИЗМ «ЛЕВОГО» ДЕЙСТВИЯ

На второе февраля 1971 года в Париже была назначена лекция американского экономиста Джона Гэлбрейга. Ожидался сравнительно узкий круг слушателей-специалистов, тем более что текст должен был прозвучать по-английски, без перевода. И вдруг неожиданность — зал, рассчитанный на девятьсот мест, не смог вместить одной пятой желающих. Такого интереса к политико-экономическим спорам общественность Франции ранее не проявляла.

Драматическими событиями последних лет растревожены все сферы культуры, самые разные слои служащих и рабочих, интеллигенции и учащейся молодежи. И строгие экономические выкладки, и культурологические анкеты, и статистика развития образования, и литературные манифесты — все заговорило языком политики. Но процесс политизации оказался болезненным. В нем преломилась трагическая противоречивость бунта против капиталистического «общества потребления», давшего человеку игрушку-вещь вместо полноты счастья.

Неотвратимость катаклизмов, потрясших Францию в мае—июне 1968 года, литература по-своему предчувствовала, их предвещала. 1962 годом датирована пугающая утопия Сержа Кансера «Волки в городе». В отличие от Джорджа Оруэлла или Фредерика Пола, предрекающих человечеству гибель от радиации, Серж Кансер рассмотрел оптимистический вариант: двадцать первый век без войн, без радиоактивных осадков, даже без нищеты. Уничтожены

запасы оружия, сломаны национальные барьеры, отменена эксплуатация. Москва, Париж, Титовград и Гленсити живут в полном согласии. Но, поборов голод, предрасудки, военный фанатизм, человечество не сумело победить скуки. Против нее-то и взбунтовалась в утопии Кансера молодежь. Ватаги сорванцов, потрясая плакатом «Перевешаем всех родителей», беспорядочно стреляет в толпу. В Париже убивают мэра, запретившего ночные мотоциклетные гонки по городу; в Каире жгут университет, в Москве взрывают памятники. «Мы — ничто, мы хотим стать всем, только не подлецами, как старики», — вопят молодые волчата.

Волна студенческих бунтов, нахлынувшая на капиталистический мир в 1968—1969 годах, вычертила иную кривую, чем предугаданная С. Кансером, — антибуржуазный характер инвектив был достаточно определенным и отчужденность поколений не столь карикатурна.

Протест рабочего класса и интеллигенции был серьезным ответом на социально-экономическую эксплуатацию, на игнорирование буржуазным государством духовных прав личности. Коммунистическая партия Франции оценила в целом майское движение 1968 года, ответы которого падают и на карту Франции 1971 года, как «движение, преследующее цель более глубокого и решительного изменения мира, в котором мы живем», доказывающее закономерность пути к «передовой демократии, к социализму». Однако ряд актов этого справедливого протеста принял уродливо-гошистские формы. В

первую очередь в молодежном движении. Запутавшаяся молодежь и путающие ее идеологи несут, конечно, неравную ответственность за направление социальных битв во Франции. В. И. Ленин в свое время советовал принять как факт, что «теоретической ясности и твердости» в молодежных группах «нет, а может быть, и никогда не будет именно потому, что это — орган кипящей, бурлящей, ищущей молодежи»¹. «Но к недостатку теоретической ясности таких людей, — продолжал Ленин, — надо относиться совсем иначе, чем мы относимся — и должны относиться — к теоретической каше в головах и к отсутствию революционной последовательности»² у самих партийных вожаков. «Одно дело — сбивающие пролетариат с толку взрослые люди, претендующие на то, чтобы вести и учить других... Другое дело — организации молодежи ж и...»³.

Три года с лишним отделяют нынешний день от весны 1968 года, когда Париж взбунтовался против «благодетельной» капиталистической системы, а хлынувшие на его улицы массы — рабочие, студенты, работники творческих профессий — предъявили буржуазному государству серьезный политический счет. Вот уже три года французские социологи, экономисты, философы пытаются объяснить внезапность общественного взрыва и его отчаянный максимализм. Число исследований, посвященных майским событиям, пока не идет на убыль. В среднем по книге за неделю. Рядом с отчетливой линией аргументации, предложенной учеными-коммунистами, — бескрайнее поле взаимоисключающих суждений, умышленных фальсификаций, ошибочных гипотез и выводов: то май 1968 года — «революция, которой не было» (Р. Арон), то — «образец классовых битв в развитых странах» (А. Кривин), то — «первая внеклассовая революция» (Ж. Блок-Мишель).

Юных бунтарей из Сорбонны, чье недолговечество системой буржуазного образования подобно искре подпало пороховой заряд назревшего общественного возмущения, их соотечественники то боготворят, то секут назидательной плетью. В тени остаются при этом «отцы», немало поработавшие над тем, чтобы бунтарство расплескалось впустую. Смешать все социально-этические карты,

превратить конфликт классовый в конфликт поколений — над этой задачей отцы-идеологи трудились не покладая рук.

Спроецировав назревавшие студенческие волнения в XXI век, «после победы социализма», Серж Кансер тем самым готовил юных бунтарей 1968 года к убеждению, будто капитализм как система не имеет никакого отношения к их недовольству бытием. «Детство по природе своей исповедует фашизм», — примирительно сообщал другой писатель, увлекающийся политикой, гонимый лауреат Жан Ко. Смерть идеолов столь же естественна, как смерть чело века, уверял он в философском эссе «Убение ребенка». «Боги нашей молодости испытывали жажду, мы напоили их — теперь они совершенно пьяны и надо перешагнуть через их тела».

В канун весенних баррикад Жан Ко опубликовал «Открытое письмо западным псам», в котором обрушился на привычку связывать любое зло с капитализмом. Если рабочий беден и груб, учил Жан Ко, нельзя говорить: капитализм его сделал таким; если пролетарий поддался антисемитским настроениям, не стоит утверждать, будто он одурочен капитализмом, просто такова... вечная популярность расизма. А раз нравственные язвы внесоциальны, интеллигенции лучше не уповать на «мыльные пузыри» единого фронта. Что же, пожалуй, многие советы Жана Ко усвоены студенческой фрондой.

«Взрослые люди» продолжали провокационную деятельность и в дни баррикадных боев. «Борьба франтирера за освобождение» — пышно назвал драматург, философ, журналист Морис Клавель собрание своих статей, публиковавшихся в 1966—1968 годах. Борьбу он действительно вел ожесточенную, но освобождение ли было целью? Скорее, напротив, порабощение юных умов, умелый наркоз левой фразы. Тогда, в мае 1968 года, Морис Клавель объявил самых «бешеных» из своих учеников-студентов «последними защитниками человека». «Вы видели Кон-Бендита рядом с журналистами из «Фигаро» и «Франс паризьен»? — впадая в транс умиления, восклицал М. Клавель. — Он грозен и прекрасен. Левые — это Кон-Бендит, и перед моим воображением вставали образы Сен-Жюста, Жанны д'Арк... Свершается революция разума». Месяц спустя М. Клавель советовал студентам довериться «собственной фантазии», не ждать, «что волнения на бульваре Сен-Мишель когда-нибудь будут поддержаны

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 226.

² Там же.

³ Там же.

всеобщей забастовкой». Обособленность студентов принята уже как должное, организации пролетариата списаны по графе «консервативных». Оставалось «перекрасить» молодежные требования в охранительные цвета — и нужный оттенок «революции» найден. Что Морис Клавель и совершил с виртуозностью философа-психиатра. Он обстоятельно объяснил, что бунт направлен вовсе «не против режима, а против... абстрактной тирании вещей над людьми», что это не какая-то там старомодная революция, предполагающая изменение классовых структур, а особый «лирико-метафизический потоп», требующий согласно теориям Фрейда обязательного выхода и обращенный «поверх мира, поверх конкретного социального механизма или абстрактной идеи к самой реальности, к онтологическому порядку...». Проследив этапы такой обезвреживающей терапии, не трудно понять страх М. Клавеля перед революцией другого типа: если не дать выхода этому комплексу сыновней мести, учив Клавель, нам грозит «настоящая революция — дикая и безумная, подлинный апокалипсис».

Предотвратить социально-классовое решение вопроса — такова и была, объективно, цель многих идеологов левого бунта. Ход событий во Франции подтвердил, что их старания не пропали даром. Вместо единого фронта 1968 год породил бесчисленное множество группировок, активно соперничающих друг с другом. «Левые» интеллектуалы перессорились, как рантье, делящие проценты.

Глава «Коммунистической лиги» неотроцкист Ален Кривин ожесточенно спорил с Аленом Жейсмаром, возглавившим экстремистский союз «Пролетарская левая». Маоисты не могли найти общего языка с анархистами, троцкисты даже между собой. Но их голоса начинали звучать в унисон, едва требовалось определить отношение к Коммунистической партии Франции. Ее методам борьбы новейшие анархисты торопились противопоставить свои, архиволонтаристские, называя возникающие микрогруппы очень революционно: «Союз коммунистической марксистско-ленинской молодежи», «Коммунистическая марксистско-ленинская партия» и т. д. Театр такой «многопартийности» и до сей поры играет во Франции, не опуская занавеса, как показал международный конгресс анархистов, собравшихся в Париже летом 1971 г.

Коммунисты Франции, анализируя уроки

массового движения, отмечали вред, нанесенный раскольниками и студенческим и пролетарским организациям. Ставка на «класс молодежи» (*classe de jeunesse, classe d'ages*) затемняет реальные противоречия классовых структур, которые неизбежно охватывают и юное поколение. «Марксисты,— писал секретарь ФКП Рене Пике,— не считают молодежь классом в социологическом значении слова. Ее затрагивают все общественные деления и противоречия».

Типично «молодежные» проблемы социальны по своей сущности. Эту истину за три года, истекшие после майских событий 1968 года, поняли многие. Чем и объясняется возросшее к нашим дням влияние прогрессивного молодежного объединения — «ЮНЕФ-обновление» («Национальный Союз студентов Франции»), ядром которого является «Движение коммунистической молодежи». Молодежные коммунистические издания «Авангард» и «Нуво-кларте» с честью оспаривают читателей у анархистских листов типа «Руж», «Верите», «Рабочая борьба», «Партизаны» и т. д.

Молодежь предъявляет свой, особо бескомпромиссный счет обществу потому, что юное поколение угнетено сильнее, диапазоны бесправия юных в капиталистическом обществе необычайно широки. Молодежь, по словам В. И. Ленина, «по необходимости вынуждена приближаться к социализму, иначе, не тем путем, не в той форме, не в той обстановке, как ее отцы»⁴.

Но каким бы ни был этот путь, необходимо преодоление идейно-организационной раздробленности, отказ от анархической бесцельности. «Мы против всех, кто «за», и со всеми, кто «против»,— писали студенты. Подобная программа многих держит в плену до сей поры. Вместо конкретной, социальной или духовной, задачи — эмоциональная «оппозиционность», воображаемое состояние «против». Этика такого противостояния воспитывалась годами. Из претенциозно-нигилистических каламбуров сюрреалистов «вечное против» давно уже перекочевало в менее элитарную литературную продукцию. Лицо массового искусства изменчиво, на нем отражаются настроения общества. Социологи отмечают, что читатель средней руки теперь стесняется порой признаться, что его ежедневное чтение — молодежный журнальчик «Советы юным» или

⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 226

бесконечная серия детективных боевиков. Он хочет прослыть интеллектуалом и все чаще выбирает авторов, имена которых ему известны по газетным дискуссиям или политическим распрям. Давно ли типичным ответом юных казалось название фильма Бертрана Блие «Гитлер? Такого не знаем», а студентов называли «молчаливым поколением»? Ныне положение изменилось. Бурная политизация свидетельствует о росте гражданской ответственности. Но и этот процесс умело используют дирижеры буржуазной культуры. Откровенно апологетические романы потеснились, уступив место бестселлерам возмущения. *Roman de contestation* — роман все оспаривающий, все отвергающий — такой рекламы в сегодняшней Франции достаточно, чтобы требовался тираж за тиражом. Сказываются разные тенденции, определяющие психологию нашего современника на Западе, — и серьезное недовольство общественной системой, отнимающей у человека цель жизни, радость творчества; и, с другой стороны, подмена серьезной идейной борьбы салонно-интеллигентской болтовней. Приобщение к оппозиционному движению обнаружило резкую поляризацию мотивов недовольства. Бунт в значительной мере вскормлен теориями так называемого нового индустриального общества. Среди укрепившихся иллюзий — и безличный характер отчуждения, эксплуатации; и биологические программы антрополитики, взрывающие основные критерии культурных взаимосвязей между личностью и обществом. Разрушение системы социально-классовых координат делает процесс политизации современного искусства необычайно противоречивым.

Майские дни 1968 года сравнительно редко проецируются на сюжетную канву, как, например, в романе Мерля «За стеклом» или радиопьесе Ж. Тибодо «Май—68». Но общая атмосфера бунта, скванного легендами «внеклассового общества потребления», воссоздана литературой с трагическим драматизмом. Борьба истинных и мифических ценностей, подлинной и лже-революционности в современном французском романе преломилась укрупненно. Здесь мы не найдем той сумятицы суждений и аргументов, которой отмечена эссеистика и публицистика. Дебатировалась концепция личности в ее единении, или, напротив, разобщенности с миром.

На защиту человеческих ценностей в де-гуманизированном обществе встали ста-

рейший французский писатель Ролан Доржелес («Долой деньги!». 1965) и юная Соланж Фаскель («Что делать с жизнью», 1963), художник-философ Веркор («Квота или «сторонники изобилия», 1966) и сдержанный бытописатель — социолог Жорж Перек («Вещи», 1965), писательница реалистического склада Эльза Триоле (цикл «Нейлоновый век») и романтик-фантаст Андре Дотель; романист, тяготеющий к устойчивым социально-нравственным конфликтам Эрве Базен и писатель острых политических реакций Жорж Коншон («Неловкий подмастерье», 1967). Неторопливое трудолюбие крестьянского бытия противопоставляют опустошающим скоростям космосека Бернар Клавель («Зимние плоды», 1968) и Роже Бордые («Веера», 1970).

Французский роман часто против собственной воли заявляет, что не может больше быть камерным, что и в тайники человеческих душ просочилась политика, что и там прорастают зерна социально-общественных конфликтов. Бунтуя против гнетущего «изобилия», бродят в лабиринтах одиночества герои Ж.-М. Леклезю и Элен Сиксу, Роже Безюса и Христианы Рошфор. Со всех сторон лихорадочно «осматривает» тревожную политическую карту мира талантливый литератор Ж.-П. Фай. Америка маккартизма в его романе «Между улиц»; оасовский путч в книге «Трещины»; Берлин, рассеченный надвое стеной, в «Шлюзе»; калейдоскоп городов и героев в романе «Биение» и «Аналогиях». «Самое страшное, — говорит одна из героинь Фая, — провалиться в бездну между двумя половинками города». И все-таки она остается «между», не сумев взвесить все «за» и «против». Политические коллизии, события, судьбы в ходе повествования скрещиваются, переплетаются, оборачиваются абсурдом. Бунт против буржуазной цивилизации слишком многоцветен, многопричинен, чтобы легко сплотить разных художников. не приемлющих капитализма. Да и сама тема бунта приобрела такую моду, что ее эксплуатируют литераторы отчетливых охранительных позиций — то Ромен Гари, успевший в своих последних романах поговорить и о Кубе, и о Вьетнаме, и о симпатичных хиппи из швейцарского фронта Освобождения; то гонкуровский лауреат 1969 года Ф. Марсо; то Жан Лартеги, недавно клеветавший на народ Вьетнама, а сегодня сочинивший развлекательный детективчик про латиноамериканских гэрильос. Отзвуки политических событий последних лет действи-

тельно слышатся едва ли не в каждой новой книге, но критика «общества потребления» часто избирает русло, приготовленное для нее самим буржуазным обществом, — русло внесоциального, метафизического негодования.

Скройся, вещь!

Безумие накопительства человечество узнало не в XX веке, и не в XX веке оно было литературой развенчано.

Студент Рафаэль де Валентен слыл жизнерадостным и остроумным, пока не решил, что стыдно «добродетели ходить пешком», и не доверился губительной тайне шагреновой кожи. Гобсек воплотил целую эпоху, посадившую на трон вместо монарха сверхкающийся луидор. Аристид Саккар самозабвенно поклонялся «безликому герою», какое бы имя тот ни принял — Добыча ли, Деньги ли. «Зачумленная атмосфера мелких денежных интересов» петлей охватывает Жюльена Сореля. «Приносить доход — великое дело, от которого... зависит все» — твердо знал этот молодой человек начала XIX века. Символом божества была россыпь монет, блеск золота, который чуть было не воскресил умиравшего папашу Гранде. Теперь таким символом стала Вещь. Литература XX века ушла от темы борьбы за наследство — слишком силен в западном мире страх перед завтрашним днем, чтобы сюжет о сколачивании солидных сумм про черный день всерьез волновал читателя. «Накопители», обличаемые современной литературой, не так предусмотрительны. Они копят не проценты в банках, а кредитные квитанции, позволяющие им окружать себя вещами, о которых в XIX веке не имели понятия. Рабы общества потребления, поселившиеся во французском романе 50-х — 60-х годов — книгах Веркора, Р. Доржелеса, Э. Триоле, Ж. Перека, К. Рошфора, С. Фаскель, А. Боске, А. Ремакля, Р. Эскарпи, — скорее наследники не величественного Гобсека, что «объехал, взвезил, оценил и использовал весь земной шар», а самодовольно-ограниченной Лизы Кеню из «Чрева Парижа»: «Наживаться ради наживы, мучить себя, не видя никакого удовольствия, — этого я не понимаю... Ведь, в сущности, нас только трое». О таком благополучии маленькой семьи из двух, трех, четырех человек и мечтают собственно герои нынешнего романа, разоблачающего общество потребления.

Но где Золя видел торжествующий эгоизм, то есть вину перед обществом, совре-

менный романист видит прежде всего беду — трагедию маленького человека, порабощенного Вещью.

Западные социологи детально анализируют сегодня процесс «насильственного потребления», в результате которого поглощаются плоды насильственного труда.

Погоня за вещами диктует ритм индивидуального бытия. Личность находится как бы под гипнозом — состояние, сатирически описанное в «Квоте» Веркора (в соавторстве с Коронелем), и средствами аллегии в фантастических романах Андре Дотеля. Система воздействия на покупателя, придуманная героем Веркора, приносит доход несравненно больший, чем любое рационализаторское предложение. Не требуется даже усовершенствовать марки магнитофонов, холодильников, кухонных аппаратов, достаточно внушить обывателю, что он в них нуждается. Жители городской окраины начинают скупать фарфоровые раковины и унитазы, хотя там не проложены пока водопроводные трубы. Принятый средней уровень материального благополучия оказывается единственным мерилom ценности человека. Веркору неприемлема такая мерка «цивилизованного» гражданина, и писатель пером сатирика вскрывает экономические корни конфликта между духовной и материальной культурой в буржуазном государстве.

В романе Дотеля «Блаженный уходит к себе» (1967) герой совершает по ночам поступки, смысл которых утром даже не в силах уразуметь. На полубезумные прогулки его толкает вспыхивающее временами желание «идти по этой дороге и не возвращаться». Среди актов, подсказанных протрацией, — покупка машины, о которой накануне герой даже не думал. Истрачены деньги, отложенные на свадебное торжество. Что теперь делать и зачем мне машина? — недоумевает герой при свете дня. Типично кафкианская ситуация связана с личной автомашиной и в аллегорической новелле Робера Эскарпи — директора Института массовой литературы и художественной продукции при университете в Бордо. Придуманный Робером Эскарпи город ввел новый закон — любое нарушение правил уличного движения карать смертью. Около суток хорошенькая владелица автомашины проводит в напряжении — как бы не совершить промах. Но — увы! — смерть надвигается от руки полицейского, который накануне оказывал ей знаки внимания, а

утром увидел, что машина оставлена в нескольких метрах от разрешенной стоянки.

Подобными фантазмагорическими ситуациями зафиксирована рабская зависимость современного человека от вешного мира и его законов. Рабство это реально, давление его на психику индивидуума достигло критической точки. Над обществом нависла катастрофа, которую защитники «общества потребления» надеются предотвратить опять же гипнозом. «Хвала обществу потребления» (1969) откровенно апологетически назвал свою книгу ученик Раймона Арона, возглавляющий кафедру социологии университета в Нанси, — Раймон Рюйер.

Отчуждение не имеет в капиталистическом обществе «никакой экономической основы», пишет он, это мнимое, только «ощущаемое отчуждение, очень редко соответствующее отчуждению реальному».

Аргументом Раймону Рюйеру служит ссылка на полное равнодушие к проблеме отчуждения среди низкооплачиваемых слоев общества и статистические выкладки о росте покупательной способности от середины XIX века к середине XX.

В мае 1968 года студенты возмущенно бросили в лицо обществу свое нежелание отдавать знания системе, уродующей человека, превращающей его в покупательный автомат. Рабочий класс вместе с экономическими требованиями провозгласил свои права на руководство общественным производством и распределением. Рабочие заводов «Альфа-Ромео» выразили критическое отношение к производству определенной марки машин, «доступной только буржуазии... А мы хотели бы жить, чтобы строить дома, больницы — все, что полезно обществу», — писали рабочие.

Клод Ге, ставший в знаменитой повести Виктора Гюго символом человеческой судьбы, исковерканной нищетой, попадает в разряд преступников, потому что общество беспощадно к малейшему покушению на чужую собственность. Герой несчастен оттого, что его не захотели понять и простить. Бертран Люмер из романа Дотеля повторяет опрометчивый жест Клода Ге, хотя и в новом варианте. Но кража неожиданно прощена; больше того — «пострадавший» берет вора на работу. Герой Дотеля чувствует себя униженным именно этим снисхождением. Ведь доверие, оказанное ему лично, ничего не изменит в общей расстановке сил: собственник и неимущий. Отчуждение возникает на той же, но ина-

че сконструированной экономической основе.

Золя еще лелеял иллюзию, что усердный труд помогает рабочему утвердить свое человеческое достоинство. Кровельщик Купо («Западня») катится на дно, потому что начал пить; кузнец Гуже добивается самостоятельности трезвостью и трудолюбием. В романах сегодняшнего дня — почти противоположная закономерность: выжимая из себя сдельшину у станка, человек занимается самоэксплуатацией, то есть услужливо помогает эксплуататору, который знает: чем больше заработают — тем больше купят.

Не побывав два раза в отпуске, можно приобрести автомобиль; украденное воскресенье поможет подарить жене стиральную машину или телевизор. Кто сопоставит пользу и вред, приносимые сдельшиной? Подчиняясь цели «заработать и купить», человек не оставляет себе «времени для жизни», то есть дел, которые любишь, путешествий, в которых отдыхаешь, встреч, которые приносят радость.

«Все становится чужим — дети, дом, телевизор, все эти кухонные аппараты и даже нагота жены». Все кажется «бесполезным — дом, машина, бесконечные дни, во время которых он соревнуется с товарищами, кто больше уложит штукатурки» (Андре Ремакль, «Время жить», 1966).

Чем больше сил требуется, чтобы «быть как все», тем выше коэффициент «самоэксплуатации», тем страшнее жертва. Искушение, лежащее далеко за пределами возможностей, остается тем не менее искушением, «целью», к которой рвутся любой ценой. Таков, может быть, самый драматический вариант отчуждения в вешном мире. Здесь и скрыт классовый аспект порабощения вещью. За неравно отданную энергию рабочий и предприниматель получают одинаково современный мебельный гарнитур. Там, где для одного — проблема пресыщения, для другого — проблема эксплуатации и гипнотической зависимости от рекламируемой «нормы бытия».

В осуждении добровольного вешного рабства французы романисты на первый взгляд едины.

«Долой деньги» назвал свой роман Ролан Доржелес; «И умереть некогда» — так определил ритм современной жизни П. Виалар; «Целую планету за холодильник», «Всю Европу за машину марки «рено!» — издевательски обобщает крах идеалов Ален

Боске. С культом вещей воюет Жорж Перек; «времени для жизни» требует Андре Ремакль; разобщающую людей стену ежедневных привычек пытается разрушить Леклезю. Но благородный бунт против власти вещей обрастает многочисленными иллюзиями. Одной из них и порожден призыв, выведенный крупными буквами на стене аудитории Сорбонны,— «Скройся, вещь!». Врагом объявлена вещь, а не тот, кто ею манипулирует.

Если рабы общества потребления уровнем материальной культуры произвольно заменяют уровень культуры духовной, то «левому» бунту против безликого эксплуататора — Вещи — свойственна иная абберрация. Материальная культура, созданная руками человека, перестает восприниматься как концентрация его труда и мысли. Порабощающую функцию, навязанную буржуазией отдельным элементам материальной культуры — автомобилю, холодильнику, телевизору и другим,— «левая» этика выдает за сущность этого элемента, за сущность материальной культуры вообще. Возвращение же к более низким ступеням цивилизации, согласно «левым», повлечет благосное освобождение от «излишних» знаний и прочих избытков уже духовной культуры. Духовное и в этом случае не играет роль ориентира. В капиталистическом обществе середины XX века властвует еще старательнее закамуфлированный товарный фетишизм. Карл Маркс вывел закон, предложенный буржуазным обществом человеку: «Чем ничтожнее твое бытие, чем меньше ты проявляешь свою жизнь, тем больше твое и мущество, тем больше твоя отчужденная жизнь... Чем меньше ты ешь, пьешь, чем меньше покупаешь книг, чем реже ходишь в театр, на балы, в кафе, чем меньше ты думаешь, любишь, теоретизируешь, поешь, рисуешь, фехтуешь и т. д., тем больше ты сберегаешь...»⁵.

Современной буржуазной этикой часть этих потребностей переведена из категории нежелательных в категорию рекомендуемых. Рекламируются траты, но только те, которые продолжают отчуждать личность, которые мешают думать, любить, теоретизировать, петь, рисовать.

Когда Морис Клавель объяснял, что сту-

денческий мятеж направлен вовсе «не против режима, а против... абстрактной тирании вещей над людьми», он тем самым развеял режим и «тиранию вещей» в разные стороны, словно форма экономических отношений, закон производства-распределения нейтральны по отношению к «тирании вещей», словно экономическая зависимость здесь отсутствует. Гнев направляется против топора, палач остается вне подозрений. Справедливый протест против лицемерия и прагматизма буржуазной цивилизации толкает многих инициаторов молодежных коммун во Франции, Западной Германии, Соединенных Штатах к призыву покончить с культурой вообще — и материальной и духовной,— начать общественный цикл с нулевой точки. Атрибуты общества потребления ненавистны некоторым «коммунарам» так же, как добытая опытом и знанием критика отчуждающей функции буржуазного государства. «Сокращение потребления должно разрушить существующую систему потребления»; отказать от комфорта нейлонового века, покупать только «самое необходимое»; перейти на ремесла и ткачество — наивно-руссоистские лозунги, которые иезуитски сконструированная машина буржуазной цивилизации легко обращает себе на пользу. Да и что за критерий — «самое необходимое»? Будут ли возрастать потребности человека или атрофироваться? Что должен иметь человек для счастья?

Враждебность потребительской психологии человеческому счастью открыта сегодня, как неожиданно возникшая Америка. Но искусство ее давно освоило, показав, как погоня за прибылью калечит Люсьена Шардона («Утраченные иллюзии»), как становится полоумным скупец Гранде или изменяет себе на каждом шагу Жюльен Сорель. Ведь «поборемся с обществом» в устах Растиньяка и даже Сореля означало в конечном счете приспособление к законам этого общества, обращение их себе на пользу. Личность в процессе такой борьбы себя теряла — эта истина открыта искусством задолго до «общества потребления».

Французские романисты и сегодня продолжают глубинное исследование процесса духовного обнищания в обездушенном мире капиталистического воспроизводства. И среди всех чудес «нейлонового века» человек должен сохранить талант «сажать розы для других» — утверждала в своих

⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М. 1956, стр. 602.

последних романах Эльза Триоле. Как тебе подсказывает сердце? — спрашивал своего героя-рабочего Андре Стиль, что достойнее — бороться за свое, личное, место под солнцем по рецептам буржуазного бизнеса или возглавить борьбу за всеобщее счастье?

Может быть, самый скромный, нетребовательный персонаж современного французского романа — санитар Антуан из «Бьефского барабанщика» (1970) Бернара Клавеля — ждет от грядущего как раз больше других. «Ничего-то Антуану не хотелось. Или хотелось очень много. Хотелось мира, устроенного иначе. Справедливого мира. Мира без нищеты, которая всегда обрушивается на тех, кто вооружен лишь доброй волей».

Романы яркого социального протеста отнюдь не всегда намечают выход из капиталистических тупиков. Но и нравственный противовес миру чистогана имеет в литературе огромный смысл. Романы Ролана Доржелеса «Продажно все» (1956) и «Долой деньги» (1965) прочно спаяны ненавистью к отношениям купли-продажи, выгоды и конкуренции. Возвысившись над другими с помощью привалившего богатства, герои теряют полноту человечности: неунывающая певунья начинает судорожно перебирать меха и бриллианты; только что бедная, но счастливая невеста с презрением отворачивается от любящего. Здесь художник, задумавший композицию «Страх», под давлением обстоятельств уходит от метафизического толкования темы и на вопрос первого зрителя: «Чего боятся эти бедняги?», отвечает: «Теперь я понимаю это лучше.. Они боятся всего, что поднимает нацию против нации, человека против человека, сталкивает классы, разрушает семьи, заставляет женщин изменять, а мужчин — убивать. Присмотритесь к их зияющим, широко открытым ртам; они кричат: «Долой деньги!» Здесь конфликт романа подчеркнуто традиционен, жизненные судьбы искалечены богатством. Аспект его вещного выражения и предательская игра рекламы отсутствуют. Зато в истории супружеской четы, рассказанной Э. Базеном («Семейная жизнь»), Ж.-Л. Кюртисом («Молодожены») ⁶ или Андре Ремаклем («Время жить») злой разлучницей оказывается именно вещь, желание

шагать в ногу с «нейлоновым веком», измерять себя лжеценностями.

Вещь, показанная крупным планом, может и смещать пропорции. Даже в художественно-социологическом этюде «Вещи» Жоржа Перека несколько абсолютизирована власть предметов, рекламы, элементов буржуазного бытия. Следующий слой — отношения классов не просматривается. Возникает ощущение полной безвыходности. Может быть, это и привело Перека к сильному душевному смятению, отразившемуся и в романе «Исчезновение» (1969), и в экспериментальных играх со словом. «Не подчиняться... не подчиняться...» — вторяется, как заклинание, в герметичном тексте Перека, опубликованном журналом «Шанж», но сам автор почти подчинился чувству безысходности. Сквозь детективную интригу «Исчезновения» прорывается идея «бесконечного проклятия». Человек лихорадочно ищет осколки истины, а находит... смерть. «Последнее слово в моем романе говорит Смерть...» — пессимистически кончает Жорж Перека. Он кричит, что отрицает «порядок, с которым смирились Труайя, Мориак, Блонден и Жан Ко», но, отрицая, впадает в отчаяние. Такая форма отрицания вряд ли страшна буржуазной системе духовного рабства.

Морис Дрюон, автор острого публицистического эссе «Будущее в растерянности» (1968), считает подобный антивещный протест полубезграмотным словом критики общества. Он советует рассмотреть общий характер конфликта. «Человек, — пишет Дрюон, — никогда не находил счастья в акте обладания — будь то женщина, земельный участок, вещь или труп противника...» Счастье — это ощущать себя вместе с другими «выразителем вселенной, ее действующей частицей». Чтобы действовать, частица вселенной — человек должен знать врага. В наших глазах символом рабства, продолжает Дрюон, «был не автомобиль для воскресных прогулок, а танк».

Танк как выразитель фашистской силы, фашистской идеологии. Связь содержания с предметным символом в данном случае обнажена. В гипнотически внедряемом понятии «вещь» эта связь завуалирована.

Вещь можно скрыть, уничтожить, как уничтожали луддиты первые станки, система отношений останется безнаказанной, энергия протеста расплескивается впустую, ударяясь о стену теорий о безликом эксплуататоре — Вещи.

⁶ «Новый мир», 1971, №№ 8, 9.

«Социальные выгоды — смерть!»

Откуда появился этот лозунг на стенах Сорбонны?

Столетиями боролись народы за справедливую оплату труда, за духовное и материальное равенство, которое обеспечило бы любому человеку условия для максимального развития творческих сил. Согласно новейшим теориям время для таких забот кончилось, сложились новые общественные классы, прежние ориентиры не годятся. Мысль о коренном изменении классовых структур буржуазного общества давно внедряется апологетом «процветания» Р. Ароном и его многочисленными коллегами.

Сегодня, к сожалению, эти теории загипнотизировали и некоторых «левых». Представления, будто прежние формы нищеты и эксплуатации отменены начисто, относятся к наиболее опасным. Формируется «левое интеллигентское нищестанство», как писал журнал «Панэз». Подлинное революционное движение всегда руководствовалось и материальными и политическими требованиями. К тому же сама Франция мирится пока с крайними формами нищеты. По статистике 1971 года, во Франции 0,5 миллиона безработных, причем половина — юноши и девушки; ежедневная прожиточная норма для пенсионера всего 9 франков, а некоторые категории рабочих на 20 франков в день вынуждены содержать семью. «Этот бидонвиль не в Тунисе, а в 20 километрах от Парижа», — сообщал еженедельник «Нувель обсерватор», помещая фотографию кошмарных трущоб. Когда, вскрывая язвы «процветания», игнорируют «патологические случаи» трущоб — анализ может получиться только одностронним. Он не вскрыет механизма «существования» пресыщенности с нищетой и прежних форм эксплуатации с новейшими, самыми изощренными.

Слепым отвращением к изобилию порождается среди части «левых» апофеоз бедности — тенденция, питающаяся теориями маоизма. Во Франции подобные заблуждения окутаны часто романтической дымкой мечты о перманентной гэрилье, которая бы опробовала методы партизанской борьбы в джунглях современного города. И как ни парадоксально, экстремистские программы опять соприкасаются с советами, что слышатся из противоположного лагеря.

В романе одного из левых идеологов, Мишеля Рагона, «Нас семнадцать под кро-

хотной луной» (1968) с математической безапелляционностью выведен «вечный» закон революции:

«Никто не может сменить власть, это власть — меняет нас... Партизаны, взевавшие против солдат, придя к власти, станут, в свою очередь, солдатами, судьями, шпионами, чтобы охранять революционное государство».

Значит, революция жива лишь пока длятся изнурительные партизанские бои, пока бойцы революции — голодны, разуты, раздеты и одиноки, пока их всего «семнадцать» в зловещем окружении правительственных войск. Даже в художественное творчество пустила ядовитые корни теория перманентной революции. Она рождает здесь особый тип литературного героя, изобретательно-темпераментного в отношении террористических средств, но абсолютно равнодушного к цели революционного движения.

Как Дютур, автор публицистического эссе «Школа простаков» (1970), напротив, — зашигник порядка; пронесшаяся смута для него — покушение на единство Франции. Но и его сердцу мила идея очищающей бедности. «Богач — ветрогон, он не сидит на месте. Бедняк — дерево, вросшее в национальную почву, его не стронешь». Не так уж далеко от идеала, высмеянного Марксом: «аскетический, но занимающийся ростовщицеством скряга и аскетический, но производящий раб»⁷.

Дютуру нравится и лозунг «пушки вместо масла», и парадокс, согласно которому «к счастью идут не умножая потребности, а уничтожая их». Автор заигрывает с пролетариатом, утверждая, будто в мае 1968 года на улицу вышли «буржуа, люди легкомысленные, а народ не поддался глупости», а потом рабочим же советует: «когда надо, вам лучше идти рука об руку с классовым врагом».

Апология бедности и горький вывод, будто революция вообще нецелесообразна, вырастает на почве теории «внеклассового» капитализма.

Утрируются различия в позиции интеллигенции и рабочего класса — опасная подрывная деятельность, в которой опять же правые и «левые» слишком часто, хоть и невольно, действуют сообща. Рабочий «при-

⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, М 1956, стр. 602.

крепляется к материальной культуре; интеллигент к культуре духовной. Причем если для части «левых» рабочих — только потребитель, игнорирующий нравственные ценности, создаваемые интеллигенцией, то идеологи правых потребителями числят как раз интеллигентов. Ложный силлогизм выворачивается, но не становится от этого ближе истине. Антирабочие лозунги «левых» апологет порядка Раймон Рюйер парирует головокружительным вольтом: он убеждает рабочего, что его эксплуататором является не предприниматель, а... интеллигент, некий «третий сектор» нового капиталистического общества.

Рюйер отважился даже признать, что жизненный уровень трудящихся классов снизился, но... «не по вине капиталистических прибылей, а из-за чрезмерного развития третьего сектора, малопродуктивного, всепоглощающего, ненасытного». «Ведь профессор,— со школьной прямокой толкует Раймон Рюйер.— имеет сегодня возможность купить автомобиль вовсе не потому, что возросла его отдача как преподавателя, а потому, что возросла отдача производителей автомобилей...», то есть «третий социальный сектор» воспользовался прибылью в ущерб и предпринимателям и рабочим». Яснее не скажешь. Надежды апологетов порядка обнажены до неприличия.

Другая форма заигрывания с рабочим классом сложилась после майских событий в лагере «левых». Она как будто опровергает и пессимистические прогнозы Алена Турена, и радужные надежды Р. Рюйера. «Вместе с рабочим классом на штурм буржуазного общества» — подобный лозунг испугал бы Арона или Рюйера, удивил бы своей «ирреальностью» А. Турена или Кон-Бендита. Но этот призыв, брошенный Ж.-П. Сартром, отягощен такой массой «теоретических» оговорок, что объективно оставляет конфликт интеллигент — рабочий все на той же кризисной точке.

В. И. Ленин, возмущаясь путаницей по вопросу об отношении интеллигенции к классовой борьбе в самом начале XX века, напоминал: «...интеллигенция потому и называется интеллигенцией, что всего сознательнее, всего решительнее и всего точнее отражает и выражает развитие классовых интересов и политических группировок во всем обществе»⁸.

Сартром же предложен маоистский путь перевоспитания интеллигента на заводе, в процессе чего он уничтожит в себе интеллигента, появится новый тип интеллигента, не производящего культурных ценностей.

Совет уже более опасный, чем разовый допуск в метро безбилетных пассажиров, осуществляемый то там, то здесь активистами «Пролетарской левой», которой Сартр так симпатизирует.

Рюйер зовет рабочих к бунту против «третьего сектора», Сартр пытается растворить его в пролетарской массе. Но оба пленены фантомом спасительного «физического труда». Размываются важнейшие пласты культуры, сформировавшей современный тип человека, глубоко осознавшего противоречия капитализма. Беспомощность художника в буржуазном обществе вдруг становится программой его действий. Подобные просчеты в лозунгах «левых» сыграли, думается, не последнюю роль в новой, «культурной» ориентации прежде вполне консервативных кругов, которые в 70-ые годы заговорили о перестройке государства с помощью активизации культуры; именно она внеэкономическими путями способна якобы породить долгожданное «новое общество», вывести современную цивилизацию из кризиса. Утопизм и демагогичность этих прогнозов ФКП показала достаточно ясно. Но если они кажутся привлекательными части интеллигенции, вину за такую aberrацию несут антиинтеллигентские программы некоторых «левых» групп. Сознательное разрушение культурной традиции и игра на антагонизме рабочих — интеллигент дают, как видим, свои горькие плоды. Вместе с тем сама культурная традиция, материал искусства намечает ориентиры для верного решения этой болезненной проблемы. У писателей прошлого были свои — очень высокие — критерии, определяющие уровень, на котором может возникнуть духовный союз интеллигенции с трудовым людом, насильственно лишенным подлинной культуры. Об этом думал Э. Золя, сопровождая гостей Жервезы и Купо по залам Лувра («Западная»); это понимал Ролан, познакомивший Кристофа Крафта с Оливье и Антуаннетой: именно они, а не снобы «ярмарки» оценили его исполнительское мастерство. Радость встречи Кристофа с соседями, живущими рядом, ничуть не похожа на решение «спуститься к ним». Традиция поиска духовного союза

⁸ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 7, стр. 343.

продолжена и современной литературой: стихотворными манифестами П. Элюара, философскими аллегориями Веркора. Цикл Ж.-П. Шаброля «Бунтари» (1965—1968) воссоздает единство рабочего класса и интеллигенции как естественное явление времени Народного фронта. Ни в чем не хочет Шаброль быть примитивно схематичным, он избегает высоких слов, чтобы приблизиться к истине. С народной массой, полной неожиданностей, вступают в союз героин-интеллигенты из цикла Шаброля «Бунтари». Юный музыкант рассказывает своей новой знакомой, работнице парижской фабрики, о Моцарте, Бетховене, Берлиозе, Вагнере... «Все это у тебя крадут, Риретта, а ты даже не догадываешься. У тебя забрали балет и симфонию, концерты и фуги, оперы и оратории... Поранив у станка пальцы, ты страдала и знала, кто виноват... Но твое ухо потеряло, может быть, тоже две десятых своих возможностей, они искалечили одно из твоих пяти чувств». Выступления Франка перед рабочей аудиторией проходят не гладко: Баха не слушают. «В следующий раз попробую Шуберта», — без всякой обиды, с полным сознанием своей ответственности решает Франк.

Сцеплением сцен, столкновениями характеров опровергает Шаброль каламбур, который ему отвратителен: «Если ты коммунист и интеллигент — ты неискрен. Если ты интеллигент и искрен — ты не коммунист. Если ты искрен и коммунист — значит, ты не интеллигент». Действовать, как коммунист, не переставая быть интеллигентом, больше того, делать интеллигентными, культурными людьми тех, кто рядом, чтобы стал более высоким интеллектуальный уровень революционного действия, — вот какой путь предложен искусством, взрывающим «надклассовые» мифы, отвергающим разрыв между культурой материальной и духовной.

На современном материале этой болезненной проблемы касается недавний гонимый лауреат Жорж Коншон. «Неловкий подмастерье» («L'argenté gaucher») назвал Коншон свой роман 1967 года. «Неловкий» одновременно читается как «левый», склонный к левачеству. «Левым» считает себя герой романа, писатель, сценарист, режиссер Бернулье, «благоосклонно» согласившийся войти в одну из влиятельных политических партий. Кокетничая, он называет себя «совсем молодым товарищем», но с пеной у рта доказывает рабочему, что все требования пролетариата носят сегодня лишь

«символический характер». Рассказ рабочей о меняющейся шкале заработной платы «левый интеллигент» перебивает пренебрежительным: «А что тебя занимает кроме заработной платы?» — «Силикоз», — раздается в ответ. Левому интеллигенту кажется странным ответ рабочего: ведь легенды о «процветающем обществе» с легкостью отменили и силикоз и самый рабочий класс.

Жорж Коншон восстал против игривого манипулирования политическими лозунгами и мнимотеоретическими обобщениями, за которыми теряются реальные классовые проблемы. Пародией на политически-салонную болтовню является одна из сцен романа, где хозяин, похлопывая по плечу слугу — испанца, рассказывает ему о новых репрессиях Франко. «Тебе, верно, наплевать?» — с деланным презрением спрашивает хозяин. «А вам?» — «Что мне?» — «Что вам принести — скотч, портвейн, martini?»

Не угнетателю учить протесту угнетенного. Что для одного тема светского разговора, для другого — вопрос жизни и смерти.

Литература берет на себя смелость развенчать легенды о классовом сосуществовании и классовом перерождении, отвергает этические рецепты всепрощения, составленные сегодня по новой формуле: классы претерпели мутацию, классы умерли. Если «вещь» кажется Гулливером, то социальные группы — бессильными лилипутами; если же за игрушкой-вещью угадан механизм принуждения, художник видит и социальные силы, способные пресечь бесчеловечную манипуляцию.

«Запрещено запрещать!»

Среди причин, швырнувших волну студенческого бунта о здание буржуазного общества, социологи называют сексуальную неудовлетворенность. «Взрыв секса» — писали о новых волнениях в Нантере весной 1970 года. Возникшая там группа-партия настойчиво твердила: «Мало критиковать экономическое угнетение со стороны капитала. Угнетение сексуальное играет такую же, если не более важную роль».

Для некоторых особенно яростных «идеологов» любые запреты равнозначны политической реакции, попранию свободы. На стенах Сорбонны появились в майские дни поистине разнузданные призывы: «Изобретайте новые сексуальные извращения!», «Насилуйте Alma Mater» и т. д. Прямые политико-эротические ассоциации, как и «вещные»

или внеклассовые подмены, пришлось по вкусу некоторым «огтам». Морес Клавель не мог насмотреться на лица студентов: «глаза, черты лица... как после любовного наслаждения».

Сексуальная раскованность объявляется чуть ли не высшим завоеванием XX века, ценится больше любых свобод, завоеванных человечеством в процессе культурного развития. Брошенный студентами лозунг «Запрещено запрещать!» перечеркивает не только «правила», попирающие индивидуальность, но и тот свод этических норм, который обеспечивает личности свободу человеческих проявлений, возвышает ее над животным миром, ограждает от безнаказанного разгула прав сильных мира сего.

Отказ от принятых обществом моральных табу не раз становился серьезным обвинительным актом против всей социальной системы. Вызов ханжеству бросали Анна Каренина и Аннета Ривьер, юная монахиня у Дидро и Нора у Г. Ибсена. Вся иерархическая лестница буржуазных отношений качалась от таких ударов. Трагическая любовь Пьера и Люс — тоже символ противостояния бездушному, никому не нужному кровопролитию. Щедрость любви — против тиранин, лжи и ненависти, подобному антагонизму мировая литература обязана своими шедеврами.

Правда, при ином наполнении антагонизм мог оказаться ложным. Флобер иронизирует над бедной Эммой Бовари, которая выражает в романтические одежды банальный адюльтер. Она обманывает себя, принимая за драгоценный металл жалкий эрзац. Герои современного французского романа тоже часто в плену иллюзии. Сентиментальный трепет Эммы Бовари им не угрожает. От таких предрассудков они свободны. Но восторжествовала иная фальшь, для личности столь же губительная. В фантастическом романе Вентиллы Ориа «Женщина Апокалипсиса» повторена ситуация роллановской повести «Пьер и Люс»: двое влюбленных на обезумевшей, тонущей в крови планете. Духовный свет, озарявший образы Пьера и Люс, Вентиллой Ориа потушен по причине старомодности. Безумию мира противостоит инстинкт, торжество примитивного естества. Хотел того писатель или нет, «любовь» его героев почти гармонирует с окружающей вакханалией ненависти. Аллегорическая форма романа позволяет замкнуть кругом безумств гражданскую войну в Испании и объяснить запятое героя (он

продает... трупы) как ремесло, навязанное обществом, то есть как обычную работу, которая всегда мешает человеку быть самим собой. Автор почти доверительно сообщает читателю, что прикасаться к телу женщины герою приятнее, чем к трупам.

В романе Франсуазы Саган «Душехранитель» (1968) против общества взбунтовалась не примитивная страсть, как у Вентиллы Ориа, а любовь почти «платоническая». Долго Ф. Саган выдавала за лекарство от скуки третьеразрядные адюльтеры, примешивая к ним кокетство сексуальной свободой. Лишь изредка («Любите ли вы Брамса», 1959; «Скрипки иногда», 1962) звучала в ее творчестве струна недоумения и тоски по душевной чистоте. Но, создавая «Душехранителя», писательница словно вняла призыву «изобретать половые извращения»: придумала обаятельного импотента, который мстит обществу за любимую, последовательно убивая всех, кто мог причинить ей зло. Намек на защиту человеческой личности рассчитан на то, чтобы сделать патологический случай современным, интригующим.

Роман Элен Сиксу «Внутри» (1969) был довольно ласково принят французской печатью. «Самая оригинальная книга литературного года», — уверяли критики. Писательница пытается оградить личность от глетворного влияния мира, защитить сокровенное «внутри», но форма бунта напоминает пародию. Геронья находит духовный контакт только с тем из своих любовников, кто был одинаково страстно влюблен «в любовь и политику». Нравственное единство личности, за которое ратует Э. Сиксу, патологично: общение с коллективом или другими революционерами возможно, оказывается, только через половой акт. Это и есть главное «действие» борца за социальный прогресс. Речь идет вовсе не об эротических интермедиях в «политических» романах. Таким приемом массовая литература овладела давно: прная подлива помогла проглотить грязную политическую стряпню. Теперь же часто читателю предлагается месиво, которое тоже почему-то иногда называется «левым» романом. Один канадский писатель, член оппозиционной партии «Парти при», пытался оправдать грубость политико-физиологических ассоциаций болезненным состоянием героини, назвав свой роман «Провал памяти». Но объективно он создал невольную пародию: революционер из Конго, как садист, пробуждает наркоти-

ками нестерпимые признания любимой женщины, множит картины изнасилования, подхлестывая свою социальную ярость.

Симультанность физиологии и политики была в свое время использована Сартром в «Дорогах свободы»: героиню грубо ласкает любовник «на фоне» происходящих мюнхенских дебатов — ситуация антиэстетическая, даже если принять аллегорию как намек на продажный дух Мюнхена. Прославлять же физиологическими деталями процесс революционных преобразований значит утратить нечто большее, чем художественный вкус.

В романах, предназначенных только для элиты, претенциозно-экспериментальных, проблемы секса, даже «политического», не играют подобной роли. В крайнем случае физиологические законы противопоставлены человеку как сфера, одновременно влекущая и порабощающая.

В «Экс-романе» Жоржа Бельмона (1969) «нечто», похожее на круглую вещь, является одновременно «тяжестью смерти» и знаком полового влечения, то есть овеществленным символом двух фрейдистских комплексов. Герой может отделить от себя эту «вещь-явление», но не может от нее отделиться — аллегория гипнотического состояния подавленности идеей смерти или идеей секса.

Вокруг одного из патологических романов недавно разразился в Париже скандал. Пьер Гюйота и раньше проявлял склонность к яростному натурализму. На этот раз он превзошел все ожидания (роман «Эдем, Эдем, Эдем», 1970). И, очевидно, поэтому роман удостоился сразу трех предисловий. Ролан Барт, рекомендуя книгу Гюйота, довольно осторожен, не выходит из категорий «взаимной, нерасторжимой метонимии». Но Филипп Соллерс формулирует программу: роман доказывает, по его мнению, что прав марксизм, предсказавший грядущий синтез всех наук, и... господин Сад («Ничего нет прекраснее и величественнее секса»). Эта книга, пишет Соллерс, «могла появиться только во Франции и только после 1968 года; она предвосхищает грядущую революцию...».

Роман Пьера Гюйота по выходе в свет был запрещен цензурой, ряд французских писателей выступил в защиту автора. Но осудить репрессивные меры против романа еще не значит защищать сам роман. Объясняя эротическую символику своего повествования, П. Гюйота скептически иронизирует над теми, кто читал его «традици-

онным способом»; на самом деле это якобы новый тип письма, некий научно-художественный текст, который ничего не изображает, ничего не отражает. Я передал, уточнял автор, метафизический половой акт, и он никого не должен оскорблять. Стремление Гюйота представить свой роман новым этапом развития искусства кощунственно, но еще опаснее, пожалуй, вторая линия его аргументации: он уверяет, будто смог написать такой роман, потому что увлекся марксизмом, понял его правоту; чем патологичнее текст, продолжает он, тем вернее поможет он воспитанию в пролетариате вкуса к новому восприятию феномена искусства.

Подобная точка зрения широко пропагандируется литераторами, объединившимися вокруг журнала «Тель кель». Сферой губительного действия буржуазных законов объявлена многовековая культура человечества и сам язык — обычное средство общения. Буржуазно-банальным назван любой элемент сложившихся человеческих коммуникаций. Полностью отброшена мысль о борьбе двух культур в каждой национальной культуре и научный подход к языку как материалу для различных классовых интерпретаций явлений. Предложить «новую историко-лингвистическую реальность» — это и значит, — пишет глава группы Филипп Соллерс, — обеспечить дело революции. Соллерс считает, что во Франции вообще революционные преобразования должны быть начаты с языка, поскольку именно «письмо выполняет роль социального трансформатора». Создавая «новые тексты», Соллерс оставляет далеко позади автоматическое письмо былых сюрреалистов. Раз ясность равнозначна банальности, раз смысл делает произведение буржуазным, способствуя его купле-продаже, группа «Тель кель» выдвигает «недоступность» («illisibilité») в качестве средства приблизить читателя к социалистической идеологии. Самые элитарные литературные программы претендуют на главенствующую роль в политической борьбе.

Субъективные намерения авторов, использующих зашифрованную или «черные» сцены наваждений, могут быть самыми разными. Ален Роб-Грийе никогда не хотел стать революционером, но и он для оправдания необычности своего нового произведения находит социальные мотивы. Создавая «роман ужасов» «Проект революции в Нью-Йорке» (1970), автор уверял, что хотел

выплеснуть в садистских сценах свой страх перед движением цивилизации, перед тиранией города, перед подземельями метрополитена, перед классовыми катаклизмами и ненавистью черной расы к белой. «Садизм против ужаса» — таков его рецепт; лечить страх зрелищем убийств, эстетизировать казни и пытки, чтобы избавить от них человечество, — столь изощренного наступления на культуру цивилизация, пожалуй, еще не знала. В романах Гюйота, Роже Безюса («Хозяин», 1967), Алена Роб-Грийе на сцене сексуальной разнузданности, патологических актов насилия наложена политическая схема, которая якобы должна придать им революционный смысл. Но утверждение метафизической связи между революцией и садизмом может только укрепить современную буржуазную цивилизацию. Это как раз та дорога, прокладывая которую, оппозиционно настроенные литераторы оказывают весьма ощутимую поддержку охранительно-массовой продукции.

**Нашли наконец врага:
это мы сами**

Таково одно из «открытий» американского молодежного движения, которое социологу Эдгару Морену кажется более перспективным, чем французское. Каждая революция предполагает менять форму бытия и самосознание человека. Поиск следов капиталистической проказы в себе самом — процесс, который мог бы стать полезным. Но при определенном условии: если личность рассматривается как величина изменяющаяся, как феномен, формируемый движением культуры. Гиперболизируя всевластие вещи, социологи и литераторы снимают вину с личности, утверждением «враг — это мы сами» концепция невинности корректируется. Но желанное равновесие найти все-таки не удается. В лучшем случае виновной вещи сопутствует сформированный ею виновный индивидуум. Порочный круг, из которого последнему не вырваться именно потому, что качества его предопределены, фатальны.

В современном романе исключительно редка ситуация «воспитания чувств», движения характера. Характер серий сцен или монологов может быть выявлен, объяснен, но он, как правило, статичен, полностью задан.

Задан не конкретно обрисованными отношениями, а типом, «моделью» отношений, существовавших до начала романического времени; читатель получает впечатление, что

человек сформирован до своего рождения. Причем сформирован именно обществом: в теорию природной испорченности как будто внесены поправки. Как будто... Так ли уж они существенны, если яд отчуждения ребенок получает якобы с молоком матери: то ли мать отравлена обществом, то ли дитя — провидец. В романе Сиксу «Внутри» девочка-малышка предчувствует весь хаос века; еще не получив никаких подтверждающих «сигналов», она уже больна. Ф. Соллерс по сравнению с Сиксу старомоден: для ностальгии своего подростка из романа «Между» (1963) он оставил мотивацию: мальчик прикован недугом к постели. У молодого романиста А. Гальена, рекламируемого Р. Бартом (роман «Зелень», 1967), размышлениям о бренности мира предается младенец: судить своих родителей (как жаль, что они его не понимают!) он начнет трех дней от роду. На свет появляются дряхлые старички. Поль Элюар эпитафией на смерть Г. Пери сделал строки:

Убили человека... убили человека,
который был ребенком...

Нынешний романист охотнее напишет: «Родился человек... родился человек, который скоро́ станет стариком». В романах такого рода не осталось ни элюаровской веры в вечную юность человеческого сердца, ни первозданной — пусть недолгой — свежести детства, восхищавшей Пруста. Запах тлена сопровождает человека с колыбели.

Почему же тогда восстают эти дети-старички против отцов и дедов? Они злы на старших, сформировавших их по своему образу и подобию — с теми же страстями и страхами в морщинистой душе. Они хотели бы быть другими. Их идеал — бесконечное отрицание, которому нет предела.

Советский критик Ю. Давыдов видит здесь парадокс: принимая теорию о мире, который полностью интегрировал человека, юное поколение бунтует, то есть опровергает идею полной интегрированности⁹.

Но здесь скорее не парадокс, а последовательность стадий.

До определенного момента иллюзия спасения на плоту вещного благополучия держала общество потребления в плену. Затем обратная зависимость — человека от вещи — стала слишком заметной. Эта очевидность,

⁹ Ю. Давыдов. Критика «новых левых». «Вопросы литературы», 1970, № 2, стр. 68—99.

не объясненная социально, породила идею абстрактной тирании Вещи (тогда, собственно, и появился термин «общество потребления»). Осознание неблагополучия — всегда толчок к его преодолению. Бунт «левых» и возник как вызов отчуждению, вызов статично-интегрированной личности.

Однако преодоления не состоялось. Поэтому что ложна исходная посылка, подменившая социальный конфликт биологическим. Критика буржуазного общества замкнута в категориях учения Фрейда. Фрейдом мир четко поделен на взрослых и детей, психология ребенка формируется комплексами отношений к отцу и матери. Иные воздействия среды отключены: праправоспоминание имеет больше силы, чем сиюминутные импульсы. Американский социолог Л. Фейер находит ряд признаков эдипова комплекса в действиях юных бунтарей. Впрочем, эти признаки в ходе молодежного движения обнажены меньше, чем в системе их объяснения тем же Л. Фейером или, во Франции, Жаком Дютуром, Жаном Бертолино, Эдгаром Мореном.

Социологи действительно охотно ищут корень зла в вечном «я» ребенка по отношению к «он» взрослого, или, как отмечал журнал «Пансэ», путают проблему физиологического детского отчуждения от взрослого мира с отчуждением социальным, с «угнетением классовым». Фрейдовские категории ощутимы и в описаниях «революционной» ситуации, вернее, массового действия. Правда, современные социологи как бы поделили между собой функции Фрейда. Одним ближе фрейдовская ненависть к стихийно-массовому взрыву; другим — мысль Фрейда о благотворном влиянии «коллективной ситуации» на психологию индивидуума и группы. «Коллективное действие, — писал Фрейд, — может внезапно освободить лучшие инстинкты личности». Эксплуатация этой посылки анархистами началась именно в последние годы.

Духовное обогащение личности в момент революционного действия — закономерность, давно познанная и отраженная искусством. Но ситуация бунта без определенной цели — только форма, которую можно наполнить и расистским фанатизмом и революционно-освободительным порывом. Против молодежной «тоски по драке», против жажды активности, которая может увести и в ряды ОАС, восставал автор «Баранов, начиненных взрывчаткой» (1963) Пьер Гаскар. В 1971 году он, обращаясь к своим

юным соотечественникам, напомнил: «Молодежь становится ответственной за общество с момента, когда начинает судить его... Детские трупы в Биафре, кровопролитие во Вьетнаме, война на Ближнем Востоке — отнюдь не акты абстрактного «насилия», не свидетельство «безумия людей». То логические результаты определенной политической, экономической, исторической ситуации».

Романы Эмманюэля Роблеса «Весна на реке» (1964) и «Морское путешествие» (1968) тоже касаются болезненных проблем обновления общества. Недобитый фаншн азартно критикует здесь «прогнанный Запад», мечтая о «Европе SS», которая, конечно, будет лучше «этого грязного мяса». Студент, ошеломленный абсурдностью и бытия и смерти, в знак протеста решит пулями прохожих. С огромным трудом удастся ему «вернуться к себе и другим». Нет, говорит писатель, бунт без адреса, метафизический потоп ненависти не спасет от проказы буржуазной цивилизации. Человек обязан сначала нащупать цель, ради которой стоит «стрелять и взрывать».

Самую полную, пожалуй, картину взаимодействий сложнейших тенденций молодежного движения дал автор романа «За стеклом» (1970) Робер Мерль. Уравновешенно и мудро рисует Мерль истоки назревавшего недовольства, понимая, что «студенческое движение, при всех своих крайностях, свидетельствует о серьезном кризисе структуры университетского обучения». Вместе со своим героем Дельмоном он охотнее доверяет студентам, чем опасается их; он понимает, что грубым полицейским принуждением лишь усугубляются экстремистские эксцессы. Но автор не может принять нигилизм, овладевший молодежными группами, для которых профессор, раз он получает от государства заработную плату, только «орудие репрессий, оплаченное буржуазией», а любовь всегда классовая, раз она возникает в классовом обществе, отчего ее и требуется заменить вольной формулой «товарищество плюс секс». Мерль терпеливо ищет логику в сумбурных действиях юных бунтарей, приходя к выводу: чем глубже противоречия капитализма осмыслены, тем действеннее форма протеста. Спонтанный бунт заводит в джунгли инстинктов.

Идеолог «левых» Эдгар Морен, побывав, например, у американских хиппи, удивлен, что те собираются посерьезнее заняться

марксизмом. «Они не понимают, что их сила в бескультуре по отношению к ортодоксальному марксизму. Они почему-то стесняются быть политически невежественными, словно существует какая-то готовая политическая наука, которую им надо изучать».

Морен, загипнотизированный теориями Г. Маркузе, возлагает надежды на иной путь изменения «я» — на «биологическую мутацию». Он хочет, чтобы «новые левые вошли в русло антрополитики». Французский католик-персоналист Жан-Мари Доменак приветствует возможности биологической мутации, рассмотренные Мореном на материале жизни калифорнийских хиппи. «Калифорния,— пишет Доменак,— первая коммунистическая страна в мире, так как впервые сотни тысяч людей стараются жить по законам братской бедности, вне собственности, вне денег. Это и есть революция, революция по-американски, революция в самой развитой индустриальной стране мира».

Поиски идеала на путях внебуржуазного существования, конечно, вызывают уважение. Но идеал, предложенный Мореном, утопичен: коммунизм и «неоархаическое ремесленничество», на которое возлагает надежды Доменак, несовместимы. Снова оживает «вульгарный революционизм», развенчанный В. И. Лениным, «революционизм», который опирался только на «революционное чувство»¹⁰.

«Не ясно ли само собой,— отвечал В. И. Ленин теоретикам чувства,— что о революционизировании студенчества можно говорить только с точки зрения вполне определенного взгляда на содержание и характер этого революционизирования?»¹¹.

Бесцельностью биологического состояния «против» питаются крайне анархические тенденции. Причем, согласно новейшим теориям, в индустриальном обществе масса несет уже не классовые интересы, а только эмоциональный накал недовольства и потому кривая ее действий принципиально непознаваема, необъяснима.

Естественно, что такой образ массы заводит «левую» литературу в дебри противоречий. Тяга к «коллективу» сосуществует в ней с культом личности, противопоставленной массе. «Я» — ничто, «мы» — все — принцип не менее шаткий, чем обратный: «я» — все, «они» — ничто. Содержание противо-

лагаемых понятий словно не имеет значения. Героиня романа Элен Спксу «Внутри» пытается найти в мире революционную гармонию. Но народная масса отвратительна ей даже в том случае, если бы смогла эту гармонию выразить. Снаружи — неисчислимые миллионы, соприкосновение с которыми губительно, надо остаться «внутри»; лабиринт отчуждения не имеет выхода; единственно на что способен человек — запретить себе посещение дальних коридоров лабиринта, ограничить до минимума сферу бытия, оборвать почти все связи. Такая реакция отражает один из аспектов движения 1968 года. «Май был месяцем Диогена. Каждый делал революцию в своей бочке», — писал один из философов. Но каждый Диоген осознавал одиночество другого. «Особенность нашего одиночества,— продолжал журнал «Тан модерн», — в том, что не одни мы одиноки».

В результате между встречными потоками — влечением к коллективу и бегством от него — образовался своего рода омут. Противостоять его засасывающему вихрю невозможно, поскольку тяга к людям и страх перед ними нерасторжимы. Человеку нужен другой человек, но соприкосновение всегда губительно.

Герой романа Леклезю «Терра амата» (1967) с первого дня существования ощущает свое движение к порогу смерти. Следуют главы: «Я родился», «Я любил», «Я рос», «Стал обретать сознание». И сразу, как обрыв,— «Я захотел убежать», «Я состарился», «Я умер», «Я похоронен». Человек родился — «вечное бегство началось» — пишет автор. «Мои глаза воют с вашими, моя спина, мои кости не имеют худших врагов, чем ваши спины и кости, на мои похожие». Куда ни беги, что ни сочиняй — исход известен заранее. Станешь рыбой — смерть обернется сетью; станешь яблоком, смерть — ножом; станешь стеклом, смерть — камнем; станешь королем, смерть — революцией; станешь улиткой, смерть — каблуком; станешь материей, смерть — антиматерией...» В «Книге бегств» Леклезю (1969) враждебность окружающих имеет больше социальных оттенков. Экзистенциалистская концепция ада, воплощаемого «другими», дополнена трагическим ощущением бессилия «одного», смутной надеждой, что вместе все-таки легче. «Открой окно ваших сердец!», «Разговаривайте с соседями!» — отчаянно призывали надписи на стенах Парижского университета.

¹⁰ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. т. 7, стр. 341.

¹¹ Там же, стр. 347.

Герой «Книги бегств» хотел бы бежать к людям, но бежит от них — из страны в страну, с континента на континент. В романе «Война» (1970) надежда на общение с другими отброшена окончательно. Только в одиночку человек может что-то понять. «Вместе со всеми в этом вихре понимать невозможно. Тогда становишься объектом паники. Быть одному...» Зло отчуждения — в самом человеке, неизлечимо. Зло имеет социальные корни, но словно накрепко, навсегда приросло к человеку и уже неотделимо от него. Ни сейчас, ни в будущем, ни при капитализме, ни при социализме. Гуманистический идеал людского братства навсегда отменен цивилизацией машин и роботов.

У собрата Леклеззио по отчаянию Режана Дюшарма страх перед заведенным ритмом буржуазного бытия сопровождается острыми фрейдистскими комплексами. Шестнадцатилетний герой романа с ужасом чувствует, как в нем просыпается мужчина. И, бросая вызов поднимающейся чувственности, он предлагает своей четырнадцатилетней подруге назначить день добровольного самоубийства, чтобы избежать участи взрослых, которые развратничают, лгут, цепляются за вещи. Стать взрослым — это значит одновременно принять на себя какую-то долю ответственности. «Я заболел от чувств... Чем я старше — тем хуже. Чувства заставляют рыдать от ненависти, приходиться в отчаяние, предаваться жестоким надеждам, опускаться до сексуальных хрипов. Я кончаю с собой. Я покончу с собой, потому что могу жить только один, а один человек жить не может». Социальная мотивировка ощущаемого неблагополучия отвергнута: «Мы хотим покончить с собой не из-за денег. Мы не коммунисты. Во все эти штучки мы не верим. Нам плевать на денежных акул, мы к ним равнодушны и остаемся равнодушными до окончания века...» Возмущение несправедливостью мира нарочито инфантильно, почти шаржировано: «Это все из-за Веласкеса. Подумайте, сколько музеев процветает, храня картины Веласкеса?

Подумаешь, музей! Когда стольким зайцам не хватает укрытия, а киты плавают беззащитными по предательскому океану...»

Вместо серьезного размышления — инфантильная казуистика. Тут уж действительно виновных нет; порядок, при котором ребенок превращается в мужчину, кит предпочитает океан, а картины собирают в музей, изменить невозможно. Бунт оказывается вымороченным. Убеждая в бессельности спора с миром, писатели, считающие себя левыми, дают крупные козыри своим идейным противникам. И мотив псевдобунтарства легко обыгрывается в литературе апологетического толка. Роман Гари («Прощай, Гарри Купер», 1969 и «Белый пес», 1971) советует блудным детям сочетать нигилистические лозунги с заботой об отцовских капиталах; Фелисьен Марсо сопровождает нотками неприятия современной цивилизации даже банальный адюльтер («Кризис», 1969), возбуждая жалость к одному из тех, кто активно поддерживает систему экономической эксплуатации.

Тему бунта разменивают на ходовую монету. То невольно, заблудившись в лабиринтах неприятия всех и вся, то специально, чтобы сбить ему цену. Вот почему так значим полновзвучный гуманистический протест, утверждение активного противостояния миру чистогана в книгах Веркора и Мерля, Гаскара и Шаброля, Доржелеса и Коншо-на, Триоле и Стиля, Базена и Ремакля, Бернара Клавеля и Роблеса.

С личности надо снять психологические путы, выброшенные обществом, выявить опасность неоиндустриальных легенд и теорий, открыть перспективы реального, а не псевдобунтарского противостояния «обществу изобилия». От развенчанных иллюзий к плену новейших утопий, от взорванных утопий к подлинно революционным надеждам — таков диапазон причастности французского искусства к битвам современности. Культура ведет сражение. И с буржуазным конформизмом, и с анархическим мятежом.



СЕМЕН ЛИПКИН

★

НАД СТРОКОЙ ХАФИЗА

«**Ч**го прочно? — спрашивал Хафиз. И отвечал: — Ладья газелей». Через сто лет на этом же языке будет утверждать Джами: «Нет памятника на путях земных прочней, чем слово прозы или стих».

А еще пять с половиной веков спустя, в наши дни, Всемирный Совет Мира и вся мировая общественность будут отмечать 650-летие Шамса ад-Дина Хафиза, величайшего лирика средневековья.

Словно претворение пророчеств высокой мудрости:

Вот что мудрость говорила мне вчера:
«Нищетой своей прикройся, как плащом!»

Будь же радостен и помни, мой Хафиз:
Прежде сгинешь ты — прославишься
потом.

(Перевел А. Кочетков)¹

Нужно ли лучшее доказательство прочности слова?

Образованные таджики и персы ценили слово превыше всего, это стало чертой народной, и поэзия таджиков и персов есть, прежде всего, поэзия тайны слова — то красноречивого, то остроумного, то задушевного, то цветистого, то обольщающего звуком своим, то неожиданностью.

Итак, ладья газелей, то есть собрание стихов, была для Хафиза мерилom прочности. Русскому читателю стоит объяснить, что такое газель — ведь подавляющее большинство стихотворений Хафиза написано именно в этой форме. Зародившись одиннадцатую столетий назад под пером слепого

Рудаки, газель обрела свой блеск благодаря тончайшему мастерству Саади и Хафиза.

Газель — стихотворение, состоящее чаще всего из пяти — семи двустиший, нанизанных на одну рифму. В первом двустишии строки рифмуются между собой, в последующих рифмуются только четные строки. Каждое двустишие есть замкнутая фраза, законченная мысль. Далеко не всегда все двустишия газели образуют единое целое. Вот почему русскому читателю, воспитанному на лирике Пушкина, в стихотворениях которого строки так крепко объединены одной мыслью, что автор нередко отделяет их друг от друга даже не точкой, а точкой с запятой, трудно без предварительной подготовки воспринять газель Хафиза, двустишия которой не связаны железной логической связью, а как бы живут каждая отдельной жизнью.

Мимоходом замечу, что у восточных эпигонов так оно и получается: нет единого здания стихотворения, есть аккуратно разбросанные группы строк-кирпичей. Иное дело у великих поэтов, у Хафиза: его двустишия связаны внутренней связью, единством настроения, единством переживания. «Огонь сжигает, но он и соединяет», — гласит древняя мудрость. Двустишия Хафиза связаны единством горения. Цельность восприятия его стихов создается, если читатель восстанавливает в уме выпавшие по сознательной воле поэта отдельные ассоциативные звенья. Как это ни странно, Хафиз, живший в XIV веке, ближе нервной поэзии XX века, чем плавному течению классического европейского стиха.

Эти несколько объяснительных слов нужны потому, что без понимания сущности газели нельзя понять и Хафиза, как нельзя понять лирику Петрарки или Шекспира, не

¹ Эту и некоторые другие газели, помимо переведенных мной, я цитирую по юбилейному изданию Хафиза, выпущенному издательством «Художественная литература» в конце 1969 года.

зная, что такое сонет. Представление о том, как единство настроения связывает у Хафиза отдельные двестишия, можно получить, знакомясь с переводом газели, исполненным покойным Александром Кочетковым. При сопоставлении с подлинником явными становятся потери перевода, и все же есть в нем эта страстная прелесть Хафиза:

Пусть сгниют мои кости, укрыты холодной
землей,—
Вечным жаром любви одолею я смерть,
удержу бытие.

Жизнь и веру мою, жизнь и веру мою
унесли
Грудь и плечи ее, грудь и плечи ее, грудь
и плечи ее!

Только в сладких устах, только в сладких
устах, о Хафиз,—
Исцеленье твое, исцеленье твое, исцеленье
твое!

Сколько возникает возражений! Если внешность красавицы унесла у поэта «жизнь и веру», то как же он намеревается «вечным жаром любви» одолеть смерть, «удержать бытие»? И почему если ее плечи и грудь уносят веру и жизнь, то в ее сладких устах — исцеление поэта? Но недаром, как заклинание, трижды повторяет в одной строке Хафиз слово «исцеленье»: в этой губительной любви — возрождение. Противоречие, к которому мы приобщились благодаря Достоевскому и художественной литературе нашего века, мучило и Хафиза.

Другой пример кажущейся разрозненности двестиший мы можем получить из газели, которая в старых изданиях обычно открывала книгу поэта. Здесь есть строки, ставшие на их родине крылатым выражением:

Ночь темна, свирепы волны, глубока,
страшна пучина,—
Там, на берегу, счастливыцы знают ли, что
тоном в море?

Кто взывает о помощи к счастливым? Униженные и оскорбленные? Весь Восток? Газель, прочтенная целиком, не даст нам прямого ответа. Ни вначале, ни потом о море — ни слова. «Вновь пусти по кругу чашу», — обращается Хафиз к виночерпию. Но если восстановить недостающие звенья, то, выражаясь в восточном стиле, золотом ясности сверкнет нить стихотворения. Караван отправляется в путь, и вожатый каравана советует тому, кто изнемог от любви: «Лучше свой моленный коврик окропи вином багряным», — то есть не молись попусту, не взывая о помощи, найди забвение в вине.

удались от любимой по безбрежному морю: «Ты не спорь ни с ней, ни с миром, — проиграешь в этом споре!»

Помимо кажущейся разрозненности двестиший, есть для нас и другая трудность при чтении газелей Хафиза. Речь идет о суфийской символике.

Суфизм — одно из направлений мусульманской мысли. Происходит это слово от арабского «суф» — «шерсть»: суфии одевались в грубошерстные власняницы. Учение суфиев заключалось в отождествлении бога с вселенной, в утверждении равенства всех людей (что и было для многих привлекательной чертой этого реакционного течения), ибо люди, говорили суфии, в равной мере обладают божественным началом. Символика суфийской поэзии основана на том, что любовь есть стремление к познанию бога, бог — объект любви (любимый? любимая? — не поймешь, так как на языке фарси нет родов), а суфий — влюбленный. Мы знаем, что возникшее на Востоке мистическое понимание любви оказало влияние и на ранних итальянцев, поэтов «нового сладостного стиля» Гвидо Гвиницелли, Гвидо Кавальканти, на Данте.

Многие стихотворения Хафиза принято было на его родине объяснять в духе суфийской символики. С таким пониманием мне приходилось встречаться не раз. Я позволю себе привести случай, уже как-то мною рассказанный.

Дело происходило в Самарканде в 30-е годы. Единственная тогда в городе гостиница была переполнена, и я получил разрешение поселиться в худжре — келье медресе на Регистане. Именно здесь, под звездами Азии, на широком дворе, по плитам которого ступали венценосный астроном Улугбек и молодой Навои, хорошо было читать вслух древних восточных поэтов.

Моим соседом оказался русский художник, одинокий старик, местный уроженец, хорошо говоривший на двух языках Самарканда — на узбекском и таджикском. Он жил в медресе постоянно. У него висела икона старинного письма, и так странно было видеть христианского бога в мусульманской худжре. Вечерней прохладой уже веяло от вечных плит, быстро утративших свое дневное тепло. Старик кричал, то отступая, то вплотную приближаясь ко мне в сдвинутой набекрень выцветшей тюбетейке:

— Вы думаете, что если у Хафиза написано «возлюбленная», то это любимая девушка? Как бы не так! Это бог! А если

написано «шах», то это, по-вашему, государь? Нет, молодой человек, это возлюбленная!

Такого рода высказывания, пусть выраженные с меньшей горячностью, опираются на довольно веские основания. Действительно, речь Хафиза иногда бывает аллегоричная, нередко под явным смыслом различается сокрытый. И если мы у него читаем: «Аромат ее крова, ветерок, принеси мне», — то надо прислушаться и к знатокам, которые под «кровом» разумели мир божий, а «ее аромат» объясняли как «дыхание бога».

Вряд ли такое восприятие некоторых стихов Хафиза противоречило тому, что в иную пору своей жизни думал и чувствовал сам автор, сын средневековья, да еще средневековья восточного, очарованного аллегорическим мышлением, насыщенного мистицизмом. Нет, не случайно по книге Хафиза гадали, пытая судьбу!

Но в то же время сколько у Хафиза стихов, высказанных без иносказаний, с завидной прямоотой, и сколько легенд бытует в народе вокруг стихов Хафиза! Приведу одну из них, связанную со знаменитым двустишием:

Когда красавицу Шираза своим кумиром
изберу,
За родинку ее отдам я и Самарканд, и
Бухару!

Напомню, что завоеватель Тимур-Ленг, Хромой Тимур, сделал Самарканд столицей своей обширной империи. Он решил построить заново этот город, известный со времен Александра Македонского, а то и ранее. Строительство шло невероятно быстро. Десятки тысяч разноязыких пленников передавали из рук в руки кирпичи. Испанский посол Клавихо рассказал о том, как прокладывали перекрытую сводами торговую улицу: «Работающие днем уходили, когда наступала ночь, и приходили другие работать ночью... Прежде чем прошло двадцать дней, было сделано столько, что удивительно».

Селения, построенные вокруг Самарканда, были названы так: Багдад, Каир, Дамаск, Шираз... Как остроумно заметил наш замечательный востоковед Е. Э. Бертельс, тем самым Тимур хотел показать миру, что прославленные города Востока — всего лишь деревни по сравнению с Самаркандом. Что же должен был почувствовать жестокий и тщеславный властитель, когда ему прочли строки поэта (вряд ли Тимур был грамотен), который за родинку красавицы отда-

вал этот самый Самарканд, да еще вместе с Бухарой?

Вот почему, говорит легенда, Тимур, завоевав Шираз, приказал доставить ему великого ширазца. Придворные нашли Хафиза в жалкой лачуге. Они привели к шаху поэта, одетого в лохмотья. Железный Хромец спросил с издевкой:

— Как же ты, нищий, можешь отдать за какую-то родинку мой Самарканд?

— Ты видишь, государь, до чего довели меня мои щедрые подношения! — будто бы ответил Хафиз...

Здесь уместно сказать и о третьей трудности, возникающей при чтении стихов Хафиза. Впрочем, эта трудность в той или иной мере свойство всей переводной литературы. Я говорю об ассоциациях бытовых, исторических, религиозных, литературных, хорошо известных современникам Хафиза, читавшим его в подлиннике, и непонятных иноязычному читателю, да еще живущему в наши дни. В приведенном только что двустишии, вызвавшем гнев Тимура, Хафиз говорит не о красавице Ширазе, как в моем переводе, а о «ширазской турчанке», как это совершенно точно отражено в переводе К. Липскерова, помещенном в юбилейном издании:

Дам тюрчанке из Ширазе
Самарканд, а если надо —
Бухару! А в благодарность
жажду родинки и взгляда.

Или в переводе другой газели, выполненном А. Кочетковым:

Шаловливая пери, тюрчанка в атласной
каба...

Но пусть русский читатель не подумает, что Хафиза привлекла девушка иной, чем он сам, национальности. В его время турки славились как отчаянные воины, их внезапные набеги поражали современников, вот почему Хафиз называет возлюбленную турчанкой: ее красота поражает, повергает в прах...

Поэзия персов и таджиков с первого дня ее возникновения — и это сближает ее с поэзией русской — была проповеднической. Ее основоположник Рудаки не раз говорил о том, что человек должен подавить в себе все дурное, переделать себя. Об этом говорит и Хафиз:

Да, я считаю, что пора людей переродить,
Мир надо заново создать — иначе это ад!

(Перевел И. Сельвинский)

Хафиз часто возвращался к этой богоборческой по своей сути, выстраданной им мысли:

Небесный геометр испортил сей
шестигранник—мир земной,
Неразбериха в старой яме, никто дороги
не найдет!

Читатель отметит неожиданность научных терминов в старинной сладостной поэзии: «геометр», «шестигранник». Хафиз, как и некоторые позднейшие русские поэты, свободно пользуется и «низменным» словарем, например торговым («Остались мне должны уста», «Что мне кредит! только наличность я чту»). И еще одна характерная особенность словаря Хафиза. Поэт умышленно придает мусульманским положительным понятиям отрицательный заряд, а всему «красмольному» — заряд положительный. Персонажи, которых он не любит, обозначаются им так: «святой», «аскет», «муфтий», «мулла», «праведник», — а словами «кутила», «бродяга», «пьяница», «забулдыга» он рисует тех, на кого обрушивается официальная мусульманская мораль, но кто ему нравится: своих положительных лирических героев. Появляются внешне противоречивые, но в действительности важные для поэта определения — жрец трущоб, «святой виноторговец». Хафизу претят увещевания мудрецов, уже тоску наводят на него иносказания, и он поет то, что запрещает мудрость Корана, — радость жизни, любовь и вино. Он как-то сказал, что красоту мира могут понять лишь глаза, которые видят не оболочку, а душу мира, и он пришел к удивительно простому выводу:

Видишь надпись на своде сияющем: «Все
на земле,
Кроме добрых деяний на благо людей, —
не навечно».

(Перевел В. Державин)

Прозвище Хафиз, по традиции всегда обозначающее в завершающем двуступиши, означает — «человек, который знает наизусть весь Коран». Сейчас, по крайней мере, в

Таджикистане «хафиз» означает «народный поэт», «сказитель», и хочется думать, что от имени великого уроженца Шираза пошло это слово, и народ стал называть стихотворцев, вышедших из его среды, в честь любимого поэта Шамса ад-Дина, подписывавшего свои газели тохаллусом (псевдонимом) Хафиз.

Я впервые узнал это имя еще в детстве, читая Фета. Хафиз сравнивает черный значок возлюбленной с жестоким негром, и Фет, переводя эти строки, снабжает их сноской: «Вот истинный скачок с 7-го этажа, зато какая прелесть!». Русские поэты, от Пушкина до Есенина, не чужались Хафиза, и если автор стихов на персидские мотивы пишет «ходячая березка», то мы не можем не вспомнить, что Хафиз называет возлюбленную «движущимся кипарисом».

Читающего Хафиза в подлиннике обвораживает необычайная музыкальность его стихотворений. Дело не в звуковых повторах (хотя они и имеются), а в чудесной гармонии мысли и звука.

Девой — слово назовем,
Новобрачным — дух:
С этим браком тот знаком,
Кто Гафизу друг. —

писал Гёте, который любил старого поэта Востока, испытал на себе его влияние.

А что увидел в Хафизе тот старик дехканин, который пел в сельской чайхане где-то за Кулябом?

— Хафиз, ни мига без вина, ни часа без
любви!

Старик не поделился с нами, приезжими, своими мыслями о ширазце, но я всегда буду помнить его таджикское оканье, его изнутри освещенное, смуглое, по-крестьянски изборожденное морщинами милое лицо и глаза, полные счастья жизни и опьяненные прикосновением к вечности:

Проходящие люди трезвым
не встретят меня вовек!
О вечность! Хмельная чаша!
Хафиз этой чашей пьян.

(Перевел К. Липскеров)



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Коган. Маленький человек и большой мир.— **Н. Динушина.** Товарищи отец и сын.— **В. Непомнящий.** Трагедия и игра.— **А. Пумпянский.** Смерть у эшафота.

ПОЛИТИКА И НАУКА

К. Григорьев, Б. Хандрос. Читая Сухомлинского.

Литература и искусство

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК И БОЛЬШОЙ МИР

Лев Якименко. Все впереди. Повесть. «Москва», 1971, №№ 4, 5.
Георгий Семенов. К зиме, минувшая осень. Повесть. «Знамя», 1971, № 5.

Мы давно знаем Якименко-литературоведа. Года два назад мы познакомились и с Якименко-прозаиком, автором романа «Куда вы, белые лебеди?». Роман не остался обойденным критикой. Похвал было несравненно больше, чем упреков, но исходили они все больше от литературоведов же, сотоварищей по перу, приятно удивленных тем, что-де вот смотри ж ты, оказывается, и наш брат-критик может романы писать... Мне же всегда казалось — в целом я не меняю этого мнения и сейчас, — что проза литературоведа в силу ряда причин чаще всего оказывается «вторичной»: умение преобладает в ней над жизненным опытом, материал обычно больше обдуман, «выстроен» (или «перестроен» — из кирпичей, добытых другими), чем пережит.

К прозе Якименко, при всех ее очевидных несовершенствах и огрехах, этот упрек не отнесешь. Искренность, жизненность первоосновы ощущались еще в его первом романе; неприкрытая лиричность интонации (хотя и совсем иная, чем, скажем, в исповедальной прозе В. Аксенова и других «молодых» из поколения середины 50-х годов) шла не от «приема», а от автобиографизма,

которого не в состоянии были скрыть ни смена имени героя, ни повествование от третьего лица. Это была добрая проза в самом точном значении слова; не столько добротная, сколько именно добрая, утверждавшая — и через чувства героя, и через его судьбу — торжество добрых начал, начал света и справедливости. Даже если к этим началам приходилось прорубаться сквозь кровь и грязь войны, овладевая той наукой ненависти, без которой не победило бы и искусство любви. Все это, повторяю, бралось не из вторых рук, все это было пережито.

Бралось-то не из вторых, но вот в воплощении и темы вторичность чувствовалась ошутимо. Неповторимый, личный опыт, жизненный и душевный, на пути от замысла к воплощению словно бы терял что-то неуловимое, втискивался в жесткие схемы уже испытанных литературных конструкций, порой самых разнородных: тут и исповедальная проза, и модные «перебивы» времен; бесхитрость героя оборачивалась порой прямолинейностью авторской характеристики, чувство похожести пережитого не сопровождалось столь же явственным чувством открытия — нового в старом,

своего видения мира... Может быть, это прозвучит резко, но для ясности скажу и так: первичный по жизненному материалу, роман показался мне вторичным по средствам авторского изображения, а значит, и по истинам, которые он провозглашал.

И вот — встреча с новой повестью. Повестью, появившейся позже романа, но как бы предварающей его в характеристике формирования души героя: речь в ней идет о детстве того самого Алеши Ялового, которому суждено будет через несколько лет, уже повзрослевшим, уйти на фронт Великой Отечественной войны. Повесть о детстве, так-таки далеко не идиллическом (оно падает на годы коллективизации, голода, обостренной классовой борьбы в деревне), рано вбирающим в себя и поэзию мира и его драмы. Все сохранено в душе сквозь годы: и радость ребенка, впервые в жизни взбирающегося на коня (хотя бы эта первая скачка и дорого далась ему); и боль от первой в жизни опалившей тебя несправедливости, от наглой расправы в «воинской конюшенной тьме»; и счастье и боль вместе от первого, еще самому себе непонятного чувства («...мальчик был влюблен. Но он тогда еще не знал этого. Ему было всего пять лет»). Сохранено не только в материале — в интонации.

Как хорошо передано, например, состояние мальчика, играющего с мячом, как точен мгновенный переход в душе мальчика от одного чувства к другому — от азарта до горя, бурного горя по поводу неожиданной утраты, потери мяча, который только что был вот здесь, под руками. «Праздник и потеря — они слились так неожиданно. Мальчик затопал ногами и даже всхлинул...» И как не нужен рядом с этим прямой авторский комментарий, голос за кадром, которым Якименко-литературовед будет по привычке помогать Якименко-прозаику. Помогать, нарушая тем самым точно выбранную систему художественных координат, вторгаясь в только что отлично, неповторимо воссозданную душу ребенка с банальными, ничего не прибавляющими к прочитанному, мелодраматичными афоризмами взрослого («словно чья-то жестокая и всевластная рука тасовала по причудливому выбору редкие билеты на счастье»). Поистине праздник и потеря сливаются так неожиданно... В этой образной формуле не только внутренний динамизм повести, противоречивая логика воссозданной в ней жизни. В ней и противоречия самой автор-

ской манеры, в которой, как это часто бывает, недостатки есть продолжение достоинств. Самое простое было бы предложить «выполоть» при отдельном издании эти недостатки, но не «усечем» ли мы таким образом и достоинств повести?

А между тем повесть служит добрую службу, помогая сохранить в духовном опыте читателя, настоящего и будущего, неповторимые приметы вчерашнего дня. Это ее внутренняя тема. Большой мир здесь оказывается порою идиллическим, порою жестоким; важно, что и в добре и в зле он раскрывается как мир общественный, социальный. Маленький человек и большой мир — вот что мне представляется главным в повести. Вместе с мальчиком, героем повести, мы примем в сердце, сохраним в памяти не только его нехитрые мальчишеские радости и печали — мы запомним и сохраним людеи, с которыми эти чувства так прочно связаны: отца и мать Алеши — сельских учителей, все время занятых «общим» настолько, что часто забывают о «личном» и уже старенькой, «отсталой», но сильной своей связью с землей, житейской мудростью бабушке приходится принимать на пригнутые жизнью, но все еще крепкие плечи заботу о хлебе насущном для семьи, для детей... Запомним колоритные, хотя и мимолетные портреты первых ревкомовцев, комбедовцев, сельсоветчиков... Запомним и образы тех, кто, при всей своей подчас незаурядной силе, оказывался преградой на пути к народному счастью, будь то внимательно прослеженный автором сельский богатей Голуб или мелькнувший лишь в одной сцене вожак цыганского табора, покушающий любовь молодой цыганки и ломающий ее судьбу... Да, конечно, маленький герой повести не мыслит обо всем этом отвлеченно-социологическими категориями, это мы, читатели, сделаем вывод о жестокой власти денег над телом и душой человеческой и проклянем эту власть. Для Алеши все воплощено в людях. Только что мелькнула перед ним и перед нами, читателями, тоненькая, совсем юная цыганочка, веселая и озорная; только что оттаяло Алешино сердце, и вот уже — как в кино! — наплыв, и он видит ее в бричке, схваченную «главным цыганом», видит «ее отвернувшееся, жестокое, отчаянное и жалкое лицо»... Автор не «овзросляет» героя, не заставляет его мыслить не по возрасту общо; для него социальное доходит через человеческое, через радость и боль людей, с которыми сводит его судьба. Но — доходит!

Доходит во всем неприкрашенном драматизме, потому что личные судьбы людей неразрывно связаны с мощными социальными процессами, менявшими лицо страны. И если коллективизация принесла маленькому Алеше боль расставания с конем Хлопчиком, которого отводят в колхозную конюшню, то она же — и только она — принесла ему и радость первой встречи с трактором, круто меняющим судьбы деревни к лучшему.

Л. Якименко пишет обо всем этом — о радостях и горестях, праздниках и потерях — не всегда с одинаковой степенью художественной удачи, но всегда честно, не обходя трудных моментов, не боясь поведать и о таких сложностях жизни, перед которыми не только маленький Алеша, но и сам автор подчас останавливается в раздумье. Вскрывая, к примеру, социальные корни явлений, он далек от того, чтобы напрямую сводить к классовому признаку и то, что определяется им лишь в конечном счете. Да, все просто там, где зло, что называется, в открытую растет из собственности, как в случае с Голубом или вожаком цыганского табора. Хотя, к чести автора, нужно сказать, он не упрощает этого зла: рисуя образ Голуба — кулака, богатея, державшего все село в своей властной деснице, глядевшего поверх людей, не удостаивавшего их взглядом, писатель не скрывает и того, что у Голуба были золотые руки, что молотилку он знал лучше любого механика... Не скрывает он и того, что, раскулаченный, высланный на Север, схоронивший там жену и вернувшийся в село лишь незадолго до войны, Голуб даже при немцах отказывается, несмотря на их предложения, вернуться в отобранную у него при раскулачивании хату, продолжает жить в мазанке, которую построил себе по возвращении, и сынам своим запрещает перейти в хату... Думается, такая многоплановость образа больше скажет читателю, чем характеристики по нехитрому принципу: враг — значит, и злодей и урод, только что клык изо рта не растет.

Голуб — это зло социальное, обезчеловечивающая власть собственности. Тут все ясно. Но жизнь ставит перед маленьким рассказчиком и вопросы потруднее. Пусть Голуб — кулак, борьба с такими необходима. Но чем виновата дочка его Нюра, первая любовь маленького Алеша, та, с которой он идет купаться в начале повести, влюбленный в нее, сам того еще не зная,

а расстается перед ее драматическим выселением из села, только и спросивши у нее, что проходили без него в школе... Почему, за что отец Алешиной бабушки так мордовал ее в молодости? «— С первого удара звалыв меня, волосы наматал на руку, а вони у меня ниже пояса булы — дивочка кося, — и потяг на двор. Тягнем, носками чобот бье: в живот, под ребра... я кричу: «Таточку, помилуйте, вы ж мене вбъете!» Чоботы важки, дегтем мазани, осатанел, ничего не чуе. Как ударит, перед очами у меня радуга... Дыхать нечем. Рвусь от него, а он держит... А потом як дернув, так с кожей и снял половину косы с головы. Отбежала, впала возле колодца, кровью всю заливает. Без памяти була... Рассказывали, панские работники его удержали, а то вбыв бы мабуть... Отак я дивувала!..

— Бабушка, бабушка, — Алеша шепотом, — он не твой отец был, он тебе не родной?

— Родный! — безнадежно просто сказала бабушка. — Хиба чужой такое сделал бы!»

Почему возможно было такое? От общей жестокости жизни? От скапливавшихся запасов ненависти, не находивших до поры до времени точного адреса? Да, в данном случае так: прошлое уродовало и бар и рабов.

Но вот другой, более нелегкий вопрос: почему уже не в прошлом, а после революции сосед Павло Мороз натравляет дворового пса на Алешу и его двоюродную сестру Надю? Ведь, казалось бы, побратимы: отец того Мороза погиб, спасая от белых Алешкиного отца, а тот с того времени помогает вдове Морозихе... И вот поди ж ты. «Кусай, рви! Зачем? Почему? Откуда такое зло? Зла без причины не бывает. Неужели только за то, что прошел он через их двор?!»

Или: неужели достаточно невинной шутки шестилетнего мальчугана, несмышлениша, чтобы взрослому парню Семену Старушенку таить на него злобу, подкарауливать, пороть, «как безответного раба, как безвинного кутенка...» Это — откуда?

Для ответа на этот вопрос нам придется выйти за пределы повести Якименко. Ибо, отдавая должное верности исходных позиций автора, широте захвата им действительности, нельзя вместе с тем не видеть, что глубина предлагаемых решений оказалась в ней в чем-то неадекватна широте постановки вопросов. В искусстве проблема неотделима от характера, а как раз характеры

некоторых персонажей, и эпизодических и не эпизодических, остаются ведомы читателю не больше, чем маленькому Алеше. Трудно сказать, в чем тут дело. Быть может, не в последнюю очередь это идет от избранной автором манеры — лирического повествования. Манеры далеко не всемогущей, знающей не только праздники, но и потери, позволяющей хорошо раскрыть душу самого рассказчика, но ограничивающей авторское видение пределами видения рассказчика¹. Как бы то ни было, поди угадай, что творилось в душе у того же Семена Старушенко, когда он спускал дворового пса на маленького Алешу... Мы знаем следствие — поступок; побудительные мотивы остались для нас загадочными.

Эта сторона дела удачнее, мне кажется, решается в другой повести, напечатанной почти одновременно с повестью Якименко. Повести, сходной с ней в чем-то по жизненному материалу, но написанной в совсем иной манере.

Ее герой во многом сродни Алеше Яловому, отличаясь от него, пожалуй, только одним: так же остро чувствуя боль, свою и чужую, так же остро переживая несправедливость, как Алеша, он уступает ему в готовности дать отпор злу, отпор мгновенный и решительный, его доброты скорее созерцательна, чем деятельна. Не потому ли и зло, столкновение с которым для Алеша Ялового оказалось бы одним из многих жизненных эпизодов, для маленького Кеша способно окрасить чуть не всю жизнь.

Действие новой повести Георгия Семенова «К зиме, минувшая осень» происходит примерно через восемь-девять лет после того, чем заканчивается повесть Якименко, — в

¹ В этом смысле прав, мне кажется, В. Гейдеко, говоря об ограниченности возможностей лирической прозы в познании объективного мира (см. его статью в «Литературной газете» от 21 июля 1971 года). Однако ограниченность эта не дает вывода о фактической исчерпанности лирической прозы. Вообще, мне кажется, мы бываем зачастую чересчур размахисты в своих теоретических суждениях и выводах, «открываем» и «закрываем» жанры, течения, направления с такой поспешностью и категоричностью, словно это и впрямь от нас зависит. Не вернее ли вместо столь бесконечных, сколь и скоропалительных альтернатив (роман или повесть? лирика или эпическая поэма? проза лирическая или «деловая»? и т. п.) сойтись на более скромном, но и более верном: ни одна манера повествования не всемогуща, в том числе и проза лирическая, не более того...

первые, самые трудные месяцы Великой Отечественной войны. Мальчику примерно столько же лет, сколько было к концу повести Якименко Алеше Яловому. В этом смысле они ровесники, и можно сказать, что у маленького Кеша, эвакуированного с интернатом в Рязанскую область, тоже все впереди, хотя действительность, окружающая его, и испытания, которые его поджидают, во многом иные, чем то, что выпало на долю Алеша Ялового в 20-х—начале 30-х годов... Это дает нам право рассматривать названные повести вместе, и сопоставление их может оказаться поучительным.

За неприкрытым лиризмом Якименко явно чувствуется пережитое, выстраданное. У Семенова же все это более литературно, стилизовано. Третье лицо, от которого ведется повествование, тут не прием, автор и вправду чуть «отстранен» от материала, это не столько видение ребенка, сколько ребенок, увиденный глазами взрослого: немного издали, немного не то чтобы свысока, но снисходительно. «Она потупилась и покраснела, разглядывая ракушки» — эту часть фразы мог бы написать и Якименко. Но вот дальше: «...и только темя ее стало как будто бы голубым и нежным под тонкими колечками волос, и пальцы ног стыдливо зарылись в мокрый песок» — так Якименко не написал бы, потому что так не мог увидеть его герой. Думаю, что и семеновский Кеша не мог так видеть. Впрочем, Семенов и не старается целиком перевоплотиться в своего маленького героя, он видит все как бы двойным зрением и пишет стереофонично, стремясь передать читателю не столько чувства своего маленького героя, сколько свое сегодняшнее, взрослое понимание этих чувств. И читатель, любуясь этой тонкостью, не всегда сопереживает изображаемому: дистанция между героем и автором где-то увеличивает дистанцию между героем и читателем.

Однако главное различие между этими повестями, пожалуй, не в интонации. Оно более существенно: там, где Якименко «воспроизводит» жизнь, Семенов ее «моделирует»; едва ли не каждый из эпизодов биографии маленького Алеша, едва ли не каждая из непридуманых загадок, которые задает ему большой мир, могла бы оказаться идейно-художественной задачей для самостоятельной повести; но тут, в этом контексте романа (выражение Веры Пановой), они, к сожалению, зачастую лишь ставятся. и автор, не исследовав им самим

обозначенной ситуации до конца, спешит дальше. Ведь таковы «условия игры», законы, им самим над собой признанные: сюжет — собственная жизнь, и он не чувствует себя вправе что-нибудь менять в ней. Он не столько ставит свой эксперимент над жизненным материалом, сколько воспроизводит тот, что поставлен был над ним жизнью.

Георгий Семенов идет принципиально иным путем. Из множества ситуаций он выбирает, моделирует одну, но такую, которая помогла бы ему проявить характеры особенно резко. И приходит к результату, во многом неожиданным.

Если Алеша Яловой в самые трудные дни своей жизни все же находился в отчем доме, разделял радости и беды родной семьи, то для маленького Кеши таким домом оказывается в первые месяцы войны интернат, с которым его, как и других детей, эвакуируют из Москвы в Рязанскую область, а затем, когда фронт подходит ближе к столице, на Север, прямо «в зиму» (отсюда название повести).

Жизнь есть жизнь. Где-то гремит война, на которой сражается твой отец, а ты идешь с девочкой берегом реки и впервые ощущаешь такое, о чем будешь помнить всю жизнь. И надо же: прогулку подсмотрел товарищ по группе, шепелявый, хулиганистый Женька, по прозвищу Гыра, и сделал их посмешником в интернате. Тут бы Кеше дать ему хорошенько, а Кеша, простодушный и добрый Кеша, еще не понимая и не принимая всерьез размеров опасности, нависающей над ним, снова и снова упускает случай поставить Гыру на место. А упустив, многое теряет и со многим свыкается. Свыкается со своим одиночеством и отчуждением. С тем неестественным, ложным положением, при котором лучшее из чувств третируется как худшее, постыдное; свыкается и с обидной кличкой, с тем, что товарищи не просто дразнят его, но перестают принимать всерьез...

Могут спросить: но что, собственно говоря, случилось? Подумаешь, событие: подразнили ребенка! И когда — в войну! Неужели автор не нашел в этом времени забот поважнее? Так-то оно так, да ведь с какой стороны посмотреть. Это ли не важно: душа ребенка, право личности оставаться самой собой, не подчиняясь грубому, циничному, наглому вмешательству, сила справедливости, а не право силы! И если задуматься над повестью Г. Семенова в этом аспекте, то, право, она окажется не

так далека по своим идейно-нравственным ценностям от того направления нашей литературы о войне, которое мы по справедливости называем магистральным.

Но вернемся к повествованию. А коллектив? Товарищи? Воспитатели? Неужели же один Гыра сильнее всех? Нет, конечно же, не сильнее. Однако же, при всей своей кажущейся придурковатости, он достаточно ловок и хитер («хитер, как росомаха», — скажет о нем автор явно не словами Кеши, и на сей раз мы не осудим его за несдержанность), чтобы точно и почти безошибочно улавливать слабые струнки окружающих. И, уловив, играть на них: и на стадном инстинкте оплевывания слабейшего; и на безответной доброте Кеши; и даже на беде, несчастье старших — на горе воспитательницы, поглощенной душевной тревогой за судьбу мужа на фронте и не очень-то задумывающейся над тем, что творится в это время в душе каждого из ее маленьких воспитанников, охотно передоверяющей многие из своих обязанностей старосте, в которые она готова назначить любого, имеющего вес среди ребят, могущего скомандовать так, чтобы подчинились. А Гыра может. Что-что, а это он может... И вот он уже староста и отводит душу на Кеше как ему заблагорассудится. Гыра переклевывает на печку самое дорогое для Кеши — цветные почтовые открытки, присланные отцом с фронта, открытки, всегда висевшие перед его глазами и ставшие для него «какими-то чудесными окнами в мир фантазий, в мир боев и побед». Переклеил, а они, как издевательноски говорит Гыра, коверкая слова, «не захотели: печка горячая — обожглись». Бугорки засохшего хлеба на стене — вот и все, что осталось у Кеши от отцовских открыток...

Это, может быть, самые пронзительные страницы повести. Страницы, читая которые, начисто забываешь возникшее было поначалу ощущение некоторой холодности, отрешенности повествования. Комок, подкатывающий в эти минуты к горлу Кеши, подкатывает и к твоему горлу...

Трудно сказать, как справился бы Кеша с этим горем, если бы не неожиданная встреча с большою чужой, еще горшей, потому что болит у еще более слабого и беззащитного, чем он сам, — у маленького Вальки, у которого так плохо на душе без мамы, без родных, что даже оторвавшаяся пуговица от штанов кажется ему горем, больше которого нет. Г. Семенов очень хорошо — лаконич-

но и глубоко — раскрывает нам в этот миг и душу маленького Вальки, и душу понимающего его и сопереживающего ему Кеши, и все те огромные в своей обыкновенности испытания, которые принесла этим маленьким, неокрепшим душам война, отторгнувшая их от всего родного и близкого.

Мы много говорим и пишем о том страшном, что несет фашизм народам. Но как-то все больше о тяготах и бедах самой войны. И лишь в последние годы, начиная, может быть, с «Вали» и «Володи» В. Пановой, приоткрылся нам и этот край темы, и это доселе почти белое пятно на ее карте. «Где-то гремит война» — так назвал свою повесть об этом крае темы один из его первооткрывателей Виктор Астафьев. Но война не может вечно греметь где-то. Раньше или позже, громче или тише, ее голос становится слышен всюду, и необязательно впрямую — гулом орудий, грохотом разрывающихся авиабомб, — но и плачем матерей над похоронками, разбитыми, искореженными судьбами, детством, изломанным войной, будь то «Иваново детство» или детство Кеши.

Повесть Г. Семенова шире своего первого, явного плана. Она свидетельствует (и свидетельствует тем нагляднее, что вовсе лишена дидактики), к чему приводит всякое даже не то чтобы пособничество — всякая уступка злу там, где надо «давать сдачи», давать тем решительнее, чем наглей противник. И эти выводы куда шире и многозначнее непосредственного материала повести.

Вспомним сцену, когда ребята получают посылки от родителей — теплые вещи на дорогу. Как счастливы все! Как счастлив Кеша Казарин, которому полученное пальто напоминает о шкафе, в котором оно висело, а шкафа — о комнате, в которой прошло его детство... И только Гыра относится к полученной наконец родительской посылке с какой-то горькой иронией. Да и то сказать, как еще к ней относиться: вещи-то старые, драные, поношенные. И не просто от бедности — от невнимания, нелюбви, равнодушия материнского. Так на минуту, всего на минуту приоткрывается занавес над доселе неведомой нам стороной души Гыры. И это та минута, когда мы готовы даже сопереживать ему, ибо там, где, казалось бы, прочно прорезался малолетний диктатор, перед нами вдруг просто замерзший, озабоченный, обиженный жизнью подросток. Гыра обделен — вот все в чем дело! Обделен не просто вещами — обделен теплом,

лаской; из всех детей интерната он единственный, кому в интернате живется лучше, чем дома, потому что дома было совсем плохо.

Психология недругов маленького Алеши Ялового оставалась для нас загадкой. Психология Гыры, как к нему ни относиться, для нас ясна. И это не только несомненная заслуга автора, но в какой-то мере и следствие выбранной им позиции, позволяющей входить, так сказать, на равных правах в душу всех своих персонажей, — вещь, совершенно исключенная при настройке автора на волну одного персонажа (как в повести Якименко).

Но, понимая Гыру, автор, а с ним и мы, читатели, отнюдь не становимся добрее к нему. Понимание не есть еще оправдание. Обделенность Гыры лаской могла бы вызвать сочувствие к нему, если бы сделала его чувствительным к чужому страданию. Но в случае с Гырой — а это случай жизненно очень нередкий! — все происходит как раз наоборот. В Гыре формируется психология, характерная для человека, рвущегося, по меткому народному выражению, из грязи да в князи. С одной стороны, такие люди ненавидят всех, кто живет лучше них, и в этом отношении способны на самые дикие, извращенные эксцессы, на пароксизмы социальной зависти и ненависти. С другой же стороны, эта зависть и ненависть к тем, кто живет хоть чуть получше них или пусть даже и похуже, да не так, как он, неотделима от желания самим занять местечко получше. Так понимает подобная публика свои права и задачи. Стоит такому хоть чуть-чуть, хоть на одну ступеньку подняться выше других, сделаться хотя бы старостой в учебной группе, как Гыра, и он быстро покажет, чего стоили его вчерашние крики о равенстве и справедливости...

Зло, воплощенное в Гыре, — это стремление к власти, к «лидерству» как своеобразная компенсация за обделенность, жестокость к другим как своеобразная расплата с миром за те синяки и шишки, которые ты сам получал от него. Но ход действия в «микром мире» повести противоположен ходу событий, совершавшихся тогда в «макромире». Страна не уступала — била, гнала врага, а вот Кеша уступил, уступил сначала всего один раз, потом второй...

Повесть Г. Семенова приводит читателя к тем же, в сущности, выводам, что и повесть Л. Якименко, но приводит к ним, так сказать, от обратного. Она показывает, что

бывает, когда злу не дают отпора достаточно решительно и в самом начале, пытаются «не замечать» его, отойти в сторонку, выйти из зоны прямого соприкосновения с противником в наивном расчете, что стоит тебе забыть о нем — и он забудет о тебе.

Отношения между маленьким человеком и большим миром по-разному изображались в нашей литературе на разных ее этапах. Кажется, уже прочно позади остались те времена, когда, как в случае с «Сереей» В. Пановой, приходилось всерьез доказывать правомерность и такого подхода художника к жизни, приходилось напоминать слова великого социолога Чернышевского по поводу «Детства», «Отрочества», «Юности» Льва Толстого о том, что не надо искать в повестях о детстве ничего, кроме... повестей о детстве. И, однако же, приходится возвратиться к этому вопросу с несколько неожиданной, может быть, стороны.

Хорошо, конечно, что мы отвергли рецидивы вульгарно-социологических требований к искусству; но верно ли, что мы при этом забываем порой и социальность подлинную, не вульгарную, обходим сложности жизни, сводим все к «пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама!..»?

В повестях Г. Семенова и Л. Якименко солнце отнюдь не всегда светит детям: бывает, что и «татуса» уводят из дому злые люди, и война отрывает родителей от детей. Все это жизнь. Маленький человек выходит в большой мир. Мир многоцветный, сложный, «раскрытый настежь бешенству ветров», полный и добра и зла, обусловленных социально. Добра, на которое можно опереться и за которое нужно — сымальства — учиться драться против зла, как дерется маленький Алеша, если не хочешь, чтобы оно подмяло тебя под себя, как это произошло с маленьким Кешей.

А. КОГАН.



ТОВАРИЩИ ОТЕЦ И СЫН

М. Горький и сын. Письма. Воспоминания. Архив А. М. Горького. Том XIII. М. «Наука». 1971, 320 стр.

Вышел очередной, ХНІ том «Архива А. М. Горького» — издания, получившего в последние годы заслуженное признание литературоведов. Новый том «Архива А. М. Горького» необычен, не похож на все предшествующие книги. Называется он «М. Горький и сын» и содержит переписку А. М. Горького с Максимом Алексеевичем Пешковым, письма Горького внукам Марфе Максимовне и Дарье Максимовне Пешковым и воспоминания недавно скончавшейся Надежды Алексеевны Пешковой, Н. А. Семашко и А. С. Новикова-Прибоя о М. А. Пешкове. Словом, на первый взгляд, это книга, так сказать, семейная.

Мы привыкли читать документы Архива, характеризующие Горького — художника, издателя, редактора, которого В. В. Воровский еще в 1921 году шуточно назвал «наседкой современной русской литературы». Здесь же перед нами Горький — отец, и письма сыну открывают малоизвестную страницу его личной жизни. Но книга необычайно строга и сдержанна, хотя порою речь в ней идет об очень сложных и нелегких отношениях.

В этом томе есть страницы, поражающие своим глубоким драматизмом, в чем-то даже созвучные скорбным лермонтовским словам: «Ужасная судьба отца и сына жить разное...»

Вот письма Горького: «Дорогой мой мальчик! Я не могу забыть, как ты, заплакав, сказал мне: «Не сердись на меня!» Мне грустно думать, что, видя тебя так редко и мало, я огорчил тебя в этот приезд... Я тебя очень люблю, часто и сильно скучаю о тебе» (июль 1909 года). «Милый мой мальчик — в Париж я не поеду, против этого и здоровье мое и то, что я не мог бы работать там так успешно, как работаю здесь... Мы будем видеть друг друга изредка, как было до сей поры. Больше же я не буду говорить об этом. Не говори и ты, прошу. До свидания, дорогой мой мальчик, любимый мой, хороший!» (осень 1911 года).

А Максим постоянно, нетерпеливо ждал встреч с отцом. «Алексей¹, когда же ты приедешь, ты написал, куда, но не написал, когда. Обязательно напиши когда»

¹ Так обычно Максим обращался к отцу.

(март 1910 года). «...Мне, конечно, очень жалко, что ты не приехал... Знаешь, мы из окна смотрим на все поезда, чтобы тебя увидеть» (август 1911 года).

Таких строк в книге много, потому что долгие годы отец и сын жили «розно»: Горький рано, когда Максим был совсем еще маленький, расстался с женой Е. П. Пешковой. Встречи с сыном, жившим с матерью, были редкими и недолгими. Только с 1921 года они стали жить вместе. А в 1934 году тридцатипятилетний Максим Алексеевич скончался.

Книга доносит до читателя эту историю отношений, трагически закончившуюся: отцу выпал тяжелый жребий пережить смерть сына. Но, читая горестные строки иных писем или страницы воспоминаний Н. А. Пешковой, рассказывающие о смерти Максима, мы не воспринимаем судьбу отца и сына Пешковых как «ужасную»: так много в книге светлого, радостного, ясного чувства, так сильна и открыта их любовь друг к другу.

Часто горьковские «объяснения в любви» облечены в шутивную форму. «Редко ты пишешь,—упрекает Горький Максима,—и когда писем от тебя нет,—я начинаю думать, что тебе сшибли голову футбольным мячом, или ты улетел на «держигабре» к Марсу, или забыл о твоём лысом отце, старичишке злом и сварливом. Не забывай! Я тебя очень хорошо помню, всегда передо мной твоя длинная курюсая фигура и глаза твои, как у московского жулика». Но как много в письмах горячих признаний: «...послать тебе хочется все хорошее, что есть на земле и вообще на свете — очень я люблю тебя» (16/29 марта 1909 года).

Письма Горького поражают своей эмоциональностью, силой выраженного в них чувства. Поражают они и глубиной и значительностью содержания. Открывая нам в чем-то нового Горького, письма сыну дополняют, обогащают наше представление о личности великого писателя и — что, пожалуй, главное — раскрывают удивительную ее цельность.

Как часто, рассматривая творчество писателя, исследователи упускают из виду его личность, свойства его характера, его человеческую судьбу. Дело не в бытовательском интересе к подробностям частной жизни или желании увидеть великого человека «в халате», но в естественном стремлении понять, что же за человек тот, кто произносит свой суд над жизнью и над другими людьми.

уяснить правдивость и искренность его таланта.

Горький — художник, каким мы его знали, и Горький — отец, каким открылся он в отношении к сыну, ни в чем не противоречат и не противостоят друг другу.

Читая письма Горького сыну, постоянно ощущаешь переключку горьковских творческих идей и его, горьковских, моральных норм, которые он хочет передать Максиму.

«Ты уехал, а цветы, посаженные тобою, остались и растут. Я смотрю на них, и мне приятно думать, что мой сынишка оставил после себя на Капри нечто хорошее — цветы.

Вот если бы ты всегда и везде, всю твою жизнь оставлял для людей только хорошее — цветы, мысли, славные воспоминания о тебе,—легка и приятна была бы твоя жизнь. Тогда ты чувствовал бы себя всем людям нужным и это чувство сделало бы тебя богатым душой. Знай, что всегда приятнее отдать, чем взять», — писал он Максиму в январе—феврале 1907 года.

«Знаешь, почему некоторые люди плохи? Потому что их злят, право, только поэтому. Если начать над тобой смеяться каждый день, так ты и сам через месяц будешь злющий, как волк,— не правда ли?

И если ты хочешь, чтобы вокруг тебя были хорошие, добрые люди,—попробуй относиться к ним внимательно, ласково, вежливо,—увидишь, что все станут лучше», — мягко внушает он одиннадцатилетнему мальчику.

А через три года звучит в письме еще одна заветная мысль Горького: «Хотелось бы, чтоб ты полюбил какую-нибудь науку или искусство и в любимом деле сидел всю жизнь, как отшельник в лесу. Но — не будет этого с тобою, вернее, что всю жизнь ты будешь метаться, как чужая земле птица, то туда, то сюда, и нигде не найдешь покоя. Это, брат, тоже хорошо, не найти покоя, потому что те люди, которые находят в жизни покой — при жизни и становятся покойниками. Скунейший народ!» (27 февраля, 12 марта 1911 года).

И как не вспомнить тех, «сильных духом», которые были героями горьковского творчества, читая такое описание полетов одного из первых авиаторов, Пэгю: «Он страшно веселый, живой, сидит в машине и все время болтает, поет, размахивает руками,— удивительная птица! Вот когда я поверил, что человек действительно выучился

летать, действительно победил стихию — воздух, как победил огонь!

Удивительно хорошо на душе, когда смотришь на таких смелых людей! Верить, что человек — все может, что если он хорошо захочет — он своего достигнет!» (15/28 мая 1914 года).

И только однажды, в 1916 году, с душевной болью он напишет Максиму: «Милый, единственный мой близкий человек, послушай меня, подумай — никогда, никого за всю мою жизнь не учил я терпеть, напротив — всю жизнь кричал, внушал людям: сопротивляйтесь, не терпите! И вот мне приходится говорить сыну моему, человеку, которого я люблю, и научился уважать, — потерпи!» Но такое письмо, продиктованное острой тревогой за сына, — единственное.

Горький вводил сына в большой мир, в котором человеку должно быть дело до всего. Поэтому так многотемны письма Горького, поэтому в личной переписке его так много общего и интересного. Сколько в письмах мудрых советов об отношении к людям, о труде, сколько в них поэтических рассказов о море, о солнце, о птицах, которых оба они так любили. Какие тонкие описания природы, раскрывающие внутренний мир писателя: «Вот, брат, началась русская весна, — такая грустная, бессильная, худосочная, а все-таки — милая, — писал Горький в мае 1914 года. — Давно уж я не видел, как распускаются почки берез, как покрывается лиственница мохнатыми шариками, не слышал пения жаворонков и еще каких-то мелодий и вздохов русской весны, мелодий неуловимых, но — будят они в душе что-то давно забытое. Печален север все-таки!»

Чрезвычайно интересный раздел переписки — это горьковские советы сыну, что читать. В них опять-таки весь Горький, с его страстью и уважением к книге, поразительной широтой знаний. Списки обсуждающихся в переписке книг — от Жюль Верна и Буссенара до Флобера и Геродота — сами по себе могут быть предметом изучения.

Часто он подсказывал сыну, как надо читать книги: «Ну-с, милый мой индус, посылаю тебе третью книжку Марка Твена и еще книжонку о рыцарстве, — писал он в сентябре 1911 года. — Ты сначала прочитай о рыцарстве, а потом — Твена, это будет хорошо». В другом письме, указывая, какие русские исторические романы «можно читать без скуки, без риска вывихнуть мозг и

засорить память ложью», он настоятельно советовал Максиму предварительно познакомиться с русской историей, «чтоб самому видеть, где автор сочиняет и обманывает читателя». Горький постепенно приучал сына к чтению «серьезной, настоящей литературы», к которой прежде всего он относил произведения русских классиков. «В этих книгах — правда, а она, друг, всегда интересней и значительнее всех фантазий и сказок. Да и нужнее нам с тобою», — писал он в январе 1911 года.

Раздумья о жизни, о людях, о прочитанных книгах, о природе, создают в переписке отца с сыном устойчивую и прочную атмосферу высокой духовности, интеллектуальности в самом полном значении этого слова — и это один из краеугольных камней горьковской «педагогики». В ней нет ничего назойливо-дидактического, каждый совет идет от сердца, от собственного жизненного опыта. Поэтому нет в письмах отца назидательности, отвлеченных и скучных сентенций. Серьезное очень часто облечено в шутовую форму, звучит весело и просто, хотя пишет Горький об очень непростых вещах.

Секрет «педагогики» Горького заключается и в его умении отнестись к сыну с уважением, как к равному, товарищу, другу. Дело не только в характерных для писем Горького обращениях «дружище», «товарищ-сын», но в той доверительности, внутренней свободе, непринужденности, с которой Горький рассказывал мальчику, подростку, о многих серьезных и важных вещах. После возвращения в Россию Горький писал Максиму 2(15) июля 1914 года: «Тяжело жить на Руси, дорогой мой сынище, очень тяжело! Все как-то дико, непривычно, многое я забыл, и теперь грустно удивляюсь, очень уж нелепо, жестоко...

Живу я — одиноко, хотя и много приезжает разных людей, — якобы по делу, а в сущности — посмотреть, каков стал Горький, и потом — поболтать, посплетничать о нем. Все это весьма невесело.

Однажды в 1917 году Максим гостил у отца в Петрограде, и они вместе отправили телеграмму Е. П. Пешковой, подписав ее: «товарищи отец и сын». Подпись эта очень точно выражает суть книги, озаглавленной по-архивному деловито и даже суховато: «М. Горький и сын. Письма. Воспоминания». Но можно быть благодарным составителем книги за то, что в ней опубликованы не просто письма Горького к сыну, а

переписка его с Максимом. Новый том «Архива А. М. Горького» лишний раз убеждает в преимуществах публикации двухсторонней переписки, даже, если один из корреспондентов является человеком литературно неопытным. Как ни значительны сами по себе письма Горького, они в чем-то проиграли бы и не обладали бы такой силой убедительности, не будь рядом писем Максима. Письма Максима Алексеевича Пешкова и воспоминания о нем показывают, что он был достоин любви и уважения своего великого отца. Они рисуют нам характер обаятельный и открытый, рисуют человека талантливого, умного, жизнерадостного, наделенного прекрасным чувством юмора.

Первое же из опубликованных писем Максима сразу завоевывает читателя:

«Экий ты у меня недогадливый. Неужели ты и взаправду подумал, что я написал «пирог с капустой», потому что я не умею правильно написать. Я написал это шутя.

Ну, милый, не сердись. Уж я буду тебе стараться...»

Максим охотно подхватывал шуточные «сюжеты» писем, предложенные отцом. Получив письмо Горького, в котором тот юмористически описывал взаимоотношения «отцов и детей» и жаловался на свои отцовские болезни, Максим отвечал: «Против твоих отцовских болезней: живота, ног, рук есть хорошее средство — касторка. Боюсь я тебя: приедешь ты к нам с рыжей бородой до колен, будешь «скрипеть зубами», жевать жвачку, как американцы, и притащишь целый ворох бумаг, заставишь их переписать; буду я писать, а ты сади меня стоять будешь, да погонять палкой, да покрикивать пиши, пиши, учись.

Ах ты, сурьезный отец, не думай ты о болезнях» (март 1910 года).

В своих письмах Максим делился с отцом соображениями о прочитанных книгах, о школе, о спорте, о воздухоплавании, о многих своих мальчишеских серьезных делах. Писал он и о впечатлении от прочитанных им произведений отца. По письмам Максима можно проследить, как действовала горьковская «система воспитания» и формировался человек, которому отец с чистым сердцем мог однажды признаться: «...Я тебя горячо люблю и уважаю, да, уважаю за то, что у тебя есть свое ко всему отношению и что ты умеешь не поступаться им. С этим свойством тебе нелегко будет жить, милый ты мой, но за то ты проживешь чест-

ным человеком» (26 сентября/9 октября 1914 года).

Максим Алексеевич, обладавший своеобразным талантом художника, в чем читатель легко может убедиться, рассматривая рисунки его, помещенные в книге, так и не стал художником. Не стал он и конструктором, инженером, хотя очень любил технику и к суждениям его прислушивались специалисты-изобретатели. В письме Р. Роллану Горький объяснял это тем, что «воля его была организована слабо, он разбрасывался и не успел развить ни одного из своих дарований»¹. Возможно, отчасти Горький и прав, но было одно серьезное обстоятельство, помешавшее Максиму Алексеичу стать художником или инженером. В воспоминаниях Н. А. Пешковой и предисловии Б. Бялика рассказывается о деятельности Максима Алексеевича в 1917—1919 годах, о его вступлении в партию, о дружеском отношении В. И. Ленина к нему. В эти годы Максим особенно остро ощутил огромную важность деятельности отца, и вскоре он становится его ближайшим помощником — его секретарем, переводчиком (Максим Алексеевич отлично владел четырьмя европейскими языками) и даже переписчиком, или, как называл его в шутку Горький, его «печатным станком».

Живя рядом со своим знаменитым отцом, этот «советский принц», как его называли шуточно близкие, очень много работал. Постоянно находясь в курсе дел отца, зная его переписку, встречаясь со многими людьми, приезжавшими из Советского Союза, Максим Алексеевич вместе с Горьким был связан с родиной, куда мечтал вернуться. «Я три года стремлюсь переехать в Москву и из-за Алексея Максимовича никак не могу этого сделать,— писал он своему товарищу К. С. Блеклову,— а жить здесь очень тяжело». Поэтому таким огромным событием стал для него приезд в СССР в 1928 году. Н. А. Пешкова включила в свои воспоминания множество писем, которые почти ежедневно посылал ей в Италию Максим Алексеич, и эти письма, пожалуй, с наибольшей полнотой раскрывают характер сына Горького. Только человек с острым социальным зрением мог разобраться в том обилии фактов, которые обрушились на него по приезде. Письма М. А. Пешкова к жене с особой силой обнаруживают его духовную

¹ М. Горький. Собрание сочинений, т. 30, М. 1955, стр. 318

близость отцу, общность восприятия ими новой, социалистической действительности. «Замечательной страной стала Россия. И надо самому быть здесь, чтобы понять», — пишет он 5 июня 1928 года из Москвы. Совершив примерно половину маршрута поездки по стране, он укрепляется в этом своем выводе: «Во многом, вообще, что приходится видеть, не узнаешь России. Это теперь совершенно другая страна. И надо сказать, что именно на окраинах, в провинции, а не в Москве, видишь, какими огромными скачками ушла вперед теперь Россия».

Впрочем, письма Максима Алексеевича, так же как и письма Горького, надо читать целиком, одно за другим, надо читать и дневники его, широко представленные в воспоминаниях Н. А. Пешковой, потому что все это важные человеческие документы.

Хочется пожелать, чтобы в последующие издания книги (она вышла, к сожалению, очень маленьким тиражом) были шире включены материалы — дневники, письма М. А. Пешкова и др. — которые еще полнее

обрисуют отношения Горького с сыном и личность самого М. А. Пешкова.

Когда умер Максим Алексеевич, Горький хотел выпустить альбом с его рисунками, воспоминаниями друзей и сам хотел написать о нем. Он не успел выполнить задуманного. Замысел Горького осуществлялся его близкими. Книгой, посвященной сыну, много занималась Екатерина Павловна, она и начала готовить том переписки Горького с сыном. Активным помощником Екатерины Павловны была Надежда Алексеевна Пешкова, которая до последнего дня вместе с сотрудниками Архива А. М. Горького работала над книгой. Читатель обратит внимание на оформление тома, которое выполнено Н. С. Пешковой — правнучкой Горького и внучкой Максима Алексеевича.

Издана интересная, нужная книга, обращенная к самой широкой аудитории, к «отцам и детям». Читая этот новый том Архива, мы еще раз можем убедиться, как много может сказать о Горьком сам Горький.

Н. ДИКУШИНА.

★

ТРАГЕДИЯ И ИГРА

Вадим Коростылев. Шаги командора. Трагедия. «Театр», 1971, № 1.

Личность Пушкина, история его жизни и его гибели влекут к себе писателей, поэтов и драматургов с возрастающей силой. Вечная современность Пушкина как «живого и движущегося явления» (Белинский) проявляет себя и тут. В этом смысле другой подобной личности, по крайней мере в русской культуре, нет. Жизнь Пушкина волнует и притягивает не меньше, чем творчество, по той причине, что они составляют одно — судьбу, сливаясь в той особенной, вроде бы прозрачной и в то же время какой-то непроницаемой гармонии, которая присуща, пожалуй, только естественным явлениям природы. Гармония эта, собственно, и есть та самая «некоторая великая тайна» Пушкина, о которой говорил Достоевский и которую мы все пытаемся «разгадать». Тяга к подобным «тайнам» не может не возрастать у современного человека, остро осознающего трагическую сложность мира и страстно ищущего в этой сложности проблески того прекрасного совершенства, той светлой гармонии, которой жаждет человечество. Судьба Пушкина как бы сама

есть вдохновенное и выстраданное творение, уже в «готовом виде» существующая «трагическая гармония». Не удивительно, что она взывает к художественному воплощению, манит к работе, которая, казалось бы, в большей части уже проделана самой природой.

Однако «загораясь» от этого зова, писатель должен сознавать, какую большую ответственность он берет на себя, на что посягает. Судьба Пушкина уникальна, ее трудно «уложить» в какую-либо типологию, а если и можно, то в какую-то очень и очень широкую, уж во всяком случае выходящую за пределы проблем «судьба поэта», «художник и общество» и пр. — хотя бы потому, что Пушкин для нас — больше, чем поэт, и больше, чем художник. Его судьба — это судьба Пушкина и ничто другое. Она сама несет в себе некую широчайшую типологию; она, как и пушкинское творчество, допускает разнообразные частные толкования; она по видимости легко поддается различным манипуляциям, как откровенно корыстным, так и прекрасно-

душно-наивным, но сама не сводима ни к одному из истолкований, в конечном счете никаких манипуляций не терпит и за них мстит. Если это происходит, то тут не спасают даже благородные взгляды и добрые намерения. Здесь не извиняют даже наивность и простодушие — просто саморазоблачение и возвращение «на круги своя» происходит в более или менее анекдотической форме.

Это последнее встречается особенно часто. Так, в тексте стихотворения одного современного поэта рассказывается, как автор живет в Михайловском и как друг приезжает к нему на мотоцикле, а в подтексте нам недвусмысленно предлагается «ассоциировать» эту современную ситуацию с визитом Ивана Пушкина к своему опальному другу. Другой поэт идет дальше и объявляет, что он сам — Михайловское, только метафорическое. Третий без ухищрений, просто и доверительно делится своими опасениями: «Нет, жив Дантес. Он жив опасно, жив, вплоть до нынешнего дня. Ежеминутно, ежечасно он может выстрелить в меня». Любовь к Пушкину, стремление подняться до него подменяются бестактными попытками то ли примерить пушкинский фрак и повертеться в нем перед зеркалом, то ли Пушкина нарядить в свой пиджак; то и другое одинаково неостроумный фарс, какие бы благие намерения и «взгляды» ни одушевляли автора.

Среди добрых намерений, положенных в основу пьесы «Шаги командора», действие которой происходит в последние, преддзельные недели Пушкина, наиболее очевидно главное: в развитии трагической темы она демонстративно направлена против старой, но все еще влиятельной традиции благостной выпренности и залхватского бодрячества, а в трактовке облика Пушкина — против хрестоматийной «лакировки» и отчужденного, легкомысленно-холодного «оптимизма».

От первой сцены до последней В. Коростылев стремится создавать и поддерживать именно ощущение трагизма происходящего, беспредельного одиночества Пушкина и неотвратимости губительной развязки, которая ждет за пределами действия. Чтобы обострить коллизию, В. Коростылев решает на весьма смелую новацию, полемически заостренную против некоторых распространенных и устоявшихся представлений о Наталье Николаевне (представлений, которые лишь отчасти поколеблены опубликованными недавно ее письмами).

Натали в пьесе «Шаги командора» оказывается единственным человеком, по-настоящему близким Пушкину, по-настоящему стремящимся его понять, проникнуть в его мир, куда, по всей вероятности, Пушкин ее долго «не пускал». Общий трагизм ситуации, одиночество поэта усугубляются тем, что, по В. Коростылеву, Наталья Николаевна «влюбилась» в Пушкина — а он, соответственно, начал «прозреть» — лишь незадолго до роковой дуэли. Подробно этанавливаться на способе «вывернутой перчатки» (все наоборот!), с помощью которого реализуется эта новация, мы не будем. Но вот о самой смелости В. Коростылева в обращении с материалом и о том, как вообще осуществляет он свои добрые намерения, поговорить стоит.

Автор явно стремится не просто показать, а осмыслить и даже объяснить со сцены трагедию гибели Пушкина — притом объяснить с точки зрения нашего современника. Это чувствуется уже в открывающей пьесу ремарке, где прямо сказано: «Новогодний (в честь 1837 года) бал: Мраморный лес колонн. Колонны занимают всю ширь и всю глубину сцены. Это не просто Зимний или Аничков, это — символ николаевского, каменного века империи (разрядка моя.— В. Н.). Появляется Екатерина Андреевна Карамзина. За колоннами мелькнул камер-юнкерский мундир Пушкина». Наивная символика этой ремарки-метафоры призвана отразить основной конфликт трагедии: «мраморный лес» дворцовых колонн — и тут же появляется Пушкин в камер-юнкерском мундире... Весь стиль ремарки не оставляет сомнений в том, что мы имеем дело именно с точкой зрения нашего современника, притом такого, для которого не очень важна эмпирическая реальность (скажем, Зимний это или Аничков), а сам «николаевский век» по отдаленности сродни палеолиту. Во всяком случае, ремарка эта помогает понять основополагающий принцип пьесы. Стоит этот принцип в том, что историческая реальность происходящего хоть и занимает автора, однако же не настолько сильно, чтобы увлечь его целиком, стать главным объектом внимания. Таким объектом, который способен взволновать и побудить к мысли сам по себе, своим трагизмом, своим бытийным смыслом. Иначе говоря, реальность эта — трагедия Пушкина — представляет для В. Коростылева наибольший интерес именно в прикладном виде.

Такой принцип, коль скоро он принят, де-

лает допустимыми и даже предполагает самые разнообразные деформации материала, то есть все той же исторической реальности, в тех или иных интересах автора. Например, принцип этот позволяет В. Коростылеву, при всем его стремлении к новизне, прибегать к вполне традиционной «публицистичности» облегченного качества. «БЕНКЕНДОРФ. ...Не коротка ли рука Жоржа Дантеса де Геккерена на сей случай? НИКОЛАЙ (встав от стола, подходит к Бенкендорфу). Откровенности хочешь? (Бенкендорф почтительно молчит.) Рука Дантеса от твоего плеча начинаться должна. Да повремени: быть может, я с «историографом» нынче и сговорюсь». Конечно, с точки зрения исторической реальности этот пошловатый детектив вполне фантастичен, зато зрителю становится окончательно ясно, что дела Пушкина плохи.

Далее По пьесе выходит, что Пушкин, будучи крайне наивным человеком, очень хотел напечатать еще при жизни стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»; что он лично просил — и не получил — разрешения на это императора; что Николаю был известен не только текст стихотворения, но — непостижимым образом — даже его черновик; что Жуковский внес в стихотворение свои известные «исправления» (сделанные им для первого посмертного собрания сочинений Пушкина, выпущенного в 1841 году) якобы чуть ли не на глазах у автора, хотя реальный Жуковский никогда бы не позволил себе ничего подобного при жизни Пушкина... Все это выглядело бы достаточно нелепо — если не учитывать названного выше удобного основополагающего принципа пьесы.

Что касается Жуковского, большого поэта, не «борца», но человека глубоко порядочного, любившего Пушкина беззаветно, без всякого стремления нажить на этом какой бы то ни было моральный капитал, — то на бедного Василия Андреевича навешано, грубо говоря, уже столько собак, что малоприлекательный образ, созданный в пьесе, здесь ничего нового добавить, пожалуй, не может. И все же, пользуясь случаем, хочется сказать, что дай бог иным из нас сделать для своих друзей столько добра, сколько сделал Жуковский для Пушкина; что Пушкин, вероятно, не зря числил Жуковского в первых друзьях и, даже бранясь с ним, никогда не переставал его уважать; и что кроме сложных основополагающих принципов «отношения к образу» су-

ществуют еще и нормы этики, столь же обязательные в отношении мертвых, как и в отношении живых.

Но приблизимся к «эмпирической реальности» самой пьесы, к ее тексту; ибо в речи персонажей очень наглядно и последовательно проводится указанный основной принцип. Нет нужды упоминать о том, что В. Коростылев отказывается от ориентации на язык первой половины XIX века; сейчас это делают почти все; но стиль же «опосредствованной» речи не может не вызывать смущения даже и вовсе безотносительно к «каменному веку».

«КАРАМЗИНА. Александр! (Подошелшему Пушкину). Полно вам носиться и сорить острословной мелочью. Помолчите со мной. ПУШКИН. Какая вам корысть сидеть подле моего молчания? КАРАМЗИНА. Я люблю ваше молчание. Оно обширное и гулкое, как собор. И я не подле, я в нем. В пушкинском молчании можно и помолиться. Да и вам не вредно побыть в самом себе. ПУШКИН. Вы полагаете, я не в себе? КАРАМЗИНА. Я могу полагать только то, что вижу. ПУШКИН (живо). Разве видю? КАРАМЗИНА. Вы дурно говорили с Натали. ПУШКИН. Я застал ее со старым Геккереном. В слезах он умолял Натали отдать его сыну. (? — В Н.) Барон слезлив не в меру, но когда и плачет, то из глаз слюнки текут. КАРАМЗИНА. Зло, но по делу (Курсив мой.— В Н.). Натали не должна была его слушать, а вы не должны были ей выговаривать при всех да еще топтать ногой...»

Вообще-то о высшем свете и светских отношениях всегда было трудно писать. Анна Ахматова, говоря о литературе прошлого, заметила: «Мы привыкли, что светская повесть неизбежно сатирична. Без этого она за редкими исключениями (Л. Толстой) отчего-то припахивает лакейской». Поэтому оставим в стороне вопрос о том, принято ли было в свете «выговаривать при всех» женам и мог ли Пушкин «топать ногой» на Наталью Николаевну, да еще на придворном бале. Но что поистине придает процитированному диалогу яркий, хотя и невольный, оттенок «сатиричности», так это равно характерная для речи обонх собеседников изысканно-метафорическая безвкусица. На всем протяжении пьесы В. Коростылев разнообразно ссчитает этот приторно-салонный, суперлитературный модерн то — у одних героев — с модерном вульгарным, чуть ли не жаргонным («КАРАМЗИНА Зло, но по делу»), то — у дру-

гих — с каким-то полукапеллярским («НАТАЛИ. Не прячься за Кавказские хребты от главного в нашем с тобой разговоре!»), то, наконец, чуть ли не с «ученым» («ПУШКИН. Я знаю, чего хочет от меня государь. Чтоб я соотнес его с Петром»). Там и сям в этот любопытный конгломерат вкраплены то «сей» и «полноте», то «ладна!», «верна!» и «дёржите». Речь героев обильно уснащена разнообразными метафорами и каламбурами, так что порой кажется, что пьеса наполовину состоит из метафор и каламбуров. Таким образом читатель и зритель внушаются некоторые модернизированные представления о духовном и культурном уровне поэта и близких к нему лиц. Эти люди просто не представляют себе общения друг с другом без изящных острот и поэтических тропов. Порою вообще кажется, что они не живут, а вместе с автором играют в какую-то хитроумную и красивую игру:

«НАТАЛИ. ...Я знаю: есть страна «Пушкин». Своди меня туда, а? ПУШКИН. Она за забором, а забор высок. НАТАЛИ. А ворота? ПУШКИН. Ворота́ на замке, да ключ куда-то задевался. НАТАЛИ. Ты давно там не был? ПУШКИН. Все недосуг. Да и нынче не стоит: пэди, там пыли набилось во все щели. НАТАЛИ. Никакой пыли. И березы свежи!.. ПУШКИН. Ты что ж, прыгнула через забор? (Натали утвердительно кивает). Тогда и я следом. (Помолчав). Ну, как? НАТАЛИ. Сколько берез! Как у дедушки в Полотняном заводе. Это красиво. ПУШКИН. Это банально, мой ангел. Зато под березами гремят ручьи. Они тоже были бы банальны, кабы не это... слышишь? НАТАЛИ. В ручьях живет рифма?.. ПУШКИН. Куда поведешь меня? НАТАЛИ. В звучащую тишину. Там можно стоять и слушать себя. ПУШКИН. Славно!»

И так далее. Действительно, славная игра. И играть в нее можно без конца, ибо «правила» ее — правила некоего, что ли, «лирического фарса» — крайне незамысловаты. В то же время вот этот-то «лиризм» пьесы и помогает уяснить до конца как функцию «новой», переосмысленной автором Натали, так и общий пафос сочинения, — и вот почему.

В той боли за близкого человека, которой не может не испытывать всякий, кто хоть сколько-нибудь знает Пушкина и историю его гибели, у В. Коростылева значительно усилен ее буквально личный, интимный оттенок. Тенденция к со-

кращению дистанции между героем и автором простирается так далеко, что В. Коростылев — чуть ли не впервые в нашей литературе столь настойчиво, и именно при посредстве Натали, — стремится проникнуть в самые сокровенные помыслы Пушкина, более того — в совесть Пушкина с ее угрызениями, далее — в то, что сегодня называют «комплексами», в подсознание, наконец. Другими словами, автор претендует осмыслить и объяснить трагедию, исходя не только из «внешних» фактов, но и изнутри самого Пушкина, с помощью единственного близкого поэту человека, жены, как бы читая, так сказать, в глубинах пушкинского духа.

Вот здесь и начинается самое интересное.

В ходе увлекательной литературной игры в «страну «Пушкин», Натали узнает... сны Пушкина. И нужно признаться, что это довольно странные сны. В этих снах Пушкин номер два выходит из зеркала в комнату Пушкина номер один; Пушкин целится в самого себя; Пушкин путает себя со своим убийцей — Дантесом.

«НАТАЛИ. Что за странная игра с самим собой? ПУШКИН. Есть итальянская поговорка: «Тот, кто играет сам с собой, всегда в выигрыше»... Не волнуйся, душа моя, я не стану гоняться за собой с пистолетом: неловко предстать перед богом запыхавшись». Выходит, Пушкин «играет» не только в милую литературную игру с Натали, но и в какую-то другую, жуткую игру «с самим собой», — и в смятении заклинает: «Нет. В России Пушкин не может убить Пушкина».

И когда Жуковский спрашивает его: «Так что же, тебе легче было бы в Петропавловке, в равелине, под замком да штыком?» — Пушкин отвечает почти воплем: «Жуковский, душа моя, легче! Поверь, легче!»

Что это все означает?

Это означает, что мы набрали на главный конфликт трагедии В. Коростылева и что этот главный конфликт, хоть и объясняется внешними условиями общественной жизни, но возникает-то и коренится в самом герое, в глубинах его души.

Одним словом, Пушкин В. Коростылева страдает от раздвоения личности.

И это уже не сон. Вернее говоря, сны героя трагедии в точности отражают то, что происходит с ним наяву. Наяву он тоже раздваивается.

Во-первых, он просто погибает от мании величия: «Сны о Пушкине в России всяк видит по-разному»; «Страна «Пушкин» с лицейских стихов началась»; «Россия во мне колокольным языком мечется»; «ЖУКОВСКИЙ. С чем же явился в Зимний? ПУШКИН. С Пушкиным, Василий Андреевич»; «А мне предлагаешь перестать быть Пушкиным?»: «... в будущую Россию удеру! Чем плохо?»; «Россия верит мне»; «чтобы Российской Словесности равняться на камер-юнкера Пушкина, ей еще надобно голову задрать!» В этой игре «с самим собой» он доходит до необычных вещей — например, угадывает последнюю фразу «пушкинской речи» Достоевского в 1880 году, когда говорит Жуковскому: «...и старый, о вечных своих тридцати семи годах, приду в будущее задавать загадки». Он то и дело называет себя в третьем лице, как будто и впрямь рассматривает самого себя в зеркале. Причем «италийская поговорка» тут вряд ли применима. Герой далеко не «выигрывает» от этой «игры с самим собой», собственное величие давит его, не дает дышать, пугает, поселяет в нем неуверенность в себе, своего рода комплекс неполноценности. В «страну «Пушкин» он сам может теперь проникнуть только «через забор». «Нет, Василий Андреевич, это уже не я... — «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Медный всадник» ...А я склоняюсь над самим собой, пролистываю мой ум, мою душу, как заготовки, еще небрежную запись того, что может явиться ко мне в целом. Я вится ли?» (разрядка моя.— В. Н.). Перед одним Пушкиным «на черном провале истории возникает красный парус пугачевского кафтана», и тогда он становится «Байроном, погибшим в Элладе за богиню богинь — Свободу»; другой Пушкин растерянно спрашивает: «Может, зря лезу в правдолюбцы да мыслители (?), может, в кукольники да розены пробиваться надо? Им-то через мою голову от государя перстни : бриллиантом летят «за пиэсы», а мой «Годунов» рамповых плошек так и не увидел.. С бесишь ся, коли не знаешь, что ты такое...» (разрядка моя.— В. Н.).

Действительно, становится трудно разобрататься — какой же из этих двух Пушкиных настоящий: тот, который вынашивает «заготовки» для будущих работ, или тот, который недоверчиво «склоняется над самим собой»; тот, который страдает оттого, что «Годунов» не увидел сцены, или тот, который следит за полетом «перстней с

бриллиантом» над своей головой; тот, в котором «Россия... колокольным языком мечется», или тот, который вот-вот всерьез задумается над проблемой — не стать ли «колокольчиком на государевом столе? И звонить даже не к обедне и всенощной, а к обеду и ужину?»

Это-то как раз и любопытно: Пушкин В. Коростылева, при всем своем отвращении к этому последнему варианту, «в сердце своем», как говорится, его не исключает. И именно поэтому он в паническом страхе. Он боится не устоять:

«Где уж мне! Я — декабрист без Декабря. Все мечтал, что труд по истории Петровой обернется для меня моей Петровской площадью, моим стоянием перед Сенатом и всей машиной. Да разве против них устоишь?» (разрядка моя.— В. Н.).

Почему же, почему так страшно неразрешима эта проблема? Почему поэту, да еще Пушкину, так невыносимо трудно морально устоять «перед ними»? Почему для того, чтобы «не продаться», ему необходима «Петропавловка»? Как разгадать эту «загадку», которую задал Пушкин, приведенный к нам, «в будущее», В. Коростылевым?

Разгадка здесь, рядом, в этом же монологе Пушкина. И она оказывается до удивления простой: «Да разве против них устоишь? Вот и я, возжаждав шампанского, устриц во льду и жену ближнего своего, уже готов почитать сие пищей духовной. Не страшно ли?.. «Сосуд» сей из плоти, а плоть задыхается от долгов и желания жить роскошно. Вон, один извозчик Савельев с меня помесечно триста рублей дерет за подачу четверки к выезду!»

«Не страшно ли?»

Нельзя не согласиться: страшно. Ибо таким образом выясняется, что основной конфликт трагедии — конфликт между «двумя Пушкиными» — есть, по сути дела, борьба между стремлением к свободе и любовью к устрицам во льду... Если же теперь обратиться к высоким материям, к теории, и вспомнить, что специфика трагедии состоит в неразрешимости основного конфликта, то станет еще страшнее.

Добрый Василий Андреевич Жуковский не разбирается в специфике трагического и потому предлагает очень удобный, на его взгляд, компромиссный ход, позволяющий безболезненно совместить свободу с упомянутыми устрицами:

«ЖУКОВСКИЙ» (почти заговорщицки). История Петрова — вот тебе ход в Россию. Люди славные, а время далекое — вольничай себе всласть. Кто тебя осудит за прошлое? А государю, видно, пришло иметь на столе историю пращура, описанную живо и в лицах».

«Ты либо воистину прост, Василий Андреевич, либо прикидываешься простым», — возражает ему Пушкин, — и тут, кажется, впервые можно наконец с облегчением вздохнуть. Дело в том, что настоящему Пушкину была глубоко чужда не очень чистоплотная игра со своей совестью: стремление, «вольничая» в литературе втихомолку, потрафлять властям предержавшим, не жа «плоть», украдкой ублажать и «дух», быть «благонадежным свободолюбцем». Он просто не умел этого делать, в нем не было к этому способностей. Он умел писать только правду как он ее знал и понимал — о настоящем ли, о прошлом ли, — такой уж он был человек и писатель. Он никогда не подгонял факты жизни и истории под свои «взгляды», потому что стремление к истине было для него дорожкой «взглядов», оно и было его «тайной свободой». Александр Блок очень точно понимал все это, когда говорил в своей пушкинской речи: «...Покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, — тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем» (разрядка моя. — В. Н.).

Надо сознаться, что у В. Коростылева все обстоит не так. И Пушкин отвергает предложение Жуковского вовсе не потому, что принципиально с ним не согласен. В сцене у императора, когда Пушкин рассказывает Николаю замысел «Истории Петра», мы в этом убеждаемся вочью. Развивая свои взгляды на русскую историю, Пушкин говорит Николаю: «Стрельцы — те воистину тянули Россию назад, к Софье, а четырнадцатое декабря.» (фраза оборвана, но смысл ясен). И вот что любопытно: на грозный вопрос царя: «А в стрельцах видел Рылеева с Пестелем, Муравьева да Каховского! А?» — Пушкин, тот же самый Пушкин, диаметрально противоположно оценивающий стрельцов и декабристов, вынужден признать: «Видел, государь».

Так мы становимся свидетелями как провинциальности Николая, так и удивительной беспринципности Пушкина, придерживающегося одновременно двух противоположных

мнений, и пониманием, что предположение Жуковского «повольничать» в Истории Пушкин отвергает просто потому, что знает: «этот номер не пройдет»; вот если бы «прошел», тогда другое дело...

Выходит, «богиня богинь — Свобода», которую Пушкин В. Коростылева обожает и без которой гибнет, есть просто жалкая, дешевая, вполне совместимая с пресловутыми устрицами, «ребяческая воля, свобода либеральничать», о которой писал Блок.

Что же касается «творческой воли, тайной свободы», то, кажется, уже без всяких объяснений понятно, что отнимает ее в пьесе у Пушкина не кто-нибудь, а сам Пушкин В. Коростылева — если вообще такая свобода ему нужна...

И тут нельзя не привести; быть может, самого поразительного в этой пьесе места, где тема раздвоения личности, «игры с самим собой», поистине достигает кульминации:

«ЖУКОВСКИЙ. Так что же, тебе легче было бы в Петропавловке, в рavelине, под замком да штыком? ПУШКИН. Жуковский, душа моя, легче! Поверь, легче! Государь в тебя похвалу, что сахар в чай кидает. А ты, подлый, растворяешь ее в себе и сам чувствуешь, как сладок да угодлив становишься... Чем больше тебя хвалят, тем больше хочется угодить. И вот уж из тебя Булгарин лезет с верноподданническими стишками в зубы! (Схватив со стола листок, швыряет его в камин)».

...Итак, говоря грубым нехудожественным языком, интуитивное прозрение подсказало В. Коростылеву, что поэт Пушкин написал (или «мог написать», что то же самое) минимум одно подло-верноподданническое, в булгаринском духе, произведение, которое осталось нам неизвестным единственно по той причине, что автор, не постыдившись сочинить его, постыдился показать даже «царедворцу» Жуковскому и на его глазах эффектно сжег в камине.

И вот здесь, оставляя на совести В. Коростылева его интуитивные прозрения и члн в коем случае не вдаваясь в полемику с ним, следует наконец ясно и по возможности спокойно сказать, что существует известная разница между художественным вымыслом и обманом и что в своей «игре с Пушкиным» автор трагедии «Шаги командора» зашел непозволительно далеко.

Сказать это следовало, собственно, уже

давно, ибо и без приведенного здесь последнего штриха совершенно ясно, что изображенный в пьесе под фамилией Пушкин нравственно бесхребетный, испытывающий неудобство от сознания собственного двуличия, но сваливающий свою подлость на «условия» тихий «либеральный» пачкун к Пушкину, во всяком случае, никакого отношения не имеет.

В. Коростылев определил жанр своей пьесы как трагедию. В связи с этим возникает вопрос: существует ли, даже в сложном и драматическом современном мире, проблема добровольной подлости (ибо подлость, совершаемая от желания жить роскошно, есть подлость добровольная)? Существует ли эта проблема именно как проблема трагическая, то есть неразрешимая?

Если такая проблема, подходящая скорее к фарсу, и существует для кого-нибудь, то, применительно лишь к той — хочется верить — немногочисленной категории людей, которая, по словам Пушкина, «в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего... *Он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врете, подлцы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе... (Курсив Пушкина.— В. Н.).

«Мой Пушкин» — эта знаменитая формула очень привлекательна, но даже такие ее прекрасные качества, как демократизм и

человечность, могут обнаружить свою опасную — более того, подчас разоблачительную — оборотную сторону, когда мы забываем, что если к Пушкину — «русскому человеку в конечном его развитии» (Гоголь) — можно тянуться, можно стремиться, можно черпать в нем силы и веру, можно быть «в нем», — то обладать им не властен никто. Из истории известно, как группы людей и отдельные люди пытались подмять Пушкина под себя, объявить «своим», подкрепить и оправдать им свои взгляды, приспособить к своим интересам и намерениям и чем это кончалось. Историческое поземдие состоит в таких случаях в том, что рано или поздно все обнаруживает свою истинную цену. Выясняется, что Пушкин остается Пушкиным, а манипулятор саморазоблачается как манипулятор; что, стало быть, существует все-таки некая иерархия ценностей и что наряду с вещами, которые можно делать, есть вещи, которых делать нельзя.

В случае с пьесой «Шаги командора» все обстоит именно так: Пушкин остается Пушкиным, его трагедия — трагедией, а игра, в которую автор поистине «играет с самим собой», остается игрой, но с исходом, прямо противоположным тому, на который указывает «италийская поговорка».

В. НЕПОМНЯЩИЙ.



СМЕРТЬ У ЭШАФОТА

Джон Ле Карре. В одном немецком городке. Перевод И. Кулаковской-Ершовой и Т. Озерской. «Иностранная литература», 1970, №№ 1, 2, 3.

Джон Ле Карре. Убийство по-джентльменски. Сборник «Современный английский детектив». М. «Прогресс», 1971.

,,... Он лежал на мостовой как художник, который рисует на асфальте; вокруг неподвижно стояли люди. Они стояли, но ни один не касался его. Они сбились плотным кольцом вокруг, но оставили ему место умереть...»

Сколько жив человек? От рождения и до смерти... Но жив ли человек от рождения и до смерти? Быть может, он умер много раньше своего смертного часа? А может, вообще не родился?

В британском посольстве в Бонне исчез человек. После него остался его любимый стул с подушечкой да устойчивый запах дешевых голландских сигар. Сам же он словно испарился. Вместе с ним выветрились секретные документы из сорока трех па-

пок — общим весом, пожалуй, больше ста килограммов — тридцать три «входящих», как изящно именуются письма на бюрократическом эсперанто, и странный набор вещей, которые особой материальной ценностью, пожалуй, не обладали, но, как предположил один из сотрудников посольства, вполне могли облегчить быт беглеца за «железным занавесом». Ничего не поделаешь, приходится из Лондона выписывать ищейку...

Описание того, как Алан Тэрнер — специалист по деликатным поручениям — ищет Лео Гартинга, и составляет фабулу романа «В одном немецком городке» (1969 г.). Сам Гартинг лишь дважды появляется на его страницах — тенью в начале и трупом в кон-

це, но Тэрнер оказался хорошим агентом, он сделал много открытий — не только для Форин-оффис, но и для себя и, главное, для читателя.

«...Чего же ты все-таки добивался, Лео, ты, вор?»

Лео Гартинг действительно совершил преступление. Его преступление состояло в том, что из всех героев романа он один боролся против преступления, которое имело нарицательное имя — фашизм и имя собственное — Карфельд.

На то была своя причина. Лео был «человек, который все помнит...». Особенно «что-то по части истории».

Это «что-то» по части истории — была война.

...Сколько жив человек?

Лео Гартинг родился и умер. Всей жизни его было от силы несколько месяцев, но это была настоящая жизнь, полная борьбы и страданий, как, собственно, и полагается человеку. Мы и знакомимся с этим в эти последние «звездные» его дни.

Впрочем, тогда, во время войны, он жил тоже. У него была большая цель и большая ненависть (порою ненависть заменяет человеку любовь, и, чтобы жить, ему, нужно не любить — нужно ненавидеть!). Гартинг ненавидел фашизм. Но семья было посеяно слишком густо и «чрево еще плодovито, откуда такое пошло». В этой новенькой с иголки бундес-республике относились куда более благосклонно к бывшим преступникам, чем к их жертвам, впрочем, неизвестно, кого было больше в фатерланде. Да и что мог сделать один человек, когда все вокруг, казалось, сохранили лишь одно желание — забыть и забыться.

Тогда он тоже постарался забыть, потому что нельзя же в конце концов вечно помнить. Надо отдать ему должное; он имел на это право, утро его жизни, выпавшее на войну и на фашизм, было достаточно тяжелым...

А время шло, и события в государстве развивались так, как они развивались, и «новый национализм — этот старый враг» поднял голову. В сумерках боннских буден вновь появились серые автобусы штурмовиков — точь в точь как серые автобусы его юности.

Пошлость избранной позиции стала очевидной для Лео Гартинга. Ненависть ожила в нем, и в миг рухнули укрепления, которые он долгие годы возводил на своем персональном острове безопасности. Он

взялся за лидера неонаци Карфельда и скоро получил неопровержимые доказательства того, в чем не сомневался и раньше: что этот respectable пророк ультраправых, претендующий на будущее, в действительности человек с прошлым, в свое время он проводил опыты на живых людях.

Однако волей судеб и автора Лео оказался один — окруженный равнодушием и изменой. И тогда, вооружившись пистолетом, Гартинг выходит на площадь, чтобы превратить в эшафот гигантский помост, с которого Карфельд вещал перед тысячами своих неистовых приверженцев, но попадает в хорошо расставленную ловушку и погибает сам, в который раз доказав слабость и тщету индивидуального усилия по сравнению с безупречной эффективностью тоталитарной организации.

Но только ли это?

...Сколько жив человек? От рождения и до смерти...

Кто и что был Лео в той жизни, которую он так долго заставлял себя влечь, чтобы потом покончить с ней одним махом? «Всего-навсего сотрудник категории «Б» и к тому же временный», «в сущности никто». Это говорит о Лео не автор, одна из героинь романа. Ей простиительно спутать карьерные успехи с человеческими ценностями. Но ведь и в человеческом отношении он был «никто». «Ты не настоящий, пустая оболочка. Ты только имитируешь жизнь», — думает о нем другая героиня. «Не настоящий...» Позже, когда он «обретет себя» и «вернется к жизни», станет «таким, каким должен быть», она же скажет о нем: «Настоящий». И еще «Живой», «Полная противоположность» остальным — «мертвецам из мертвцов».

Да, он долго был живым трупом, и он ожил, чтобы тут же погибнуть, ибо именно в этой смерти, а не в тусклом существовании был апофеоз настоящей жизни. И уж коль пришлось к слову, давно ведь известно, что своего Героя настоящий писатель может отправить на смерть только ради вечной жизни светлой гуманистической идеи.

В чем смысл жизни и смерти Лео Гартинга? Но прежде: какой смысл? Его жизнь была победой здравого смысла, его смерть — торжеством высшего смысла. Каждому ясно, что последний выход Лео Гартинга на площадь наивен, глуп, бессмыслен, даже опасен (речь идет не только о Лео, он был обречен с самого начала, но и о деле, которое его вдохновляло) В реальной жиз-

ни его выстрел мог только спровоцировать волну реакции. Но ведь он прозвучал не в реальной жизни, в ней, как мы хорошо знаем по многим примерам из той же ФРГ или Западного Берлина, выстрелы неизменно следуют справа налево, а не наоборот. Он прозвучал в романе и «спровоцировал» он нашу тревогу за человека и за общество, перед которыми стоят вопросы жизни и смерти.

Автора романа «В одном немецком городке» интересует судьба человека в обществе, зараженном бактериями фашизма, а также, насколько судьба общества зависит от личных качеств человека: его силы или слабости, его идеализма или конформизма, его памяти или беспамятства. Он знает, что ценность человека — в его общественной значимости. Но он знает и другое, что зависит она от личных его свойств, от того, чем он готов быть. Не стоит только путать общественную ценность личности с приятным или неприятным приговором, который выносит человеку в данный момент данное общество. Это далеко не всегда равнозначно.

Вот Лео Гартинг предпринимает многолетнюю попытку раствориться в быте посольских работников, в их таких милых, добрых и человеческих маленьких хлопотах. И, став «душой общества», теряет себя. А вот он, убедившись, что «ему не на кого рассчитывать, кроме самого себя», вопреки всем и вся взгромождает на свои плечи миссию справедливости и, вновь обретя себя, становится героем... Свой смертный подвиг Лео совершает в одиночку, но ведь во имя людей, тех самых людей, которые ему не помогли — мешали, осуждали, в лучшем случае «по-человечески» сочувствовали. Он-то хорошо понимал и помнил (ибо разум часто это просто память), что фашизм не щадит ни робких, ни трусливых, ни склонных к компромиссам... В таком «индивидуализме» личности куда больше общественного, чем в ложной «общественности», основанной на безликости.

Быть как все... Лео нарушил этот неписанный закон, потому что у него было ощущение личного долга перед собой, людьми, историей. Но Брэдфилды, де Лиллы, Медоузы и Прашко, эти посольские божества и убожества, что осудили его и хладнокровно послали на смертную казнь, они ведь свято придерживаются заповедей всеобщей апатии, а не всеобщего действия. И поступают так не из любви «ко всем», а из любви к себе. Эгоистический конформизм умело

рядится под демократизм. Лояльность заведенному порядку освобождает от личной ответственности. Нет ничего более удобного для диктатуры. Недаром Гитлер специально «освобождал народ от химеры, именуемой совестью».

Совесть — этот первый гонг общественно-го чувства, подвигла человека на первый сознательный шаг — отказ от действий, с ней не совместных. Теперь жди второго гонга, и он может означать только одно — властное приглашение к бою в защиту своих идеалов.

Мысли не дают покоя, пока не воплотятся в достойном действии. Даже если это означает выйти к эшафоту на площадь одного немецкого городка с пистолетиком, оставшимся с войны, против неонацистской толпы — порождения всего послевоенного развития...

Джон Ле Карре (его настоящее имя Дэвид Корнуэлл) стал знаменит в 1963 году, когда вышел его роман «Шпион, который пришел с холода». Этот роман обладал классической добродетелью детектива — мастерски закрученной интригой. Каждый раз, когда читатель преисполнялся наивной уверенности в том, что сейчас-то ему все известно, фабула делала крутой вираж и выбрасывала самоуверенного шерлокхолмса, к его ваящему удовольствию, впрочем, на обочину сюжета, где ему предстояло заново строить здание своих догадок. Но вот уже последняя страница романа перевернута, все тайны раскрыты и неожиданностей больше не ожидается. А роман не отпускает. И вместо ощущения свежести в организме — нервы в меру пощечены, проделана гимнастика ума — остается чувство щемящей тоски.

На протяжении всей книги герой романа выполнял порученное ему задание, чтобы к концу ее понять, что он, сам того не догадываясь, играл совсем иную роль. Что он был просто марионеткой, которую дергали за ниточки. И не важно, что у этой марионетки была душа, что кукла сама стремилась сыграть свою роль как можно лучше. Все необходимые обстоятельства учтены и просчитаны холодным кибермозгом закулисного режиссера. Личность героя заранее не имела значения.

О чем этот роман? О «беспощадных, истине изуверских методах, с помощью которых английская разведка расправляется со своими неудачливыми сотрудниками и агентами и, замечая свои грязные следы,

жертвует их жизнями с чудовишно холодным расчетом?» — как написал рецензент романа в «Иностранной литературе» Д. Краминов. Да, и об этом тоже. Но самое главное — о степени свободы, вернее, несвободы человека в этом жестоко манипулируемом мире. И потому, когда судьба шпиона уже была решена, судьба человека продолжала волновать...

С точки зрения техники детектива, «В одном немецком городке» уступает этой вещи. Такое ощущение, что, если в первом случае автору самому нравилось играть в детективную игру, то во втором он лишь честно выполнял ее правила. Все сделано умело, профессионально — и не больше. Нет, автор еще не отказался от нее совсем, но она изрядно ему наскучила. В общем, я не удивлюсь, если рано или поздно имя Джона Ле Карре появится на романе, в котором вовсе не будет попыток заигрывания с сюжетом.

В этом плане интересно перелистать страницы романа Ле Карре «Убийство по-джентльменски» (1962 г.). Это ранняя работа писателя — не столько в смысле сроков появления (от «главной книги» — «Шпион, который пришел с холода» ее отделяет всего лишь год), сколько в смысле зрелости. Как детектив, роман «сколочен» вполне добротнo. Есть неплохие наброски характеров. И, пожалуй, главная удача — выписанные с точным сарказмом нравы британской закрытой школы. Однако, строго говоря, Карнская школа со всеми ее аристократическими пороками и мертвящими традициями — лишь произвольная декорация, в которой «поставлено» «убийство по-джентльменски». С таким же успехом автор «по ходу спектакля» мог нарисовать любой другой задник, представляющий или не представляющий самостоятельную художественную ценность. Утверждая что: «настоящий убийца здесь не какое-нибудь конкретное лицо, а Карн и то, что за ним стоит, — традиции и условности, слепым орудием которых является преступник», автор предисловия к сборнику «Английский детектив» В. Скороденко явно преувеличивает внутреннюю связь между местом и причиной преступления. Любопытно, что буквально то же самое утверждает еще один человек — герой романа, сам «джентльмен-убийца» Филдинг. «Нет, — сказал он, — нет. Карн их убил. Только здесь могло это случиться». Правда, справедливости ради должен заметить, что мотивы Филдинга, который пытал-

ся отвлечь от себя подозрения, и В. Скороденко неодинаковы. Перед автором предисловия к роману стояла благородная и не очень благодарная задача представить хорошего писателя по не самому удачному его произведению. В данном случае можно сказать, что грех преувеличения не очень велик.

Если читать «Убийство по-джентльменски» заинтересованно и после других романов Ле Карро, глаз невольно отметит некоторые знакомые формулы. «На протяжении всей своей секретной работы Смайли никак не удавалось убедить себя, что цель оправдывает средства...» Это о сыщике Смайли. «...на деле они — живые мертвецы» — о Филдинге, вернее, о филдингах. Но пока это даже не формулы, а фразы, знаки будущих открытий. Ле Карре еще предстояло найти и свою форму — социально-политический роман-детектив и свое содержание. Пойдет ли он дальше?

А пока он пишет о шпионах — реальных и мнимых, о дипломатах, политиках. Но так ли важна профессия героя? Куда важнее его человеческое достоинство.

Литература апеллирует не к цеху и не к сословию. Ее волнуют цель и цена человеческого существования. В сфере ее отражения может попасть и политика, почему бы и нет?

Кстати сказать, страницы романа, посвященные Бонну, британскому посольству, характеристике неонацистских вождей и толпы, блистательно точны, саркастичны, злы. Однако, как ни грустно это признавать газетчику, политический памфлет не может быть самоцелью литературного произведения. Литературу в первую очередь интересует Человек, то, что можно было бы назвать человеческой политикой.

Мысль Ле Карре в том и состоит, что в определенном смысле слова каждый человек является «политиком», обязан быть им.

Политика — это проблема выбора. Но жить или существовать — сегодня, завтра, всю жизнь — это-то уж точно проблема выбора.

«...В каждом из нас в юности сидит Лео, но к двадцати годам он обычно уже мертв». Это сказал один из героев романа «В одном немецком городке» Де Лилл, умный и тонкий циник, которому автор, однако, доверяет высказать некоторые свои грустные мысли...

Сколько жив человек?

А. ПУМПЯНСКИЙ.

Политика и наука

ЧИТАЯ СУХОМЛИНСКОГО

Книга, с которой мы хотим познакомить читателя, подписана в печать за два-три дня до смерти автора. Верстку Василий Александрович Сухомлинский читал, уже неспедаемый смертельным недугом. Читал, вновь и вновь взвешивая каждое слово, выстраданное, выношенное в муках и радости за тридцать пять учительских лет. Это была последняя прижизненная верстка Сухомлинского, ставшая ныне книгой «Рождение гражданина». Она недавно вышла в киевском издательстве «Радянська школа» на украинском языке. О ней-то и пойдет речь ниже.

Просто диву даешься, сколько успел сделать за свою недолгую жизнь израненный, болезненный человек с тихим голосом, с добрыми и чуть грустными глазами, — бесшумный директор Павлышской средней школы, замечательный педагог и талантливый ученый-исследователь, член-корреспондент Академии педагогических наук, Герой Социалистического Труда и — может быть, прежде всего — просто учитель, до последних дней своих — учитель!

«Вы спрашиваете, — писал он в одном из писем в конце 1969 года, — почему во время пребывания в Киеве я не зашел к вам в редакцию.

Мне всегда очень хочется зайти, но почему-то выходит так, что что-то мешает. Обязательно найду, как только приеду, хотя поездки приходится теперь очень ограничивать. Ведь я прежде всего учитель (разрядка наша. — *Авторы*). В этом году веду 4-й и занимаюсь с подготовительной группой — с шестилетними. Детей ведь не оставишь ни на день! Вот и приходится всегда спешить...»

Прежде всего — учитель. И так — тридцать пять лет. Единственный перерыв — война, впрочем, и она не отразилась на педагогическом стаже ни формально, ни по существу: ведь и на фронте политрук роты Сухомлинский не переставал чувствовать себя учителем.

Он воспитал несколько поколений школьников. Учил детей своих учеников и даже внуков. Учитель, особенно в селе, где легче проследить, как растет семейное дерево, чем-то сродни селекционеру. И тут посев от жатвы отдален годами, нередко только в третьем, четвертом поколении дают себя

знать в полную силу зерна, посеянные в самом начале. Пожалуй, только работа селекционера поглощает так, как педагогическая (конечно, если ты настоящий селекционер и настоящий учитель). Так же неограничен рабочий день. И нет выходных (дети, как и растения, требуют ухода и в выходные дни). И точно так же почти всегда не хватает лет, да что там лет — всей жизни, чтобы осуществить все задуманное, увидеть венец творения.

О нем говорили: не человек, а целое научное учреждение. За два десятилетия — более тридцати книг, сотни научных и публицистических статей. Неиссякаемый интерес ко всему новому, что появлялось в советской и мировой педагогической литературе (Сухомлинский читал в подлиннике немецкие, польские, чешские, английские, словацкие, японские, французские издания). Неустанное внимание к аспектам социально-психологическим, связанным с воспитанием детей (заинтересовавшись, например, проблемой преступности среди несовершеннолетних, Сухомлинский досконально изучает множество уголовных дел, встречается с «героями» пухлых судебных папок).

Статьи и книги Сухомлинского переведены на многие иностранные языки, издавались во всех социалистических странах, а также в Японии, США, Канаде. Кажется невероятным, что все это сделано одним человеком, сельским учителем, за одну короткую жизнь.

Откуда черпались силы? Как находилось время? Что вдохновляло его, чем он руководствовался?

По рассказам людей, близко и хорошо знавших В. А. Сухомлинского, трудно представить себе человека, более равнодушного к тому, что принято называть славой. Он никогда не гнался за ней и просто не замечал, что она сама его нашла. Став Героем Социалистического Труда, Заслуженным учителем УССР, членом-корреспондентом Академии педагогических наук, он оставался таким же скромным, чуть застенчивым на людях, каким был и в первые годы своей учительской работы.

Он мог, скажем, написать небольшую повесть, даже не помышляя о том, чтобы предложить ее издательствам, вообще не собираясь ее публиковать. Он адресовал ее

своим ученикам, просто читал ее школьникам. Многие уже готовые рукописи годами оставались в его письменном столе.

Свою знаменитую книгу «Сердце отдаю детям» Сухомлинский задумал как начало трилогии, имея в виду, что первая часть будет посвящена детству, вторая — отрочеству, а третья — юности.

«Дело в том, — писал он как-то сотруднику издательства «Радянська школа», — что третья часть тоже написана, но издавать ее я имею намерение лет через пять после второй книги, а может, и позже».

Душевная щедрость сочеталась в нем с редким бескорыстием. Вот одно из его писем главному редактору того же издательства.

«...Считаю необходимым сказать, что я передал 13.000 рублей гонорара финотделу нашего района для пополнения педагогической книги школьных библиотек района».

И в том же письме:

«...Действительно, положение таково, что я почти все деньги, полученные как гонорар, отдаю школе и, надо сказать, именно поэтому школа наша несколько богаче других...»

Охотно впуская читателя в свою педагогическую лабораторию, в удивительную, ни на какую другую не похожую, «страну Сухомлинского», автор почти никогда не рассказывал о себе как о человеке, о своей жизни, о своем прошлом. Тут он бывал предельно скуп и неразговорчив. В беседах с журналистами на эти темы, как говорится, не открывался, в собственных статьях и книгах — тем более.

И лишь однажды, что называется, раскрывшись, рассказал о себе такое, чего и предположить не могли ни читатели его, ни многие люди, даже знакомые с ним лично. Весь рассказ занял несколько страниц машинописного текста. Это было послесловие к немецкому изданию книги «Сердце отдаю детям». Оно настолько примечательно, в нем столько личного и выстраданного, что хочется привести его полностью, тем более что на русском языке оно публикуется впервые. Вот его перевод с немецкого:

«К НЕМЕЦКОМУ ЧИТАТЕЛЮ

Дорогой друг.

Вы прочитали книгу о становлении человека. О маленьком ребенке, перед которым только открывается окошко в мир.

Эта книга вышла на русском языке в

украинском издательстве «Радянська школа». Автор перевел книгу на немецкий язык, и его искренним желанием является то, чтобы книга эта была прочитана каждым немецким учителем.

Почему автор заинтересован в том, чтобы книгу «Сердце отдаю детям» прочитал именно немецкий педагог? Для этого есть серьезные основания. Это желание обусловлено не только общественными, социальными причинами, но и теми источниками, которые породили настоящую книгу.

На немецкой земле родился фашистский зверь, который принес неисчислимые страдания народам. Если бы не геронческий подвиг советского народа, если бы не двадцать миллионов наших советских людей, погибших в кровавой битве за свободу человечества, мир был бы превращен в громадную фашистскую душегубку, в адскую печь, подобную печам Майданека и Освенцима, Маутхаузена и Бухенвальда, где сожжены миллионы людей, в бездонный Бабий Яр, где расстреляны десятки тысяч детей.

В этой книге рассказывается не только о радостных, светлых страницах детства. Читатель найдет здесь и рассказы о детском горе. По-моему, вряд ли может быть в стенах школы что-либо более противное самому духу коммунистического воспитания, чем горе ребенка. Но оно было, от этого никуда не уйдешь. Его принесла война. Это горе надо было рассеять. Вся сложность и мучительная трудность, вся изумительная роскошь и радость, все тревоги, все боли и огорчения, муки и торжество воспитания в том и заключаются, чтобы в сердце ребенка поселились счастье и радость.

Я отдал этому жизнь. Для меня величайшее счастье быть с детьми; единственная настоящая роскошь для меня — это, по словам Сент-Экзюпери, — роскошь человеческого общения. Я хочу, чтобы эта книга заставила немецкого педагога задуматься над огромной ответственностью за судьбы будущего, потому что будущее — это душа человека. Я хочу, чтобы немецкий учитель понял, что от него в большой мере зависит, кем станет его питомец, какие моральные ценности будут вложены в его душу.

Для того чтобы немецкий педагог — читатель этой книги — понял мое моральное право говорить эти слова, я расскажу о том, что одухотворяет мою любовь к детям и ненависть к фашистскому зверю.

Я начал свой педагогический труд в 1935 году. В 1941 году моя жена, Вера Петров-

на, окончила Кременчугский учительский институт. Мы собирались устроиться в той школе, где я работал. Мы были молоды и полны радужных надежд на будущее.

Наши надежды разрушила война. С первых дней войны я ушел на фронт. Никто тогда не мог предполагать, что через пять недель на берега Днепра придут фашисты. Я верил, что скоро вернусь с победой. Расставаясь, мы мечтали о том, что у нас будет сын или дочь.

Но пожар оказался не таким, как думалось. Я не получил из дому ни одного письма. Село, где у своих родителей жила жена, было оккупировано фашистами. Жена с двумя подругами распространяла листовки, сброшенные нашими летчиками, перепрыгивала бежавших из плена советских солдат, прятала оружие и передавала его пробиравшимся через Днепр советским воинам. Она была арестована гестапо. Несколько дней ее подвергали нечеловеческим пыткам, добиваясь того, чтобы она назвала фамилии руководителей антифашистской организации. Вера и ее подруги молчали.

В застенке у Веры родился сын. Лицемерно обещая Вере жизнь, фашисты совершили страшное преступление. У меня вот уже двадцать пять лет горит сердце, когда я хоть на мгновение представляю себе то, что произошло в фашистском застенке. Сына, которому было несколько дней от роду, фашистский офицер привязал к ножке стола, а Веру привязали к железной койке. Фашисты надругались, глумились над женой. Потом гестаповец отвязал сына, поднес его к жене и сказал: если не скажешь фамилии руководителей организации, ребенок будет убит. И убил. А Вере выкололи глаза, ее повесили во дворе тюрьмы.

Это было как раз тогда, когда я, сражаясь на фронте, был тяжело ранен под г. Ржевом. У меня прострелена грудь, несколько осколков металла и сейчас еще сдвигаются в легком.

Когда наш Онуфривский район был освобожден от фашистов, я, приехав домой, узнал о страшной трагедии. На допросе я слушал показания предателя-полицейского, который присутствовал во время пыток. На моих глазах полицейского повесили по приговору суда. А фашистский офицер ушел от возмездия. В памяти у меня осталась только его фамилия, а в кармане в маленьком белом конвертике лежит его фотокарточка. Как пепел Клааса стучал в грудь Тиля Уленшпигеля, так эта фотокарточка жжет

мое сердце, напоминая каждую минуту, что в мире есть фашизм. Никогда не померкнет в моем сознании картина страшного преступления зверя-гестаповца. Вечно стоит перед моими глазами сын, привязанный к ножке стола. Не забуду я никогда, как гестаповец убил сына, ударив головкой о каменную стену так, что кровь залила стену. Не забуду никогда, как маленькое тельце фашистский ублюдок — предатель-полицейский выбросил в мусорную яму во дворе тюрьмы, как несколько дней торчали из ямы ножки...

Возвратившись в родное село, я хотел снова пойти воевать. Хотел встретиться лицом к лицу с зверем-гестаповцем, хотел понять, как могло получиться, что таких зверей рожали люди-матери. Но в армии мне служить больше не пришлось — ни одна медицинская комиссия не могла признать меня даже «ограниченно годным».

Я опять пошел в школу. Работать, работать, работать — в этом я находил хотя бы в какой-то мере забвение от горя. Целые дни я был с детьми. А ночью просыпался в два, в три часа и не мог уснуть — работал. Ждал с нетерпением утра, когда зазвучит звонкоголосое детское щебетанье. И сейчас я каждое утро жду детей — с ними мое счастье. Подобно герою романа М. Шолохова «Поднятая целина» я взялся за изучение немецкого языка. Верил (и сейчас верю), что когда-нибудь мне суждено будет встретиться с зверем, истязавшим и убившим мою жену и моего сына, и я смогу сказать ему по-немецки то, что я думаю вот уже двадцать пять лет, то, что никогда не забывается и никогда не прощается. Я изучил немецкий язык и знаю его в совершенстве. Потом принялся за польский, чешский, болгарский, английский, французский, испанский, японский. Изучил эти языки, а времени все равно много, от двух часов ночи до утра — целая пропасть времени.

Меня иногда спрашивают: как вам удалось написать так много? Да, много: опубликовано 310 научных трудов, в том числе 32 книги. Меня вдохновляли и вдохновляют два чувства — любовь и ненависть. Любовь к детям и ненависть к фашизму, к бесчеловечности.

Я несколько раз бывал в Германской Демократической Республике. Когда я впервые ступил на немецкую землю, впервые увидел глаза немецких детей, я вздохнул с облегчением: Германская Демократическая Республика — это новый мир, мир социализ-

ма, мир непримиримости к фашизму во всех его проявлениях. Я рад, что у меня есть в ГДР много друзей — педагогов, ученых, детей.

Но я знаю и то, что яд фашизма способен проникать через самые, казалось бы, незаметные щели. На вас, педагогах первого в мире рабоче-крестьянского немецкого государства, лежит особенная ответственность за душу того, кто приходит в школу маленьким мальчиком — несмышленишем и уходит в жизнь зрелым человеком. Задача социалистической школы заключается в том, чтобы те, кого мы воспитываем, были настоящими людьми — ленинцами, коммунистами — подлинными гуманистами. Подлинный гуманизм заключается в борьбе за коммунизм во всем — и в труде, и в экономике, и в душе человеческой. Нельзя быть гуманистом, если ты не ненавидишь фашизм, ростки которого вот уже пробиваются и в Западной Германии, и в других странах.

Дорогие друзья, немецкие педагоги. Воспитывая человечность, чуткость, чувство уважения к человеческому достоинству, нельзя ни на минуту забывать, что фашистские убийцы, звери, провозгласившие себя в свое время сверхчеловеками, тоже были детьми — радовались солнцу, а позже писали сердечные письма своим матерям и невестам. Садист-убийца, разбивший детскую головку о каменную стену, лаская, гладил по головке своего сына, свою дочь — на фотографии, с которой я никогда не расстаюсь, он с двумя маленькими детьми и женой. Нет человечности абстрактной, человечности вне той острой политической борьбы, которая происходит в наши дни в мире. Но эта человечность — человечность борца, непримиримого к какому бы то ни было угнетению, рабству, произволу вырастает из многих крупинок — из общечеловеческой моральной культуры.

Н. К. Крупская в своих воспоминаниях рассказывает, что В. И. Ленин настоящим человеком считал того, кто любит людей. Вдумаемся в глубокий смысл этих слов. Что значит любить людей в наше сложное, трудное время? Нам, педагогам, надо одухотворить каждого своего питомца высоким, благородным идеалом: настоящий человек тот, кто борется за счастье людей, кто не пожалеет сил, а если надо будет — и жизни, во имя того, чтобы в мире никогда не было угнетения человека человеком, социальной несправедливости, произвола. Чтобы к серд-

цу человеческому навсегда был прегражден доступ зверю».

...Как сказал поэт, тут ни убавить, ни прибавить. Личная трагедия часто опустошает, порой ожесточает человека, а бывает, как это случилось с Сухомлинским, она придает новые силы, появляется все пре-возмогающая целеустремленность — впрочем, эти качества приходят, пожалуй, только к людям очень мужественным, сильным духом. Таким человеком оказался Василий Александрович. И теперь мы знаем, откуда он черпал силы, где брал время, чтобы столько сделать, чтобы прожить за свою недолгую жизнь, по сути, несколько жизней — и каких!

* * *

«Рождение гражданина» — продолжение книги «Сердце отдаю детям».

— У каждого человека, — часто повторял Василий Александрович, — должна быть своя главная книга.

Для него самого такой главной книгой — итогом всего сделанного — стала задуманная трилогия.

— Трилогию о воспитании гражданина хочется завершить книгой о юношестве, о поре мужания, — делился он своими замыслами. И при этом невесело шутил: — Эх, как бы дожить бы...

Не дожил, хотя спешил очень, что в какой-то степени даже сказывается — особенно во второй книге: встречаются повторы, кое-где нарушена композиционная стройность. Но и сами эти недостатки позволяют острее ощутить взволнованность, горячую заинтересованность автора.

Весь тираж «Нарождения громадянина» на украинском языке разошелся — нет, не то слово — расхвачан буквально за несколько часов. Интерес к книге огромен. Будет, очевидно, новые, массовые издания. Несомненно, со временем она появится на русском и других языках. Но мы считаем своим долгом уже теперь, не откладывая, познакомить русского читателя с этой книгой, которую воспринимаешь как завещание и как эстафету замечательного педагога.

«Рождение гражданина» — емкое и точное название.

Детство — время посева. Отрочество — пора первых всходов. Книга — пусть эти строки послужат приглашением в путешествие — вводит нас в мир добрый и мудрый, пахнущий землей и травами, согретый щедрым степным солнцем. В мир беспокой-

ной мысли и бурной кипящей энергии, открытой настежь всем ветрам эпохи.

Давайте же войдем в этот мир, где на наших глазах совершается одно из величайших таинств — рождение гражданина.

Глазами подростка

С чего начинается гражданин?

В каких обстоятельствах, когда, благодаря чему рождается он в беспокойной, часто такой загадочной для нас, взрослых, душе подростка? Как воспитателю не прозевать этот момент и — что еще хуже — не заглушить, не растоптать первый гражданский порыв, первые гражданские движения души непродуманной реакцией, неосторожным словом?

Почему пай-мальчик в третьем или четвертом классе, спокойный, внимательный, предупредительный, чуткий, — уже в пятом, особенно в шестом-седьмом классах порой становится совсем другим: несдержанным, грубым, вызывающим, болезненно самолюбивым, нетерпимым как к требованиям педагога, так и к его слабостям, резким и прямолинейным в суждениях об окружающем его мире, особенно — о поведении старших?

Всегда ли эта нетерпимость — зло?

Почему нормальные дети становятся трудными подростками? Как найти ключик такому трудному?

Тысячи вопросов, тысячи «почему». Всегда ли, чтобы найти на них правильный ответ, достаточно приобретенного опыта, знаний? Не оттого ли многие просчеты и беды в нашей работе с подростками, что мы разучились, не умеем и не стремимся смотреть на мир, на самого себя глазами тех, кого воспитываем?

А если попробовать? Ведь в каждом из нас где-то подспудно живет и подросток, и юноша. Сухомлинский решился. И мы, читатели его книги, становимся свидетелями уникального психологического эксперимента. «Я глазами подростка» — так назвал Василий Александрович свой, столь необычный дневник.

«Удивительная, непонятная вещь, — пишет Сухомлинский, — мой требовательный, дерзкий, непокорный, резкий и прямолинейный в суждениях подросток заметил во мне во сто крат больше недостатков, нежели я даже мог подумать о себе».

Откроем и мы с вами несколько страничек этого необычного дневника. Вот, к примеру, такая запись:

«Учитель мой страдает «толстокожестью» восприятия явлений окружающего мира. На его глазах мальчик обидел девочку. Он смотрит на обидчика спокойно, безразлично. Он говорит девочке: «Придется поговорить с обидчиком. Поговорю завтра. Пусть повторит слова, которыми обидел тебя». Проходит день, два, учитель где-то в глубине сознания сохраняет мысль о том, что с обидчиком следует поговорить... Но это только ленивая, как сонный кот, мысль. А обидчик тем временем говорит девочке: «Ничего мне не будет. Учителя забывают о поступках своих воспитанников. Надоедает им, учителям, возиться с нами...»

Или такое наблюдение:

«Мой учитель неделю назад положил на стол книгу, которую ему обязательно надо прочесть. Каждый раз, садясь за стол, он взглянет на книжку и берется за что-то другое. А вчера положил книгу на полку».

Поучительные записи — не так ли? Невольно возникает соблазнительная, правда, кажущаяся рискованной идея: а что если и самому попробовать? Сухомлинский поясняет, почему так важно разбудить в себе подростка, его кипучую, беспокойную, бескомпромиссную ко злу совесть:

«Подросток видит то, что еще не видит ребенок; он же видит и то, чего часто уже не видит, вернее, не замечает взрослый, ибо многое становится для нас слишком обыденным». «Видение мира у подростка — единственное в своем роде, уникальное, неповторимое состояние человека, которое мы, взрослые, часто совсем не понимаем, мимо которого невозмутимо проходим».

К чему ведет такое непонимание?

Вот два ученика, два подростка. Один — спокойный, предупредительный, учится на четыре и пять. Назовем его Женя. Всегда говорит именно то, чего от него ждут. С таким учеником живется легко. Он не вызывает никаких тревог ни у воспитателей, ни у учителей. А рядом — трудный Виталий, дерзкий, порывистый, с неожиданными выходками, с «каверзными» вопросами и репликами. Кто из них больше нуждается в воспитании?

Как легко здесь ошибиться. Как часто не замечаешь в легко воспитуемом удобном пятерочнике Жене проклевывающиеся плевелы обывателя, равнодушно внимающего добру и злу.

А Виталий? В начальных классах он был примерным в учебе, поведении. В шестом — дерзит, грубит на каждом шагу. «Словно

кто новую душу вдохнул в мальчика», — рассказывал о нем на заседании педагогического совета классный руководитель.

Что сделало его таким? И тут классного руководителя словно осенило: вспомнил не давнее ЧП в классе.

На политинформации комсомолка-десятиклассница рассказывала о жизни в нашей стране и за рубежом. В соседнем колхозе — привела пример десятиклассница — выращен и собран высокий урожай сахарной свеклы. Честь и слава людям, работавшим по-коммунистически.

Все шло хорошо: и тема беседы актуальная, и пример местный. Но тут поднялась рука «возмутителя спокойствия».

— Моя мама месяц сидела на земле, очищая свеклу, — волнуясь и краснея, заговорил Виталий. — Заболела, теперь лежит в больнице. Разве это коммунистический труд? Почему мужчины почти не работают в поле, на ферме? Почему самую трудную работу дают женщинам?

— Ты думаешь, что говоришь? — рассердился классный руководитель, не осознавая еще, что мальчик говорит горькую правду. — Какой же ты пионер? — произнес он и почувствовал вдруг, что глубоко оскорбил ученика.

Но было уже поздно.

— А какой же вы учитель? — тихо, дрожащим голосом сказал Виталий. — Разве можно женщине сидеть на сырой земле? Вы же сами учите бороться за правду!..

Комментируя этот эпизод из практики своей школы, Сухомлинский пишет: «Бывает, мы допускаем странное и непростительное противоречие — учим своих воспитанников быть правдивыми, говорить правду и только правду и одновременно стремимся погасить горячий порыв молодой души, вызванный непримиримостью ко злу, обману, несправедливости. Подросток, в отличие от ребенка, начинает обобщать как добро, так и зло; в отдельных фактах он уже видит явление; и от того, какие мысли, настроения вызывает в его душе это явление, зависят его убеждения, взгляды на мир, мнения о людях. Да, годы отрочества тем и отличаются от детства, что человек в этом возрасте видит, чувствует, переживает не так, как в годы детства».

Когда мы, взрослые, сознательно или несознательно, не доверяя или разучившись понимать, в административном раже или «побеликовски» страшась, как бы чего не вышло, стремимся погасить горячий порыв мо-

лодой души, то далеко не всегда осознаем последствия.

«Ребенок недисциплинирован и зол, потому что страдает» — это тонкое и верное наблюдение принадлежит замечательному польскому педагогу Янушу Корчаку (заметьте, что у Януша Корчака и Сухомлинского очень много общего: и постоянное стремление не снисходительно, как это делают многие взрослые, опускаться в мир детства, а тянуться в высоту к ребенку; и умение смотреть на себя глазами — в зависимости от ситуации — и детскими, и подростка, и юноши; и огромная вера в маленького человека, гражданина — вера и доверие; и, наконец, драгоценный сплав педагога-практика с педагогом-исследователем, ученым, публицистом).

А страдает подросток часто оттого, что начинает понимать: взрослый, в котором виделся ему образец, пример, далеко не всегда поступает так, как учит. И рушится кумир.

А он крайне необходим подростку.

«Отрочество, — пишет Сухомлинский, — отличается тем, что человек не только открывает человека (это характерно и для детства), но и ищет человека».

Молодое существо, в котором рождается гражданин, не может жить без духовной близости с умудренным жизненным опытом человеком старшего поколения. Дружба с взрослыми необходима подростку прежде всего как источник утверждения чувства собственного достоинства.

«Я знал подростков, которые были несчастны потому, что были одиноки, — пишет Сухомлинский, — мир взрослых для них был недостижимым и непонятым; о взрослых у них складывалось представление только на основе общений с излишне требовательными, суровыми, придирчивыми воспитателями. Огромная педагогическая мудрость необходима для того, чтобы правильно ввести подростка в мир взрослых. Мы, учителя, стали друзьями своих воспитанников, лишенных счастья отцовской и материнской мудрости».

Родителям Василий Александрович всегда советовал:

— С большим тактом и уважением относитесь к личности человека, в котором рождается мужчина или женщина; ваши взаимоотношения с подростком должны быть пронизаны духом равенства и в то же время духом уважения к жизненной мудрости старших; дорожите стремлением подростка

к самостоятельности, не обижайте недоверием и подозрительностью и в то же время знайте все о своих детях, знайте без слежки и навязчивого контроля. Учите зрелости суждений и поведения, утверждайте важную моральную черту зрелости — чувство ответственности за свое поведение.

В книге Василия Александровича немало того, что называется прописными истинами. Что можно сказать по этому поводу? Во-первых, истина еще никому не вредила и хорошо, что она авторитетно повторяется, тем более, что в педагогике это принято. А во-вторых, Сухомлинский как бы углубляет наше восприятие прописных истин, он буквально притягивает их к явлениям нашей жизни, неожиданно проецирует на узловые вопросы воспитания, заставляя читателя задуматься. И в этом — думайте! — быть может, главный смысл его работы, основная цель всей его педагогической жизни.

Сущность многих трудностей отрочества Сухомлинский видел во взаимном непонимании и недоверии: взрослые порой не понимают духовного мира подростков, а подростки, не понимая взрослых, относятся к ним с настороженностью и предубеждением, полагая, что каждый шаг взрослых направлен на ограничение самостоятельности. Важную воспитательную задачу усматривал он в том, чтобы подростки правильно понимали единство своей самостоятельности и обязанностей перед другими людьми.

«Без друга-взрослого подросток не может понять той истины, что самостоятельность отрочества имеет свои разумные границы, а свобода немыслима без обязанностей и ответственности, — утверждает он. — Без радостной, одухотворенной высокими идеалами дружбы с взрослым невозможны, просто немыслимы духовно богатые отрочество и юность. Если среди ваших воспитанников есть лишенные теплоты и радости в семье, воспитать их правильными людьми поможет только дружба с взрослыми. Но, чтобы быть другом подростка, надо глубоко знать его духовный мир, сердцем чувствовать и отзываться на тончайшие мысли, желания, тревоги».

Мало кто так понимал духовный мир подростка, как Сухомлинский. Он неустанно заботился о том, чтобы его воспитанники переживали многогранные, разнообразные оттенки таких благородных чувств, как угрызение совести, жалость, сочувствие, тревога и беспокойство о добре, благе и радости других людей. Василия Александровича

всегда беспокоило: сможет ли его воспитанник, встретясь с человеком, почувствовать, что у него неспокойно на сердце, что он переживает глубоко затаенное горе? Сумеет ли подросток прочитать в человеческих глазах горе, отчаяние? Он считал, что эта азбука эмоциональной культуры является вместе с тем азбукой морального благородства, без которого невозможны истинное братство людей, непримиримость ко злу, дружба, счастье, преданность высоким идеалам. Эмоциональную культуру он образно называл правильно настроенными струнами скрипки. Только тогда, когда скрипка настроена, на ней можно играть. Только тогда, когда человек познал азбуку эмоциональной культуры, его можно воспитывать. Без эмоциональной воспитанности напрасными будут слова о формировании и утверждении высоких гражданских чувств.

Сам Сухомлинский постоянно искал и находил самые разнообразные формы обучения своих учеников этой азбуке:

«Чтобы мальчики и девочки освоили азбуку эмоциональной культуры, я водил их в путешествие к людям. Мы встречались с людьми в поле, на ферме. Я учил мальчиков и девочек прислушиваться к словам старших, читать в их глазах мысли и чувства, принимать близко к сердцу все, что волнует, тревожит, беспокоит их. Мне доставляло большую радость то, что стремление познать душу человека облагораживает чувства мальчиков и девочек, делает более тонкими и чуткими их юные сердца. Однажды я рассказал им — шестиклассникам — о тяжком горе матери, у которой маленький мальчик недавно покатился, играясь найденным в земле патроном. Встреча с слепым мальчиком глубоко взволновала подростков. Через несколько дней после этого поздно вечером ко мне пришла Люда — маленькая белокожая девчушка. Со слезами на глазах она рассказала:

— Мама сегодня целый день в глубокой печали сидит у стола, склонив голову на руки; я зову ее, спрашиваю: «Что с вами, мама?», — а она молчит, словно не слышит. Помогите, посоветуйте, что делать...

Девочка научилась понимать страдание».

В книге есть и примеры иного рода. Куда, в какие страшные потемки может завести дремучий примитивизм духовного мира, Сухомлинский прослеживает, анализируя трагическое происшествие в одном маленьком тихом местечке.

Четырнадцатилетний подросток катался на коньках. Увидев восьмилетнего мальчика, он подозвал его к себе и сказал:

— Катайся вон там — лед хороший, ровный, — и показал в сторону проруби.

Мальчик попал в прорубь, погиб, а подросток, покатавшись еще с часок, возвратился в город, рассказал товарищам о том, как ему удалось обмануть малыша. Убитые горем родители мальчика спрашивали:

— Ты же знал, куда посылаешь ребенка, неужели сердце твое не содрогнулось?

Подросток спокойно ответил:

— Я не толкал его в прорубь. Он сам поехал туда. Я только посоветовал ему там кататься — лед там ровный...

— Почему же ты сразу не прибежал к нам? Ведь мальчика можно было еще спасти...

На это подросток ответил:

— Не мое дело бегать. Каждый за себя отвечает...

Василий Александрович беседовал с виновником этого дикого случая, разговаривал с его родителями, с пионервожатой.

«Открылась угнетающая картина, — пишет он. — Ни у родителей, ни у их единственного сына не оказалось никаких духовных интересов. Люди встречались только для того, чтобы вместе поесть. Мальчик знал только два чувства: удовлетворения и неудовлетворения. В семье превыше всего ставили низменные потребности: хорошо поесть, выспаться. Подросток не знал, что такое радость потребности общения с человеком, ему недоступна была радость творения добра, счастья для других людей. В школе довольствовались тем, что парень учился без двоек и не отличался как нарушитель дисциплины. Когда я спросил воспитательницу, какие духовные потребности воспитала она или имела намерение воспитать у подростка, они ничего не могла сказать. Не услышал я ни слова в ответ и на вопрос о том, на что отдавались, во имя чего истрачивались духовные силы этого человека в годы детства и отрочества. По сути, в школе не думали над самыми главными, коренными вопросами воспитания человека».

Закладывать человеческий корень

Подросток из маленького тихого местечка — один из 460 правонарушителей, заинтересовавших Сухомлинского («Я изучил

материалы следствия 460 криминальных дел — сначала в масштабе района, затем — области»).

Интерес его к несовершеннолетним правонарушителям не случаен: он справедливо считал, что в правонарушениях и преступлениях наиболее ярко раскрывается зависимость следствия от причины. При этом он часто повторял свое любимое выражение. В детстве закладывается человеческий корень.

«Я все больше убеждался, — писал он, — что моральное лицо подростка зависит от того, как воспитывался человек в годы детства, что заложено в его душу от рождения и до 10—11 лет. По природе своей детский возраст не может преподнести родителям и воспитателям те трудности, которые преподносит отрочество. Подросток — это, образно говоря, цветок, красота которого зависит от ухода за растением до того, как цветок раскрыв свои лепестки. Заботиться о красоте цветка надо намного раньше, чем он начинает цвести. Растерянность, удивление перед «фатальными», «неотвратимыми» явлениями отрочества похожи на растерянность и недоумение садовника, который бросил в землю семена, не зная твердо, какие это семена, — розы или чертополоха».

Как это происходит в жизни? Всегда ли своевременно закладывается в ребенке человеческий корень?

«Я с тревогой все больше убеждался, что в годы детства у многих — даже у лучших — воспитателей воспитанник проявляет себя весьма односторонне: о том, хороший или плохой воспитанник, воспитатель делает вывод только на основании того, как тот выполняет нормы и требования порядка: послушный ли, не нарушает ли правила поведения. В послушании и покорности многие воспитатели усматривают внутреннюю душевную доброту, а это далеко не так. В годы отрочества такого очень бедного проявления человека уже слишком мало: он стремится проявить себя в сложной гражданской, общественно активной деятельности...»

Читая это место у Сухомлинского, мы вспомнили одного знакомого преподавателя школы, который более всего на свете любит собственный покой и абсолютную тишину в классе, а паче всего ненавидит всякие вопросы своих учеников, особенно «заковыристые». Увы, они еще встречаются, такие, с позволения сказать, учителя.

«В ком я вижу дурной дух да насмешливость, я тому — нуль, хотя он Соломона заткни за пояс!» — говорил некогда подобный любитель «тишины и хорошего поведения», который, как и другой литературный герой — Беликов, «терпеть не мог умных и острых мальчиков; ему казалось, что они обязательно должны над ним смеяться». Напомним читателю, что самым любимым учеником этого педагога стал мальчик, который «постигнул дух начальника и в чем должно состоять поведение. Не шевельнул он ни глазом, ни бровью за все время класса». Был послушен и покорен, не задавал никаких вопросов и вырос... Чичиковым.

Да простится нам это невольное отступление, но вслед за ним мы хотим привести цитату из статьи Сухомлинского, опубликованной «Комсомольской правдой» в 1971 году, уже после смерти автора. «Мои любимыми воспитанниками являются не послушные и безропотные, готовые со всем соглашаться и во всем повиноваться, а своенравные, волевые, беспокойные, иногда проказники и шалуны, но бунтари против зла и неправды, готовые отдать голову на отсечение, но отстаивать принципы, которые стали неотделимы от их личности». Для автора этих строк самое страшное зло — равнодушие: «Если есть равнодушие — нет подлинной личности», и появляется, по его же образному выражению, «душа, застегнутая на все пуговицы».

А между тем, обучая школьника всем программным наукам, часто забывают, что труд ума без труда души недостаточен для формирования личности.

Человеческий корень — это не только и не столько четверки и пятёрки, сколько готовность уже в детстве отдавать все богатство своего сердца людям, узнавать самые тонкие движения души другого человека.

Для Сухомлинского — и он подчеркивает это неоднократно — главная цель воспитания — не пятерочки и «хорошисты», а — Человек.

Об этом стоит поговорить подробнее. Фетишизация отметки — процент и процентомания — одно из существующих зол нашей школы. Нельзя, как это нередко еще случается, отрывать оценку знаний от оценки нравственных качеств подростка, юноши. Благополучный табель убаюкивает, а ведь не секрет, что обладателем его может оказаться и почти законченный обыватель, для которого, кроме его отметок, все в мире —

грин-трава; и потенциальный карьерист, с ранних лет прокладывающий себе путь локтями; и циник, который в гладком пятерочном сочинении пишет не то, что думает, а то, что, как он заранее рассчитал, от него ждут; и юный эгоист, плюющий с высоты своего эмоционального убожества на своих же «предков».

Бывает и наоборот. Двойка в таблице — она ведь случается не только от лени — заслоняет, перечеркивает в глазах воспитателя какие-то очень важные движения юной души.

Жизнь потом выставляет свои отметки. Бывшие троечники, увлекавшиеся каким-то одним предметом в ущерб другим, становятся «вдруг» крупными учеными, знаменитыми актерами, талантливыми организаторами производства да, наконец, просто — хорошими людьми. А бывшим пятерочникам главный экзаменатор — жизнь порой безжалостно выставляет тройки и даже двойки.

«В нашей педагогической работе нелегко найти критерий оценки результатов воспитания и самовоспитания. Критерий заключается в том, прежде всего, как и как граждане выходят из школы, какой у них уровень политического сознания, что они утверждают своей работой и поведением, за что и против чего борются, что любят и что ненавидят. Одной из граней гражданского, политического сознания человека является его ответственность перед собственной совестью — это вместе с тем и один из критериев воспитанности. Если вам удалось достичь того, что ребенку наедине с собой стало стыдно, стыдно самому перед собой за свой неблагоприятный поступок, если ребенок стремится стать лучше, чем он есть, если в его сознании не только живет, но и становится собственным убеждением представление о том, что лучше и что хуже, то это означает, что вы видите результаты своей воспитательной работы».

Человек не прост — это известно, особенно же сложен, взрывчат мир подростка. Сухомлинский напоминает об этом каждой строкой своей книги. Он принципиальный противник двоек («Двойка унижает, убивает веру в себя»). По его мнению, лучше еще и еще раз объяснить, дать новое задание. Он против примитивных воспитательных приемов: окрика, принуждения, наказания. Особенно — физического.

«Особой моей заботой было то, чтобы

детское сердце не огрублялось, не озлоблялось, не делалось холодным, равнодушным и жестоким вследствие физических методов «воспитания» — ремнем, подзатыльником, тумаком. Я всегда убеждал родителей, что физическое наказание — это показатель не только слабости, растерянности, бессилия родителей, но и крайнего педагогического бескультурья. Ремень и тумаки убивают в детском сердце тонкость и чуткость, утверждают примитивные инстинкты, развивают пагубные наклонности, распускают человека, одурманивая его ядом лживости, подхалимства. Дети, воспитанные ремнем, становятся бездушными, бессердечными людьми. На своего товарища по школе поднимает руку только тот, кто сам испытал и продолжает испытывать «прелести» домостроевского воспитания. Преступления и правонарушения подростков тоже в значительной мере являются следствием «кулачного» воспитания».

Казалось бы, все то, что здесь говорилось, никакого отношения к нашему учителю, к нашей школе, где давно запрещены телесные наказания, не имеет. Да, конечно. Но все, оказывается, значительно сложнее: учитель — и мы знаем, что это так — может и физически наказать своего питомца: правда, не своими, а родительскими руками.

Как-то наш приятель показал нам дневник своего сына-первоклассника. Подчеркиваем: первоклассника. Записи учителя «хулиганил на переменке», «разлагает класс», «сорвал урок», «крутился», «разговаривал».

Ни одного доброго слова. А ведь мальчик как мальчик. Учится весьма успешно по новой программе, по-ребячески увлекается археологией и массой других вещей («Щелкунчик — уже не обезьяна, но еще не человек. А почему щелкает?» «Потому что челюстями щелкает?» «Скажи, па, будь у Спартака двадцать современных танков, он бы победил Красса?»).

Интересы — явно не хулиганские, а в дневнике неуды по поведению, записи о хулиганстве. Наконец выяснилась причина: разговоры в столовой, бегание во время перемены. Родители узнали об этом от учителя, обеспокоенные «страшными» записями. Хорошо, что они — решительные противники телесных наказаний.

А ведь бывает по-иному. И Сухомлинский об этом пишет горячо и убежденно:

«...Стыд и позор нам, педагогам, стыд и срам тому, что в школу, в это святое место

гуманности, добра и правды, ребенок нередко боится идти, ибо знает: учитель расскажет отцу о его плохом поведении или неудачах в учебе, а отец будет бить. Это не абстрактная схема, а горькая истина; об этом часто пишут в своих письмах матери и даже сами дети. Записывая в дневник школьника: «Ваш сын не хочет учиться, принимайте меры», учитель, по существу, часто кладет в ученическую сумку ремень, которым отец будет хлестать своего сына.

Запомни, учитель,— обращается Василий Александрович к коллегам,— если я знаю, что отца моего Грышка или Петра бог наделил единственным талантом — рожать детей, и при этом вызываю этого мудрого отца в школу и говорю ему: «Ваш Грышко лодырь, не хочет учиться», — то происходит элементарная вещь — я бью Грышка рукой отца. Унижаю человеческое достоинство. Становлюсь участником преступления. Ребенок ненавидит того, кто бьет. Он очень тонко понимает и чувствует, что руку отца направляет учитель. Он начинает ненавидеть отца и учителя, школу и книгу».

Вопрос этот представляется Сухомлинскому очень важным и принципиальным, и, развивая свою мысль, он продолжает:

«Пусть не поймет меня читатель так, что я проповедую абстрактную доброту и всепрощение. Речь идет о воспитании ребенка в обществе, которое строит коммунизм. Мир социализма не только живет с глазу на глаз с миром капитализма, где господствуют жестокие законы человеконенавистничества, но и ведет постоянный идейный, духовный, моральный поединок с этим миром насилия и угнетения; дети наши должны быть готовы ко всему: и к тому, чтобы встретиться с врагом на поле боя, и к тому, чтобы переносить невзгоды нелегкой борьбы. Коммунистическое воспитание не может изнежить и расслаблять душу гражданина нашего общества. Напротив, оно должно закалять человека физически и духовно. Мы обязаны учить не только любить, но и ненавидеть, учить быть не только чутким, но и беспощадным... Эти воспитательные цели не только не отрицают необходимости тонкого, чуткого духовного мира нового человека, непримиримости к любому насилию, но и подчеркивают эту необходимость. По-настоящему ненавидеть врага и быть беспощадным к нему может только человек большого духовного благородства.

Некоторые педагоги спрашивают: «Чем

же заменить наказание?» Так вопрос ставить нельзя. Это все равно, что спрашивать: «Чем заменить насилие человека над человеком?» Наказание не является чем-то неотвратимым. Потребность в наказании не возникает там, где царит дух взаимного доверия и теплоты, где ребенок сызмальства тонко ощущает рядом с собой человека — с его мыслями и переживаниями, радостями и горем; где с первых шагов своей сознательной жизни ребенок учится управлять своими желаниями. Высокая культура желаний личности — это неременная предпосылка того, чтобы потребность в наказании вообще не возникала».

Воспитание словом

Мы знаем Сухомлинского-учителя, Сухомлинского — исследователя и ученого, Сухомлинского — блестящего публициста.

«Рождение гражданина» подводит нас еще к одному открытию: Сухомлинского писателя. Эту грань его деятельности тоже нельзя рассматривать обособленно, она и появилась не как результат, так сказать, чистых литературных увлечений, а как естественное продолжение все той же многогранной творческой работы по воспитанию молодежи. Воспитанию словом Василий Александрович придавал первостепенное значение.

«Тончайшими способами влияния на юную душу является, на мой взгляд, слово и красота, — писал он. — Было время, когда школу критиковали за то, что воспитание в ней «страдало» словесностью. Эта критика (отголоски ее можно услышать и сейчас) — недоразумение. Она вызывает большое удивление. Воспитание словом — самое слабое и уязвимое место современной советской школы. Отсутствие правильного, умелого воспитания словом в отдельных школах порождает много бед. Проблема воспитания словом — одна из самых жизненных и острых проблем, над которыми, по-моему, прежде всего надо работать и в теоретическом и в практическом плане. Тонкость внутреннего человеческого мира, благородство морально-эмоциональных отношений не утвердишь без высокой культуры словесного воспитания. Многолетний опыт убеждает в том, что слово учителя пробуждает у маленького ребенка, а потом и у подростка, юноши, девушки чувство человека — глубокое переживание того, что рядом со мной человек с его радостями

и печалью, интересами и потребностями. В детстве мои воспитанники слушали рассказы о человеческой красоте, глубоко переживали гордость за величественность, героизм человека, его преданность коммунистическим идеалам. Я написал повесть...»

«Я написал повесть...»

«Я написал рассказа...»

«Эти стихи создали мы вместе...»

«В те годы я составил хрестоматию...»

Такие признания часто встречаются в книге. Сухомлинский сам объясняет, почему и для кого писал свои рассказы, повести, хрестоматии.

«Пробуждение, развитие, постоянное культивирование чувства человека невозможно без восхищения человеком, без удивления перед его красотой, мужеством, героизмом».

И дальше. «Опыт привел меня к выводу, что для воспитания высокой эмоциональной культуры, для утверждения чувств человека необходимы художественные произведения, которые бы в ярких образах раскрыли идею чуткости, сердечности...»

Но разве трудно найти такие книги в советской и мировой классике?

Книжный океан безбрежен. Что взять в нем для подростка? Зная, что за всю жизнь человек может прочитать примерно не более двух тысяч книг и значительная часть этих книг выпадает на школьные годы (не менее половины), Сухомлинский с огромной требовательностью отбирал то, что необходимо обязательно прочитать в годы отрочества. Так была создана «Золотая библиотека отрочества» — еще одна его выдумка. Это ценнейшие книги, предназначенные специально для подростков. Теперь она насчитывает 360 названий книг, многие из них — в десятках экземпляров, чтобы была возможность для каждого при желании еще и еще раз встретиться с полюбившимся писателем (мы уже знаем, почему столь богатая и мудрая библиотека стала возможной в обыкновенной сельской школе).

Сервантес, Шекспир, Гёте, Шиллер, Твен, Лондон, Гюго, Пушкин, Гоголь, Толстой, Тургенев, Чехов, Короленко, Достоевский, Горький, Шевченко, Леся Украинка, Франко... Эти имена дают довольно полное представление о принципе отбора.

«Есть книги, без которых вообще неммыслима школа, — подчеркивал педагог. — Мы видели идеал в том, чтобы повторное чтение, перечитывание книг стало для подростков такой же необходимостью, как пов-

торное слушание музыки для музыкально образованного человека. При этом Золотая библиотека стала образцом, но которому комплектуются и семейные библиотеки».

Мысль Сухомлинского и здесь, при отборе книг для «Золотой библиотеки отрочества», повернута, как стрелка компаса, в одну сторону: становление Человека, гражданина.

«Отрочество,— размышляет Василий Александрович,— период формирования идеала, и очень важно, чтобы в ум и сердце каждого подростка вошли образы людей, жизнь которых должна стать примером». Маркс, Энгельс, Ленин, их соратники и ученики, герои революции, гражданской и Великой Отечественной войн, знаменитые ученые и мастера культуры запросто приходили на беседу к воспитанникам Сухомлинского в Комнату мысли.

(«Золотая библиотека отрочества» размещена в Комнате мысли. Комнатой мысли Василий Александрович назвал ее, чтобы подчеркнуть великую воспитательную силу книги.)

Чтение чтению рознь. «Настоящее чтение — это чтение, охватывающее ум и сердце, пробуждающее разумье о мире и самом себе, оно принуждает подростка видеть себя и думать о собственном будущем. Нет такого чтения — человеку угрожает духовная пустота».

Очень важно не только что, но как читает подросток.

Бездумное чтение запоем, когда книга может отвлечь, развлечь, пощекотать нервы, но ни на минуту не будит ум, опасно, как наркомания. Особенно в подростковом возрасте, когда рождается и гражданин и читатель.

Прав Сухомлинский, напоминая, что надо учить подростков читать и, читая, познавать себя (а как часто вместо этого только проходят литературу по школьной программе; да так, что у подростка надолго вырабатывается антипатия к серьезной, трудной книге), надо учить воспитываться книгой и жить в мире книг. И после всех этих раздумий выстраданное, итоговое: «ничто не заменит книгу».

Для Сухомлинского книга — главный воспитатель, особенно, когда дело касается самовоспитания, главный источник эстетической радости.

«Я стремился создать в представлении подростков картину высшего счастья куль-

турного человека — счастья общения с книгой, счастья интеллектуального и эстетического наслаждения».

Беспредельна его вера в книгу — источник знаний и чувств, книгу-искру, без которой не разжечь костер мысли.

И при всем при том... «Открылась Комната мысли коллективным чтением моего рассказа про русского Муция Сцевоглу — солдата, попавшего в плен к французам во время нашествия Наполеона. Когда ему на левой руке поставили клеймо в виде буквы N, он, полный презрения и ненависти к врагу, схватил топор и отрубил «оскверненную» руку».

«Я написал рассказ, повесть...» Так и видится ироническая улыбка скептика: зачем, с какой целью? Тратить драгоценное время, исписывать сотни, тысячи страниц. Притом исключительно для павлыщцев, только для своих учеников. Мало ли книг, собранных в «Золотой библиотеке». Не собирался же Сухомлинский всерьез заменить своими творениями классиков?

Ну, а Ушинский? Разве не были у него «под рукой» Пушкин, Гоголь, «Записки охотника», Толстой и Шекспир, Рабле и Свифт? А ведь тоже «грешил». На рассказах великого русского педагога потом учились и еще будет учиться не одно поколение наших детей.

Значит, была какая-то внутренняя потребность. Конечно, не заменить, нет, пополнить «Золотую библиотеку» своим словом, своим опытом художественного восприятия мира.

Сухомлинский — автор многих книг и статей, — кажется, так никогда и не выходил на читательский суд как писатель, художник слова. Еще предстоит, очевидно, собрать, обобщить, издать многое из того, что писалось им только для павлыщцев.

Пока же окуемса в мир Сухомлинского писателя — такой, каким он открывается в книге «Рождение гражданина».

Сразу же заметим: его рассказы откровенно дидактичны, что вообще характерно для художественного творчества педагогов-писателей. Однако то, что убийственно для любого, казалось бы, жанра художественной литературы, в произведениях такого рода становится, пожалуй, достоинством.

Учитель Сухомлинский приходит к убеждению: чувства человека не пробудить без сопереживания, сочувствия, без умения вообразить в свое сердце тончайшее духовное движение другого человека. И писатель Су-

хомлинский пишет рассказ такого содержания.

41-й год. Эвакуация. Станция. Мать с двумя маленькими девочками в зале ожидания. Она ненадолго оставляет детей, чтобы набрать для них воды. Налет гитлеровской авиации. Мать убита. Дети остаются сиротами. Они лежат на скамье. Грустные глаза их всматриваются в каждую женщину, спрашивая: «Где наша мама?»

«Целая страница моего рассказа была посвящена глазам осиротевших девочек. Я с радостью увидел,— делится своими наблюдениями Сухомлинский,— что после чтения этого рассказа дети стали внимательнее всматриваться в глаза тех, кто их окружал».

Сухомлинскому очень важно пробудить в подростке умение видеть в глазах другого человека горе, тревогу, обиду, отчаяние, грусть, безнадежность, одиночество. «Это нужно,— спорит он со своими возможными оппонентами,— не для воспитания слезливой сентиментальности, нет. Без широкого и полного диапазона чувств не состоится полноценный человек».

Сухомлинский писал и стихи. Сам или в соавторстве с учениками. Некоторые из них мы находим на страницах книги «Рождение гражданина». В архиве этого удивительного человека хранится и рукописная поэма на 3600 строк. В ней много личного, отголоски тех трагических событий военных лет.

Однако любимый его жанр — небольшой дидактический рассказ и сказка. «Я написал хрестоматию «Думы о человеке». Это короткие рассказы и сказки, вызывающие у детей раздумье о человеке, сочувствие его горю и несчастью».

Почти во всех произведениях Сухомлинского — женщина-мать. Школа Сухомлинского одухотворена, может быть, не меньше, нежели культом книги и культом труда, культом Матери.

«Человеческое материнство — не только забота о сохранении рода, это огромное моральное богатство, создаваемое тысячелетиями. Оно является могучей духовной силой; воспитывающей в мальчике мужчину и отца, который уважает самого себя, дорожит собственным человеческим достоинством лишь настолько, насколько он уважает в девочке будущую мать и дорожит ее достоинством, как честью семьи».

Своим воспитанникам, подросткам 13—14 лет, Василий Александрович говорил:

«Вы будущие отцы и матери. Через несколько лет у вас будут дети, вы будете думать об их воспитании так, как сейчас о вас думают ваши родители. Помните, что взаимоотношения мужчины и женщины ведут к рождению нового человека. Это не только биологический факт, а прежде всего большое человеческое творчество. Только циник и негодяй может думать об этих взаимоотношениях как о чем-то грязном».

Он никогда не считал запретными, зазорными, преждевременными такие разговоры. Однако ни беседы, ни книги на эту вечно трепетную тему уже не удовлетворяют учителя Сухомлинского. И тогда снова появляется Сухомлинский-писатель:

«...В те годы я составил хрестоматию «Материнская краса». Это рассказы и сказки о величии, благородстве, красоте матери. Здесь бессмертные страницы о матерях В. И. Ленина и Николая Островского, Леси Украинки и Михаила Коцюбинского, Тараса Шевченко и Николая Гоголя, Олега Кошевого и Зои Космодемьянской. Здесь страницы о матерях тех воинов, которые погибли в боях за Родину. Здесь страница о трагической и героической судьбе матери, которая в годы фашистской оккупации заставила своего сына-полицая покончить жизнь самоубийством, чтобы не позорить честь рода. Я раскрывал перед разумом и сердцем своих воспитанников страницу за страницей, добываясь того, чтобы как можно ярче разгорался огонек уважения к материнской красоте и величию».

Чего не следует искать в этой книге

Наше путешествие по стране Сухомлинского приближается к концу. Впрочем, точнее считать его лишь приглашением в путешествие. Ведь о многом, очень многом мы так и не успели рассказать.

И о «Школе под голубым небом» (в стране Сухомлинского она начинается для малышей-приготовишек и продолжается для подростков). Читая книгу, вы узнаете, как Люба впервые увидела глубокое в мыслях небо, дождями небо, пшеничное поле, покрытое росой, впервые услышала, как богата звуками тишина степи, как прекрасна музыка лесного ручья.

Труд в духовной жизни подростка, в развитии личности, в формировании гражданина — и об этом вы найдете в книге немало интересных, будящих мысль страниц. От

себя же добавим, что отношение директора Павлышской школы к трудовому воспитанию никогда не зависело от конъюнктурных моментов, временных увлечений, моды. Опытные школьные участки, оранжереи, сады, выращенные руками школьников, мастерские, работа на колхозных полях и фермах — без всего этого Василию Александровичу просто не мыслилась школьная жизнь.

«Когда человек приближается к меже, отделяющей детство от отрочества, он должен видеть себя, как в зеркале, в созданных собственными руками ценностях, в которые вложена частица собственного сердца — любовь к людям, вдохновение трудом. Пусть это будет плодородное дерево или маленький виноградник, куст розы или куст сирени — ребенок измеряет мир своей меркой. Важно, в конце концов, то, чтобы маленький человек переживал гордость за себя. Лишь при этом условии у него будет желание стать лучше. А это желание — сердцевина гражданской совести», — утверждал Сухомлинский.

Чего не следует искать в этой книге? Прежде всего — готовых рецептов воспитания на все случаи жизни.

Перед нами золотые россыпи педагогических находок, наблюдений, раздумий, выводов, рекомендаций. Но тот, кто надеется найти в этой книге какой-то особый «метод Сухомлинского», кто думает, что достаточ-

но перенести «выдумки» и «находки» Сухомлинского в свою школу, как сразу получится тот же результат, — того ждет глубокое разочарование. «Метод», «система» Сухомлинского неотделимы от самой его личности. Школу его невозможно ни повторить, ни размножить, да это и не нужно. Сухомлинский не ставил перед собой такой цели. Он никогда не старался видеть в своем читателе или собеседнике сосуд, который нужно наполнить. Он видел факел, который можно и нужно зажечь. «Трудно надеяться, что по книге можно научиться воспитывать, — говорил в свое время Макаренко. — Но научиться мыслить, войти в сферу мыслей о воспитании, мне кажется, можно».

Эти слова великого советского педагога будто специально написаны для того, чтобы стать эпиграфом к книге «Рождение гражданина».

Нужно, чтобы люди, как можно больше людей прочитало ее. В ней Сухомлинский учит мыслить и воспитывает того, кто сам обязан воспитывать, то есть каждого из нас. При этом он постоянно напоминает: человек всегда неповторим и, как это ни трудно, но ключи надо искать к каждому.

Сам он умел их находить.

**К. ГРИГОРЬЕВ,
Б. ХАНДРОС.**

Киев.



КОРОТКО О КНИГАХ



ВАДИМ ШЕФНЕР. Сестра печали. Повесть. Лениздат. 1970. 350 стр.

«Говорю вам: война — сестра печали, и многие из вас не вернутся под сень кровли своей. Но идите. Ибо кто, кроме вас, оградит землю эту...» Выдержка из предания привлекла внимание одного из героев повести, предчувствующего незадолго до начала войны наступление грозных событий. Эта выдержка могла бы послужить эпиграфом к книге В. Шефнера, ибо в ней, если отвлечься от мифологических реминисценций, раскрывается внутренняя тема повести, тема патриотизма и человеческой стойкости.

Герои В. Шефнера — совсем молодые люди. Юноши еще едва расстались со школьной скамьей, как грянул июнь 41-го. Война не может им предложить никакого другого выбора, кроме одного — стать взрослыми. И они становятся такими: очень взрослыми, очень серьезными. Пожалуй, в мирное время они не созрели бы так быстро... Обладая минимумом житейского опыта, почти без военной подготовки, эти ребята проявляют максимум душевных и физических сил в тяжелые дни обороны Ленинграда.

Книга В. Шефнера — бытовое повествование. Автора — как и в его стихах — занимают, в первую очередь, вещи «малозаметные», но влиятельно участвующие в формировании душевного склада человека. Бытие мальчиков диктуется условиями их пребывания в техникуме, оно аскетично, нет в нем никакой щедрости жизнепроявлений, оно не таит в себе той романтики, которая единственно — если следовать критической схеме — пробуждает героизм и готовность жертвовать собой. Но молодые герои тем не менее безоговорочно жертвуют своими жизнями ради мира на земле...

Откуда же эти моральные ресурсы и эта высокая мера гражданской ответственности у ребят, не очень-то далеко заглядывающих в завтрашний день, не осознающих себя некими «молодыми романтиками»? Герои В. Шефнера живут обычной жизнью и совершают самые рядовые поступки. Но каждый их поступок таит возможность нравственного выбора. Мысли, связанные с этим выбором, внешние толчки активизируют сознание и совесть, прочно закладывают в душах юношей те подлинные ценности, расстаться с которыми можно, лишь отдав свою жизнь. Дружба «до гроба», исповедуемая неоперившимися юношами, — дрожжи

на которых созрело их мужество защитников Родины.

В. Шефнер в «Сестре печали» остался верен себе как художник-лирик. Лирический мотив любви, любви, кончающейся трагично, дает высокий настрой всей книге. Любовь — это тоже выбор, тоже ответственность одного человека перед другим. Эта ответственность соблюдена героями В. Шефнера так полно, что им уже веришь до конца, во всех их поступках — общественных и личных.

Есть одна интересная особенность лирической прозы В. Шефнера. Как ни тяжело складываются обстоятельства жизни героев, что бы страшное ни случилось в мире, сквозь любой шум времени в книге все время слышен голос лирического героя. Этот «человеческий звук» не могут заглушить разрывы снарядов. Горечь и печаль пришли с войной, но они преодолеваются светом человеческой души.

В повести В. Шефнера с лавиной войны столкнулись в общем-то не такие уж могучие и крепкие люди. Но слабое «вещество человека» (вспомним любимое словоупотребление Андрея Платонова), укреплявшееся в нравственном горниле, выдержало и сохранилось.

А. Кузнецов.



НИКОЛАЙ ЕВДОКИМОВ. Сказание о Нюрке — городской жительнице. Повесть. М. «Советская Россия». 1971. 112 стр.

Если каждое новое произведение писателя продолжает и углубляет мысль, одушевляющую его прежние произведения, если эта мысль продумана и выстрадана им, если, наконец, она полезна и благотворна, творчество такого писателя приобретает несомненную весомость и значительность.

Эта небольшая повесть — о становлении человека. Перед нами проходит житейские тревобления девушки из городского предместья. Приметы быта писатель рисует подробно и убедительно. Но его интерес все же в ином; у Евдокимова не просто повесть, а «сказание», что предполагает известное тяготение к притче и подчеркнутую философичность в построении образов.

Героиня добра необыкновенно, способна поехать в другой город, чтобы потребовать от забывчивого сына писать письма матери, способна взяться ухаживать за подброшен-

ным ей грудным младенцем. Если бы не некоторая условность и усмешливость в интонации рассказчика, возможно, Нюрка выглядела бы неправдоподобно и ходульно. Этого не случается. А мысль автора глубока и серьезна. Доброта героини, считает писатель, конечно, прекрасна, но слишком уж первобытна, неосознанна. А в жизни необходимо, чтобы носитель добра обрел самосознание, понял связь добра с иными явлениями мира. Если такое самосознание не придет, добро может оказаться бессильным перед логикой быта. Вот и героиня от душевного одиночества изменяет сама себе и выходит замуж за любящего ее, но, в сущности, нелюбимого ею человека. Это такая измена себе, исправить которую уже невозможно, не причинив зла этому человеку.

Обрести понимание своего места в мире, своей нравственной ответственности перед людьми и негибкость под ударами быта помогает ей человек, которого она полюбила. Михаил Антонович, бывший фронтовик, больной, измученный человек, много старше Нюрки. Настоящий рабочий, видящий смысл своей жизни в том, чтобы душа была наполнена работой, чтобы найти гармонию между тем, что он делает, и своей жизнью. Он уверен, что только настоящий человек может стать настоящим мастером своего дела. Он приводит на завод Нюрку, чтобы и она стала мастером, нашла себя в одухотворенной работе.

Недолгое время они были счастливы вместе. Михаил Антонович умирает от старых ран и болезней, оставив Нюрку ждущей ребенка. Припоминая и осмысляя, что говорил ей муж, как он жил, Нюрка приходит к той нелегкой истине, что жить по законам добра надо не потому, что «все так живут», а для того, чтобы себя чувствовать человеком, «для увеличения красоты земли, для прибавления на ней хоть капельки добра».

Эта бескомпромиссность нравственно-этических размышлений и выводов характерна для прозы Евдокимова в целом.

В. Кантор.

★

Е. С. ГРОМОВ. *Художественное творчество. Опыт эстетической характеристики некоторых проблем.* М. Политиздат. 1970. 264 стр.

«Нецелесообразно отдавать идеалистам на монопольный откуп тот или иной термин только потому, что он захватан их руками».

Этот в высшей степени правильный и своевременный тезис вполне соответствует пафосу книги Е. Громова. Эстетическая теория творчества, за разработку которой теперь взялись наши ученые, не обойдется без целого ряда проблем, которые много лет как раз и «отдавались на откуп». Знаменательная сторона книги Громова — стремление осветить, освоить, дать марксистское истолкование таким новым или малоосвоенным в советской науке проблемам. «Талант и интуиция», «Талант и вдохновение», «Диалектика субъективного и объективного в художественном творчестве» — вот названия некоторых глав книги, дающие представления и круг ее проблем. Громов касается таких нетрадиционных для нашей науки сторон предмета, как «тайна творчества», иррациональный его момент, подсознательное, субъективное в творчестве, он трактует проблему отчуждения творца и вопрос о так называемом одиночестве гения не с точки зрения конкретно-исторической («отчуждение» как черта буржуазного искусства и «одиночество» как следствие разлада художника с капиталистическим миром), а с точки зрения эволюционной («отчуждение» и «одиночество» как моменты, внутренне присущие процессу творчества как таковому). Важность, новизна и актуальность такого подхода очевидны.

Сильной стороной книги Е. Громова является соответствующая его пафосу широта, а также спокойная объективность как в суждениях, так и в их обосновании практикой искусства. Философ по образованию и «основной профессии», автор много и специально занимался вопросами живописи и кино, что в сочетании с такими традиционными сферами применения эврологии, как поэзия и проза, делает его книгу весьма многообразной по материалу. Работая над книгой, Е. Громов провел в ряде творческих вузов Москвы анкету, два десятка пунктов которой выявляют удельный вес разных факторов в творчестве; результаты этого опроса студентов любопытны. Если прибавить к этому собственно философский круг аргументации, в разворачивании которой чувствуется особый интерес к немецкой классической (особенно Кант) и русской философии, то наш портрет книги будет более или менее завершен.

Слабые ее стороны, как водится, суть продолжение ее достоинств. Стремясь освоить нетрадиционные для нашей науки категории, Е. Громов часто применяет формулу рядоположения: не только пафос мысли, но и художественные структуры и т. п. Я бы назвал эту тенденцию «не-только-но-измом», чтобы отвести ей законное место в процессе наших поисков, но, конечно, такое уравнивание категорий, очень важное на стадии освоения новой проблематики, рано или поздно потребует дальнейшего углубления в нее.

Л. Аннинский.

★

О. РОССИЯНОВ. *Антал Гидаш. Очерк творчества.* М. «Художественная литература». 1970. 120 стр.

Написать книгу о личной и творческой судьбе писателя, нашего современника, чья жизнь, к тому же, словно подвластная центристской силе, неизменно оставалась и остается в орбите магистрального движения нашего века — коммунизма, — задача сложнейшая. О. Россиянов, задумав книгу о Гидаше, венгерском писателе, прожившем в СССР почти половину жизни, не

искал облегченных вариантов, не схематизировал, не стремился разложить по заранее подготовленным литературоведческим полочкам «характерные черты и особенности». Да и в самом деле, ведь никаких полочек не хватит, заведомо не хватит, чтобы уместить на них все элементы, входящие в многосложный состав душевной организации истинного художника. Ибо нет такого явления, события в жизни людей, которые так или иначе не отразились бы в художнике, переплавляясь в какие-то новые качества, сливаясь с другими или им противопоставляясь, обновляя душу, рождая новое, вечно новое видение мира. Конечно, можно и разложить на составные части это бурное единство, но — тем лишить живое жизни ради уяснения его химического состава. Россиянов подошел к своей теме иначе: он сделал смелую попытку рассмотреть творчество Гидаша именно как живое целое, во всех жизненных пересечениях, конфликтах, борениях, не страшась драматических коллизий. Вот как сам автор определяет свою задачу во вступительной главке очерка: «Попробуем же к творчеству Гидаша подойти как к «содержательной форме»: прочитать его как своего рода лирико-интеллектуальный «роман». Герой этого романа — сам автор, а «сюжет» — его духовное возмужание, возвышение, которое преломляет и сгущает в себе часть прожитого и переживаемого нами большого исторического времени».

Россиянову удалось пронизательно и чутко рассказать о трудной жизни и сложном, многоплановом творчестве Гидаша. Он создает поистине динамический портрет писателя, где частности, детали интересны не только сами по себе, но важны также живой неразъемностью своей в формировании творческой личности, в ее верности самой себе при бесконечном углублении самого себя. «Он похож и не похож, — пишет Россиянов, — на того благородного, но наивного мальчика, «бывшего некогда им», по его выражению («Утро весеннее, тополь седой»), потому что не повторяется, а, как все в мире, обновляется... Он принадлежит к поэтам, постоянным в своих привязанностях, которые развиваются, как дерево: «годовыми кольцами». Сердцевина, «структура» всегда неизменна; но ствол — год от года крепче, мощнее, как у неохватного, раскидистого дуба, который «чем старше, тем буйней шумит, людей любя» («Удальца поэта»).

Это постоянство в привязанностях, подчеркивает Россиянов, верная и бескомпромиссная любовь к людям — и есть то активное начало, которое пронизывает насквозь все творчество Гидаша, заставляя писателя и сегодня со страстью юноши воевать каждую своей строкой за идеалы гуманизма, человеческого братства. Восторженная патетика юности и в стихах и тем более в прозе Гидаша давно уже сменилась глубоким философским раздумьем о судьбах мира, но творчество его не потеряло при этом ни эмоциональной насыщенности, ни трепетной верности благородной мечте

человечества о счастье — счастье для всех людей. Как говорит Россиянов, «поэт от оптимизма почти стихийного, сила которого состояла главным образом в темпераментности, импульсивном накале, шел к оптимизму исторически сознательному, вооружающему пониманием жизненных противоречий. Творческий путь Гидаша подтверждает, что социалистическому искусству, по природе своей героическому, вовсе не противопоказан трагизм, если он неразлучен с гражданской ответственностью... Такой трагизм тоже героичен: требует высочайшего напряжения душевных сил, просветляет и закаляет — приобщает к «эмоциональному Интернационалу» высокоидейных борцов за коммунизм».

Книга О. Россиянова, небольшая по объему, вместила в себя очень многое: щедро снабжая читателя сведениями фактического и литературоведческого характера, она в то же время учит мыслить, помогает понимать творческий процесс в его глубинных связях с жизнью человеческого общества.

Е. Малыгина.



С. ЛЬВОВ. Питер Брейгель Старший. М. «Искусство». 1971. 200 стр.

Ответственность исторических мотивировок и принципиальная неприязнь ко всем видам беллетризации — вот, пожалуй, те свойства книги Сергея Львова о великом нидерландском художнике Питере Брейгеле, вставшей недавно в ряд серии «Жизнь в искусстве», с которых справедливо начать. Автор нашел разумную меру, чтобы не перегружать свой труд явленной читателю научной эрудицией, но основательность этой эрудиции просвечивает — именно просвечивает — ненавязчиво, но ошутимо, буквально за каждой строкой.

И еще. С. Львов не скрывает от нас ни сложностей, часто попросту непреодолимых, ни сомнений, о которых он так и пишет: «Отвергнуть нельзя, признать трудно». На самых первых страницах книги он открыто говорит о своем желании оставить неубранными ее «строительные леса» — ее гипотезы и вопрошения: «Неизбежные догадки так и будут названы догадками... белые пятна — а их в жизнеописании Брейгеля не меньше, чем на картах его времени — так и будут обозначены, как белые пятна». В этом научная и писательская корректность, которой порой так не хватает другим книгам жизнеописательного жанра, где все еще нет-нет да и встретишься с приступами авторского вдохновения, столь же самоопьяняющего, сколь и безответственного.

Писать о Брейгеле даже сегодня, когда о его жизни и работах существует поистине необъятная литература, необыкновенно трудно. Недолгая и, со всей очевидностью, закрытая, замкнутая жизнь художника XVI века оставила по себе ничтожно мало документов и чрезвычайно скудные живые свидетельства. С. Львов, тщательно собрав

и проанализировав все возможное, в помощь себе взял отнюдь не фантазию, а широко, документированно и вещественно воссоздаваемую историческую эпоху. Он не только пишет Брейгеля во времени — он пишет это время так, чтобы его приметы дополняли портрет героя.

Удачно найденным приемом книги вообще стало восстановление, казалось бы, невозстановимо утраченного через замещение его чем-то доступным и близким восприятию читателя: так, детские и юные годы Брейгеля обретают зримость сквозь призму романа Шарля де Костера «Тиль Уленшпигель», так, рассказу о путешествии художника по Италии помогает прекрасный итальянский фрагмент из прозы Герцена или великолепное описание Рима, сделанное Монтенем, побывавшим в вечном городе через три десятилетия после Брейгеля... Сходный прием использует С. Львов и тогда, когда он, описывая ту или иную картину Брейгеля и стараясь передать читателю ее живописную плоть и духовную суть, зовет на помощь то Рабле — когда речь идет о «Детских играх», то Льва Толстого — когда говорит о «Жатве», то Салтыкова-Щедрина — когда пишет о «Нидерландских пословицах», называемых так же «перевернутым миром»...

Если же говорить о самом главном — о том, как понимает автор личность художника, как он исследует законы соотношения его творчества с реальностью необычайно жестокого, дымно-кровавого, содрогающего от насилий и изуверской нетерпимости времени, то для него, как для писателя, исследующего поразительный феномен искусства, имя которому Питер Брейгель Старший, называемый также и Мужичким, эта личность и это соотношение видятся непокорными, самовластными — при всей своей закономерной неотделимости от века и жизни страны. Вот почему с такой необходимостью возникает тут тема преодоления художником объективных ужасов и рожденных ими в человеческой душе фантастических наваждений. Вот почему самые мучительные создания брейгелевской фантазии, за которыми была и апокалиптическая, эсхатологическая средневековая народная традиция, и опыт Иеронима Босха и — прежде всего — способные поколебать рассудок невыносимые впечатления каждодневного бытия, — описываются и толкуются С. Львовым так, чтобы читателю было видно, что кисть художника, объективируя их, тем самым их изживая, побеждает.

Лучшие страницы книги — финальные. Те, на которых автор дает волю своей благоговейной и благодарной любви к художнику, и, в особенности, к картинам из его позднего цикла «Времена года». Здесь острее, чем где бы то ни было, мы можем разделить с ним непосредственность впечатлений от брейгелевской живописи. Здесь мы заражаемся его высоким восторгом перед тем что сотворил для нас бессмертные произведения.

В. Шитова.

★

А. ГОЗЕНПУД. Достоевский и музыка. Л. «Музыка». 1971. 176 стр.

Шаг за шагом рассматривает автор жизнь и творчество Достоевского и находит их связь с музыкальной жизнью эпохи. И вот когда все, что доступно современному исследователю из «музыкальных фактов» биографии ли Достоевского или из его книг, собрано вместе, оказывается, что тема «Достоевский и музыка» вполне правомерна. В книге А. Гозенпуда привлекает кропотливый анализ музыкальных вкусов Достоевского, его пристрастий и антипатий, установление «музыкальных прототипов» сочинений таких «композиторов», как Лямшин из «Бесов» и Тришатов из «Подростка».

Совершенно справедливо, что «Достоевский принадлежал к числу художников, которые видели и слышали мир, и, быть может, в первую очередь слышали» (заметьте, кстати, что, вероятно, отсюда — решающая роль диалогов в произведениях Достоевского). А. Гозенпуд посвящает специальную главу «Звуковому миру Достоевского», в который входят «колокольчики» из «Преступления и наказания» и «Идиота», шарманка из «Подростка» и т. д. Мы узнаем, кто же были любимые композиторы и исполнители Достоевского, причем сведущему читателю легко перекинуть most от музыкальных взглядов Достоевского к его собственному творчеству.

Отдельные главы книги посвящены «Неточке Незвановой» и «музыкальным сочинениям» Лямшина и Тришатова. Высказав верную мысль о том, что «Неточка Незванова» — результат впечатлений и раздумий писателя, связанных с музыкой и театром», А. Гозенпуд проводит анализ музыкальной основы повести, находя их соответствие и в литературной традиции Гофмана, Гейне и В. Одоевского, и во впечатлениях Достоевского от выступлений знаменитого скрипача Эрнста.

А. Гозенпуд находит интереснейшие источники «Франко-прусской войны» Лямшина и в оперном замысле Тришатова («Гретхен и злой дух») видит «идею самостоятельного музыкально-драматического произведения, даже не оперного, а ораториального жанра. В идее Тришатова поражает своеобразие, оригинальность (это неудивительно, ведь за героем романа стоит Достоевский) и продуманность музыкальной драматургии. Рождается ощущение, что писатель внутренне слышит, как сменяются и развиваются музыкальные образы. Одной этой страницы достаточно, чтобы понять, как глубоко чувствовал музыку Достоевский».

Справедливо полагая, что «многие действительные эпизоды в романах Достоевского построены по принципу сложной музыкально-театральной драматургии», А. Гозенпуд при этом утверждает, что «только музыка властна восполнить утраченное, ибо она воссоздает духовную атмосферу действия, его внутреннюю сущность, без которой книги Достоевского, перенесенные на подмостки, теряют глубину». По-моему это утверж-

дение звучит слишком категорично. Так спектакль Московского Художественного театра «Братья Карамазовы» (1910 г.) не сопровождался музыкой, но прекрасно передавал и духовную атмосферу и глубину. С другой стороны, музыка, как искусство несловесное, никогда не передает полноты бытия литературного источника, в данном случае книг Достоевского и, если уж согласиться принципиально с переводом Достоевского на язык иных искусств, то первое место здесь следует отдать, на мой взгляд, театру.

Две заключительные главы книги — «Достоевский и русская музыка» и «Зарубежная композиторы и Достоевский» — наименее удачны. Скороговорка автора при анализе музыкальных произведений, созданных «по мотивам» Достоевского, вызывает недоверие к авторским выводам и, таким образом, главы эти носят лишь справочный характер.

Но эти замечания в целом не снижают впечатления от книги А. Гозенпуда, интересной читателю, любящему музыку, любящему Достоевского.

Б. Любимов.

★

А. ГРЕБНЕВ. Газета. Организация работы редакции. М. Политиздат. 1971. 181 стр.

Советская печать за годы своего существования накопила огромный бесценный опыт пропагандистской и организаторской деятельности. Будучи печатью нового типа, она выработала и свои, в корне отличающиеся от буржуазной прессы, организационные основы, свои приемы и методы работы, формы связи с широкими массами, которые исходят из главного, основополагающего принципа — партийности.

К сожалению, достаточно полной и цельной истории советской печати у нас пока нет. Монографии и исследования, посвященные отдельным органам печати, не отражают всей картины многогранной деятельности партийной прессы. И совсем мало изучен, не обобщен организационный опыт наших газет.

Вот почему следует приветствовать ценное начинание издательства Политической литературы, предпринявшего выпуск «Библиотечки журналиста». Хочется надеяться, что эта серия явится первым обнадеживающим шагом на пути создания капитальных исследований о характере, природе и роли советской печати в нашем обществе, в современной идеологической борьбе прогрессивных сил мира за социальный прогресс.

Вышедшая недавно в «Библиотечке» книга А. Гребнева посвящена проблемам постановки газетного дела, организации работы редакции, приемам оформления и выпуска газеты. В ней ведется интересный и поучительный разговор о профессиональной лаборатории советского журналиста.

Автор книги — опытный журналист и редактор. Он сам прошел всю «газетную лезенку», начиная с редактора районной газеты. Ему есть что рассказать, есть чем поделиться с молодыми коллегами. К тому же

А. Гребнев изучил и ввел в свою книгу обширный материал, обобщающий ценный опыт многих центральных и местных газет. Это делает его труд ценным пособием для работников печати.

Уделяя главное внимание проблемам внутриредакционной работы в советских газетах, их связям с корреспондентами, читателями, организации газетного дела, автор в то же время обстоятельно рассматривает место периодической печати в общей системе нашей идеологической работы. При этом А. Гребнев, опираясь на многочисленные примеры из практики, показывает значение газет в пропагандистской и организаторской работе партийных организаций. Автор дает отповедь попыткам зарубежных ревизионистов взять под сомнение ленинское определение нашей печати как коллективного агитатора, пропагандиста, организатора.

Вал. Гольцев.

★

ТРИ ПОЭТА ИЗ ХИРОСИМЫ. Тамики Хара. Санкити Тогэ. Мунэтоси Фукагава. Стихи. Перевод с японского, составление и предисловие А. Мамонова. М. «Наука». 1970. 140 стр.

Вытянутое лицо, черное на белом, крик о помощи, крик, раздирающий душу. Вы его слышите. Он требует ответа. И вы уже не можете не открыть книгу, а открыв, не можете не содрогнуться от того, что произошло с людьми в XX веке.

Хиросима — напоминание всем: каждый из нас не может не думать о судьбах земли.

Той ночью
огонь Хиросимы
отражался в постели
всего человечества.

(Санкити Тогэ)

Утеряв нравственные регуляторы, человечество перестанет существовать. Это тревожит людей искусства: и на них лежит ответственность — быть или не быть людям. Бередя охладевшую память, поэты напоминают человеку, что может случиться, если он забудет о своем назначении.

Три поэта представлены в книге, три лица, три судьбы.

Санкити Тогэ — поэт темпераментный, импульсивный. Это чувствуется и в маршевом ритме его стихов, в вызывающих и гневных сценах стихотворения «Смерть».

Почему?
Почему я должен
здесь, на дороге,
вдали от тебя
у-
ми-
ра-
ть?!!

Его стихи порой напоминают знаменитые полотна супругов Маруки — в них ужас и боль людей после атомной бомбежки:

Скопище лиц,
когда-то принадлежавших людям...
Глаза, сверкающие в месиве мяса...

Иногда от стихов Санкити Тогэ возникает впечатление нервного перенапряжения, почти галлюцинаций: оставшиеся в живых люди — всего лишь «экспонаты атомного музея, которым стала вся Хиросима!».

Другой поэт — Тамики Хара — неистовый, как всякий подлинный талант. Он не выдержал напряжения воспоминаний, добровольно ушел из жизни. Переводчику особенно удалось его стихи в прозе из цикла «В тот час» (1943—1944). «Убегавшая осень взмахнула крыльями — и на тропинке, исчезающей в глубине рощи, остался резкий, пронзительный крик...» Приходят в движение чувства. Думается, что такие стихи, как цветомузыка, дают пищу для зрения и слуха. Поэт не может отрешиться от ужаса Хиросимы, его тревога выражается в ритмах XX века:

Пылает, усыпан пеплом
Горестный путь страданий,
Которому нет конца...

Третий поэт — Мунэтоси Фукагава. Его танки связаны между собой как строфы одной поэмы — «Хиросимской трагедии». В них — картины разрушения, люди, гибнущие в огне. О чем бы ни писал поэт, он возвращается к тому дню, что бы он ни видел, он видит «памятник жертвам»:

Запах травы,
Сгущаются сумерки,
Дождь бьет
По памятнику жертвам...
В мокром граните светится небо...

Есть у него стихи на злобу дня, похожие на маленькие воззвания. Полиция разгоняет демонстрантов в защиту мира: листовки, алые стяги. Поэт убежден: «Люди, шагающие вперед со знаменами в руках, всегда красивы!»

Т. Григорьева.

Г. В. ШТЫХОВ и П. Н. ЗАХАРЕНКО.
Древние сокровища Белоруссии. Минск.
«Беларусь». 1971.

Широко известны интереснейшие археологические находки в Белоруссии. Многим из них посвящены специальные научные публикации. Выпущенный издательством «Беларусь» фотоальбом, составленный Г. Штыховым и П. Захаренко (на белорусском, русском и английском языках), рассчитан на широкого читателя. Авторы отобрали наиболее примечательные находки, в число которых входят украшения, отдельные предметы быта, произведения скульптуры и мелкой пластики, фрески, относящиеся к средневековому периоду.

Сам принцип составления альбома заслуживает всяческого одобрения. Здесь нет погони за внешним эффектом. Детали обычно даются лишь в тех случаях, когда рядом помещен снимок произведения в целом, в масштабе, более близком к оригиналу. Основная часть публикуемых иллюстраций показывает вещи, добытые в результате археологических раскопок послевоенного периода.

Не перечисляя подробно всех воспроизведенных в издании вещей, не могу обойтись молчанием такие изумительные по мастерству произведения, как рельефный образок Константина и Елены (XII век), костяная створка триптиха (XII век), образок Эммануила (XII век), резные шахматы из кости (XII—XIII века). Ознакомление с этими уникальными творениями, безусловно, пробудит еще больший интерес к материальным и культурным ценностям белорусского народа.

Лучшие памятники, в их числе и драгоценный крест работы ювелира XII века Лазаря Богши, бесследно исчезли во время немецкой оккупации в период Великой Отечественной войны. Некоторые из них погибли, даже не успев стать достоянием науки, другие оказались за пределами Белоруссии. Все это убеждает в своевременности издания альбома. Приходится лишь сожалеть, что цветные воспроизведения полоцких фресок XII века весьма далеки от оригинала.

В. Пуцко.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. О временном революционном правительстве. 24 стр. Цена 3 к.

В. И. Ленин. О социалистических финансах. 256 стр. Цена 58 к.

В. И. Ленин. С чего начать? — Партийная организация и партийная литература. — О характере наших газет. 48 стр. Цена 5 к.

Декреты Советской власти. Т. 5. 1 апр. — 31 июля 1919 г. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Институт истории Академии наук СССР. 720 стр. Цена 1 р. 26 к.

Ленинские организационные принципы и вопросы партийного строительства на современном этапе. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 352 стр. Цена 78 к.

К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин. О женском вопросе. 224 стр. Цена 33 к.

Наука и нравственность. Коллектив авторов. 440 стр. Цена 56 к.

Проблемы социальной психологии и пропаганда. Сборник статей. 184 стр. Цена 58 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

К. Андреев. На пороге новой эры. Повести. Литературные портреты. 408 стр. Цена 82 к.

С. Бобров. Евгений Делакура, живописец. Поэма в шестнадцати лирических картинах. Вступительная статья Л. Озерова. 110 стр. Цена 46 к.

Е. Быкова. Первый маршрут. Рассказы. 168 стр. Цена 23 к.

М. Глинка. Берег перемен. Повести и рассказы. 254 стр. Цена 49 к.

Б. Гусев. За три часа до рассвета. Повесть. 303 стр. Цена 54 к.

Е. Дорosh. Иван Федосеевич уходит на пенсию. Повесть. 304 стр. Цена 50 к.

П. Капица. Завтра будет поздно. Роман. 437 стр. Цена 77 к.

Б. Кербабаев. Солнце с севера. Повести. Перевод с туркменского. 431 стр. Цена 96 к.

Ю. Кузьменко. Мера истины. Эволюция литературного героя и общественно-историческая практика. 344 стр. Цена 99 к.

А. Кулин. Автобус дальнего следования. Одноактные драмы и комедии. 215 стр. Цена 43 к.

А. Медников. Открытый счет. Роман. 272 стр. Цена 58 к.

А. Межиров. Поздние стихи. 262 стр. Цена 67 к.

М. Нечай. Пора весенних снов. Повести. Перевод с украинского. 390 стр. Цена 77 к.

А. Овчаренко. А. М. Горький и литературные искания XX столетия. 286 стр. Цена 85 к.

Б. Примеров. Румянец года. Стихи. 87 стр. Цена 24 к.

И. Серебряный. Современники и классики. Статьи и портреты. Перевод с еврейского. 312 стр. Цена 84 к.

Б. Слущий. Годовая стрелка. Стихи. 167 стр. Цена 41 к.

Н. Хазри. Море начинается с вершин. Стихи и поэмы. Перевод с азербайджанского А. Передреева. 110 стр. Цена 42 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Баунов. Люблю тебя, Анна. Стихи. 303 стр. Цена 90 к.

И. Бернштейн. «Похождения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека. 102 стр. Цена 21 к.

Ф. Достоевский. Преступление и наказание. Роман. Послесловие Ю. Карякина. 560 стр. Цена 1 р. 26 к.

Д. Кэри. Из первых рук. Роман. Перевод с английского Г. Островской и М. Шерешевской. 383 стр. Цена 1 р. 34 к.

Д. Максимович. Стихотворения. Перевод с сербско-хорватского. Предисловие В. Огнева. 390 стр. Цена 1 р. 38 к.

М. Марич. Повести и рассказы. 702 стр. Цена 1 р. 36 к.

К. Марнандай. Ярость в сердце. Роман. Перевод с английского К. Чугунова. Предисловие Н. Демуровой. 214 стр. Цена 80 к.

Н. Некрасов. Стихотворения и поэмы. 623 стр. Цена 1 р. 15 к.

От весны к весне. Поэтическая летопись полувека — 1921—1971. Перевод с монгольского. Предисловие Ю. Цеденбала. 287 стр. Цена 60 к.

Я. Потоцкий. Рукопись, найденная в Сарагосе. Роман. Перевод с польского Д. Горбова. Предисловие С. Ланды. 639 стр. Цена 1 р. 44 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Вишневский. Впередсмотрящий. Статьи, очерки, выступления. Вступительная статья А. Дымшица. 367 стр. Цена 95 к.

Е. Лучновский. Пристань «Оля». Стихи. Предисловие Е. Винокурова. 31 стр. Цена 13 к.

В. Михайлов. Ручей на Япете. Фантастические рассказы. 271 стр. Цена 37 к.

Я. Мустафин. Чувства добрые. Рассказы. 96 стр. Цена 13 к.

Б. Ручьев. Юность. Стихи. 127 стр. Цена 51 к.

М. Стельмах. Дума про тебя. Роман. Перевод с украинского И. Чеховской. 400 стр. Цена 94 к.

Н. Ушаков. 75. Стихи. 175 стр. Цена 72 к.

О. Фокина. Избранная лирика. 32 стр. Цена 13 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Л. Вершинин. Приключения Бертольдо По мотивам итальянского фольклора. 24 стр. Цена 16 к.

А. Волнов. Царьградская пленница. — Два брата. Исторические повести. 494 стр. Цена 1 р. 19 к.

М. Горбовец. Мишкино детство. Повести. 288 стр. Цена 55 к.

С. Григорьев. Суворов. Историческая повесть. 320 стр. Цена 72 к.

Ф. Достоевский. Униженные и оскорбленные. Роман в 4-х ч. с эпилогом. Вступительная статья П. Пустовойта. 384 стр. Цена 93 к.

Л. Исарова. Война с аксиомой. Спорные истории из школьной жизни. 176 стр. Цена 41 к.

Н. Лойно. Женька-наоборот. Повесть. 174 стр. Цена 42 к.

К. Паустовский. Повести 318 стр. Цена 77 к.

А. Пушкин. Поэмы. 191 стр. Цена 44 к.

М. Спендиарова. Жизнь музыканта. Повесть. Предисловие А. Хачатуряна. 110 стр. Цена 37 к.

Б. Уачинн. Я жду улетевшего лебедя. Книга баллад. 47 стр. Цена 16 к.

Л. Украинка. Пой, моя песня. Стихотворения. Перевод с украинского. 143 стр. Цена 48 к.

А. Чехов. Повести и рассказы. 430 стр. Цена 76 к.

Э. Шим. Рассказы и сказки. Предисловие Т. Гроденского. 159 стр. Цена 59 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

В. Аниканов. Снежные барсы. Повесть и рассказы. 192 стр. Цена 31 к.

Н. Анциферов. Шахтерская лампочка. Избранные стихи. 143 стр. Цена 39 к.

И. Гофф. Поющие за столом. Рассказы 188 стр. Цена 30 к.

Мастера песни. Сборник статей. Составитель С. Рыбакова. 91 стр. Цена 15 к.

В. Росляков. Как там Сашка? Рассказы. 92 стр. Цена 17 к.

М. Савельев. Черемуховые холода. Стихи. 95 стр. Цена 24 к.

Г. Семенихин. Хмуры лейтенант. Повести и рассказы 208 стр. Цена 49 к.

А. Ференчук. После долгих лет. Повести и рассказы. 284 стр. Цена 60 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Л. Бескровный. Бородинское сражение. 88 стр. Цена 13 к.

«ИСКУССТВО»

М. Мейлах. Изобразительная стилистика поздних фильмов Эйзенштейна. 176 стр. Цена 1 р. 32 к.

Р. Розенталь и Х. Ратцна. История прикладного искусства нового времени. 223 стр. Цена 1 р. 17 к.

«ПРОГРЕСС»

Э. Бредсдорф. Литература и общество Скандинавии. Перевод с датского. 198 стр. Цена 1 р. 21 к.

Б. Винцер. Солдат трех армий. Перевод с немецкого. 464 стр. Цена 1 р. 17 к.

У. Манчестер. Оружие Круппа. История династии пушечных королей. Сокращенный перевод с английского. 487 стр. Цена 1 р. 33 к.

А. Мэрдок. Дикая роза. Роман. Перевод с английского. 288 стр. Цена 1 р. 1 к.

«МИР»

М. Крайтон. Штамм «Андромеда». Перевод с английского. 318 стр. Цена 65 к.

Э. Тейлор и Д. Уилер. Физика пространства — времени. Перевод с английского. 319 стр. Цена 2 р. 23 к.

«ЭКОНОМИКА»

В. Андреев и Н. Хмелевский. Автоматизация и экономическая эффективность производства. 111 стр. Цена 31 к.

Р. Белоусов. Рост экономического потенциала. 55 стр. Цена 8 к.

А. Комин. Проблемы планового ценообразования. 215 стр. Цена 87 к.

Л. Костин и С. Костин. Всемерно повышать производительность труда. 61 стр. Цена 9 к.

Е. Масленников. Перспективный комплексный план развития предприятия. 56 стр. Цена 14 к.

Математика и кибернетика в экономике. Словарь-справочник. 223 стр. Цена 1 р. 23 к.

Ю. Палкин. В. И. Ленин о премировании. 72 стр. Цена 13 к.

«НАУКА»

М. Афасимев. Фрейдизм и буржуазное искусство. 128 стр. Цена 40 к.

Восточная филология. Характерологические исследования. Сборник статей. 231 стр. Цена 92 к.

В. И. Ленин и литература зарубежного Востока. Сборник статей. 272 стр. Цена 1 р. 36 к.

В. Лихачева и Д. Лихачев. Художественное наследие Древней Руси и современность. 120 стр. Цена 66 к.

Очерк истории эстонской советской литературы. Коллектив авторов. 502 стр. Цена 2 р. 33 к.

Русские сказки в ранних записях и публикациях (XVI—XVIII века). Вступительная статья и подготовка текста Н. Новикова. 288 стр. Цена 1 р. 52 к.

США: проблемы внутренней политики. Коллектив авторов. 406 стр. Цена 1 р. 55 к.

Успенский сборник XII—XIII вв. Издание подготовили О. Князевская и другие. 752 стр. Цена 5 р. 45 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Г. Анашкин. Смертная казнь в капиталистических государствах. Историко-правовой очерк. 144 стр. Цена 45 к.

К. Бегалиев. Прокурорский надзор за расследованием дел о преступлениях несовершеннолетних. 96 стр. Цена 26 к.

Т. Добровольская. Принципы советского уголовного процесса. 200 стр. Цена 64 к.

Е. Ефимов. Научное открытие и его правовая охрана. 224 стр. Цена 74 к.

В. Рассудовский. Государственная организация науки в СССР. 248 стр. Цена 79 к.

Ф. Фаткуллин. Изменение обвинения. 164 стр. Цена 52 к.

«ПЕДАГОГИКА»

И. Зверев и Е. Гвоздырева. Развитие интереса учащихся к изучению организма человека. 200 стр. Цена 28 к.

Комплексы учебного оборудования по математике. 280 стр. Цена 97 к.

Оборудование начальных классов. 136 стр. Цена 18 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Н. Благов. Звон наковальни. Стихи и поэма. 118 стр. Цена 48 к.

Г. Федоров. Когда наступает рассвет. Роман. Перевод с коми. («Библиотека русского романа») 391 стр. Цена 1 р. 7 к.

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Внешняя политика Советского Союза и международные отношения. Сборник документов 1970 г. 256 стр. Цена 70 к.

ВОЕНИЗДАТ

Германия во второй мировой войне. (1939—1945). Коллектив авторов. Перевод с немецкого. 432 стр. Цена 1 р. 52 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В. Ведина. Современная польская проза. К проблеме новаторства. Киев. «Наукова думка». 399 стр. Цена 1 р. 49 к.

И. Виноградская. Жизнь и творчество К. С. Станиславского. Летопись в 4-х тт. Т. 1.

1863—1905. М. Всероссийское театральное общество. 558 стр. Цена 2 р. 80 к.

Сергей Есенин. Альбом. Гравюры Ф. Константинова. Вступительная статья И. Мямлина. Л. «Художник РСФСР». 8 с. 41 л. репродукций. Цена 88 к.

Е. Наумов. Любовь и робот. Рассказы, юморески, рассуждения, афоризмы. Владивосток. Дальневосточное книжное издательство. 172 стр. Цена 47 к.

Русские самовары. Альбом. Автор текста Е. Иванова. Фото И. Захаровой. Л. «Художник РСФСР». 179 стр. Цена 10 р.



Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большов (первый зам. главного редактора),
Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 17/VIII 1971 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 7/X 1971 г.
 А 06167. Формат бумаги 70×108^{1/16}. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.) Зак. 2801.
 Тираж 165.000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
 имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636